ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

- *Александр РЕВИЧ*
  Наш мир еще не начат
  Стихи
- *Рубен ОВСЕПЯН*
  Под абрикосовыми деревьями
  Роман. С армянского
- *Александр МЕЖИРОВ*
  Стихи из нью-йоркского архива
- *Равиль БУХАРАЕВ*
  Габдулла Тукай: 125 лет народной памяти
- *Николай ШМЕЛЕВ, Леонид МЕДВЕДКО*
  Прогнозы и надежды

ДРУЖБА НАРОДОВ 5/2011

5'2011

ДРУЖБА НАРОДОВ

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

5'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Ирина ГОЛУБ. Девочка и война. *Повесть-воспоминание* **3**

Александр РЕВИЧ. Наш мир еще не начат. *Стихи* **33**

Александр МЕЖИРОВ. Стихи из нью-йоркского архива. *Стихи. Подборку подготовила Зоя Межирова* **37**

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ. Стих расхожий **43**

Рубен ОВСЕПЯН. Под абрикосовыми деревьями. *Роман. С армянского. Перевод Лилит Овсепян* **52**

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Равиль БУХАРАЕВ. Габдулла Тукай: 125 лет народной памяти. *Стихи. С татарского. Перевод Равиля Бухараева* **99**

Елена ХОЛМОГОРОВА. Анфилада. *Повествование в шести комнатах* **104**

Публицистика

20 ЛЕТ ПОСЛЕ БЕЛОВЕЖЬЯ

Николай ШМЕЛЕВ, Леонид МЕДВЕДКО. Прогнозы и надежды. *«Авансы и долги» два десятилетия спустя* **135**

Александр СУПРУН. Хождение в Европу, или Принудительное знакомство с азами капитализма. *Документальная повесть* **151**

Нация и мир

Гурам СВАНИДЗЕ. Кто же гегемон? *Социологическое эссе* **182**

Марюс ИВАШКЯВИЧЮС. Я был в Белоруссии, или Попытка разговорить свою кровь **191**

Критика

Ольга ЛЕБЁДУШКИНА. Покаяние и прощение. *Литература как работа памяти и забвения. Заметки по разным поводам* **198**
Алексей САЛОМАТИН. О том, что близко. *Современная татарстанская поэзия глазами очевидца* **209**

Эхо

Похрен? — Nevermore! *Рубрику ведет Лев Аннинский* **221**

Summary **224**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ **(МФГС)**

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ, Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН, Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН, Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Ирина Голуб

Девочка и война

Повесть-воспоминание

Мама сказала мне, что мы пойдем на свидание с папой: он очень хочет с нами повидаться, но его не пускают домой, а нам разрешили к нему прийти. Раньше мне говорили, что папа мой в далеком путешествии... Я его почти не помнила, иногда только мне казалось, что я представляю, как он меня носит на руках и поет украинские песни «Стоить гора высокая, по-пид горою гай...» или «Ой, у поли жито копытамы збыто...» Вот и все впечатления от общения с отцом.

Мы с мамой пришли в Лукьяновскую тюрьму, и по темному коридору нас провели в какую-то маленькую комнату, разделенную на две части решеткой. Когда я увидела отца по другую сторону решетки, я с удивлением воскликнула:

— Папочка, почему тебя посадили в клетку?

Он улыбнулся, а мама заплакала.

Мне было три года, когда отца, известного писателя Бориса Антоненко-Давидовича, выслали на десять лет в Сибирь.

В доме поселилась тревога: мама с бабушкой говорили о репрессиях, и я поняла: моя мамочка боится, что и ее могут арестовать. Однажды она рассказывала бабушке, как на каком-то собрании у нее на работе один сотрудник заявил: «Вот среди нас жена врага народа!» — и указал на маму.

Мама работала в артели «Киевский художник», она хорошо рисовала и говорила, что ей многие завидуют. Этим она объясняла и реплику Пушкаря (я даже запомнила его фамилию!).

После этого эпизода мама с бабушкой часто говорили, что по ночам людей забирает «черный ворон», и мне он представлялся страшным чудовищем, хотя я понимала, что так называют специальную машину, в которой приезжают за «врагами народа».

Помню зиму 1937—38 года. Мне было пять лет. Бабушка уехала в Москву к дочери Галине. Наверное, мама нарочно отправила туда мою любимую бабу Нюсю, — не хотела, чтобы бабушка оказалась свидетельницей ее ареста, ведь жену врага народа могли взять в любое время. И в этом тягостном ожидании мамочка рисовала панно для Дворца культуры — там готовились к новогодней елке. Дома мама рисовала эскизы для росписи декораций — лес, заснеженные ели, под ними зайчики, белки, лисички... Я любовалась ее рисунками, а она обещала мне, что на новогодний утренник возьмет меня с собой во Дворец культуры, и тогда я увижу настоящие картины, нарисованные по маминым эскизам.

Голуб Ирина Борисовна — родилась 5 мая 1932 года в г. Киеве. Окончила Новозыбковский пединститут Брянской обл. и аспирантуру киевского пединститута. Профессор на кафедре русского языка и стилистики МГУ печати. Перевела на русский «Сибирские новеллы» своего отца — известного украинского прозаика Бориса Антоненко-Давидовича («Прочитайте после моей смерти», Львов, изд. Каменяр, 2002 г.). Книга воспоминаний об отце вышла на украинском языке в Мельбурне (Австралия) и Полтаве (Украина).

Мамочка часто смотрела в окно, словно проверяя, нет ли у нашего дома посторонних людей, которые интересуются нашей жизнью: мы жили на первом этаже, так что с улицы можно было заглядывать в комнату. Маме казалось, что по противоположной стороне улицы прохаживается какой-то человек, который посматривает на наши окна. Ее тревога передавалась мне, и я понимала, что за моей мамой может приехать «черный ворон».

Наверное, и ее друзья знали, как страшно Наталье Карпенко оставаться одной с наступлением темноты, и к нам стали приходить знакомые — художники, певцы. Они устраивали музыкальные вечера: пели, играли на пианино. Видимо, друзья моей мамы хотели показать, что в этой квартире нет ничего противозаконного: здесь веселятся, поют, громко разговаривают, смеются. На улице было слышно, как весело у нас в доме, а на самом деле это был пир во время чумы.

Я тогда этого не понимала, просто радовалась, что маме не дают скучать ее товарищи. Наши гости пели и хором, и соло, — у мамы был замечательный голос. В молодости она сдавала экзамен в консерваторию, и ей сказали, что у нее колоратурное сопрано. Она пела арии из опер, дуэтом с ней пел какой-то оперный артист. Часто он пел и один под мамин аккомпанемент, гости им аплодировали. Расходиться не спешили, засиживались далеко за полночь.

Когда же все уходили, мамочка долго не ложилась спать: ходила по комнате, курила, не зажигая света. Но как-то все тогда обходилось: пока за ней «черный ворон» не приезжал.

На Новый год мы с мамой пошли на утренник во Дворец культуры. Ее встречали как дорогого гостя, нас посадили на прекрасные места в первом ряду. Мне клоун даже подарок дал — так близко мы сидели! Все, казалось, было хорошо, но мамочка не могла успокоиться.

Вскоре я заболела, видимо, на утреннике заразилась скарлатиной, и за мной приехала «скорая помощь», чтобы забрать меня в больницу (тогда эта болезнь считалась очень опасной, от нее дети даже умирали). Но мама уговорила санитаров оставить меня дома, пообещав ухаживать за мной.

И началось противное мое лечение. Не помню, сколько я лежала дома, пила микстуру, глотала пилюли... Мамочка не отходила от меня и часто мерила мне температуру (наверное, она была высокая, потому что у мамы выступали слезы, когда она смотрела на градусник). Тут уж было не до гостей и не до песен. Мы остались одни перед страшным ожиданием «черного ворона». И хотя мама ничего мне не говорила, я все прекрасно понимала. Правда, временами я теряла сознание — как будто засыпала, дремала. А когда открывала глаза, не знала, что это было, только видела склонившуюся над собой мамочку, всю в слезах. Так прошло несколько дней.

Но вот однажды ночью я услышала громкий стук в дверь. К нам ввалились незнакомые люди в форме. Они по-хозяйски уверенно ходили по комнате, словно искали кого-то... А мамочка бросилась ко мне за ширму и зарыдала, накрыв меня своим телом. «Вы не можете увести меня, когда моя девочка при смерти! — кричала она, рыдая. — Вы же видите, в каком состоянии ребенок!..»

Я притворилась спящей: мне думалось, что, если я открою глаза и зареву, будет еще хуже. Я жалела мамочку, понимая, как она страдает. Но вот дядька в форме схватил ее и оттащил от меня. Больше она не кричала...Потом люди рассказывали, что «Наталью Карпенко без чувств отнесли на руках в черный ворон».

Я лежала тихо и прислушивалась к голосам тех, кто делал обыск. Только и слышалось: «Смотри там!», «Открой диван!». (Я знала, что там лежат рисунки мамы и всякие репродукции, наверно, их теперь помнут...); «Смотри письма!» (Это достают бумаги из письменного стола.) «А что там за ширмой?» — крикнул кто-то.

Ширму резко отодвинули и подошли к моей кровати. В моем детском уголке были игрушки — куклы, мишка, маленькая кроватка, игрушечный зеркальный шкафчик — моя гордость! (я в него складывала всякие лоскутки). Милиционер разбросал ногой все эти игрушки и со злостью двинул сапогом мой любимый зеркальный гардероб... Я наблюдала за этим, зажмурив глаза. Лежала, затаившись, притворяясь спящей, хотя очень хотелось реветь.

Но вот все ушли, я, кажется, задремала, скорое всего впала в забытье. Очнулась лишь когда опять услышала голоса: возле моей кровати стояли соседи. Тетя Дуня плакала, вытирая фартуком глаза и нос. До меня доносился шепот: «Что же теперь будет? Ведь Анна Павловна (это моя бабушка) в Москве, надо срочно ее вызвать...»

Я спросила слабым голосом: «Где моя мама?», хотя отлично помнила, что произошло. Тетя Дуня ответила:

— Твоя мама пошла на базар и скоро вернется...

Взрослые всегда врут, подумала я. Но я-то знаю, что случилось. Я нарочно буду говорить правду, чтобы им было стыдно меня обманывать. И я возразила:

— Нет, я знаю: мою мамочку арестовали, но она ни в чем не виновата, она самая хорошая.

Вдруг раздались громкие голоса, дверь распахнулась; это с носилками пришли санитары: меня забрали в больницу.

* * *

Я была очень «домашним» ребенком. Когда-то мама хотела меня на месяц отдать в пионерлагерь, но я там так тосковала, все время плакала, ничего не ела. И маме, когда она приехала меня навестить, пришлось забрать меня домой. И вот мне снова предстояло серьезное испытание: я окажусь в окружении незнакомых людей, в чужой, казенной обстановке...

Однако теперь я научилась сдерживать слезы и терпела все молча. Меня в больнице усиленно лечили — делали уколы, пичкали лекарствами... И мне стало лучше: я больше не теряла сознание. Боясь рассердить нянечку, сестер, врачей, я выполняла все их требования. Наверное, поэтому меня полюбили (другие дети орали, не слушались).

Ни на минуту я не забывала о том, что произошло в страшную ночь ареста мамы. Прокручивая вновь и вновь все это в памяти, я по-своему оценивала события. Например, по радио часто пели «злую песню»:

Мы врагов встречаем просто —
Перебьем и будем бить!

Для меня это означало угрозу моим родителям: ведь их назвали врагами народа. Я размышляла: если всех уже перебили, то зачем же опять «будут бить»?

Все официальное было мне враждебно, всех взрослых я подозревала во лжи. А я для них была уникальным объектом для наблюдений. Так, в нашу палату иногда заходили незнакомые люди — доктора из других отделений, родители больных детей. Часто такие посещения превращались в своего рода спектакли: сестра или врач, сопровождавшие такого гостя, пошептавшись с ним, подводили его к моей кровати. Тот, сочувственно глядя на меня, спрашивал:

— Где, детка, твои папа и мама?

И я неизменно отвечала:

— Моих папу и маму арестовали как врагов народа, но это неправильно, потому что они хорошие и ничего плохого не сделали.

От этих расспросов мне становилось не по себе, но я держалась: не заплакала ни разу! А плакать так хотелось... Но нельзя было показывать свои слезы чужим.

Но вот как-то после обеда, когда всем нужно спать, я накрылась с головой одеялом и наплакалась вдоволь. Только когда закончился «мертвый час» и стали разносить градусники, я открыла одеяло и осмотрелась. Никто не заметил моей выходки. С тех пор я каждый день плакала во время мертвого часа, и никто об этом не догадывался.

Но однажды моя тайна была раскрыта. В нашу палату пришел новый доктор, вернее, это был практикант — очень молодой и красивый юноша. Ему, конечно, рассказали обо мне, объяснили, что случилось с моими родителями. И этот «молодой доктор» (как я стала его называть про себя) был очень ласков со мной: называл Ириночкой, деточкой, малышкой. Меня это очень подкупало, он мне все больше нравился, и я себе призналась, что влюблена. Правда, это ничего не изменило,

просто я смотрела на него и радовалась, когда он подходил к моей кровати, мечтала, чтобы именно он дал мне термометр, микстуру. Обычно так всегда и случалось.

И вот как-то раз, после обеда «молодой доктор» дежурил в нашей палате. Я, по обыкновению, накрылась одеялом и стала реветь. И вдруг, в самый разгар моего рева, кто-то подошел и быстро отдернул одеяло. Я повернулась, не успев вытереть слезы, вздрагивая и всхлипывая. Он смотрел на меня удивленно и испуганно, а я с дрожью в голосе сказала:

— Только никому не говорите, что я плачу! Пожалуйста, никому не говорите!..

Он кивнул, ничего не сказав, и принес градусник. Посидел возле меня, пока я мерила температуру, вздыхал и гладил меня по головке. И хотя температура немного подскочила, мой добрый доктор сказал:

— Ничего, ты молодец!

И даже не стал утешать меня — мол, не надо плакать. Этот эпизод остался нашей тайной. Но все же, когда он дежурил в нашей палате, я не решалась реветь под одеялом.

В больнице я оставалась долго (может быть, меня нарочно там задержали, чтобы не отдавать в детдом?) Наверное, ждали, когда меня смогут забрать домой родные. А пока меня навещали соседи, чаще других Зося, дочка тети Дуни. Она-то мне и сказала, что скоро из Москвы приедет бабушка и тогда меня выпишут из больницы.

Баба Нюся пришла вся в слезах, расцеловала меня и привезла в нашу коммунальную квартиру. Там уже было все убрано — следов обыска не оставалось. И бабушка доверила мне важную семейную тайну: самое главное, что искали энкаведисты, это папины рукописи — неопубликованные его произведения. Они уцелели, потому что были спрятаны в общем туалете на антресолях, туда не догадались заглянуть. Это сказала моя умная баба Нюся на тот случай, чтобы я запомнила и потом рассказала маме и папе, когда ее, возможно, уже не будет в живых.

* * *

Слово «война» вызывало разные чувства у детей и взрослых.

Люди понимали: коль военный пожар полыхает во всей Европе, Советский Союз неизбежно будет втянут во Вторую мировую войну. О ее неотвратимости свидетельствовали странные приготовления мирных жителей к военному нападению. Например, в Киеве часто раздавался вой сирены — ложная тревога, чтобы люди знали, как себя вести в случае налета вражеских бомбардировщиков. Во время тревоги люди должны были идти на специальные «форпосты», где руководитель таких учений объяснял, где нужно прятаться, заслышав вой сирены, как спасать раненых. Даже учили надевать противогазы, бинтовать раны, выносить пострадавших из-под обстрела на носилках и т.д.

Все эти «военные игры» раздражали взрослых и нравились детям, воспитанным на рассказах о героизме людей в годы гражданской войны. Хотелось испытать настоящую опасность и проявить мужество, как легендарные герои минувших лет. Уверенность в превосходстве нашей армии над всеми враждебными силами внушали военные песни, звучавшие по радио:

Если завтра война, если завтра в поход,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек весь советский народ
За великую Родину встанет...

Стихи, положенные на музыку, ни у кого не вызывали сомнения, все повторяли их, зная, что только так и будет, «если враг захочет нас сломать». Реальную же угрозу со стороны Германии советская пропаганда исключала, всячески убеждая нас в том, что СССР с немцами в большой дружбе.

Мы с бабушкой мечтали лишь об одном: скорее бы закончился срок ссылки моей мамочки (ее осудили на пять лет в 1938 году), чтобы она вернулась в родной

Киев, ведь в Казахстане, где она отбывала срок, ей так тяжело переносить жару с ее больным сердцем. А там, даст Бог, как говорила бабушка, и отца выпустят, ведь он сослан в далекую Сибирь, и ничего о нем мы не знаем. Но и его сроку когда-нибудь придет конец — его арестовали в тридцать пятом и сослали на десять лет. Старенькая баба Нюся была так наивна, что еще верила в возможность воссоединения семьи, хотя прекрасно знала, что и ее дочь Наташа, и зять-писатель, обвиненный в терроризме, осуждены «по ошибке».

Нам с бабушкой не на что было жить; чтобы свести концы с концами, она продавала вещи. Но из семейных ценностей удалось выгодно продать только красивый японский гобелен с вышитыми по зеленому атласу розовыми цветами и пианино. Потом бабушку уговорили продать и нашу большую комнату в коммунальной квартире. Эту комнату бабушка отдала соседям в обмен на маленькую в нашем дворе во флигеле. Эта комнатушка была убогая: во флигеле не было даже туалета, только водопровод и раковина в общем коридоре. Ведра с мусором и помоями мы выносили во двор, где была общественная уборная.

Теперь я понимаю, до какого отчаяния была доведена моя бабушка, если решилась на такой обмен, ведь она же должна была понимать, что обрекает дочь, когда та вернется, на ужасные квартирные условия. Но выхода не было: нужны были деньги на пропитание. А бабушка была старенькая и больная, работать она не могла.

Когда-то в молодости она учительствовала. Но потом вышла замуж, родила пятерых детей и всю жизнь посвятила их воспитанию. Муж ее — военный священник отец Иосиф — служил в разных местах, семья часто переезжала вместе с гарнизонами, где приходилось служить Иосифу Лукичу. Жили в Чернигове, в Холме (теперь это территория Польши), наконец — в Киеве. Во время революции мой дед трагически погиб, а бабушка осталась в семье моей мамы, чтобы воспитывать меня, потому что мамочка очень много работала на условиях сдельной оплаты в артели «Киевский художник». После ареста мужа ей нужно было выплатить его долг: мой отец писал роман и взял в издательстве аванс. Но роман не был опубликован, и деньги следовало вернуть. Об этом было много говорено, так что и я кое-что поняла.

При маме мы жили безбедно: летом она вывозила меня на дачу (осталась даже фотография — мы с мамой у озера), питались хорошо (на питании экономить нельзя: ребенок должен расти здоровым). Правда, меня не баловали: у меня не было таких игрушек, как у других девочек, а я мечтала о куклах с закрывающимися глазами, о пупсике — толстеньком кукольном младенце, да мало ли о чем!.. Теперь же, когда мы остались с бабушкой после ареста мамы, все заботы бабуси были только о моем здоровье. Я покашливала, и бабушке казалось, что я могу заболеть туберкулезом. Она показала меня врачу, тот сказал, что у меня катар горла, и назначил лечение. Каждый день бабушка водила меня на процедуры в поликлинику, далеко от дома. На это уходили все ее силы, но отменить лечение она не хотела.

Практичные соседи, наша добрая знакомая Вера Петровна советовали нам делать запасы продуктов на случай войны. Весной 1941 года все киевляне были помешаны на запасах! Вера Петровна то и дело прибегала с сумками, полными покупок, и, показывая их бабушке, восклицала:

— Вот что надо делать — покупать все, что еще есть в продаже!

Но бабушка считала эти разговоры напрасными. «Все это паника!» — говорила она и не хотела следовать умным советам. А между тем в магазинах выстраивались очереди, и купить что-нибудь полезное было все труднее. Соседи с нашего двора устраивали очереди в ближний магазин с ночи: переписывали всех очередников, кто-то оставался на ночь дежурить, а часов в шесть-семь все занимали свои места и выходили на улицу к магазину. Я по совету тети Дуни тоже начала участвовать в этой «игре»; правда, ночью я оставалась дома, меня освободили от дежурства. А утром меня «признавали», и я на законных основаниях становилась на свое место. Благодаря этому нам с бабушкой все же удалось кое-что запасти на черный день. Мы насушили сухарей, было немного пшена, муки, сахара. Так что в конце июня сорок первого года у нас было продуктов дней на двадцать.

* * *

22 июня мы с бабушкой услышали на рассвете какой-то грохот, но и не подумали, что это бомбежка: ведь мы жили в самом центре Киева, а бомбили окраины. Вой сирены удивить нас не мог — к этим звукам мы привыкли, когда объявлялась «ложная тревога». Однако часов в девять, когда я вышла гулять во двор, меня насторожило то, что соседи спорили: одни говорили, что это учения, а другие — что это была настоящая бомбежка. Я рассказала бабушке, о чем спорят во дворе, но она, не задумываясь, решила: все это паника, не надо обращать внимание на такие разговоры. Однако на душе у меня было тревожно.

Я вышла на улицу и направилась к Золотоворотскому саду, куда мы с бабушкой обычно ходили гулять. Прохожих я не заметила, но меня удивили звуки, которые доносились из репродуктора: как будто кто-то подбирал мелодию известной песни «Широка страна моя родная». Эта первая фраза песни повторялась много раз, и дальше дело не шло. Я подумала: что на радио кто-то подбирает так неумело мелодию, и это случайно попадает в эфир. Я бы легко наиграла всю песню, а этот «бездарный пианист» не может закончить первую фразу!

Но вот мелодия оборвалась, и я услышала мужской голос: кто-то сказал, что на Советский Союз напала фашистская Германия. Потрясенная этим известием, я бросилась бежать домой. Как раз на улице, по которой я пробегала, находилось немецкое посольство, на котором совсем недавно развевался красивый красный флаг со свастикой в белом круге. Теперь у входа в посольство люди толпились у закрытых дверей, выкрикивали угрозы, били окна. А красный флаг рвали и топтали с криками и громкими рыданиями. Я побежала домой.

В нашем дворе был переполох: соседи кричали, размахивали кулаками, угрожая фашистам, и убегали куда-то. Я спросила, куда все спешат, и узнала, что нужно бежать на рынок, чтобы успеть купить продуктов, потому что во время войны будет голод.

Я помчалась во флигель к бабушке и рассказала все. Она запричитала: «Боже мой, Боже! Какое горе! Что же теперь будет?!»

Бабушка поняла, как она была не права, когда не слушала Веру Петровну и не делала запасов; теперь мы остались ни с чем перед угрозой голода.

Мне она велела тоже идти на рынок, но у нее было мало денег: все деньги за обмен квартиры мы хранили на сберкнижке, а в воскресенье сберкасса была закрыта. (Впрочем, на следующий день нам тоже не удалось их получить: вышел приказ выдавать на руки вкладчикам не больше двухсот рублей в месяц.) Бабушка дала мне все оставшиеся деньги и велела купить масла. Но теперь, как выяснилось, на рынке цены так выросли, что на мои деньги уже ничего нельзя было купить. Я вернулась ни с чем.

Баба Нюся плакала. А я не могла серьезно воспринимать происходящее и побежала во двор, чтобы посмотреть на детей, которые там играли в войну. Мои сверстники ничуть не унывали, а, напротив, радовались, что теперь мы станем свидетелями настоящих боев. Надоело все играть да играть в сражения! Надо уже воочию увидеть, как это все бывает!

Среди мальчишек царил подъем, они ждали интересных сообщений. Я тоже поддалась этому чувству и прибежала к бабушке, радостно закричав:

— Бабуся, это будет так здорово! Мы увидим настоящую войну!

Баба Нюся ужаснулась моим словам:

— Не дай бог нам это увидеть! Я пережила Первую мировую войну и революцию. Не дай бог, если снова нам придется переживать что-нибудь подобное. — Однако настало время обедать, и бабушка усадила меня за стол. Суп я съела, а второе не хотела и стала уговаривать бабушку, чтобы она не заставляла меня есть котлету. И тогда она сказала: «Ох, деточка, скоро ты будешь вспоминать эту котлетку и жалеть, что отказалась от нее! Запомни мои слова».

Она была права: с этого дня у нас на столе мяса больше не было, а вскоре мы и вовсе стали голодать.

Военные действия развивались стремительно, Киев постоянно бомбили. Но центр города, где мы жили, был цел (ведь стратегически важные объекты находились

на окраинах — там были заводы, электростанции и т.д.). Однако увидеть «настоящую войну» мне пришлось очень скоро — в киевском небе часто шли воздушные бои. Как это было? Вспомню эти страшные дни.

Завыла сирена, во дворе началась паника: все спешат укрыться в бомбоубежище в семиэтажном доме на нашей улице. Для этого нужно только перейти через дорогу. Но я и не думаю прятаться: бабушка сказала, что если бомба попадет в дом, то тем, кто сидит в бомбоубежище, будет еще хуже. Ведь обрушатся стены, и люди в подвале окажутся без воздуха и еды. Медленная смерть мучительна, так что лучше уж пусть сразу бомба убьет, если так суждено, чем быть заживо похороненными.

Моя бабушка была фаталисткой, она рассказывала, что во время гражданской войны, когда она сидела у окна в кресле, на улице началась стрельба, пуля пробила стекло и впилась в спинку кресла у бабушки над головой. И тогда она подумала: «Бог меня спас, значит, еще не время мне умирать, на что-то я нужна еще Господу в жизни».

Это сделало бабу Нюсю бесстрашной: она верила в судьбу и во время бомбежек не выходила из комнаты, а мне разрешала бегать во дворе. Вот я и смотрела на воздушные бои вместе с другими детьми с нашего двора.

Зрелище разыгрывалось действительно захватывающее: самолеты гонялись друг за другом, пролетая довольно низко — так, что можно было увидеть на крыльях свастику или красные звезды. Мы «болели» за наших и радовались, когда фашистские самолеты падали, выпуская в небо клубы черного дыма. Однажды такой самолет рухнул недалеко от нас — на Софиевской площади. Мы, ребята, бегали смотреть. Любопытных там было много, так что близко подойти не удалось. В толпе говорили, что самолет вот-вот взорвется, надо убегать, и я быстро вернулась домой.

При каждой бомбежке все соседи прятались в укрытие. Один раз я туда из любопытства тоже спустилась вместе с тетей Ханой, мамой моей подружки Анечки. Аня и ее сестра Фима уехали накануне войны в Москву к родственникам, а их мама осталась в Киеве с двумя маленькими сыновьями. Она очень боялась бомбежек, и стоило ей услышать вой сирены, хватала на руки маленького Сему, приготовленные заранее пеленки и штанишки, а двухлетний Нюма цеплялся за мамину юбку, и они бегом мчались в бомбоубежище. Я вместе с тетей Ханой решила спуститься в подвал, где собирались испуганные соседи. Меня поразило все, что я увидела: люди рыдали, кто-то молился, кто-то проклинал фашистов. Тетя Хана меняла пеленки Семе и штанишки Нюме. В подвале был полумрак... Я постаралась поскорее выбраться наверх и больше никогда туда не спускалась.

Гибель людей на войне мне не приходилось видеть, но одну смерть я наблюдала. Смерь лошади. Я стояла в очереди, в магазин впускали по нескольку человек, а остальные были на улице, ожидая, когда выйдут «счастливчики» с покупками и можно будет приблизиться к дверям, а то и войти внутрь магазина. Вдруг завыла сирена, вскоре послышались взрывы: бомбы падали где-то совсем близко. В небе появились истребители, они открыли огонь по вражеским самолетам. Оставаться на улице было опасно, но очередь не расходилась, только придвинулась вплотную к стене. А на мостовой стояла подвода с лошадью. И вдруг эта лошадь закачалась и стала оседать на асфальт. Неловко подогнув ноги, она свалилась набок, запрокинув голову, я увидела рану — большую дырку, из нее текла кровь. Я отвернулась, а некоторые подходили смотреть и убегали опять на свои места в очереди.

Там обсуждали, как следует поступить с лошадиным мясом. Одни считали, что нужно предложить хозяину тут же продавать конину (вот это было бы хорошо!). Все, кто здесь стоит, с радостью купили бы это мясо. Другие сомневались, что государственную собственность — убитую лошадь — так просто можно продать желающим: понадобятся документы, разрешения, и пока это все будут доставать, мясо испортится... Я не могла оставаться в этой очереди и в слезах ушла домой.

Зато как интересно было бегать по двору во время воздушных боев! Самолеты обстреливали друг друга из пулеметов, а осколки залетали в наш двор и тарахтели по железной крыше сараев, как град, только громче. Мы, дети, бежали на эти звуки и старались найти упавшие осколки, подбирали их, соревнуясь — у кого больше? В моей коллекции их было уже штук десять!

Как-то раз осколок упал рядом со мной и порвал мне подол платья. Я увидела его у своих ног и подняла, разглядывая. Осколок был еще горячий, с зазубринами по краям, его металлический блеск перемежался с синими и красноватыми полосами и пятнами. Я понимала, что могло бы случиться, если бы этот страшный кусок металла врезался в мое тело. Но я не испугалась, ведь уже все позади, я цела и невредима! Значит, судьбе было угодно меня спасти.

Я спрятала этот осколок в карман — на память, а дома зашила платье, чтобы бабушка не видела дырки. Все мои «трофеи» я хранила в коробке, это была моя коллекция. Со временем у меня набралось их уже более двадцати штук, этих памятных железок. Позднее, уезжая из Киева навсегда, я выбросила свою «коллекцию»: сложила осколки во дворе, в углу у забора. А жаль...

* * *

Не помню точно даты, но очень скоро после начала войны в Киев вступили немцы.

Капитуляции города предшествовали бомбежки, обстрелы окраин из пушек... Канонада не прекращалась ни днем, ни ночью, так продолжалось примерно с неделю. А потом наступило какое-то странное затишье. Люди, удивленные, вышли из бомбоубежищ, собрались во дворе, размышляя, что же происходит. Поползли слухи, что красные оставляют город. Раньше все боялись, что Киев будут брать штурмом (тогда бои могут быть прямо на улицах, и это очень опасно!), а теперь все сожалели, что наши войска отступают без боя.

На улицах не было ни красноармейцев, ни милиционеров. Люди поняли, что безвластие дает им неограниченные права, и начались грабежи...

Все, что представляло хоть какую-то ценность, люди стремились унести: грабили магазины, склады, пекарни, кондитерские, мастерские. Напротив нашего дома была кондитерская и при ней булочная-пекарня. Оттуда тащили тесто прямо в мешках и узлах, выносили сахар, повидло, в бидоны наливали патоку (тогда ее называли «малясой»). Рассказывали, что в толпе задавили человека у бочки с малясой, а другой в ней утонул.

Мы с Лидой побежали со Стрелецкой улицы на Подвальную (теперь это Ярославов вал) и увидели, как толпа разбила витрину какого-то магазина. Оттуда стали вытаскивать свертки материи (мануфактуру, как тогда говорили). Те, кто не мог проникнуть в магазин, ждали на улице и набрасывались на успевших схватить рулон мануфактуры, отбирали ее и тут же, в свалке, рвали материю и делили добычу. При этом еще и кричали: «Грабь!», «Бери все!», «Спасайся кто может!»...

Мы пошли дальше, и я вдруг увидела на тротуаре целую кучу значков с изображением маленького Ленина — красивенького кудрявого мальчика. Такие значки носили октябрята, но у меня никогда этой «красоты» не было, а мне очень нравился и хорошенький мальчик, и блестящая эмаль на значке. Я стала собирать эти сувениры, но подруга мне крикнула:

— Дурочка! Эти значки теперь будут запрещены, ведь немцы ненавидят Ленина!

Пришлось мне выбросить эту «красоту».

Мы пошли дальше и увидели странное зрелище: из окон швейной мастерской, занимавшей полуподвал, вылезали люди и тащили швейные машины, куски тканей и еще что-то... Мы с Лидой зашли в мастерскую через двери, открытые настежь. Мне приглянулись разноцветные лоскутки (я могла бы из них сшить куклам платья), и я стала выбирать подходящие кусочки. Лида стояла надо мной и уговаривала бросить это занятие — мол, надо поскорее уходить. Вдруг в мастерскую вбежал человек с револьвером.

— А ну, бросай награбленное! Выходи все! Стрелять буду!

И он выстрелил вверх два раза. Люди кинулись кто куда — в окна, в двери, толкаясь и падая, мы с Лидой вслед за ними.

Потом мы стали рассуждать: кто это был? Тоже грабитель, который хотел один завладеть всем? Или это все же был «страж порядка»? Мы решили, что с револьвером был кто-нибудь из оставленных в Киеве подпольщиков. Он не мог терпеть этого разгула анархии, поэтому и разогнал грабителей.

Мы с подругой тогда благополучно вернулись домой: смотреть на то, что творится на улицах, нам больше не хотелось. Я рассказала бабушке, что видела, и она попросила меня больше не выходить из дома.

— Скоро в город войдут немцы, — объяснила она. — Тогда все это и прекратится. Надо спокойно ждать...

Я видела, как фашисты вступали в Киев. На Крещатике был парад немецких войск, и люди вышли их встречать с цветами, с белыми флагами.

Когда я прибежала на Крещатик, по этой главной магистрали города двигалась колонна мотоциклистов. Прошли какие-то военные машины. Я узнала зенитки, нацеленные в небо, и пушки по их толстым стволам. Особенно меня удивили немецкие кони — огромные, с мохнатыми ногами, шерсть у них нависала над копытами!

Однако самое сильное впечатление на всех любопытных произвели немецкие солдаты: они шли, чеканя шаг, нескончаемой колонной, в красивой парадной форме, бравые, веселые. Все были высокие, стройные, в каких-то особенных военных фуражках, совсем непохожих на головные уборы красноармейцев. В толпе то и дело слышалось: «Вот это армия — не то, что наша! Какие красавцы!..»

В ликовании толпы не было страха, волнения: люди почему-то не задумывались о последствиях оккупации родного города. Я поддалась этому стадному чувству и тоже радовалась, что обстрелы и бомбежки позади...

Я стояла на углу Крещатика и улицы Ленина (очень скоро вернут ее старое название — Фундуклеевская). Огромный универмаг за моей спиной был открыт, оттуда доносились голоса — наверное, еще продолжался грабеж. И вдруг в толпе раздались крики: «Не стойте около универмага, он заминирован! Сейчас универмаг взорвется! Крещатик взлетит на воздух!»

Началась паника: толпа задвигалась, люди толкали и давили друг друга. Я бросилась прочь.

* * *

Но в первый день эти слухи, угрозы не подтвердились. Пожар на Крещатике начался позднее. Мы не знали, почему загорелись сразу все дома на этой улице. Одни говорили, что это месть немцам красных партизан, другие утверждали, что фашисты сами взорвали и сожгли центральную улицу города. Во всяком случае, уничтожение Крещатика было спланировано: в Киеве уже несколько дней не было воды, мы ходили за ней куда-то далеко к колодцам, а центральное водоснабжение было отключено.

И вот на Стрелецкой улице (в трех кварталах от Крещатика) запахло дымом. Мы сразу поняли, что где-то пожар. Но когда побежали смотреть, где же это горит, ужаснулись — пылал весь Крещатик! Я сама видела это страшное зрелище: многоэтажные дома были объяты пламенем, из окон валил черный дым. Горели деревья, как огромные свечи, от пожара на целый квартал шел такой жар, как от раскаленной печи.

Горело три дня, огонь поднимался вверх по улице Подвальной, приближаясь к нам. В нашем дворе началась паника: соседи выносили из квартир вещи, собирались уходить неизвестно куда. Все зависело от направления ветра: если он подует в нашу сторону, то очень скоро пламя перекинется на нашу улицу. Но погода стояла тихая, дождя, к сожалению, не ожидалось.

Я рассказала бабушке о том, что делается во дворе, и просила ее тоже уложить вещи на случай, если придется убегать. Но Анна Павловна, верная своим принципам, панике не поддалась и сказала: «Даст Бог, до нас огонь не доберется! Ведь на нашей улице нет ничего такого, что было бы интересно оккупантам, и нет таких больших домов, в которых они могли бы устроить свои административные учреждения. Так что подпольщики (если это они подожгли Крещатик) не захотят губить мирных жителей. А немцам и вообще ни к чему сжигать весь город, ведь они же собираются здесь остаться!»

Пожар прекратился на третьи сутки — неизвестно, кто и как его остановил, но пламени больше не было: руины отделяли уцелевшие дома от пожарища, где еще долго (недели три!) тлели угли. Я с соседями ходила на пепелище, чтобы унести

недогоревшие куски бревен, головешки, которые пригодятся для печки (предстояла холодная зима, чем будем топить?). «Дрова» эти складывали в сарай во дворе; для меня там отвели отдельное место.

Киев постепенно привыкал к оккупационному режиму. Немцы не трогали мирных жителей, хотя и не заботились о них. За водой мне приходилось ходить к колодцу, спускаясь с Нестеровской горки (теперь это улица Ивана Франко). Нести тяжелый бидон с водой было нелегко, и я то и дело останавливалась отдохнуть. И вот во время такой передышки ко мне подошел немецкий солдат, похлопал меня по плечу и протянул мне красивый, вышитый бисером мешочек (наверное, это был кисет). Я не хотела брать подарок, но немец что-то говорил, улыбаясь, и я поняла, что он меня жалеет и хочет, чтобы я взяла этот сувенир. Я кивнула в знак благодарности и во дворе показывала подарок, удивляя всех соседей.

Через какое-то время нам с бабушкой — как и всем соседям — принесли талоны на хлеб. Это был знак внимания Городской управы — украинского временного правительства, образованного оккупационными властями. Бабушка очень обрадовалась, но, изучив талоны, поняла, что за хлебом нужно идти очень далеко, куда-то на Подол. И только на другой день утром она меня отправила за этой милостью. Я нашла нужный распределитель, где выдавали хлебные пайки, отстояла очередь и к вечеру принесла буханку неизвестного нам дотоле продукта. Это был черствый кирпичик, покрытый золотистой шелухой от проса. Когда мы его стали резать, он рассыпался под ножом, Но на вкус он был похож на хлеб, только очень сухой... Бабушка прослезилась, целовала этот кусок хлеба — так мы по нему соскучились. Ведь долго мы ели только лишь размоченные сухари, от них на деснах были «мозоли», которые болели, если что-то приходилось жевать. Правда, такая возможность у нас бывала редко — ведь запасов на случай голода мы почти не сделали.

И все же люди как-то умудрялись приспосабливаться к оккупации. О нас с бабушкой заботились старые знакомые.

* * *

В сентябре, кажется, одиннадцатого числа, на киевских улицах были развешаны объявления, написанные такими крупными буквами, как афиши.

Приказывали всем евреям в течение суток собраться с ценными вещами в определенном месте. За неподчинение приказу — расстрел.

Я не помню, как тогда было названо место сбора, но все поняли, что немцы указывают на Бабий Яр. Это окраина Киева, вблизи кладбища, что сразу показалось подозрительным. Но ходили упорные слухи, что немцы хотят переселить евреев в Палестину, и этому хотелось верить.

Я побежала к тете Хане помочь ей собраться. Она укладывала вещи в детскую коляску, Сема и Нюма плакали, да и тетя Хана тоже вытирала слезы.

— Ириночка, — сказала она, — я тебе буду писать, чтобы ты могла мои письма передать дочкам Ане и Фиме, ведь они в Москве не будут знать, куда нас погонят. А они догадаются, что я оставила для них письма у тебя, ведь вы с Анечкой так дружили! А сейчас ты возьми Анечкины калоши и пальтишко, зимой они тебе пригодятся, тебе же не в чем ходить...

Я не хотела брать эти вещи, но тетя Хана заставила меня взять. Я проводила маму моей подружки со двора, и она затерялась в толпе со своими плачущими детьми: Сема сидел поверх вещей в коляске, а Нюма семенил рядом, держась за юбку мамы.

Я принесла домой подаренные мне калоши и пальто и рассказала обо всем бабушке. Она только горестно качала головой.

Мне было очень жалко людей, которых немцы выгоняют из Киева, ведь здесь остались самые бедные — старики, малые дети, — те, у кого не было денег, чтобы эвакуироваться. И я, чуть не плача, вышла на улицу посмотреть, как евреи идут к месту сбора. Улица Ворошилова в этой ситуации была главной дорогой, она дальше переходила во Львовскую, а та вела к Сырцу и Бабьему Яру. И вот по этой-то «дороге смерти» двигался нескончаемый поток людей — толпа плотная, как на параде. Только не колоннами, а группами — родственники, соседи, знакомые. Многие везли

детские коляски — с маленькими детьми или вещами. Хуже было тем, кому приходилось свой скарб нести: они сгибались под тяжестью мешков, чемоданов, узлов; присаживались передохнуть и снова шли, покорно, без слез и проклятий.

Я с ужасом наблюдала за этим людским потоком. И вдруг какой-то старик обратился ко мне, присев на свои вещи: «Деточка, я больше не могу нести все это, возьми себе мой узел. Я пойду дальше без вещей».

Я убежала, а он протягивал вслед мне руки, умоляя вернуться.

На другой день со стороны Бабьего Яра стала доноситься стрельба. Соседский мальчишка Алик выбежал мне навстречу и, показав жестом, как строчат из автомата, закричал: «Это жидов расстреливают!». Но когда я рассказала об этом бабушке, она замотала головой: не верь этому, моя девочка! Этого Господь не допустит!.. Но сама-то она, видимо, поверила, потому что сникла и долго сидела молча, устремив невидящий взор в окно. Я тоже молчала, вздыхая. Еще через день о трагедии в Бабьем Яру уже говорили открыто, и всем стало ясно, на что способны оккупанты.

* * *

Надвигалась холодная и голодная зима. Знакомые мамы пришли к бабушке и посоветовали ей отдать меня в детский дом. Они узнали, что в Киеве создан детский дом для детей, у которых большевики арестовали родителей. Меня туда могут взять, иначе зимой можно умереть с голоду. Бабушка согласилась, и эти добрые люди отвели меня в детский дом, организованный украинским временным правительством.

Директор детдома Вера Тихоновна Багила, в прошлом учительница, умело организовала в нем жизнь детей. Здесь не было возрастных групп, дети сами выбирали себе младших и старших «братиков» и «сестричек», с которыми жили в общих комнатах. Все дружили, старшие ухаживали за маленькими, большие помогали на кухне, убирали в доме, мыли полы, стирали. Все было как в большой семье. А взрослые хлопотали о пропитании: ходили по деревням с мешками, выпрашивая для детей муки, картошки, пшена. И как ни странно, крестьяне что-то им давали.

Наверное, было и какое-то официальное снабжение этого детдома. Я помню, приходили немецкие офицеры посмотреть, как нам живется. Для такого случая нас даже подготовили — разучили какую-то немецкую песню, мне поручили читать стихотворение на немецком языке (ему нас учила воспитательница, она же была и переводчицей во время этого визита).

Все обошлось благополучно, хотя в детдоме были свои тайны: у нас жили две девочки еврейки, их прятали от посторонних глаз. А со временем Багила привела с улицы еще и мальчика-еврея. Он во время расстрела его родителей спрятался за мраморным памятником на кладбище и спасся. Этот мальчик был очень странный: он удивлял всех тем, что ел гусениц, не хотел ни с кем дружить и все время молчал.

В детдоме с нами занимались воспитатели: с утра — немецкий язык, родная литература (помню стихи, которые там учили), рукоделие и даже пение. Да, дети пели хором украинские народные песни под руководством какого-то бывшего артиста. Все это казалось странной игрой, потому что мы все время думали лишь об одном: как бы дожить до обеда, до ужина. А когда ложились спать, то долго перебирали солому в матрасах, стараясь в колосках найти зернышки. Иногда удавалось выискать два-три зерна пшеницы или ржи и долго их жевать, пока не уснешь. Даже порой удавалось погрызть поджаренное осиновое полено, вытянув его из печки — оно пахло как хлеб или коржик. Есть хотелось постоянно, мучительно!

Если давали кусочек хлеба, я старалась приберечь его для бабушки. К ней меня отпускали, и я часто навещала ее, несмотря на морозы. Удивительно: в холоде, голодная, среди чужих людей, я в ту зиму не заболела, а ведь в мирное время у меня постоянно то горло болело, то был кашель, насморк, даже воспалением легких я успела переболеть до войны. Теперь, в легкой одежке, я бегала по морозу к бабушке, утешая ее и успокаивая себя: моя бабуся жива, ее подкармливает соседка, которая стала работать в столовой у немцев. Эта тетя Ната приносила бабе Нюсе то суп, то кашу, а то и кусочек хлеба, оставляя на нее свою пятилетнюю дочку.

Приближалась весна, и Вера Тихоновна решила проверить здоровье детей; нас

отвели в поликлинику на рентген (наверное, боялись, как бы у детей не было туберкулеза). Помню, как я подошла к рентгенологу и как он, глядя на меня, прослезился: перед доктором стоял не ребенок, а скелет, обтянутый кожей. Он спросил, как меня зовут, и, узнав, что я дочка Бориса Антоненко-Давидовича, украинского писателя, стал что-то шепотом говорить воспитательнице. Может быть, он нашел у меня в легких затемнения, а может, просто хотел предостеречь против возможного заболевания.

После этого меня и еще нескольких девочек постарше решили послать на поправку в Западную Украину. С наступлением тепла нас — человек семь — на поезде отвезли в Клевань Ровенской области, в местный детский дом. Не знала Вера Тихоновна, на какие испытания меня обрекла, желая поправить мое здоровье.

* * *

О клеваньском периоде моей сиротской жизни вспоминаю как о жутком кошмаре. Детдом, куда меня вместе с другими киевлянками привезли для поправки, был жалкой богадельней для сирот. Детей очень плохо кормили: на завтрак — горячая вода, закрашенная суррогатом кофе с сахарином, и кусочек сухаря. Днем все дети расходились кто куда — просить милостыню или искать чего-нибудь поесть в парке или в лесу: ели траву (заячью капусту, щавель), очень вкусными казались цветки акации, сыроежки. А если в лесу удавалось найти кустики черники или еще каких-то лесных ягод (их называли волчьими), то это считалось счастьем. Самые бойкие промышляли на базаре — наверное, там они что-то крали или выпрашивали. Но я от таких детей была далека, научилась только находить «подножный корм», поэтому постоянно была голодная. Вечером нам давали что-то на ужин — похлебку или пшенную кашу и кусок сухаря. Но этого было мало...

Девочки, которых привезли сюда вместе со мной, решили бежать и пешком добираться до Киева. Им было по пятнадцать-шестнадцать лет, но мне сразу сказали, что я еще мала, так что в такой далекий путь меня не возьмут. Не доросла до побега и еще одна киевлянка — Оксана, ей, как и мне, было десять лет.

Готовясь к побегу, старшие девочки собирались в окрестных деревнях выменять на продукты свою одежду. Я увязалась за ними со своими вещами: у меня было старенькое платье с некрасивой вышивкой (когда-то моя тетка училась на нем вышивать — разными стежками, беспорядочно размещая на ткани какие-то узоры) и еще носочки, детский лифчик с пуговками, к которым когда-то пристегивались резинки от чулок. Над таким «добром» можно было только посмеяться, но я надеялась: а вдруг кому-то и мои одежки пригодятся, и тогда мне за них что-нибудь дадут...

Девочки успешно меняли свои платья, кофты на хлеб и сало, переходя от деревни к деревне. Я едва успевала их догонять и показывала хозяйкам, торговавшимся с подругами, свои вещи, вызывая насмешки и неизменный отказ. Но вот одна молодица посмотрела на меня внимательно, взяла все, что у меня было, не разглядывая, и вынесла мне из хаты буханку хлеба и бутылку молока. Это была, конечно, милостыня, но тогда я этого не поняла, я схватила продукты и побежала догонять подруг.

Когда мы принесли выменянные продукты в богадельню, главная забота была — уберечь все это, чтобы местные дети не отняли. С нами не ходила менять одежки Оксанка. Теперь мы с ней вместе стали есть принесенный мною хлеб, пить молоко. Мы могли бы сразу проглотить все, что было, но нам объяснили, что, если съесть так много за один раз, можно умереть — ведь буханка хлеба была большая, украинская паляница — круглая, мягкая!.. Я поняла, насколько опасен такой ужин, и спрятала полбуханки — съедим завтра на обед.

На рассвете старшие девочки тайно ушли из богадельни. Потом стало известно, что они добирались до Киева недели две, просили милостыню по деревням, ночевали в стогах сена или у добрых людей, дававших им приют. И все же они вернулись домой! А нам с Оксаной пришлось остаться, и меня ждала печальная участь.

Мучил голод, тоска по дому. Правда, несколько раз я побывала в гостях у новой воспитательницы, которая угощала меня булкой с вареньем. А когда всех детей заставили ходить в школу, девочки-соученицы приглашали меня и Оксану к себе

домой и кормили. Но это только счастливые исключения из череды тягостных голодных дней.

Занятия в школе очень напугали нас: все было не так, как в нашей советской школе. Урок начался с молитвы. Мы, конечно, не умели молиться, не знали слов, которые ученики произносили хором. Я догадалась встать, а Оксана — та вообще и вставать не стала. Учитель потом долго потешался над этой сценой, повторяя: «Пришли к нам две девочки, мы молимся, а они не хотят даже встать!» Эта фраза стала своеобразной дразнилкой для нас.

На уроках учителя били нерадивых учеников, особенно злым был математик Ковалевский: он бил детей линейкой, раздавал пощечины и у мальчишек на голове даже выщипывал волосы. Нас с Оксаной он не наказывал, понимая, наверное, что с детьми из Советского Союза надо быть осторожнее. Но я все время боялась, что учитель и меня вдруг побьет (впрочем, я всегда отвечала правильно).

Ученики сразу невзлюбили меня, а я — нарочно, чтобы отличаться от местных хулиганов, стала говорить по-русски, хотя все говорили на украинском языке с польским акцентом (ведь до тридцать девятого года Клевань входила в состав Польши). Меня стали дразнить: «Советка, советка!». Заступиться за меня было некому. Так прошли недели две школьных занятий.

* * *

Но вот в моей жизни произошел перелом: девочка из четвертого класса стала напрашиваться мне в подруги (она тоже говорила по-русски), пригласила к себе домой, и ее родители захотели оставить меня у них жить: мол, их дочке будет подружка-сиротка. Никаких формальностей не потребовалось, просто я не вернулась в богадельню, как раньше, а с моей названой сестрой Ирой осталась у нее дома.

Оксану как раз в то время отправили в Киев, а обо мне и не вспомнили, хотя я с радостью поехала бы в «свой детский дом». Здесь же мне приходилось жить на правах сироты, для забавы набалованной дочки тети Кати и дяди Лени. Приходившие к ним в гости соседи, глядя на меня, говорили:

— Ну, как ты тут, сиротка, живешь? Плохо тебе здесь, вдали от дома?

Мне действительно было плохо: Ирка то и дело меня толкала, щипала и даже била; пожаловаться или дать сдачи я не могла и только тихонько плакала в уголке. Тетя Катя этого не замечала. У нее была другая забота — как уберечь мужа от мобилизации. Он был призывного возраста, но почему-то не воевал, а работал бухгалтером на лесопилке. Каждую ночь тетя Катя прятала его в дальней комнате, дверь в которую заставляла шкафом — на случай если придут немцы или партизаны с облавой. Говорили, что такое случалось.

Жила эта семья со своего хозяйства: сад, огород, куры, даже поросенок. Тетя Катя была набожной и доброй женщиной: с другими такими же ее подругами они старалась помочь нашим пленным и по воскресеньям в лагерь, где их содержали немцы, она носила еду: борщ в бидоне, испеченный ею же хлеб. Рассказывала, как с подругами они договаривались идти вместе к лагерю военнопленных, получали разрешение охранявших их немцев и раздавали голодным обед. Это был, конечно, подвиг!

Ко мне тетя Катя была тоже добра: сажала за стол вместе со своей дочкой, кормила нас одинаково, не заставляла работать — всю грязную работу делала сама. Однако была проблема с одеждой: Ире родители шили обновки, она была одета хорошо, а я ходила в каком-то старом заплатанном платье. И к зиме у меня ничего не было. Это заставило моих благодетелей задуматься. И вот что они придумали: надо мне съездить в Киев к бабушке за вещами для себя. Но как туда добраться?

* * *

Соседские юноши собирались в Киев якобы для поступления в немецкое военное училище (им было по шестнадцать лет), в комендатуре им уже дали пропуска и билеты на поезд, так что меня они соглашались взять с собой — авось да получится! Сами-то эти ребята не хотели поступать к немцам в училище, просто решили поехать

посмотреть столицу, прогуляться, а потом как-то вернуться домой. Отчаянная затея! Ведь на обратный путь у них уже не будет ни пропусков, ни билетов. Ну да это их дело! Если повезет, то они вернутся, и я вместе с ними.

У меня не спрашивали, хочу ли я рискнуть присоединиться к Стасу и Нике, а дали посылку для бабушки (в коробке была жареная курица и хлеб, по тем временам — чудо!) и познакомили с моими попутчиками — веселыми парнями, свободно говорившими по-немецки и по-польски.

Они нашли общий язык с немецкими солдатами, ехавшим в Киев, и те согласились взять меня в вагон вместе с Никой и Стасом. Военный состав шел без остановок, и скоро мы прибыли к месту назначения. Действительно повезло! Ведь на этой железнодорожной магистрали тогда очень часто поезда летели под откос — это же был партизанский край!

Возвращение в Киев, встреча с бабушкой — это для меня была такая радость! Я настояла, чтобы баба Нюся съела сама привезенные мною подарки — курицу, хлеб, яйца, убедив ее, что я у тети Кати все это ем, сколько хочу. Бабушка радовалась за меня, ведь главная ее забота была — чтобы я не голодала, не заболела.

Я умоляла бабушку не посылать меня обратно; плакала, говорила, что скучаю по ней, по родному дому. Правда, признаться ей, как там меня обижают, я не решилась: не хотелось мне волновать мою любимую бабу Нюсю. А может быть, и надо было рассказать ей о моей жизни в чужом доме как сиротки, тогда бы она не настаивала на том, чтобы я туда возвращалась. А так бабушка категорически заявила, что я должна вернуться в добрую семью, которая меня приютила, потому что в Киеве нас ждет голодная и холодная зима. Бабушка не видела другого способа спасти меня, сама же она была готова ко всему — будь что будет!

* * *

Ника и Стас пришли за мной, как обещали, чтобы вместе ехать в их родные места. Правда, теперь уже у них не было разрешения на такую поездку, а была только надежда на везение: авось да как-нибудь доберемся! Бабушка это знала, и все же она решилась меня отпустить с этими отчаянными парнями. Мне, как послушному ребенку, пришлось покориться, и я ушла со слезами из родного дома.

На вокзале в Киеве было много военных составов. Ника и Стас заводили разговоры с немецкими солдатами, которые в них садились и были готовы к отправлению. И вот один из поездов показался моим юношам подходящим: он направлялся в Германию, ехать надо было через Западную Украину, через Польшу. Значит, поезд проследует и через Клевань. Так они решили и попросили немцев, те взяли меня в вагон — пусть, мол, эта девочка поедет с вами до нужной станции, а потом мы ее заберем.

Как ни странно, солдаты со смехом посадили меня в свой вагон и еще долго по этому поводу что-то болтали на незнакомом языке. Я ничего не понимала и боялась только одного, чтобы они не увидели во мне женщину и не стали «ухаживать». Я помнила, как в Клевани рассказывали, что девушек, которых угоняли в Германию, нарочно поместили в особый вагон и «отдали солдатам» дня на три, а уж потом направили на принудительные работы. Я поняла, что означало «отдали солдатам», и больше всего в жизни стала бояться насилия. А ведь теперь я одна оказалась в вагоне среди немецких солдат. Вдруг да они захотят развлечься?.. Правда, я была еще ребенком, к тому же худым, изможденным, жалким. Мне тогда было десять лет, но выглядела я лет на восемь.

Но выбора у меня не было, нужно было смириться и не думать о плохом, страшном. Поезд тронулся и стал набирать скорость.

Меня посадили на скамейку с шутками и грубым смехом. Я сжалась в комочек и смотрела на немцев как затравленный волчонок, не отвечая на их попытки растормошить меня. И они утихомирились, расположились поудобнее и стали дремать, хотя было еще светло, часов пять-шесть.

Поезд шел без остановок. Я стала опасаться, туда ли он едет, куда мне нужно. Я даже спросила у офицера, сидевшего напротив меня, по-немецки: «Вогин гейт дизер цуг?» (горе заставило меня вспомнить эти слова, ведь меня учили в детском доме

немецкому языку!). И как ни странно, немец понял мой вопрос «Куда идет этот поезд?» и ответил: «Нах Берлин!» То есть «В Берлин». Меня это не утешило, ведь я не знала, что он должен проследовать через Клевань. Я стала еще больше волноваться.

Стало темнеть, немцы устраивались на ночлег — разлеглись на всех полках, на полу. И на скамейке, где я сидела в уголочке, для меня уже не осталось места — кто-то вытянул ноги, и мне пришлось встать. Я прислонилась к окошку. А надо заметить, что в этом вагоне, в самом конце, куда меня посадили, у последнего окна была и дверь: через нее можно было выйти наружу и спуститься по ступенькам на землю. Такие странные вагоны были тогда у немцев (может, это сделали для того, чтобы в случае бомбежки или обстрела поезда солдаты могли быстро из него выскакивать).

И вот я стою у такого окна-двери, в вагоне раздается храп. Темно... И вдруг один солдат поднимается и, переступая через лежащих на полу, направляется ко мне. Я страшно испугалась, забилась в угол, ожидая нападения. Но немец приоткрыл дверь и помочился. Вслед за ним то же самое проделали и другие, не обращая на меня никакого внимания.

Я облегченно вздохнула и стала смотреть в окно. Из-за туч выкатилась полная луна, она осветила поля, деревья, мелькавшие за окном. Я всматривалась в окрестности, стараясь увидеть станцию или вокзал. И вдруг я заметила, что от поезда в поле остается тень: по земле мчатся темные силуэты паровоза и вагонов. А за вагоном, в котором я стою, на буферах качаются две тени — мои спутники! Значит, я еду не одна, значит, они тоже на буферах, в этом же поезде! Боже, может быть, мы действительно сможем приехать вместе в Клевань? После всех пережитых страхов мне не верилось в такое счастье...

Поезд приближался к большому вокзалу. Остановка! Солдаты в вагоне стали просыпаться, задвигались, кто-то открыл дверь, вышел. Ко мне подбегают Ника и Стас, они живы, смеются: «Ну, как ты тут, Иринка? Не спишь? Скоро мы приедем, жди, когда придем за тобой! Мы тебя снимем с поезда».

Наверное, им удалось упросить машиниста, чтобы тот снизил скорость перед поселком, где нам надо было сойти. Во всяком случае, и тут нам сопутствовала удача: поезд шел очень медленно, ребята подбежали к моему вагону, открыли дверь и схватили меня на руки, когда я готова была выпрыгнуть. Солдаты в вагоне в это время не спали, они помогали мне. Помню, что вслед за мной из вагона выпал чей-то сапог и немец кричал, чтобы его вернули, причем Ника успел его поднять и забросить в вагон! Мы кричали «Данке! Данке!», и нам отвечали из вагона тоже «Данке», то есть «Спасибо!». Так закончилось это безумное путешествие.

Однако счастливый конец одного происшествия вовсе не означал, что и в дальнейшем мне будет везти. Меня ждали новые испытания, и не раз еще я пожалею, что не осталась в Киеве с бабушкой.

* * *

Самое страшное меня ожидало в школе, в третьем классе, где учителем был глупый, беспомощный Бадзгер — мужчина средних лет, косноязычный и туповатый (ведь не случайно он не был мобилизован). Он наблюдал, как складываются в классе отношения между мной и остальными детьми — неуправляемыми хулиганами. С самого начала они меня дразнили «советкой» и очень скоро стали по-настоящему травить.

Мне постоянно угрожали, что поймают и замучают (в записках объясняли, как будут надо мной издеваться, кто первый начнет, кто будет держать и так далее). В нашем классе была еще только одна девочка, остальные — мальчишки — переростки. Одному, по фамилии Дзеньго, лет шестнадцать (о нем рассказывали, что он родную мать бьет); от него по хулиганству не отставали близнецы Павловичи (эти чувствовали себя безнаказанными, потому что их старший брат был полицаем). Они часто водили с собой овчарку, наводившую страх на всю школу. Другие ученики слепо подражали этим главным хулиганам, подлизываясь к ним. Учитель Бадзгер тоже их боялся, поэтому на уроках у него было что-то жуткое — никто не хотел заниматься, все ждали звонка, чтобы дать волю «злой игре», объектом которой чаще всего была я, ненавистная советка.

Когда приближался конец занятий, учитель становился у двери и говорил:

— Яриноцко, бижи! Я тут их затрымаю (то есть задержу).

Я срывалась с первой парты и убегала, а Бадзгер старался сдерживать сколько мог толпу хулиганов. Но его хватало ненадолго: они отталкивали учителя и выбегали из класса. Я успевала оторваться от преследователей метров на сто, бежала и слышала за спиной: «Догоняй! Окружай! Заходи сбоку!.. В этот раз не уйдешь!.. Стой!..»

На пути у меня были «спасительные остановки»: столовая, какой-то домик, из которого выглядывала старушка, чей-то фольварк — парк, куда можно было залезть в известную только мне щель в заборе и спрятаться в кустах. И я там укрывалась, пережидая (иногда подолгу), когда мальчишки разойдутся или направятся в другую сторону, по ложному следу.

Домой я приходила намного позже своей «сестры» Иры, которая знала, что меня задержало, и как-то раз объяснила это тете Кате. Моя приемная мать расстроилась и сказала:

— Надо жаловаться коменданту или в полицию.

— В полиции брат хулиганов-близнецов, он их защитит. А немецкий комендант вряд ли поверит, что все это серьезно, подумает: дети играют. Он не станет вмешиваться — объясняла я, рыдая.

Тогда тетя Катя задумалась и посоветовала:

— А ты, Иринка, перестань удирать! Может быть, они и не будут тебя бить? Попробуй хоть раз не убегать, посмотрим, что будет. Если побьют, тогда я пойду жаловаться. А то ведь — и правда, на что жаловаться, если тебя еще ни разу не побили.

И я решила: придется мне отдать себя на растерзание, тогда она поймет, что это серьезно. С ужасом я ждала окончания уроков. А когда Бадзгер встал у двери и, как всегда, крикнул мне: «Беги, я их задержу!», я спокойно вышла из класса и направилась к дому.

Хулиганы выбежали и, удивленные, с угрозами стали подходить вплотную. Я прислонилась к школьному забору (чтобы не упасть, когда начнут бить) и, глядя в лицо своим мучителям, заявила:

— Ну, что? Хотите побить меня? Так бейте! Бейте! Я больше удирать не буду.

Произошла заминка, они стали орать, угрожать мне. Но тут в толпу врезался самый старший, Дзеньго и, размахивая доской, оторванной от забора, закричал:

— А ну разойдись! Кто ее тронет, — будет иметь дело со мной! А ты иди, советка, и не бойся. Они тебя больше не тронут!

В тот день все обошлось благополучно. Тетя Катя радостно воскликнула:

— Вот видишь, я же говорила тебе: не надо убегать — иди спокойно, и все.

А мне не верилось, что этим все кончится. Я ждала: что же будет дальше?..

И действительно, это была лишь передышка — всего на один день. Назавтра на уроке рисования Дзеньго подсел ко мне за парту и сказал:

— Я буду тебя защищать, а ты рисуй мне в моей тетради и решай за меня все задачки. Я сяду на первую парту и буду у тебя все списывать. — Я его очень боялась и ненавидела, но у меня хватило сил сказать «нет». Он показал мне кулак и пригрозил: — Ну, тогда сегодня после уроков узнаешь, что мы с тобой сделаем (он намекнул на самое страшное, чего я больше всего боялась).

И опять я с ужасом удирала от преследования, бежала и падала, вскакивала в столовую, где уже знали, что меня надо спрятать, просила укрытия в незнакомом доме у доброй бабушки и, еле живая, прибегала домой. Тетя Катя поняла, что заставить меня подружиться с хулиганами не удается, и выжидала, чем же эта «игра» закончится. Прошло несколько дней, напряжение нарастало.

Мои враги изменили тактику и, зная дорогу, по которой я возвращаюсь домой, решили встретить меня в лесопарке, откуда до нашего дома было минут пять ходьбы. Но место это было безлюдное, так что расправиться со мной им было бы очень легко. Я ни о чем не догадывалась и, как всегда после уроков, пустилась бежать, не заметив даже, что за мной гонятся не все мои враги, а лишь некоторые. Но и они наводили страх: кричали, угрожали — как и раньше.

Они преследовали меня, но все же не настигали, так что я успела промчаться через лесопарк. А на выходе из него увидела толпу озверевших хулиганов с Дзеньго во главе. Павловичи стояли тут же с овчаркой, готовой броситься на меня. Повернуть обратно в лесопарк было бы верной гибелью — там-то уж не от кого ждать помощи. Но и тут не было ни одной живой души, только мои враги. И я пошла прямо на них, глядя своей гибели в лицо:

— Ну что, поймали меня? Хотите убить? Убивайте, убивайте! Только скорее! Нечего тянуть... — Они окружили меня и замерли в нерешительности. А я кричала: — Кто первый ударит? Кому я мешаю жить? Кто хочет моей смерти?..

И вдруг самый маленький мальчишка, латыш Виникайтус, как заорет, рыдая:

— Отпустите ее! Не бейте! Она же сирота! Нельзя обижать сироту!

Этот крик нарушил оцепенение моих врагов: они набросились на Виникайтуса, стали спорить, драться, орать. Собака Павловичей лаяла, рвалась с поводка... Я стояла как вкопанная, но бандиты словно забыли обо мне: началась общая потасовка, в которой мне не отводилось роли.

За меня они возьмутся потом, думалось мне, но воспользоваться моментом и убежать я не могла: ноги подкашивались, я вся дрожала и готова была упасть без сил.

Однако крики и собачий лай привлекли внимание людей, которые, очевидно, наблюдали за происходящим из окон. И соседи с палками, а может, и с топорами, вилами, повыскакивали на улицу и бросились разгонять хулиганов. Среди моих спасителей была и тетя Катя. Подскочив ко мне, она схватила меня за руку и потянула домой. Так закончился этот ужасный день.

Дня два меня не посылали в школу, я оставалась дома. Но из окон я заметила, что за нашим домом установлено наблюдение: мои школьные враги расхаживают по улице, словно выжидая, когда я выйду. А я не выходила даже во двор...

Но вот моя названая сестра сказала, что в школе ждут инспекцию из Ровно: кто-то должен приехать проверять, как поставлена работа учителей, чему они нас учат. Бадзгер просил меня прийти, потому что я хорошо училась и на уроке могла бы показать свои знания — ведь ему придется спрашивать учеников. Он, конечно, боялся, что его педагогическая работа получит плохую оценку. Пришлось мне идти в школу.

На занятиях в присутствии инспектора я не подвела своего учителя. Он что-то говорил приехавшему с проверкой, и когда закончились уроки, меня попросили остаться. Инспектор спрашивал меня об отце-писателе, о том, как я оказалась в Клевани. А потом Бадзгер и этот инспектор решили проводить меня домой. Они шли рядом, а вслед за нами собиралась ватага хулиганов.

И началось: «Догоняй! Окружай! Заходи сбоку!..»

В меня бросали камни, кто-то ухитрялся подскочить и ударить палкой по голове, кто-то дергал за платье, выкрикивая угрозы. Взрослые мужчины взяли меня за руки и старались заслонить собой от ударов, но открыто сражаться с толпой разъяренных переростков они, конечно, не могли. Под таким сопровождением я добралась до дома, и приехавший в школу инспектор захотел поговорить с моими благодетелями.

Дома была тетя Катя, она объяснила ему: мол, ни разу Иринку эти хулиганы не побили, а она все бегает и бегает от них.

И тогда приехавший из Ровно старик сказал:

— Вы несете ответственность за жизнь этой девочки, вы даже не понимаете, как далеко зашла эта страшная «игра» с преследованием ребенка: ей действительно угрожает жестокая расправа. Остановить трагедию можно только спрятав девочку. Я обещаю вам забрать ее в Ровно и переправить в Киев, я пришлю за ней коллегу или сам приеду. А вы пока не выпускайте ее из дому ни на минуту. Пусть она сидит дома и ждет посыльного от меня.

Эта беседа напугала тетю Катю не на шутку, теперь и она поверила, что мне действительно угрожает опасность. Меня не посылали в школу: я была как бы под домашним арестом. Мои благодетели рады были бы от меня избавиться, потому что сами стали бояться хулиганов. А что если они побьют окна в доме или, еще хуже, подожгут сарай? Да мало ли чего!.. Ведь около дома все время кто-то ходит, что-то высматривает. И жаловаться было некому и не на что, а страх поселился в доме.

* * *

И вот как-то утром возле наших ворот остановилась «бричка» (так там называли лошадиную повозку), возница спрыгнул с нее и стал стучать в окна. Это приехали за мной! Я не верила своим глазам, но это был не сон: и лошадь — рыжая с мохнатыми ногами (таких я видела у немцев, когда они вступали в Киев), и посыльный, разыскивающий дочку писателя Антоненко-Давидовича — все было на самом деле. Тетя Катя обрадовалась несказанно, быстро собрала мои вещички и посадила на бричку. Так страшная страница моей клеваньской эпопеи была закрыта.

В Ровно меня встретили какие-то добрые люди, знавшие писателя Бориса Антоненко-Давидовича. Они стали меня угощать удивительно вкусными вещами — котлетами с картошкой, к чаю подали булку с вареньем, даже конфеты для меня у них были. Я в тот день много ела, и у меня очень заболел живот. Со мной нянчились, давали лекарство, грелку. Но все же я была счастлива: скоро я буду в родном доме, с бабушкой.

Несколько дней я пожила в Ровно, у добрых людей; к ним приходили знакомые, чтобы посмотреть на меня (уж не знаю, что во мне их интересовало — моя родословная или страшная судьба девочки, которую едва не растерзали). Мне предлагали остаться на правах приемной дочери, но я твердо решила вернуться в Киев, и с этим должны были считаться мои спасители. Через три-четыре дня меня посадили на поезд с каким-то благородным стариком, который привез меня в родной город, домой.

Весна 1943 года в моей судьбе оставила яркий след. Мое возвращение в Киев вызвало кое у кого большой интерес ко мне как к дочери известного писателя (может быть, из Ровно пришла сюда весть о моей судьбе?). К нам с бабушкой стали приходить разные гости с подарками — то с булкой, то с мешочком муки, то с куском сала. Меня наперебой приглашали в дома украинцев, знавших о моем отце. Вспомню некоторых моих доброжелателей того времени.

Жена известного украинского поэта Евгена Плужника Галина жила в Киеве с богатым коммерсантом, приехавшим сюда с Западной Украины. Они часто звали меня к себе и сытно кормили, а еще, провожая, давали подарки (причем муж Галины даже тайно от жены всегда старался всучить мне добрый кусок сала). Сестры Галины Плужник — Тася и Ольга когда-то дружили с моим отцом (Тася даже говорила, что он за ней ухаживал). Они меня водили гулять по Киеву. Помню, как однажды мы пошли в ботанический сад по случаю какого-то праздника (наверное, на Троицу). Меня удивила публика в этом саду: недалеко от входа на скамейках сидели разряженные женщины, словно выставляя себя напоказ, и у каждой все пальцы были в кольцах, причем многие надели эти кольца поверх белых перчаток. Видимо, это был смотр местных кокоток, предлагавших себя офицерам. Но тогда я этого не поняла.

На именинах у Ольги я увидела среди гостей немецких офицеров, один из них сидел рядом с ней как близкий друг. На столе стояло прекрасное, по тем временам, угощение, и сестры Галины Плужник уговаривали меня есть побольше. (Забегая вперед, скажу, что после окончания войны Галина оказалась в Америке, а ее сестры были сосланы в Сибирь за сотрудничество с оккупантами.)

Эти же мои взрослые друзья пригласили меня к своим знакомым в сад собирать урожай вишен (хоть поешь вишен вдоволь!). Видимо, они хотели меня представить другим любопытным поклонникам украинского писателя, моего отца. Сад с вишнями был на окраине Киева, на Соломенке (не знаю, остался ли в городе этот район с таким забавным названием). Тут я оказалась в центре внимания: со мной возились, кормили, один из гостей даже меня сфотографировал! Эта фотография хранится у меня до сих пор — худая, заморенная девочка в панамке с печальным недетским лицом.

Этого «фотографа» звали Юрко, он записал мой адрес и пообещал прийти в гости. С его визита в моей жизни началась новая полоса. Как это было? Расскажу, потому что, не повстречай я этого юношу, меня бы уже давно не было на белом свете.

Юрко пришел к нам с бабушкой вместе с другим молодым человеком. Они расспрашивали меня и бабушку, как мы тут живем, чем можно помочь. Потом попросили показать семейные фотографии, рассматривали наш альбом. Уходя, вроде как

забыли на диване какой-то ящик. Бабушка послала меня догнать их и сказать, чтобы вернулись за ним, но гости смутились, объяснив, что они принесли нам в посылке продукты (видимо, постеснялись об этом сказать и просто оставили подарок на диване).

В этом ящике были невиданные по тем временам лакомства: печенье, хлеб, булка, варенье, масло, крупа и даже шоколад! Бабушка была потрясена, и я не меньше. Вскоре Юрко снова проведал нас и попросил бабу Нюсю, чтобы она разрешила ему познакомить меня с одними хорошими людьми. Бабушка согласилась, и я с Юрком пошла в гости к этим его друзьям.

Как выяснилось, они жили на одной лестничной клетке в доме на улице Кузнечной, недалеко от здания Киевского университета и парка Шевченко (замечательное место в центре Киева!). Юрко объяснил, что его соседи ему как родные: они воспитали его, и теперь он работает у своего приемного отца на его предприятии.

Со временем я узнала, что этот господин — владелец сахарного завода под Киевом, как когда-то его родители, которые после революции эмигрировали на Запад. Юрко ведает бухгалтерскими делами, помогая отцу. И хотя юноша призывного возраста должен был бы воевать, но его приемным родителям удалось выхлопотать ему отсрочку от военной службы.

Все это тогда, в 1943 году, казалось неправдоподобным, но я могла убедиться, что это действительно так: мой взрослый друг привел меня в дом своих воспитателей, и я узнала их поближе.

Самого главу семьи я не увидела, но вышла к нам красивая пани, его жена. В семье было два ребенка: мальчик лет восьми и девочка пяти лет — Леся. Вот с этой Лесей меня и хотели подружить, потому что она скучала: брат ее был болен (он когда-то выпал из окна и с тех пор плохо говорил и еле передвигался). В доме была няня, но и с ней, и с мамой Лесе было невесело, не было у нее подруг.

Я сразу полюбила эту хорошенькую девочку, и мы стали дружить. Я часто приходила к ней, мы играли, мама ее всегда старалась нас вместе усадить обедать (для меня это было чудесно, а Леся со мной охотнее ела). Я ей читала ее книжки и приносила свои. Лесю отпускали со мной гулять в парке Шевченко. Ее мама все больше привыкала ко мне, она даже сшила мне платье, красивую розовую шелковую блузку и юбку-клеш — наряды, каких у меня в жизни никогда не было.

Юрко часто приходил к нам с бабушкой и забирал меня в гости к себе или к Лесе. Первое время баба Нюся боялась отпускать меня одну с ним и говорила: «Смотри, ни в коем случае не садись к нему на колени! И если он вдруг начнет тебя целовать, скажи ему: "Я уже не маленькая, не надо этого делать"».

Я была поражена ее подозрениями, не допуская мысли, что Юрко может меня обидеть. Потом я не раз убедилась в его порядочности. Он никогда не позволил себе чего-то пошлого; единственный жест как проявление нежности у него было стремление взять меня за руку. Когда мы вместе шли по улице, а тем более, когда прогуливались по парку, он держал меня за руку. Он развлекал меня рассказами о себе, о своем детстве. Какое-то время ему пришлось учительствовать, и он сумел заинтересовать школьников настолько, что в его классе была замечательная дисциплина.

Однажды Юрко пригласил меня в кино, фильм был для взрослых: невинную бедную девушку соблазняет какой-то богач, у которого она служит горничной. Смотреть откровенные эротические сцены было очень неловко. Юрко опускал голову, отворачивался, а я не знала, что и делать: вертела головой, демонстрируя полное отсутствие интереса к сюжету. К счастью, таких сцен было немного, но после этого кинопросмотра Юрко больше никогда меня в кино не водил.

Он часто брал меня на встречи со своими друзьями и подругами. Среди них были очень молодые и красивые девушки, и, как мне казалось, они старались показать свою симпатию к нему, но он этого вроде как не замечал, уделяя больше внимания мне. Конечно, это меня удивляло, я не могла не гордиться тем, что со мной водится такой замечательный юноша. А баба Нюся призналась, что если бы она встретила такого парня в молодости, то не могла бы не влюбиться.

Мы с ней называли Юрка «молодым дядей», он не был похож на «дядю», но и просто по имени я не решалась его называть, так что старалась не обращаться к

нему, он же звал меня Яриночкой — по-украински. Говорили мы на родном языке, в его речи заметен был польский акцент. И выглядел Юрко не так, как киевляне; он всегда был наряден: в вышитой гуцульской сорочке, в отглаженных брюках и лакированных туфлях (во всяком случае, к нам он приходил таким и у себя дома он меня встречал тоже нарядным).

Я себе призналась, что люблю Юрка, и стремилась как можно чаще видеться с ним.

Но в конце лета 1943 года в Киеве почувствовалось приближение фронта: каждый день слышалась канонада, город часто бомбили, на улицах можно было увидеть много военной техники. Стало ясно, что наши войска наступают и скоро Киев станет советским. Об этом шептались в нашем дворе соседи, радуясь концу оккупации, об этом задумались и те, кто приехал с Запада, желая вернуть себе потерянные из-за революции земли и начать здесь свое дело.

Приемные родителя Юрка принадлежали к таким иммигрантам, и добрая пани, которая полюбила меня, предложила остаться в их семье навсегда. Она призналась, что, может быть, скоро им придется уехать из Киева, и поэтому я должна сказать бабе Нюсе о том, что они хотят увезти меня с собой: нужно отступать вместе с немцами, если Киев захватят большевики. Со слезами она просила меня принести ей в мешочке родной украинской земли на память — накопать ее где-нибудь во дворе.

Эту ее просьбу я выполнила, но о возможности эмигрировать на Запад даже не сказала бабушке: я не допускала и мысли о том, что окажусь среди беженцев, уеду из родного города и расстанусь с любимой бабой Нюсей. Доброй Лесиной маме я объяснила, что хочу остаться в Киеве, дождаться, когда из ссылки вернутся мои родители. Да, в Киеве будет советская власть, но это лучше, чем немецкая оккупация. Она со слезами слушала меня и все поняла. Ей было горько, что ее семья не может остаться на Украине — на милость большевиков, как она выражалась. Это было ясно и мне.

Я старалась не плакать, обещала приходить как всегда в гости и играть с Лесей. Сказала, что завтра же приду опять, чтобы погулять с Лесей в парке.

Однако сбыться этому моему обещанию было не суждено: возвращаясь домой, я во время очередной бомбежки бежала по улице и упала, сильно ударив колено. Дома я под краном помыла ногу, но обработать рану мы с бабушкой не могли — ни йода, ни зеленки у нас не было.

К вечеру нога покраснела, распухла, рана очень болела. Бабушка испугалась, измерила мне температуру, и оказалось, что у меня тридцать девять градусов. А ночью я стала бредить, температура дошла до сорока...

Бабушка была в отчаянии: она знала, что моя младшая сестричка умерла от заражения крови в роддоме. А брат Левко (сын отца от первого брака) тоже умер от заражения крови накануне войны. И теперь мое заболевание казалось бабе Нюсе роковым: мне тоже грозит такая же смерть. Она мне об этом не сказала, но я, зная о мнительности бабы Нюси и помня, от чего умерли мои брат и сестра, сама склонялась к мысли, что это и моя судьба: Бог хочет меня взять к себе, избавив от надвигающихся страданий.

Не знаю, сколько я лежала в жару — день или два, помню только, что к нам прибежал, взволнованный, Юрко. Его напугало то, что я не пришла на встречу к Лесе, как обещала; он хотел узнать, что со мной. Увидев меня в постели и выслушав рассказ бабушки, он сказал, что приведет врача, и поспешно ушел.

По тем временам такое обещание казалось невероятным — бомбежки, канонада, срочный отъезд эмигрантов, всеобщая паника — и визит врача к больной девочке! Но Юрко выполнил обещание: старенький доктор осмотрел меня, сделал укол и дал лекарство, которое велел принимать, пока не спадет опухоль.

Помню, что от пилюль, которые мне нужно было глотать, у меня была красная моча (наверное, это был красный стрептоцид). К вечеру после укола мне стало легче, температура снизилась, а через два дня спала и опухоль. Бабушка держала меня в постели, пока рана на ноге не стала заживать и пока я принимала лекарство.

Как только я поправилась, сразу же пошла к Юрку и Лесе, несмотря на обстрел города. Прохожих я не увидела, на знакомой улице были руины. Я в ужасе подбежала

к дому, где жили мои друзья, поднялась по лестнице и позвонила в их дверь. Вышла незнакомая женщина и грубо объяснила, что теперь здесь живут другие люди и сюда больше ходить нельзя. Я все поняла, хотя не могла поверить, что больше не увижу никогда этих дорогих мне людей.

Через несколько дней я опять пошла туда, надеясь, что в первый раз могла ошибиться — перепутать дом, этаж, номер квартиры... Я спешила, бежала... И вдруг на месте знакомого дома я увидела... руины! От него осталась лишь одна стена, на ней были знакомые обои, в «кухне» из крана текла вода, обливая с высоты третьего этажа, стены разрушенных квартир.

Я постояла, глотая слезы. Но потом подумала: слава богу, что Юрко и его покровители успели вовремя уехать! Слава богу!

* * *

Все понимали, что скоро оккупантов выгонят из Киева: бомбежки, обстрел города свидетельствовали о том, что линия фронта приближается. Немцы запретили выходить на улицу без особых документов: у тех, кто сотрудничал с ними, были специальные повязки на рукаве: красные у полицаев, серые — у рядовых служащих. Остальным предписывалось покинуть город, и многие киевляне бежали куда глаза глядят — в деревни, в другие, западные, города. Например, моя знакомая тетя Катя, работавшая в Доме ученых, перебралась в Винницу. Но ее сестра тетя Оля осталась в своей квартире на Васильковской улице (бывшей Красноармейской), ее комната была в коммуналке на седьмом этаже. Ее соседи тоже отсиживались дома. Несколько раз к их дому подъезжали каратели, проверяя, все ли освободили квартиры. Слышны были крики: на нижних этажах расправлялись с непослушными жильцами (их куда-то увозили в «душегубках»). Но каждый раз на седьмой этаж (он был предпоследний!) каратели не доходили: подниматься нужно было пешком, да и машины для арестованных были уже заполнены.

Карателей ждали со дня на день. Я пришла к тете Оле, долго звонила в дверь, пока меня впустили. Она мне объяснила, что теперь живет в постоянном страхе, так что ей не до меня.

Мы с бабушкой тоже сидели дома, как и наши соседи. Но вот вышел приказ: «Всем без исключения очистить территорию, объявленную запрещенной зоной. За неповиновение — расстрел». Наша улица, как и весь центр Киева, входила в запрещенную зону. Что же делать?

Бабушка была в отчаянии: идти нам было некуда.

Знакомые, жившие в соседнем доме, с дочкой которых, Лидочкой, я дружила, прислали ее к нам с запиской. Они писали, что за пределами запрещенной зоны есть детдом, заведующая — их знакомая. К ней мы можем обратиться: она не откажется приютить дочку писателя Антоненко-Давидовича. В записке указывался адрес, куда нам советовали пойти.

Мы с бабушкой сложили в плетеную корзину самые ценные вещи, и соседка ее подняла на чердак, куда прятала и свои чемоданы. А самое необходимое — из одежды — бабушка положила в два мешочка, и с ними мы вышли из дома, оставив дверь незапертой (ведь если придут грабители, то они все равно взломают дверь, а так — войдут, посмотрят, что взять тут нечего, и уйдут с Богом). Бабушка рассуждала разумно, и я во всем с ней соглашалась.

На киевских улицах были толпы беженцев: все устремлялись на окраины. Мы тоже медленно двинулись в сторону улицы Саксаганского, по указанному адресу. Но бабушке было очень трудно идти, она то и дело останавливалась отдохнуть, а на площади Евбаза (теперь она называется площадью Победы) моя бабуся, обессиленная, опустилась на асфальт и сказала:

— Больше не могу. Иди, Ириночка, дальше одна.

Я заплакала, старалась ее поднять, но безуспешно. Так мы и сидели посреди площади. Я плакала, а бабушка, наверное, тихо молилась (так она делала всегда в страшную минуту). И вдруг мы увидели приближающийся к нам трамвай! Это было чудо, потому что в оккупированном Киеве трамваи не ходили уже два года. Видимо, в такой экстремальной ситуации кто-то дал распоряжение пустить трамваи, чтобы

ускорить эвакуацию беженцев. Я не поверила своим глазам, а моя бабушка поднялась и стала просить знаками водителя трамвая, чтобы тот остановился около нас. Я была ошеломлена: ведь здесь никогда не было остановки, да и не положено просить о ней в такой ситуации. Но трамвай, подъехав к нам, остановился, постоял, пока мы поднимались со своими вещами, и только потом поехал дальше.

Все это было как сон. Бабушка достала из своего тайного кармана деньги (откуда они у нее? Я о них и не знала!) и все отдала водителю (кондуктора в трамвае не было, билетов никто не предлагал). Еще бабушка попросила, чтобы трамвай для нас остановился у дома с указанным номером. Это меня и вовсе потрясло! Но и эта ее просьба была не напрасной: нас высадили в нужном месте.

Долго мы стучали в дверь парадного и в ворота, за которыми был, как нам казалось, сад (там виднелась горка и на ней — деревья). Наконец кто-то вышел, бабушка отдала записку для заведующей, и вскоре появилась она сама. Нам сказали, что меня могут взять как сироту репрессированных писателя и художницы, но бабушке нужно уйти — ее никак нельзя здесь оставить.

Со мной случилось что-то невероятное — я стала истерически кричать, рыдая и цепляясь за одежду моей бабуси. Вообще-то я редко плакала, а уж истерики у меня не было никогда. Бабушка испугалась, стала меня утешать, говорила, что побудет рядом, в саду, около этого дома, пока немцы не отступят. Ведь они уже уходят из города, и дня через два здесь будут наши...

Я понимала, что все будет не так, и, если я уйду сейчас одна, моя бабушка просто умрет на улице! Успокоить меня ничто не могло, я билась в истерике.

И снова произошло чудо — заведующая сказала:

— Мы возьмем в детдом Иринку вместе с ее бабушкой.

Нас впустили во двор, надежно закрыв на засовы ворота. Бабушку поместили в темной каморке (наверное, это была кладовка, но туда поставили кровать), а меня отвели в среднюю группу, к детям.

Как выяснилось, это был не простой детдом, а профилакторий: сюда собирали беспризорных детей с улиц. Мне сразу стало понятно, что в комнате, куда я попала, хулиганы: они ругаются, дерутся, и мне было страшно с ними оставаться на ночь. Я прибежала к бабушке, и мы с ней кое-как устроились спать вместе. Потом я часто искала у нее спасения, когда хулиганы мне угрожали.

Утром бабушка поднялась и попросила заведующую дать ей какую-нибудь работу. Ей принесли рваные детские вещи, чтобы она их заштопала или залатала. Так моя бабуся, пока могла ходить, все время что-то шила: я ее видела весь день с иголкой в руках и старыми тряпками, которые она латала.

Нас кормили как и всех: утром — завтрак (каша—размазня, обычно пшенная, без жира, конечно), днем — какой-то суп (жидкая похлебка с почерневшей картошкой), вечером — «чай» с сахарином и кусочек хлеба.

Мы жалели о том, что оставили дома кое-какие продукты, теперь они очень бы пригодились. Да и других вещей было жаль, особенно альбома с семейными фотографиями: бабушка понимала, как они нужны, особенно мне; как они понадобятся, когда кончится война и захочется вспомнить нашу мирную жизнь, отца, маму. Я стала мечтать пойти в запрещенную зону и забрать самое нужное.

Вскоре случай подвернулся: нас навестила моя подруга Лида (она была старше меня года на два) и предложила вместе отправиться на нашу квартиру на Стрелецкой. Бабушка меня отпустила, хотя и очень боялась...

Затея была рискованная: мы перелезли через колючую проволоку и по пустынным улицам направились в центр. Идти было страшно. Живых звуков не слышно, только желтые сухие листья шуршат под ногами (теперь же их никто не убирает!). Вдруг звон разбитого стекла — разлетелась витрина небольшого магазина, и в ней во весь рост возник немец с автоматом, направленным на меня. Я стала как вкопанная и в упор смотрела на фашиста, Лида стояла рядом. Он смерил нас равнодушным взглядом, опустил автомат и махнул рукой — «Проходите!»

В нашем дворе мы столкнулись с соседкой, она рассказала, что во флигеле, где была наша с бабушкой комната на втором этаже, был расстрелян парализованный

старик, который остался, потому что не мог уйти. Его нашли в кресле убитым на второй день после объявления приказа немцев о запрещенной зоне.

Наша комната, которую мы с бабушкой не запирали, видимо, не заинтересовала ни фашистов, ни мародеров: все продукты, оставленные нами, были на месте: под кроватью — кастрюля с квашеными помидорами, картошка в мешке (подарок хозяйки усадьбы на Соломенке, где когда-то я собирала вишни), крупа и мука, спрятанные в топке нашей печки. Мы с Лидой набрали в сумки всего понемногу, я еще взяла альбом с фотографиями, и отправились обратно закоулками, минуя магазины с витринами, где могли оказаться немецкие солдаты-мародеры. Дошли до колючей проволоки, ограждавшей запрещенную зону, без приключений, хотя очень боялись.

«Слава богу!»— сказала бабушка и перекрестилась, а нянечка Кузьминична, жившая в детдоме, воскликнула: «Надо еще раз туда пойти и забрать все, что осталось! Как же? Продукты нужно спасти: мы тут сидим голодные, а там столько всего!»

Я пообещала отвести ее туда, как только она скажет.

На следующий день моя бабушка заболела: утром она не смогла встать с постели — ноги отказали. Я испугалась, принесла ей завтрак в ее каморку, посидела с ней. Баба Нюся меня успокаивала, объясняя свое заболевание тем, что ее продуло на сквозняке: «У меня ишиас, это пройдет, нужно погреть спину, полежать дня два-три».

Не знаю, догадывалась ли она о своей настоящей болезни (ведь у нее был, наверное, инсульт), но ясно было одно: ей нужно теперь судно, потому что в туалет она ходить не может. Мы вспомнили, что в нашей квартире есть судно (когда я болела, мне его подавали в постель, чтобы я не вставала на холодный пол), и теперь нужно за ним пойти на запрещенную зону. Кузьминична обрадовалась, когда я ей это сказала, и на другой же день мы с ней отправились на Стрелецкую.

Моя спутница предложила идти по улице Короленко, мимо оперного театра, через Золотоворотский сад: так ближе всего. И хотя этот маршрут мне показался небезопасным — много открытого пространства, где нас могут заметить, я согласилась, и мы пошли. До дома добрались благополучно, хотя в тот день где-то рвались снаряды, была слышна канонада. Но к этому привыкаешь, лишь бы не было поблизости немцев или каких-нибудь злых людей (мародеров).

Но вот и родной порог, входим. Слава богу, никого, можно спокойно собраться в обратный путь. Кузьминична положила в мешок большую часть остававшихся продуктов, а я взяла судно, поставила его на простыню, наверх поместила кастрюлю с квашеными помидорами и еще сверху насыпала картошки. Все это я увязала в узел, он оказался тяжелым, но я решила: как-нибудь донесу, и взгромоздила его себе на спину. Идти пришлось, согнувшись, так что ноша лежала у меня на спине.

Я часто останавливалась, поправляя узел, который то и дело сползал набок. Кузьминична не ждала меня, и мне приходилось бежать за ней вдогонку. Она все время охала, причитала: «Господи, зачем я пошла на это проклятое место! Как теперь добраться до дома? Ох!.. Ах!». Так мы дошли до оперного театра, впереди была площадь, через которую нам предстояло перейти — опасное, открытое место. Кузьминична пустилась бежать, я — за ней.

Но тут произошла заминка: мой узел порвался, и кастрюля, судно с грохотом вывалились на брусчатку, картошка оказалась на мостовой, помятые помидоры краснели на разорванной простыне... Я присела на корточки, чтобы собрать все это. Но вдруг послышались крики, немецкая речь, лай собак, и я увидела колонну оборванных людей, которую сопровождали немецкие солдаты с автоматами.

Они меня пока не заметили, но неотвратимо приближались к тому месту, где я присела на мостовой со своим скарбом. Страх сковал меня: я не знала, что делать. Казалось, гибель неминуема. И вдруг кто-то подскочил ко мне, схватил меня за шиворот и потащил назад, к ближайшему дому в парадное. Я дрожала, а незнакомец — высокий мужчина с красной повязкой на рукаве смотрел на меня удивленно и шептал: «Ты как тут очутилась? Дура! Понимаешь, что с тобой было бы? Стой тихо, пока колонна пленных не пройдет. Я тоже тут подожду».

Позже я часто думала: кто меня спас? Наш подпольщик или полицай?

Это так и осталось загадкой. Пока мы стояли в полумраке, я ему объяснила, зачем мне нужно было пойти в запрещенную зону. Он пожалел меня и даже потом со мной подошел к тому месту, где были разбросаны мои вещи. Мы их собрали и увязали в узел, сложив простыню вдвое. Он немного проводил меня по пустынной улице, а потом из какого-то парадного вышла и моя Кузьминична. Вместе с ней мы вернулись в детдом.

Бабушка и в этот раз дождалась меня; я не стала ей рассказывать о том, что случилось со мной в запрещенной зоне. Однако и здесь, в детском доме, было небезопасно; скоро в этом мне пришлось убедиться.

* * *

До обеда еще оставалось часа два, но детям сказали, чтобы шли в столовую, там будут давать манную кашу. Это должно было насторожить ребят, но, всегда голодные, они побежали к столовой. Я поспешила догонять их, но меня остановила воспитательница и прошептала:

— Иринка, беги: сейчас будет облава.

Я побежала к бабушке в каморку и сказала, что нужно куда-то спрятаться: воспитательница меня предупредила — будет облава. Бабушка ужаснулась и посоветовала лезть к ней по кровать:

— Если немцы и войдут сюда, то увидят больную старуху; они не станут заглядывать под кровать. Ничего другого придумать нельзя!

Мне это показалось ненадежным, я представила, как эсэсовцы на месте расстреливают меня и бабушку.

— Нет, бабуся, так мы не спасемся, надо удирать из этого дома, сказала я. Мне надо попробовать выйти через черный ход. Я спрячусь у тети Оли.

Когда я выбежала от бабушки, около столовой творилось что-то страшное: свалка, толкотня; дети орали, немцы их тащили к выходу, они упирались, их били... Я бросилась в другой конец коридора, к черному ходу. Надо было еще свернуть в длинном и узком проходе, в конце которого должна была быть наружная дверь во двор. Да! Эта дверь была открыта, и я побежала к ней.

Но — откуда ни возьмись — дорогу мне преградил эсэсовец — фашист в черной форме с повязкой на рукаве, на которой был череп и скрещенные кости. С разбегу я уткнулась головой в его огромный живот и, отскочив, взглянула ему в лицо. У него были выпученные глаза и наглая улыбка. Он мне напомнил страшного людоеда на картинке в книжке сказок Перро: там такой дядька одной рукой держал за ногу Мальчика-с-Пальчика, а в другой у него был большой нож!

Немец пристально посмотрел на меня: дрожащая малышка, на голове колечки светлых волос, глаза, полные слез (может, я ему напомнила его маленькую дочку?).

Как медленно тянутся секунды! Сколько времени мы стоим в оцепенении? Наконец, он завел за спину расставленные руки, которыми собирался меня схватить, шагнул в сторону и пропустил меня к двери.

Я выскочила наружу и притаилась за распахнутой дверью. Выглянула и увидела, как немцы бросают детей в большую закрытую машину (теперь на таких возят хлеб, а тогда их называли «душегубками»). Хватали маленьких, беспомощных как попало — за руки, за ноги, за шкирку — и заталкивали в черный проем двери.

Потом говорили, что под Киевом был лагерь, в котором из детей «выкачивали кровь» для немецких раненых. Вот туда, наверное, и везли этих детдомовцев.

Я не спешила выходить. Машина уехала, но в том конце двора еще толпились солдаты и воспитатели. А со стороны черного входа, где я спряталась за дверью, расхаживал часовой с автоматом. Я дождалась, когда он свернет за угол, и бросилась в руины, которые были совсем близко: недавно бомба попала в соседний дом.

Оттуда я наблюдала, как подъехала другая машина, и снова в нее заталкивали детей. Крики, плач, немецкая речь... Я, дрожа от страха, затаилась в развалинах. А когда все стихло, выбралась и пошла к тете Оле.

Долго шла по безлюдной улице к ее дому на Красноармейской, поднялась на седьмой этаж и постучала так, как было условлено, — три раза с паузами и потом

много раз быстро-быстро (жильцы по такому стуку догадывались, что это не каратели, а свои). Тетя Оля открыла мне и с ужасом воскликнула:

— Зачем ты пришла? Ты же знаешь, что мы с минуты на минуту ждем облавы! Я не хочу, чтобы и тебя забрали вместе со мной!

Я ей объяснила все, но она боялась меня оставить на ночь. И все-таки я ее уговорила:

— Тетя Оля, ведь до сих пор к вам так и не поднялись с проверкой немцы и полицаи — седьмой этаж пока не трогают. А в детском доме меня ждет верная гибель: там здание оцеплено колючей проволокой, выставлены часовые! Я не могу туда вернуться! Давайте переживем эту ночь вместе! Будь что будет...

Она согласно кивнула и впустила меня. Я видела, как она волнуется, и, чтобы успокоить ее, стала рассказывать ей сказки. Я их помнила с раннего детства, и теперь они так пригодились!

Утром я пошла к детскому дому узнать, как там моя бабушка. Осторожно проверила, нет ли немцев у здания, постучала в парадную дверь.

Мне открыла та воспитательница, что вчера меня спасла, предупредив об облаве. Она ждала моего возвращения и сказала, что к бабушке немцы не входили, она волнуется за меня...

Можно представить, как я ее обрадовала — пришла живая и невредимая. В тот день и некоторые другие детдомовцы объявились, но только те, кто постарше: они сумели спрятаться — кто на чердаке, кто в подвале. А младших всех фашисты увезли.

* * *

Бабушке становилось все хуже, всем стало понятно: она парализована.

Стараниями заведующей для бабушки достали носилки и перенесли ее в богадельню. Как ни удивительно, она была тогда в Киеве, ее, видимо, организовало украинское марионеточное правительство, которое было в городе во время оккупации.

Я с ужасом смотрела, как мою любимую бабусю положили на носилки и понесли в тот страшный дом на Евбазе. Там ее переложили на постель в большой палате, где было много больных старух. Они обступили новенькую, выспрашивали у меня подробности, просили дать им что-нибудь поесть. А потом мне велели уйти, я попрощалась с бабой Нюсей, пообещав навещать ее каждый день.

Так я и делала: ходила к ней ежедневно, а бабушка ждала меня и каждый раз угощала кусочком хлеба, который оставляла после обеда или завтрака. Ее там кормили пшенной кашей и «чаем». Но она говорила, что не может это есть, что ей от такой еды плохо, так что я должна съедать ее порцию. Я, конечно, не отказывалась, потому что все время была голодная. Но в душе я подозревала, что бабушка нарочно не ест, чтобы подкормить меня.

Я заметила, что она подружилась с женщиной, которая лежала рядом с ней. Они разговаривали, вспоминали прошлое. Я даже ревновала, потому что, когда я приходила, бабушка порой не сразу, как мне казалось, меня замечала, а еще заканчивала разговор с соседкой и только потом обращалась ко мне.

Засиживалась я у нее подолгу, убирала за ней, выносила судно, влажной тряпочкой протирала ей лицо, руки. К счастью, у бабушки не было вшей, хотя других они заедали. Моя бабушка объясняла это тем, что у нее особый запах пота. Но она сама не могла причесаться, я ее расчесывала, и мы поняли, что волосы свалялись, образовались «колтуны». Бабуся попросила ее подстричь (ножницы кто-то принес для такого случая). Я сделала это неумело: просто выстригла свалявшиеся волосы и укоротила оставшиеся, потому что когда-то бабушка собирала их в узелок. Но когда она поняла, как я ее изуродовала, она не могла сдержать слез. Мы обе плакали... Я сказала, что достану для нее косынку, чтобы загладить свою вину. Впрочем, об этом мы вскоре забыли: другие, более сильные впечатления вытеснили эту «обиду».

Киев часто бомбили. Мы к этому притерпелись, не прятались, а потом рассказывали друг другу, что пришлось наблюдать. Бабушка особенно восхищалась — да, восхищалась! — ночным небом во время бомбежки: оно освещалось заревом, самолеты выбрасывали в небо множество ракет, чтобы видеть объекты, на которые нужно

сбрасывать бомбы. Впрочем, они их бросали наугад: около богадельни появились руины — разбомбило несколько домов. И рядом с профилакторием упала еще одна бомба. Соседний дом был полностью разрушен. А у нас вылетели все стекла, и теперь вместо стекол почти во всех окнах были доски, фанера и даже матрасы, подушки.

Но я любила смотреть, как при налетах вражеских бомбардировщиков в небе появляются вспышки, как бьют зенитки — траектории пуль разрисовывали небо яркими стрелами, устремленными вверх в разных направлениях. Это было красивое зрелище.

Как-то я встретила на улице заведующую детским домом, в котором я жила зимой в первый год оккупации. Теперь он был тоже на улице Саксаганского (в самом конце ее), потому что в запрещенной зоне оставаться было нельзя. Узнав, что я живу в профилактории, она меня пожалела и пригласила в свой детский дом. Там были ребята из интеллигентных семей (их родители были репрессированы при советской власти), а не такие хулиганы, как в профилактории.

Я, конечно, с радостью перешла на новое место. Здесь мне было лучше, но к бабушке ходить стало труднее: ее богадельня находилась намного дальше.

Теперь я к ней приходила не каждый день, хотя постоянно стремилась к ней выбраться.

Как-то раз я не была у нее два дня. А когда пришла, когда ее расцеловала и убрала за ней, я присела на край ее кровати, ожидая, что бабушка, как это бывало раньше, угостит меня сухарем или холодной пшенной кашей. Наступила пауза. Мне подумалось, что баба Нюся забыла о том, что я жду угощения. Тогда я открыла ее тумбочку и увидела в ней черствый сухарь.

— Бабуся, можно, я его съем? — спросила я.

Но бабушка, очень смущенная, возразила:

— Деточка, я не могу тебе его дать: я обещала оставить этот сухарь моей соседке.

Я расплакалась:

— Как? Ты мне не можешь дать этот сухарик? Но ведь ты же знаешь, какая я голодная! Ты же всегда мне оставляла! Неужели тебе твоя соседка дороже, чем родная внучка? Неужели ты забыла обо мне, пообещав сухарь этой своей знакомой?

Бабушка молчала. Когда мои упреки иссякли, она объяснила:

— Ириночка, но я же не могу не сдержать слова, я ей сказала, что этот сухарь оставляю для нее, и она надеется на это! Я не могу ее обмануть.

Этот урок порядочности мне преподала моя умирающая баба Нюся, и я ей за это благодарна. Тогда я обиделась, но потом все осознала и просила у нее прощения за упреки и сказанные ей горькие слова.

* * *

В детском доме все боялись фашистов, и, чтобы они не явились к нам, заведующая вывесила у входа устрашающее объявление: «Сыпной тиф. Карантин!». Немцы не решались входить к нам с проверкой. Это спасло жизнь детям, ведь из других детских домов, как из профилактория, всех вывезли в специальный лагерь, где у детей брали кровь для немецких раненых. Детский дом, где я теперь жила, оказался единственным, дождавшимся освобождения Киева от фашистов.

В городе не затихала канонада. Мимо детдома по мостовой двигались колонны военной техники, проходили немецкие войска. Все это мы видели в щели забора. А я даже проследила, как на железнодорожной линии, которая была видна со второго этажа, кто-то с факелами перебегал от будки к будке, поджигая их.

Было ясно: оккупанты отступают и со дня на день в город войдут советские войска. Мы ждали их как спасителей. Выходить на улицу было уже невозможно, и я не виделась с бабушкой несколько дней.

Киев освободили седьмого ноября. В ту ночь воспитатели велели всем детям собраться в коридоре на первом этаже, где не было опасности пораниться стеклом из окон в случае близкой бомбежки. Нас усадили на матрасы на полу и приказали оставаться на месте. Но дети, конечно, не могли часами сидеть, затаившись: кто-то

выбегал во двор, прислушивался к движению машин по шоссе, к голосам отступавших немцев.

Вдруг в коридор влетел один такой озорник и закричал: «На улице уже наши!» Все выбежали во двор и прильнули к забору, прислушиваясь к голосам остановившихся у ворот людей. Там говорили тихо, но вдруг раздался громкий русский мат! Эта матерщина вызвала среди детей и взрослых, притаившихся за воротами, ликование. Засовы были сняты, ворота распахнуты, мы выскакивали на улицу, обнимались и целовались с нашими солдатами!

Уснуть в ту ночь никто не мог: дети орали, пели советские песни, выбегали к военным машинам, воспитателям с трудом удалось нас утихомирить.

Утром я пошла к бабушке. В городе уже не было стрельбы, канонада слышалась где-то вдали. А на улицах киевляне встречали советских воинов. На площади Евбаза стоял грузовик с высшим офицерским составом. Говорили, что там маршалы Конев и Хрущев. Мне казалось, что я их узнала, хотя близко подойти не могла. Я поспешила в богадельню, к бабе Нюсе, не допуская и мысли о том, что она могла уже и умереть, пока мы не виделись. Я верила, что моя любимая бабушка жива и ждет меня. И я не ошиблась! Мы обнимались, целовались и плакали от счастья.

* * *

Началась новая полоса в нашей жизни. Богадельню перевели в другое место — в конец Львовской улицы, недалеко от Лукьяновской тюрьмы (это окраина Киева). А меня из детдома взяла к себе тетя Оля, она хотела оставить у себя как дочку, если не найдется моя мама.

Тетя Оля понимала, как дорога мне моя бабушка. Однако мы обе сознавали, что ходить к ней теперь каждый день я не смогу: от дома тети Оли нужно было идти часа три-четыре к дому инвалидов, где поселили всех старух из богадельни. Тетя Оля собирала меня в дорогу раз в два-три дня, давала мне для бабушки что-нибудь поесть (суп, компот из сухофруктов, белый сухарик — у нее еще сохранились кое-какие довоенные припасы), одевала меня потеплее: на мое пальтецо набрасывала еще платок, завязывая его поплотнее.

Бабушка меня ждала, и не только потому, что я приносила ей то, что она могла есть при своей болезни, но еще больше потому, что я убирала за ней. У нее были мокрые пеленки, которые я забирала стирать; нужно было вынести банку с мокротой (у бабушки открылся страшный кашель, она отхаркивала много зеленой мокроты; наверное, это был туберкулез); потом эту банку следовало отмыть — на ней присохли плевки...

Хлопотать приходилось много, но я стеснялась признаться тете Оле, что делаю такую грязную работу, особенно я не хотела, чтобы она увидела грязные пеленки. Я старалась их постирать, когда тетя Оля уходила из дома, и вывешивала сушить в общей коммунальной кухне. Вначале это оставалось моей тайной, но один раз тетя Оля увидела, что я принесла от бабушки, и мне пришлось все рассказать. Она мне разрешила стирать пеленки, даже нашла кусочек мыла, так что я успокоилась и могла поддерживать относительную чистоту в бабушкиной постели (для этого мы с тетей Олей пустили на пеленки все старые простыни и полотенца).

Так прошло несколько недель. Я выкраивала время, чтобы наведываться на нашу прежнюю квартиру: бабушка сказала, что туда может прийти письмо от мамы. Мы очень этого ждали.

И вот свершилось! Наши соседи получили для меня письмо и дождались меня, сохранив его! Я прочитала, поняв, что мамочка моя жива и ждет от нас с бабушкой вестей. Эту радость я хотела разделить с бабой Нюсей и сразу же побежала к ней. Потрясенная полученным известием, моя бабушка не могла сдержаться и от радости кричала на всю палату:

— Боже, Боже! Какое счастье! Моя доченька жива! Я сохранила ей Ириночку, и теперь они встретятся! Боже! Я выполнила свое предназначение! Мои девочки — Наташа и Ириночка будут теперь жить вместе...

О себе бабушка не вспоминала: видно, понимала, что в той, будущей жизни, которая ждет меня с мамой, ее уже не будет...

Через несколько дней, когда я пришла к бабе Нюсе, она мне сказала, что умерла ее знакомая, которой она когда-то оставляла сухарь. Бабушка с ужасом рассказывала, что теперь хоронят без гроба — завернут тело в рогожу и закапывают в землю. Она угадывала в этом и свою близкую судьбу. Я старалась ее утешить, говорила, что мы доживем до возвращения моей мамочки, но бабушка только качала головой. Она трезво оценивала все происходящее, то, чему я не хотела верить.

Как-то раз бабушка сказала мне, что продала свою юбку — выменяла ее на еду, чтобы разделить со мной кусок хлеба. Это меня потрясло: я знала, что у нее больше ничего из одежды не осталось, значит, бабушка понимает, что никогда не сможет подняться, юбка ей больше не нужна! Я плакала, выговаривала бабе Нюсе — как, мол, неосмотрительно она поступила. Но она только горестно кивала и молчала: не хотела она мне говорить, что жить ей осталось совсем немного.

Наступила суровая зима, ходить к бабушке мне было все труднее. Я приморозила ноги — не было теплой обуви, только старые ботинки, в которых не очень-то можно бегать по снегу. Стало сложно и поддерживать чистоту у бабы Нюси: не было воды и нечем было помыть ее банку с мокротой, я ее отчищала снегом прямо на улице возле дома инвалидов. Руки коченели, мои пальцы с трудом соскребали присохшие плевки, а сполоснуть банку было нечем. Тетя Оля боялась, что я тоже заболею. Но я держалась (теперь удивляюсь: откуда брались силы?).

В Киеве открыли школы, и тетя Оля велела мне ходить в третий класс. Правда, занятия там проходили не так, как положено. В классе собирались замерзшие ученики, с ними занималась старенькая учительница. Но тетрадей не было, писать мы пробовали на старых клочках газет — между строчек. Но и газет было очень мало, к тому же чернила замерзали, так что приходилось писать карандашами, а их тоже не хватало. Учительница собирала детей у печки-буржуйки, которую разжигали к началу занятий. На эту печку Марья Ивановна ставила свою кастрюльку с какой-то едой и, разогрев ее, ела. Дети тоже приносили с собой что-нибудь съестное и «завтракали». Но такое удовольствие могли себе позволить далеко не все, поэтому кто-то ел, а кто-то слюнки глотал. Я ничего не могла с собой принести.

* * *

Приближался Новый год, стояли страшные морозы, но каникул в школе не устроили: ведь дети и без того отстали в учебе, надо заниматься!

Помню только новогоднюю елку: в зале девочка из нашего класса читала стишок: «Елку вырублю в лесу, елку в школу принесу, всю в сосульках ледяных, в белых шишках смоляных...». Для меня это было таким чудом! Я это стихотворение запомнила сразу и потом много раз повторяла про себя.

Несмотря на морозы, я в школу ходила даже на Рождество, которое тетя Оля отметила, сварив «кутью» — кашу из пшеницы. Но на душе было неспокойно: меня мучила совесть, ведь я уже несколько дней не навещала бабушку, и вот на праздник опять я не у нее... Сердце чувствовало что-то недоброе, снился странный сон — один и тот же два раза подряд! Как будто я пришла к моей бабе Нюсе с тарелкой кутьи, а она меня не узнает, не просит подойти. Я стою у двери и не знаю, что делать...

На третий день Рождества в класс пришла незнакомая женщина, разыскивая девочку по фамилии Антоненко-Давидович, то есть меня. Я сразу поняла, что сейчас мне скажут о смерти бабушки. Так и было: эта тетя еще хотела меня «подготовить» к страшной вести, стала что-то рассказывать о том, что бабушка часто последнее время вспоминает меня. Я ее остановила: «Говорите сразу, моя бабушка умерла?»

Она кивнула и предложила проводить меня до дома инвалидов, чтобы я увидела бабу Нюсю, которая так и не дождалась меня два дня назад.

Я не плакала, собралась и пошла за этой женщиной. Она шла широким шагом, я едва успевала за ней. Но вот мы и пришли. Меня проводили в какую-то холодную комнату в подвале и показали, где моя бабушка. Все вышли, оставив меня с ней.

Моя любимая баба Нюся лежала на полу, в странной позе: поджав ноги и как бы в судороге согнув худые голые руки. Лицо исказила гримаса, отразившая все ее муки. Глаза были закрыты, тело было очень холодное — это я почувствовала, когда поцело-

вала ее. Слез у меня не было, я шептала нежные слова, понимая, что она меня не слышит и что исправить уже ничего нельзя.

Вскоре за мной пришли и сказали, что хоронить будут бабушку через два дня, чтобы я пришла. Еще сказали, чтобы я забрала оставшиеся от нее вещи — подушку и одеяло. А остальное все выменяли на саван для похорон.

Я так и не смогла выплакаться. Даже тете Оле я рассказывала обо всем без слез. Мы с ней пришли на похороны, я взяла с собой тюлевую занавеску, случайно оставшуюся у меня от старой жизни, и, отвернув саван, закрыла лицо бабушки. Я поняла, почему ее так тревожило то, что людей хоронят теперь без гробов: она тоже была завернута в дерюгу, которая называлась саваном.

На кладбище мы ехали на санях, разместившись с тетей Олей рядом с мертвым телом. Я очень страдала от того, что голова бабушки все время ударялась о сани, из-за чего раздавался глухой стук. Я изо всех сил старалась прижать окостеневшее тело бабушки к себе, но мне не удавалось удерживать мертвую голову, когда сани подбрасывало на ухабах.

Мы долго ехали по снегу, пока не показалось кладбище. Там уже была вырыта могила, и в нее опустили мою любимую бабушку. Мне предложили бросить в могилу горсть земли и сказали, что за труд нужно заплатить. Но у нас с тетей Олей не было денег. Она объяснила, что потом, когда приедет в Киев дочь умершей, она отблагодарит за все. Это обещание вызвало у могильщиков злую насмешку. Взять в благодарность оставшиеся вещи — покрывало и подстилку, на которой мы сидели в санях, они не захотели и со злостью бросили все это в могилу, засыпая ее землей и снегом.

Так я похоронила свою единственную родную душу, самого близкого, самого дорогого мне человека.

Долго я не могла успокоиться: корила себя за то, что в последние дни бабушки не была с ней рядом, не облегчила ее страдания, не услышала, что она мне хотела сказать. Мне рассказывали, что перед смертью она все просила, чтобы ее одели: ей нужно идти ко мне. Она беспокоилась, не зная, что со мной; ей казалось, что она должна меня спасти... Конечно, я понимала, что это бабушка говорила уже в бреду: ведь она же знала, что ей не в чем выйти на улицу, тем более она должна была понять, что не сможет никуда пойти, потому что уже давно прикована к постели. Но в конце жизни ей, видимо, очень хотелось еще увидеться со мной. До сих пор я чувствую свою вину перед моей любимой бабушкой: не я была около нее в последнюю минуту, не я закрыла ей глаза.

С тетей Олей мы обо всем этом старались не говорить. Она знала, что меня хочет взять к себе моя мама, которая пока отбывала ссылку в Казахстане. А в Москве у меня есть тетка, мамина сестра Галина. Она тоже писала нам и просила переправить меня к ней.

* * *

Тетя Оля устроилась работать бухгалтером в какой-то военной организации. Там она и нашла людей, которые согласились тайно перевезти меня из Киева к тетке в Москву на грузовике, который возил снаряды. Путешествие это было не из легких, моя жизнь снова подвергалась большой опасности. Дорогу, по которой мы ехали, бомбили; в трех километрах от нее шел бой... На ночь приходилось останавливаться, потому что нельзя было включать фары — нас на лесной дороге могли бы обнаружить фашисты. Но и в этот раз для меня все обошлось благополучно, и меня привезли в Москву.

Закончился мой «киевский период» военной жизни, нужно было привыкать к новой семье — моя тетя Галина, ее муж дядя Боря и сын Адриан стали для меня теперь близкими, родными. Но я не могла забыть бабушку, ее мне никто никогда заменить не сможет. Я до сих пор мысленно обращаюсь к ней за советом, за помощью в тяжелую минуту. Мне хочется верить, что и теперь моя бабушка следит за мной и старается мне помочь...

В Москве мне жилось плохо: мы все сидели голодные, у меня не было карточек даже на хлеб, потому что тетя Галина боялась заявить, что к ней приехала племянница (станут спрашивать, кто ее родители, где они... Выяснится, что они были аресто-

ваны...). Надо было как-то отправить меня к маме. Она с 38-го года отбывала ссылку в Казахстане как «жена врага народа», теперь ее срок закончился. Но тогда нельзя было свободно поехать из Казахстана на бывшую оккупированную территорию, потому что еще шла война.

Знакомая, которая была в эвакуации в Казахстане и там подружилась с мамой, вернулась на Брянщину, где раньше работала в горкоме. Она-то и прислала маме вызов на работу техника-инвентаризатора в горкомхозе города Злынки (сама она там стала председателем горисполкома).

Мамочка просила свою московскую сестру как можно скорее привезти меня. Летом 1944 года мы с тетей Галиной и приехали в маленький городок Злынку Брянской области. От станции до города нужно было идти семь километров лесом. Не без труда мы с тетей преодолели этот путь.

Но вот и заветный городок, улица Республиканская и где-то в конце ее — дом, в котором должна быть моя мама. Я всматривалась в даль, стараясь ее увидеть, а она тоже не могла дождаться, когда же мы с теткой наконец-то придем со станции. И вот она увидела нас!

Мама летела к нам как на крыльях, простирая руки, и что-то кричала. Ее, седые теперь, волосы развевались по ветру, из глаз лились слезы, но она улыбалась! А я, не узнавая в этой тете свою прежнюю мамочку, подумала: кончилось мое сиротство — я теперь буду жить вместе с мамой!

Правда, начинать новую жизнь мне было совсем не просто. Я не могла сразу привыкнуть к тому, что у меня есть мама: это слово я не могла себя заставить произнести в первые дни нашей встречи. Я разучилась улыбаться, никогда не смеялась и долго еще оставалась печальным, жалким ребенком. Но война для меня закончилась! В 44—45-м году еще иногда случались бомбежки: недалеко от нашего городка был военный аэродром, его, наверное, и бомбили. Мамочка моя очень боялась, а я только удивлялась: разве это так страшно? Ведь бомбы падают очень далеко! До нас они никогда не долетят!

День Победы я встретила вместе с мамой. Война была позади, хотя это еще не означало, что теперь настанет счастливая жизнь. О «счастливом детстве», которое советская власть обещала всем детям, можно было только мечтать. Но это уже другая история...

Москва—Киев

Александр Ревич

Наш мир еще не начат

Поэма о давнем лете

Азовское море,
туманное взморье,
домики на косогоре.
Шаг.
Еще.
Под ногами ломается лед.
Стой! Кто идет?

Александр Ревич. «Начало»

Солнечные облака над морем,
над косой песчаною ползут.
Мир соленой тишине покорен,
остро пахнут рыба и мазут.
По прибрежной отмели устало
черно-белые бредут стада,
это с детства в душу мне запало
украинским словом «череда»,
словом няньки, Ганнушки, Петровны,
миргородки старенькой, седой,
что была родни мне ближе кровной,
стадо называла чередой
и крестилась на трезвон церковный.
На рассвете, обрывая сон,
слышался издалека тот звон,
почему-то было так легко мне,
мы вдвоем шептали «Отче наш»,
с той поры молитву эту помню.

А потом мы с няней шли на пляж,
и она так робко, неумело
мне, мальчонке, потихоньку пела
песни стороны своей родной,
все забылись, помнится, однако,
та, где «козак, старий, як собака,
досі не женився...» Боже мой!

Череда брела в воде по брюхо,
нянька пела, лодочка плыла,
детское улавливало ухо
песни, всплески и колокола,

Ревич Александр Михайлович — поэт, переводчик, лауреат Государственной премии РФ (1998). Постоянный автор нашего журнала. Живет в Москве.

звоны отдаленной колокольни,
плывшие в просторный белый свет
так, что жизни не было привольней
для мальчишки трех неполных лет,
да и никогда уже на свете
больше не искрилась так вода,
не светилось небо никогда,
не звучало слово «череда»,
как в минуты солнечные эти.

По неделям матери с отцом
не бывало — заняты, при деле,
только няня день и ночь с мальцом,
день и ночь — у моря, у постели,
только няня... Что я знал о ней,
несмышленыш в три неполных года?
Знал я лишь тепло приморских дней, —
изредка случалась непогода, —
знал я, как с откоса череда
медленно бредет к рыбацкой хате,
знал, как розов парус на закате
и летучих облаков гряда.
Если бы я только знал тогда,
что у няни прежде были дети,
но стряслась какая-то беда,
и теперь она одна на свете.
Что я знал? Что видел, то и знал,
знал бредущую по мелководью
череду, знал мальчика Володю,
тот большой, а я совсем был мал,
мне не оправдать мое незнанье
тем, что был я крохой по годам,
но когда б я знал, сказал бы няне:
«Никому тебя я не отдам».

Все, что было, видится в тумане,
но ведь вот он, прежний косогор,
тот же покосившийся забор,
тот же берег, домик тот же самый,
где мы жили с нянею и мамой.
Сколько лет прошло с тех давних пор?
Няни нет и нет погоды летней,
Украину всю пешком прошел
и, как зверь, стараюсь незаметней
пробираться у прибрежных сел.
Мы втроем вдоль побережья бродим,
кое-где ночлег себе находим,
в дверь с надеждою суем носы,
а меж тем в промозглом этом мраке
всюду караулы и собаки
постовые, вражеские псы.
Помнится, здесь жарко было прежде,
а теперь в изодранной одежде
мы дрожим на ледяном ветру
и в опорках бродим по сугробам,
няня, помяни меня за гробом,
помолись, — быть может, не помру.

Этой ночью нам не до привала,
на морозе море льдом сковало,
может, пронесет, и мы пройдем...
До Азова двадцать верст, не боле,
там свои, дойдем — и мы на воле,
но взошла луна, светло, как днем.

Тихо сходим к берегу с откоса,
где-то лают псы хриплоголосо,
мы на лед ступили, гнется лед,
в ночь уходим, вспыхнула ракета,
побережье в белый снег одето,
яркий месяц по небу плывет.
Мы, судьба, с тобой сегодня квиты,
биты мы тобой, да недобиты,
и на этом ледяном пути
песню няни слышу: «Ой, не світи,
місяченьку...». Месяц, не свети.

Светит месяц в голубом тумане.
Господи, помилуй и спаси!
Светит месяц и шепчу я няне:
«Помолись за нас на небеси».

18 января 2011

* * *

Однажды я услышал голос.
Едва раздался первый звук,
внезапно время раскололось,
и мир осыпался вокруг,
ничто не ширится, не длится,
исчез простор, исчез предел,
ни петь, ни плакать, ни молиться,
лишь слушал я и холодел.
За что мне выпало такое,
ведь не был свят я никогда?
Быть может, чтоб не знал покоя
и жил, сгорая от стыда.

7 октября 2010

* * *

В потопах, с раскаленной суши
исчезнут травы и леса,
и твари, но бессмертны души,
и улетаем в небеса.

Мы улетаем, улетаем,
как прежде над огнем и рвом,
неисчислимым нашим стаям
парить в пространстве мировом.

22 февраля 2010 года

* * *

Наш мир еще не начат,
куда не кинешь взгляд,
в России бабы плачут,
а кобели скулят,
и, видно, потому-то
извечный в горле ком,
в душе тоска и смута,
и говоришь стихом.

28 января 2011 года

* * *

М. Р.

В день последней ласки летней,
в час последнего тепла
дуновенья незаметней
осень душу обняла,

и опять в минуты эти
улыбается, как ты,
все прекрасное на свете —
дети, женщины, цветы.

5 января 2011 года

Из цикла «Снова в Голицыне»

Ромашки

Ромашки рисовала егоза
такие вот большущие, с подсолнух,
и солнце, прямо бьющее в глаза,
желтело в чашах, летним зноем полных.
То был июльский подмосковный зной,
цвет пчел и меда, сена цвет и поля,
подернуто все было желтизной,
и небо, синеватое дотоле,
глядело золотисто с высоты,
в глаза и окна било без промашки,
и рисовала девочка цветы,
величиной с подсолнухи ромашки.
И старая художница тогда
сказала: «Мы заботимся о стиле,
но так уже не можем. Вот беда —
мы время безнадежно упустили».
Нас было трое, трое было нас,
еще цветы и желтая округа,
три пары синевато-серых глаз
смотрели на цветы и друг на друга.
В тот день мы были с пчелами «на ты»,
и сыты желтым медом до отвала,
и рисовала девочка цветы,
бессмертье на бумаге рисовала.

12 февраля 2011 года

* * *

То ли это снилось, то ли это
было в самом деле, наяву,
Межирова жалко мне, поэта,
он в Нью-Йорке так хотел в Москву.

Два мальчишки, старых два солдата,
полстолетья были мы «на вы»,
я на Волге воевал когда-то,
он тогда же где-то у Невы.

Я читаю боль и неудачу,
вижу вспышку, молнии зигзаг,
и не знаю, почему, но плачу,
и страница каждая в слезах.

6 декабря 2010 года

Александр Межиров

Стихи из нью-йоркского архива

* * *

Ты прожил жизнь... Там прожил, где тебя
Всегда любили, ненавидя люто,
И люто ненавидели, любя, —
Так надо было небу. Не кому-то.

Ты избран был не кем-то. Избран им,
Служить ему — и только, — и за это
Был ненавидим всеми и любим
По воле неба и Его Завета.

* * *

Зачинайся, русский бред...
А.Блок

Спасибо вам, что вас учил от печки
Ходить, что все вам отдал до копеечки
Души и духа, нищего, по счастью,
Что станут, мне казалось, вашей частью
Моих познаний нищенских гроши.

Вы отблагодарили от души
Меня за все. Спасибо, что без Слова
Оставили меня, семью без крова,
Что ей стезя скитаний предстоит,
И стыд, и раны бед неисчислимых,
И звонкие пощечины обид
В одессахбич и в иерусалимах.

И все ж спасибо вам за все, что было, —
В кощунственную втянута игру,
Давно Татьяна обо мне забыла,
Давным-давно не слышен по утру,
Вибрирующий в трубке телефонной,
Вадима воспаленный говорок, —
Хоть не усек мыслитель и пророк,
Что в 5-м пункте слово — породненный —
Коснется и его. Понять не смог.

И что его кунак, сподвижник старый,
И, как никак, единоверец ярый,
Не смог понять, что русские татары
Под 5-й пункт обречены подпасть,
Как только исполнительную власть
Осуществит, упьется ею всласть,
Как с породненным и с его кунаком
За 5-й пункт и просто за очки
Начнут расправу их боевички
Под песню «Гопсасмыком» и со смаком.

Спасибо, что заточка и кастет
И для меня на крутосклоне лет
Припасены, что не от скуки, нет,
Не от нее умру, умру в России,
Где выпало впервой увидеть свет
И тьму случилось увидать впервые, —
Спасибо вам, родные-неродные,
За русский бред, в наипоследний срок
Коснеющей рукой воспетый Блоком
В почти последней из последних строк,
В последнем озарении высоком,
В краю, который кроток и жесток,
Где ваша благодать закон попрала,
В кромешный меч перековав орало,
Чтоб миру страшный преподать урок.

* * *

Потомки праха, чада пыли,
Вам все на свете все равно.
Вы на иконах молотили
Зерно.

И, лихо плевела отвеяв,
С холма зубчатого Москвы
На разночинцев и евреев
Российский грех сложили вы.

Вы, хамы, обезглавив храмы
Своей же собственной страны,
Создали общество охраны
Великорусской старины.

1962

* * *

За то, что может с каждым и любым,
С тем, кто судьбой отвергнут, кто любим,
Случиться неожиданно однажды,
За то, что знал из вас об этом каждый,
За то, что знали вы, что только так
Должно случиться раньше или позже
На росстани ночной, на раздорожье,
Не в этом месте, так в других местах,
За то, что предварительно, заране
До этой ночи знали, наперед,
Что не способно выдержать сознанье
Ничье все то, что вдруг произойдет,
За то, что знали вы, что быть не может
Виновного в случившемся, что ночь
По-разному две жизни подытожит,
Не даст прийти в сознанье и помочь,
За то, что знали вы, что тень из тени
Возникла — и провал и помраченье,
Что знали, что кромешных восемь суток
Мне тень из тени застила рассудок,
Что жить бы не смогли, когда бы выжил
Тот, кто случайно из подъезда вышел
Упасть на часть проезжую пути
И кто-то бы успел его спасти.
За это все, известное — с особой
Остервенелой злобой.

* * *

Два свидетеля требуются для того,
Чтобы установить или удостоверить,
И расчислить, и вервью суровой измерить
Степень горя пожизненного моего,
И едва ли посильного для человека,
Степень горя, делимого только с одной,
Только с той, что почти (и подумать-то страшно) полвека
Все делила и делит со мной.

Здесь ее воспевать, понимаю, не место,
Но везде и повсюду она
До могилы единственный друг и невеста,
И возлюбленная и жена.

Добрый, в сущности, малый

И потешный весьма
эпигон эпатаций, новаций, метафор чужих,
Не лишенный смешной элегантности,
тощий,
пылающеглазый,
мужик,
Добрый, в сущности, малый,
Не без лести,
но преданный грозным кумирам своим,
Занимающийся не своим
Делом,
но сочинитель бывалый,
Не семейственный,
но
восхитительно чадолюбивый,
На паях разделяющий все перспективы
Всех, кто за руки взялся
и выстроил замкнутый круг.
Ненавязчивый друг
Всех, кто в получести промышляет и в полуопале
В околозакулисном ликующем полуподвале.
. . . . . .
(А метафора
вечно
от слова к понятью вела,
Разрушая тем самым искусство поэзии, предпочитающей слово.)
От меня в эти дни,
как монах от источника зла,
Отворачивался чуть смущенно и все же сурово.
Кругу, за руки взявшемуся,
поперек
Не пошел.
Репутацию не подмочил,
уберег.

Он сегодня накормлен кооперативной эстрадой
И, быть может, смягчился. Но знать мне об этом не надо.

Даже он был безжалостен

Даже тот, кто когда-то
свое боевое убранство,
Вдохновенно воспетое в книге, — Россия, Восток и Славянство,
Шлем какой-то пернатый
В битвах нес,
чтобы в Оптиной кончить
как инок,
А в итоге
всего лишь
состарившийся завсегдатай
Прогрессивно-бомондных
крестин и поминок,
Поощряемых Кромвелем,
Звездной Палатой,
Даже он был безжалостен,
не пересилив пустяшной
Застарелой обиды,
как это ни страшно.

* * *

Возжаждав неожиданно свобод,
Качать права верхи элиты стали, —
И, как всегда, безмолвствовал народ,
Свободой озабоченный едва ли.

В низах элиты — все наоборот,
Охотный ряд свои имеет нужды, —
И, как всегда, безмолвствовал народ, —
И тем и этим в равной мере чуждый.

Святых немало испокон в России.
И те на белой площади — пятьсот,
А позже тысяч пятьдесят — святые, —
И, как всегда, безмолвствует народ.

Есть задачи у нации …

…Никогда не забуду,
Какую остуду
Нанесло. Заступила такая зима,
Заступила такая погода,
От которых голодные толпы народа
Посходили с ума
И обрушились в бездны,
Где кромешная тьма.
Как же так, ведь народ и толпа несовместны…
Неужели в России
Совместились впервые?..
Слышен мне в гениальной поэме «Езерский»
Ропот Пушкина дерзкий,
Что в свободе своей беспечальной
Не изведали жизни уклад феодальной.

Иноземное иго уныло
Только рабство в характер внедрило.
И походы крестовые, как на беду,
По касательной шли, благодатью не облагородив
Даже тех, кто под знаменем Невского против
Войска рыцарского беззаветно сражались на льду.
Есть задача у нации — свято беречь
От народа созданья свои вековые.
У Георгия Победоносца история выбила меч,
И народ оказался без нации. Но не впервые.
Так сложилось, что в прорву болотную, гать
Постепенно ушла, постепенно иссякнула сила.
Если нации нет, значит, некому оберегать
От народа все то, что она сотворила.
Так сложилось, что не пощадил ни чужих, ни своих
Этот очередной истерический сдвиг.

Перенос

Останется лишь то, в чем нет анженбеманов.
Нет, потому что их быть вовсе не должно.
А то, в чем есть они, все то исчезнет, канув
В небытие, на дно, с поэтом заодно.
Иного не дано... Но правило не может
Без исключений быть ни в чем и никогда, —
и только потому «Любовь еще быть может...»
Звучало и звучать осталось навсегда.

* * *

...Где Старая дорога,
Возле водопада,
Переделать старость в молодость
Нельзя. Да и не надо.

Вдоль фривея, вдоль Коламбии,
Где Старая дорога,
Еще чуть-чуть, пожалуйста,
Еще совсем немного.

3.5.1999

* * *

Много радостей было, не много,
Но достаточно этой одной, —
Так довольна она
тем, что все же поверила в Бога,
Что об этом себе
говорить позволяет со мной.

Умоляю, не надо, не надо
Слов о том,
что помолишься ты за меня.

Если не замолчишь,
в храме Божьем погаснет лампада,
Погрузится икона в кромешные сумерки дня.

Однажды зимой

И вот почти всю жизнь хожу, шепча:
«Как вдруг по коридору, где свеча...»,
Казалось бы, обычные слова,
Которые красивая вдова
(Тогда еще жена) поэта — Майя,
Произнесла в гостиной, принимая
Меня и что-то мило лепеча,
Навеки неожиданно сказала:
«Как вдруг по коридору, где свеча...»,
Сама того не ведая сначала,
Что эта пятистопная строка
Переживет века. Ну а пока
Стоял мороз. Не меньше сорока.
А если меньше, то совсем без мала.

* * *

Быть может, жизнь и окаянна, —
Ее не перекантовать.
Сырая стужа океана,
В чужом Содоме — благодать.
Навстречу пересудам, сплетням,
В Манхэттене, на холоду,
Теплом овеянный последним,
По калориферу иду.

Подборку подготовила Зоя МЕЖИРОВА
Нью-Йорк — Москва

Михаил Синельников

Стих расхожий

Не знаю лучшего определения поэзии, чем русское старинное: «сопряжение далековатых идей». Вот сравнительно позднее стихотворение Александра Межирова, примечательное по содержанию и удивительное композиционно:

Чуть наклонюсь и варежку сырую
На повороте подниму со льда,
Подумать странно, как тебя ревную
И как люблю... Должно быть навсегда....

Еще болезни наши, наши морги,
Могилы наши — ох как далеко!
И я черчу веселые восьмерки
На раскаленном льду ЦПКО.

Мне подражать легко, мой стих расхожий,
Прямолинейный и почти прямой,
И не богат нюансами, и все же,
И вопреки всему, он только мой.

Не раз в публикациях последних лет стихотворение расчленялось и последнее четверостишие печаталось как отдельное стихотворение. И даже в составе большой книги «Артиллерия бьет по своим...» (2006) предваряло также получившие автономию и независимость начальные строфы. Составитель (или редактор с корректорами) не мог уловить связи двух частей, постичь единство текста. Но только в своем единстве, неразрывном и упоительном, эти двенадцать строк имеют цену. Порознь одно выглядит как простая зарисовка, а другое как выкрик самовлюбленной риторики... Но значительность приобретает оно только в целом! И тогда меняется природа вещей. Речь — о той вечной двойственности поэзии, которая, по словам Руставели, есть «род познанья, возвышающего дух». Ведь только в поэзии одновременно повествуется о собственных переживаниях автора, о совершившейся судьбе и — по велению познающего свою сущность языка, по воле стиха, выбивающегося в свое русло, — творится работа словесности. Нежное воспоминание о юношеской влюбленности соединяется с гордым, торжествующим ощущением творческой осуществленности. Содержание жизни обрело свою форму. Жизнь (как это гениально у Блока!) наконец «сожжена и рассказана»... И вдруг — и сверх всего — мы понимаем, что влюбленность превратилась в любовь, прошедшую через всю жизнь.

Именно «расхожий», а также «прямолинейный и почти прямой» межировский стих врезался в несколько подзамерзшую послевоенную российскую просодию с веселой яростью и конькобежной скоростью. И вот оставил распознаваемый след на раскалившемся льду. Стихи Межирова, во-первых, узнаваемы по росчерку, по интонации. Во-вторых, они имеют обыкновение запоминаться, и ведь не столь уж это частое свойство вещей, выплывающих и мелькающих в общестиховом потоке. Уделом Межирова в поэзии стало раннее мастерство, и рука его, твердо державшая перо, не ослабела с годами. Ремесленное мастерство становилось все изощренней, но в этом ремесле стиховая мощь с самых ранних лет соединялась с работой совес-

ти. Можно сказать, с ее муками... Один ровесник, ставший, лишь дожив до седых волос и уже «во времена вегетарианские», модным стихотворцем, все не мог простить Межирову его еще юношеских успехов и упрекал в аморализме, в отсутствии каких бы ни то ни было нравственных размышлений. Александр Петрович и сокрушенно, и насмешливо пожаловался мне, нередкому своему собеседнику: «Куда же деться от нравственных размышлений!». И в самом деле столь многие (да едва ли не все!) стихотворения Межирова продиктованы прежде всего чувством вины и жаждой покаяния. Ну, да: «Темная, угрюмая, упрямая, / Вкривь и вкось истерзанная сплошь, / Что ж ты надрываешься, душа моя, /Творчеством заняться не даешь?».

Вышло так, что вопреки хронологии, учитывающей годы рождения поэтов, гражданская по существу (на глубине второго и третьего слоя) лирика Межирова и песни Высоцкого в общественном сознании пришли на смену гражданственной лирике Евтушенко и песням Окуджавы. Межиров и Высоцкий вышли на авансцену в эпоху несравненно более трудную и темную, из которой ушел кислород благих ожиданий. И дали этому времени тихо выдыхающегося, подкипающего застоя его «цвет». Во втором случае, как, впрочем, и в первом, главными были два важнейших явления, здесь названные. Все остальное — к сему.

Дело иных поколений — определить значение в отечественной литературе поэта, ушедшего от нас еще так недавно, — слишком мало времени прошло. Еще возникнет пафос дистанции. Но одно несомненно: каким бы поэтом ни казался и ни окажется в позднейшей оценке Межиров, в его характере были черты крупной личности. Он обладал свойством наиболее выдающихся писателей, таких как Томас Манн и Анна Ахматова, считать лично себя ответственным за все совершающееся в стране и мире. С годами он становился лишь беспощадней к себе, только радикальней. В ответ на заявления, что поэт существует не только в обществе, но многими нитями связан и с природой, и с космосом, и с миром незримого, непримиримо резко отвечал, что поэт для него существует лишь в мире социальных отношений. Говорил, что давно утратил интерес к пантеизму и охладел к гениальному Тютчеву (кроме, пожалуй, стихотворения «Вот бреду я вдоль большой дороги...»). Вместе с Мережковским и по зову собственного сердца следовал за Некрасовым, который и всегда был любимейшим его поэтом...

...По-над Бзыбью, где горная пасека,
Воцарился недолгий покой.
Испросив перерыв на полчасика,
Умываются бабы рекой.

Что вы роетесь в каменной глыбе,
Что елозите вы по горам,
Что вы строите, бабы, на Бзыби,
То ли храм, то ли бар-ресторан?!

Женихов горожанки похитили,
Городских нарожали ребят.
В одиночестве бабы-строители
Голый камень кирками дробят.

Ваша сущность издревле внеклассова,
Беззащитен и мужествен вид, —
И простуженный голос Некрасова
Над ущельями хрипло звучит.

Как ни странно, стихи эти были напечатаны вскоре по написании. Но среди межировских текстов разных лет бывали не только писавшиеся «в стол» (дело в конце концов обычное и для самых известных поэтов и прозаиков советской эпохи). Но и такие, которые, как в фантастике Рэя Брэдбери, десятилетиями сохранялись лишь в памяти автора и читались в минуты откровенности только самым верным людям.

Лишь в разгар так называемой «перестройки» Александр Петрович решился доверить бумаге некоторые стихотворения...

«Меня писать учили Тулуз-Лотрек, Дега...». Ну, да, родившийся в Лебяжьем переулке, в двух шагах от Музея изобразительных искусств, куда забегал, можно сказать, еще в младенчестве, он прекрасно знал мировую живопись и, что не менее важно, превосходно разбирался в ней. В его повествовательных стихах ощутимы уроки живописи. И все же писать его учили прежде всего создатели великой русской литературы, в равной мере ее поэты и прозаики. Как он любил строки Бориса Слуцкого: «Не молью побитая совесть, /А Пушкина твердая повесть / И Чехова честный рассказ / Меня удержали не раз»!

В 1915 году Валерий Яковлевич Брюсов написал замечательное письмо молодому Илье Эренбургу, к которому по разным причинам относился благосклонно: «Вся сущность поэзии в сочетании звуков и ни в чем более. "Идея", "содержание", "чувство" Etc — все вздор, все для публики, для Музы — одно: "звуки сладкие", которые суть "молитвы". Я передаю Вам эсотерическую тайну, немногим ведомую... Когда-нибудь смысл слов Вам откроется. Поэзия есть искусство звуков, а не слов, уж, конечно, не понятий». Сдается, что Эренбург, который стал превосходным поэтом, Брюсову все же не поверил. А нам, кое-что знающим о чудовищном XX столетии, и вовсе нелегко принять брюсовскую истину. Но еще Александр Межиров, служивший и красоте и правде, верил, что поэтическое слово больше сказанного им, жил внутренним ритмом, дорожил интонацией. Слышал порой и божественный лепет невыразимого... В конце концов поэзию любил несравненно больше собственных стихов. Был не ревнив, страстно загорался чужим вдохновением. Сохраняя верность классическому русскому стиху, говаривал, что заумные авангардистские эксперименты «не для людей». Но хорошо знал и то в поэзии, к чему не испытывал большой сердечной склонности. Хлебникова Велимира всего в юности прочитал по фотокопиям рукописей и сетовал на ошибки изданий. Вообще его память на стихи была невероятной: он сразу и навсегда запоминал каждое хоть чем-то выделяющееся стихотворение, прочтенное ему вслух. Автор мог забыть свое создание, Межиров — никогда и чужое...

Он умер, «насыщенный днями», как старцы Библии. «Дорога далека» — словами Якова Полонского, подхваченными Николаем Глазковым, — называлась его первая книга. Дорога и в самом деле оказалась далека. На этом пути он изведал и мгновения торжества и заслуженную славу, и любовь многих, и восхищение образованных современников, и клевету и травлю, и предательство людей, по доброте сердечной извлеченных им из грязи, в которой надлежало бы им пребывать. Была великая злоба мелких завистников, всегда шелестевшая рядом и радующаяся бедам поэта. Не зря Максим Горький сказал, что путь писателя «усеян гвоздями крупного калибра»... Я был знаком с Межировым четыре десятилетия, никто не был мне ближе в литературе, и никуда не деть эти сотни встреч, тысячи телефонных разговоров, письма, совместные поездки, приключения, события, пережитые совместно. Конечно, я принадлежал к числу его ближайших друзей из младших поколений. Если у него, гонимого одиночеством, вообще могли быть друзья. Но все же сказано не попусту: «есть товарищи у меня». И вот его товарищам, и мне в том числе, надо найти слова, чтобы поведать о главном в судьбе Александра Межирова, о его положении в литературе и жизни, о его жизненном подвиге...

Нет этого вечного собеседника. Самая невозможная из потерь, хотя на закате дней он стал так стар и даже немощен. Потеря, после которой остается в мире пустота, которую невозможно осмыслить. Нет звания выше, чем поэт, но, во всяком случае, он был не только поэтом, стихи которого у многих на устах, а некоторые стали именно — в высоком смысле — афористически «расхожими». Но и удивительнейшим человеком, наставником нескольких поколений (даже собственного!), незримым демиургом нашей словесности. «Не сравнивай: живущий несравним...». И нет причин сопоставлять тот расцвет с последующим распадом и «разлитием». Но если все же искать исторических аналогий, то Межиров занял в нашем цеху место авторитетнейшего действующего мастера, создающего образцы, притом и арбитра — место Валерия Брюсова. С той разницей, что оставался живым, «живым и только до конца». Все нуждались в его уме и совете и не давали ему отдыха. И старшие, и младшие, и самые

юные. Его ум заметен и на младенческой фотографии. И в кадрах послевоенной кинохроники, где он, уже, должно быть, в сотый раз, читает прославленное стихотворение «Коммунисты, вперед...» и при этом думает думу свою... Считавший, что талант есть тоже разновидность ума, только особо перестроенного, он был умнее своих современников. И его редкостный ум был этичен. Межиров, видя человека насквозь, желал ему добра. Сделал много добрых дел. И анонимно. Находил в себе силу любить столь многогрешное человечество. «Да, и за таких людей умерли Сократ и Христос!» — говорил он и, возможно, стесняясь собственной горячности, приписывал высказывание старшему другу, грузинскому поэту Симону Чиковани (конечно, и благородному, и высокообразованному, и обладавшему мировой культурой — словом, способному сказать нечто подобное). Хорошо познакомившийся с народом в теплушках и блиндажах, заработавший «окопный нефрит» в Синявинских болотах, он с легкостью переносил изнурительные особенности коммунального быта,«новости и неудобства», знакомые толпе. «Запах жареной рыбы в квартирах / Отвращенья не вызвал во мне...».

Признавался, что истинными участниками войны считает лишь тех, которые были на фронте в 41-м году... К одному стихотворению взял эпиграф из Самойлова: «Сороковые, роковые...». Отнесся равнодушно к моему запоздалому замечанию, что ранее это выражение возникало в стихах Антокольского, да и вообще оно восходит к Герцену (впрочем, в последнем случае речь — о сороковых годах девятнадцатого столетия, жандармско-казарменных, николаевских). С присущей ему корректностью воспроизводил эпиграф в разных изданиях. И ведь в конце концов дело было не в кем-то приватизированном созвучии, лежащем на поверхности и летающем в воздухе взаправду роковых годов. Дело — в самом этом воздухе, насыщенном предчувствием гибели поколения, приносимого в жертву.

«Как быстро и грозно вертится земля, / И школьные старятся учителя...». Он был выдающимся наставником, истинным педагогом. Его разговоры за кафедрой запомнили 2000 слушателей Высших литературных курсов, где Александр Петрович много лет вел поэтический семинар. Но кто задумался, что он ведь не нуждался в солидной по советским понятиям профессорской зарплате! Деньги эти мог бы в один вечер поставить на кон, проиграть и забыть. В решении вести курс такого престранного академического предмета, как поэзия, — и артистическое самовыражение, и стремление создать себе собеседников, попутно образовывая их. А среди них случались и выдающиеся природные поэты. Которым просто не хватало эрудиции. И вот с ними основательно была прочитана поэзия. Не только русская, не только «Белая стая» Ахматовой и «Тяжелая лира» Ходасевича, но и Гете, и Тарас Шевченко, и Важа Пшавела, и туркмен Махтумкули в гениальных переводах Тарковского, и прельстительная поэма о кошках татарина Габдуллы Тукая... И вот выходит так, что прежде всего это была добровольно взятая на себя общественная миссия, в высоком смысле просветительская. Какое же представление о поэзии он передавал своим слушателям? Впрочем, не только слушателям этих курсов. Но и зрителям телепередач о поэзии — они стали явлением культуры в годы одичания. И тому же учил вереницы навещавших его в городской квартире и на переделкинской даче молодых стихотворцев, ненавязчиво подталкивая их в сторону не подражания, а самораскрытия, непрестанного чтения и размышления. Он сообщал им высокое мнение о ремесле поэта. Утверждал, что даже плохой поэт — высокое звание. И если между великим и небольшим поэтом — расстояние, измеряемое световыми годами, то между поэтами и непоэтами — неодолимая пропасть... Он не скрывал своей раздраженной нелюбви к самодеятельности, неприязни к непрофессионализму. Кого-то полупрезрительно называл «полупрофессионалом». Эстетическим критерием была только пластика. Органичность, естественность... Ему виделась душа произведения. Форма могла быть корява, сосуд бывал с выбоинами и вмятинами. Но именно форма была судьбой. На дне сосуда не прекращалось мерцание... Самая оскорбительная межировская похвала при слушании чьих-то стихов: «красиво»... Он, конечно, имел свои вкусы, но не был фракционен. Стремился, чтобы раскрылось в каждом именно то, что самой природой в нем заложено. Пытался понять и все, что отстранял. Мы — не Пушкины, да и он — не Катенин, но учил, как Пушкина Катенин, отучая от односторонности. Учил ценить и чуждое поначалу и никогда не переносить личного отношения к автору

на оценку его стихов. Боготворивший Межирова грузинский поэт Хута Берулава воскликнул восхищенно: «Стихи врага своего похвалит, если хороши!». Помню наш с Александром Петровичем спор о Михаиле Луконине, некогда его друге, дружба с которым прервалась в силу житейских обстоятельств. Я считал его лишь подражателем забытого Леонида Лаврова, а Межиров хвалил. И доказывал, что совсем это немало — хоть на какие-то сотые доли расширить регистр звучаний русского стиха.

Возможно, в творческие мгновения он верил во множественность истины. Отсюда эта поэтика парадоксов и взаимоисключающих эпитетов. Учитель нравственности, истинный воспитатель, он ведь и себя самого попутно и ежечасно закалял, настраивал, воспитывал. «Переформировка длится, длится, / Никогда не кончится она…». В одну пору жизни повторял: «Ничто в русских стихах не будет иметь значения, если не выражено то, что случилось с Россией!». Это ведь и себе самому в назидание!

Молодому поэту, написавшему несколько удавшихся стихотворений, Межиров дал встреченный с юношеским недоумением, но оцененным с десятилетиями блистательный совет: «Вы создали свой мир, построили свой дом! Теперь вы должны его разрушить и из обломков построить новое!». Несколько позже тому же, родившемуся после войны стихотворцу, однажды оказавшемуся в творческом тупике, было присоветовано создать поэму о военной жизни на основе какого-нибудь фронтового эпизода. Понятно, что так давалось задание себе самому.

Поэт — явление ритма. Предположим, что ритмический рисунок широко известного стихотворения «Одиночество гонит меня…» заимствован из полузабытого (потерявшегося в первом томе), но мощного стихотворения Блока «В пыльный город небесный кузнец / Прикатил огневой переменчивый диск…». Но стихи Межирова далеки от блоковского символизма, они, как всегда, — свидетельство пребывания «в реальнейшем из всех миров / И уж, конечно, в объективном». Веривший в «остаточное братство цеховое», считавший свое занятие общим делом мастеров, Межиров был переимчив. В некоторых его стихах воспроизведены ритмические и стилистические ходы других поэтов — и сверстников, и тех, кто был моложе. Но позаимствованные слова и обороты в совершенно новом контексте засверкали иными гранями. И кроме того: ведь взамен взятому отдавалось столько собственного новонайденного и первородного… Горделиво сознавалась Ахматова: «Налево беру и направо, / И даже без чувства вины. / Немного у жизни лукавой / И все у ночной тишины». В стихах Межирова всегда собственные — бессонница и интонация.

Что вообще значит заимствование, когда весь смысл творчества — в цельности произведения, в широком контексте! Одно из самых проникновенных стихотворений Межирова возникло из возгласа немолодой женщины, вернувшейся с симфонического концерта: «Какая музыка была!». Поэт очаровался этим вскриком и продолжил, вспоминая молодость и войну… Мы все окружены бурей музыки, но важно выхватить из прозы будней обрывок мелоса.

Как поэт Межиров — явление великой русской советской поэзии. В том смысле, в каком от советизма остались в итоге только удержанные исторической памятью суровые жизненные реалии, а не выгоревшие дотла идеологические штампы, и сам он превратился лишь в художественный стиль в ряду барокко, рококо и ампира. В этом смысле «советская» поэзия, даже подцензурная, но не утратившая потаенной связи с Писанием, могла быть и яростно антисоветской. И здесь учителями Межирова в равной мере могут быть названы Маяковский и Ходасевич, разделенные взаимной враждой родоначальники большого стиля. Перечитывая сегодня стихотворение, создавшее Межирову и первоначальную, и постоянную известность, «Коммунисты, вперед…», не будем уподобляться бедному Н.И.Бухарину, «никогда не понимавшему диалектики». Ясное дело, что смысл стихотворения несколько раз изменился со дня его написания. Стихи, до того как они механически были зачислены в инвентарь и инструментарий агитпропа, являлись отважным протестом против жульнической подмены идеологии, осуществленной Сталиным на переломе войны. Они взывали к патетической героике, требовали жертвенности, в сущности христианской, прославляли отдавших жизнь «за други своя». Позже было написано другое прославленное стихотворение «Мы под Колпиным скопом стоим, / Артиллерия бьет по своим…». Конечно, первая часть высказанной истины неполна без этой второй ее части. Но

вторая не отрицает первой. Оба стихотворения были искренними. Горько на склоне дней каявшийся в том, что умел «сказать неправду лучше, чем другие», Александр Межиров между тем сохранил внутреннюю свободу и в ранних, и в поздних, и в последних своих стихах.

Родившийся в интеллигентной семье, он был человеком высокообразованным и увеличивавшим свои знания в течение жизни. При том что основой чтения были оба Завета и в какой-то мере Коран. Высокий библеизм был ему присущ. Вера в то, что в мире постоянно осуществляется Божий закон. Его действие он ощутил даже в языческой Индии, которая потрясла его, возможно, не менее, чем Отечественная война, и заставила возвращаться вновь и вновь. В удушливо-страшной Калькутте:

Молчат могилы, саркофаги, склепы,
Из праха сотворенный — прахом стал, —
Все разговоры о душе нелепы,
Но если занесло тебя в Бенгал,
Днем, возопив на крайнем перепутье,
Сырым огнем Бенгалии дыша,
Прозреешь душу вечную в Калькутте,
Которая воистину душа.

В чем виноват, за все меня простили, —
Душа и представлялась мне такой.
Воистину, как сказано в Псалтыри:
Днем вопию и ночью пред Тобой.

Об одном самонадеянном литераторе он сказал вдруг, что единственное, чего этому товарищу не хватало, так прочитать одну книгу — роман «Будденброки»... Да, но ведь для того, чтобы понять «Будденброков», надо предварительно прочитать тысячи три книг из сокровищницы мировой литературы. Пожалуй, можно назвать нескольких европейских авторов, особенно важных для становления нашего поэта. Данте, Сервантес, Макиавелли, Гете с неизбежным Эккерманом, Де Местр, Адам Смит (кто еще у нас его читал после Евгения Онегина!), Ницше (особенно ранний, эпохи «Происхождения трагедии» и «Веселой науки»). Но, конечно, являясь как поэт продолжателем классической русской поэзии, главным образом, некрасовской ее линии, Межиров мыслящим человеком был, что называется, русской выделки. И здесь постоянными спутниками его стали прежде всего Пушкин и Толстой, но также и Сковорода, и Хомяков, и Герцен. И, понятно, Чаадаев, и, естественно, Владимир Соловьев (который далеко не был непротивленцем). Ну и Бердяев, и Федоров, и Шестов, и особенно любимый Федотов. И все сопутствующее. Вплоть до Бахтина, с которым возникла и краткая переписка. Но вот — главный узел: Леонтьев и Розанов в их коренном противостоянии и неразделимом единстве. Оставаясь по существу розановцем и являясь благородным консерватором и в жизни, и в поэзии, и в политике, Межиров стремился следовать завету честнейшего Леонтьева: «Писатель должен быть либерален в консервативные времена и консервативен в либеральные». В подцензурных стихах он умел, изощряя воображение, сказать что хотел. Возьмем, к примеру, стихотвореньице о тбилисских шоферах, обматывавших цепями колеса грузовиков на обледенелых серпантинных подъемах. Кончалось оно так: «...хоть убей, / Не осилить подъем без цепей!». Эмигрировал Эрнст Неизвестный, и цензура потребовала убрать из превосходного стихотворения о няне Евдокии четверостишие, ему посвященное. И, должно быть, любой поэт на месте Межирова принес бы эту жертву, чтобы спасти стихотворение. Но Александр Петрович не убавил, а прибавил — приписал еще одно четверостишие: «Мы в одной служили роте, / Нас разъединить нельзя, / Он в Москве — Буонаротти, / Во Флоренции — Эрзя». Прошло.

Догадываясь, что история российская движется и не по предначертаниям классиков марксизма, и не по заветам Витте и Столыпина, а лишь по стезе полковника Зубатова, не слишком уверовал и в обломно грянувшую гласность. За долгую жизнь научился чувствовать опасность и, понапрасну не подставляясь под удары, смиренно трудиться во имя добра. От людей хотел всего лишь человечности, дающейся, увы,

так трудно, и всей душой ненавидел культ силы, «добро с кулаками». Умел, почти не меняя тона, говорить и с великими естествоиспытателями, и с профессиональными игроками, и с истопниками и сторожами. Возможности заграничных поездок, предоставляемые видным советским писателям, охотно использовал, свои книги регулярно издавал, чужие усердно проталкивал, а куплен не был. Милостей начальства не искал, от награждения орденом Трудового Красного Знамени, который хотели на него навесить в годы борьбы с диссидентством, уклонился. Перед народом не заискивал, но просто любил его: «И уже не подвластный гордыне, / Отрешенный от суетных дел, / Слышу так, как не слышал доныне, / И люблю, как любить не умел». Народничества же не терпел: «Видите ли, от народничества до национализма один шаг!».

Пожалуй, он был горд и скромен одновременно. Гордился дружбой с бильярдистами и мотогонщиками по вертикальной стене. Цирк убежденно назвал «постоянным состояньем / Всех живущих на земле». В один из черных своих дней сравнил себя с опустившимся гитаристом: «Кем он был этот старый / Человек из пивной, / Обладатель гитары / С дребезжащей струной. / Был хмельным и бездомным гражданином страны / Со своим незаемным / Дребезжаньем струны». И дальше: «Вы на нем вымещали / Все свои неправа, / А ему не прощали / Волшебство мастерства». Именно подражатели его ненавидели и терзали. В какой-то день его жизнь из невеселой превратилась в просто мученическую и до конца оставалась такой. А он не был безгрешен, но все грехи его были грехами страстного поэта, а не чиновника. И вот он лишился родины. Не исторической, но истинной. Как нам его здесь не хватало все эти два десятилетия! А он потерял все, кроме любви, верности жены, дочери, внучки («И блаженных жен родные руки / Легкий пепел соберут…» — сказано Осипом Мандельштамом). Но поэзия его продлилась и в эмиграции. Столько чудесных и пронзительных стихотворений. И среди них одно из сильнейших, созданных на протяжении всей долгой жизни. Даром, что всего четыре строки:

Может родина сына обидеть,
Может даже камнями побить,
Можно родину возненавидеть,
Невозможно ее разлюбить.

Мне кажется, он умер, простив всем казнившим его «не за то»! Но был раним, боль ощущал, как никто. Еще в детстве, когда выслушал рассказ о крестных муках Спасителя, был поражен так, что на руках и на ногах образовались «раны гвоздиные» — стигматы. Такое бывало в средневековье.

«Был русским плоть от плоти, / По мыслям, по словам, — / Когда стихи прочтете, понятней станет вам…». В молодости его исключили из партии, в которую он вступил в болотном окопе Ленинградского фронта. Исключили за вольные разговоры о мало кому ведомом тогда Константине Леонтьеве и высокое мнение о русской иконописи. Он ждал ареста. Спасла смерть вождя… Однажды любознательный черносотенец выхватил у него из рук потаенное стихотворение о советской России со строчками «Вы молотили на иконах / Кооперативное зерно» и отнес его доживавшему свой послекаторжный век монархисту Шульгину. С криком «Вот уже какие антирусские стихи стали писать!». Шульгин Василий Витальевич внимательно прочитал написанное на листке и сказал: «Вы ошибаетесь! Это — не антирусское стихотворение. Это антисоветское стихотворение».

«Ничто не имеет в стихах значения, если нет в них того, что случилось с Россией». Он ведь не мог не думать о русско-еврейской судьбе — не обойдем этой темы. Есть в некоторых его сборниках не слишком заметное и не всеми внимательно прочтенное, не всеми понятое давнее стихотворение. Оно о двойной вине, о двойной, стало быть, и ответственности:

В руинах Рим, и над равниной
Клубится дым, как над котлом.
Две крови, слившись воедино,
Текут сквозь время напролом.

Два мятежа пируют в жилах,
Свободой упиваясь всласть, -
И никакая власть не в силах
Утихомирить эту страсть.

Какая в этом кровь повинна.
Какой из них предъявят счет?
Из двух любая половина
Тебе покоя не дает.

Пожалуй, он привык снисходительно относиться к молодежи, обреченной вращаться, «Как спицы в колесе без обода, / Без исторического опыта». Заметим только, что, поседев, эта бывшая молодежь хлебнула исторического этого опыта полной мерой и свыше меры... Но тогда немолодой уже Межиров был, конечно, прав. В дионисийском буддизме «безвременщины» (возьмем словечко у Пастернака) не могли созреть поэтические поколения. Сам же он еще в нежном возрасте увидел и узнал жизнь и ее бездны. «Но даже смерть — в семнадцать — малость, / В семнадцать лет — любое зло / Совсем легко воспринималось, / Да отложилось тяжело». Разумеется, он не мог не меняться со временем. Но все же так рано усвоенные им представления о мире людей не изменились. Он уже не мог изменить добровольно избранному «нищенству духа»...

О, как я погружался
в приглушенное разноголосье
Этих полуподвалов,
где дух мой недужный
окреп.
Нес гороховый суп
на подрагивающем подносе.
Ложку, вилку и нож
в жирных каплях
и на мокрой тарелочке —
хлеб.

На изобильных кавказских пирах, в застолье с лучшими яствами и винами, он производил странное впечатление, пока не привыкли... Ел только котлету с макаронами и пил только водку. Потому что во время блокады утратил ощущение вкуса пищи.

Еще в молодости в его жизнь вошли дивная Грузия и тот пронзающий душу жаркий город, о котором Полонским сказано, что в нем «прошедшего не жаль». Поразительна сделанная в Зедазени совместная фотография очень молодого Межирова с Тихоновым и Заболоцким, принявшими его как младшего брата. Нечто вовсе невыразимое в словах сказано взглядами, глазами, видевшими столь многое. И кажется, что юноша душой не моложе этих рано состарившихся предшественников. Тбилиси был еще даже не интеллигентным, а аристократическим в ту пору, когда Межиров впервые в него приехал. Со временем его авторитет в Грузии стал неоспоримым, его мнения непререкаемыми. А потом наступили годы, когда самые замечательные люди ушли и общий уровень безнадежно понизился. Прилетая в Тбилиси, Межиров уже на трапе восклицал: «Где Леонидзе? Где Чиковани?». Да, все проходит, все забывается... Все же было бы несправедливым, если бы в Тбилиси забыли Межирова и все сделанное им — его грузинские стихи, его переводы, выполненные на пределе сил, его любовь к Грузии. Сказал Георгий Леонидзе: «Человек умирает для себя». Для тех, кто его знал и любил, умереть он не может.

Еще задолго до катастрофы отъезда он привык к тоске утрат и удушью имперского распада. Измельчания, зловещей унификации. Вторичного упрощения. Однажды сказал мне: «О, если бы мне повезло, и моим врагом стал Андрей Белый! Или... вот если бы мы в свежем номере журнала вдруг прочли новые стихи Павла Васильева, новый рассказ Платонова...». Может быть, он уже уставал воспитывать для себя собеседников, способных вести разговор на равных. И отвлечение спортом, игрой, автомобилем и бильярдом уже никак не помогало. Пропало вдруг и желание на досуге

заниматься какими-либо мистификациями... Я позволил себе сказать ему: «Ваша любовь к художественной лжи, ведь она — от любви к правде». Правда же становилась слишком неутешительной, безнадежной. «Голос горя нарастал и креп...».

Помню, в один жаркий летний день он читает мне новое стихотворение:

В огромном доме, в городском июле,
Варю картошку в маленькой кастрюле.

Кипит водопроводная вода, —
Июльская картошка молода, —
Один как перст,
Но для меня отверст
Мир
Накануне
Страшного
Суда.

На всех пространствах севера и юга
Превысил нормы лютый зной июля.

Такого не бывало никогда, —
Ах, боже мой, какие холода...

Варю картошку в мире коммунальном,
Равно оригинальном и банальном.

Мудрей не стал, — но дожил до седин.
Не слишком стар, — давным-давно один.

Не слишком стар, давным-давно не молод,
Цепами века недоперемолот.

Пятидесяти от роду годов,
Я жить готов и умереть готов.

Все дело в том, что тогда я был вдвое его моложе, и стихи не слишком меня тронули. Вот сейчас я остро их чувствую. И согласен. И готов на то и на это.

Разочарования в своей судьбе и степени воплощенности во все времена были ему свойственны. Ведь он и всегда отрицал, что он поэт, а на склоне эмигрантских лет это отрицание стало исступленно-категорическим. Иронически относился к моим статьям и заметкам о нем. Все же он верил (своеобразная, но, видимо, верная теория), что читатель также является поэтом и равен писателю. Он любил, во всяком случае, некоторые свои стихи и можно догадываться о границах его честолюбия. Но великому наследию был предан несравненно больше, чем собственному творчеству. И такое отношение к делу завещал нам. Ему не по силам было прекратить распад русской культуры, русской словесности. Это и никому не по силам. Но он, и голый среди волков, безоружный, только властью ума и таланта сделал все для того, чтобы русская поэзия еще продолжилась — его силами и силами тех, кому он оказал поддержку. Ему было дано последнее счастье бойца: «Пусть фронт прорван и общее поражение неизбежно, но через мой окоп они не прошли...».

Чем же закончить прощальный разговор? Мне вспомнились вдруг величественные в своей простоте слова одного позднего арабского историка — Абд Ар-Рахмана аль Джабарти, сказанные об ушедшем современнике: «После него подобного ему не осталось».

Рубен Овсепян

Под абрикосовыми деревьями

Роман

С армянского. Перевод Лилит Овсепян

Моей жене, Ольге Меликян, посвящается

Минуя мост на подступах к городу, Аветик, поддразнивая черта, гримасничавшего в сводчатом мраке, перекрестился в сторону высившейся у кромки Разданского ущелья церкви Сурб Саркис, на паперти которой уже суетились попрошайки, аккредитованные в этих святых владениях мелкоторговцы, чья поднесенная свеча коптила своды церкви, как ладан — кладбищенское небо. От смрада ладана хмурились даже усопшие, а мутное пламя гасло от слонявшегося по церкви ветра еще раньше, чем сообщающийся с Богом посредством свечи успел бы выйти из плена молельного круга. Каждая новая, переплавленная из покореженной плоти безвременно почивших свечек, звучала скроенным по кусочкам разных молитв и просьб лепетом, из которого Отец Небесный конечно же ничего не понимал и помочь, следовательно, не мог…

Церковь была закрыта, окна резиденции источали тусклый свет, аромат варившегося кофе обнадеживал христарадников и мелкоторговцев, что вот-вот появятся клерикалы, провозгласят рождение очередного воскресенья, и дай бог чтобы прибывшие из спюрка[1] на родину благодетели-благодетельницы соизволили сперва Сурб Саркис посетить и потом только Первопрестольную, где и нищих несравнимо больше, и приложиться к деснице — дороже. К тому же у новопомазанного святейшества множество планов: и новую церковь построить, и старые отреставрировать, и семинарию основать, и почать цивилизованную борьбу с мормонами и прочими сектами, хлынувшими в Армению на крыльях западных ветров — не они ли нещадно пожирают и без того чахлые, хлипкие ростки истинной веры? Но за какую из забот радеть благодетелям-благодетельницам? Щемящими от слез сочувствия глазами они, пожалуй, и не заметят парящего вокруг купола церкви белого всадника и не успеют вручить ему свою личную просьбу…

Словно руки, воздетые к небу в молитве, верхушки прибрежных деревьев, проткнув теснинную мглу, мерно покачивались, волнуя туман, щекочущий замерзшие ступни древнего Дзорагюха. Беспросветная мгла могучей плитой погребла под собой реку, рыб, лягушек, ужей, спрыгнувших с моста самоубийц, чей путь вниз по течению выдавал отзвук давно и бесследно сгинувшего Абовяна…

Рубен Овсепян — прозаик, переводчик, сценарист. Родился в 1939 г. в Ереване. Окончил факультет геологии ЕТУ и высшие сценарные курсы в Москве. Автор многочисленных книг, переведенных на русский, чешский, польский, немецкий, английский и другие языки. Перевел на армянский «Детство» и «Отрочество» Л.Толстого, «Три сестры» А.Чехова, «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха» Маркеса.

Роман «Под абрикосовыми деревьями» удостоен премии президента Республики Армения.

[1] Спюрк — армянская диаспора.

Но жизнь реки не была мертва — туман не смог поглотить голос вечности... Вырвавшись из предрассветной дремоты, Ангел встрепенулся навстречу пробуждающемуся городу, робкой попыткой воспротивиться узде дал понять Аветику, что эта плотная каменная махина с перебивающими движение на каждом шагу перекрестками — не его мир, и, значит, в вожжах сейчас он нуждается больше, чем на всем протяжении дороги, пересекавшей открытую и безбрежную долину, где если и можно было, поддавшись хмелю, клевать носом, неспешно и лениво плывя по морю воспоминаний, то здесь необходимы зрящие сразу в четыре стороны заячьи глаза и умелая рука, вовремя натягивающая поводья.

«Хо алла, хо алла!..» — подал голос Аветик и изумился, что новорожденный свет, подобно чудесному жеребенку, ступает в город чуть впереди тележки, а не льется равномерно сверху, продлевая зимнюю спячку в недрах города.

Задымленным был город: струившийся по трубам, торчащим из отдушин, из только что прорезанных в стене круглых отверстий дым, прежде чем рассеяться, норовил очертить в воздухе воспоминание сгоравшей древесины — силуэт дерева. И если удавалось — выплывшие одновременно из каждой обозримой трубы, то под низеньким городским небом повисал лесной пейзаж. Грустная и жалкая эта иллюзия, впрочем, длилась всего мгновение — уже через миг она лопалась от взвихрившегося вслед за машинами ветра, от трамвайного дребезжания, дыхания озябших людей, скулежа бродячих собак, рыскающих по улицам и мусорным бакам, и фырканья Ангела. Капель от сосулек в прорехах водосточных труб мгновенно застывала в нарастающий ледяной риф, и бродячая собака облизывала почти достигшую тротуара сталактитовую гладь, как ребенок леденец.

Аветик пощадил коня и погрузил всего два мешка в чумазую мазутную тележку, которая в свое время, капля за каплей, впитала столько керосина, сколько пролили за четверть века сквозь дырки прохудившейся воронки и по краям литровой кружки трясущиеся пальцы пропойцы Енока. Керосина испили и одежда, и кожа самого Енока — снаружи благоухал керосиновый фимиам, изнутри несло перегаром. И молния, мстительной змеей преследующая людей, забывших таинство воскресного дня, что якобы прицелилась в железную бочку с керосином и промахнулась, в одно мгновение воспламенила несчастного. Несколько горсточек пепла осталось от Енока. Похоронили в урне, насеяли вкруг холмика душистых цветов, рассадили чабрец, мяту, и герань тоже, и лишь на третьем году сообразили, что запах керосина испускает не прах, покоящийся под могильным холмом, а само Еноково имя.

Кто Енока вспоминал, тому в ноздри било керосином. И не только на кладбище. Городской снег был даже более грязным, чем в годы, когда функционировали старые заводы, выдыхающие трубами дым и чад, с требованием закрыть которые группа бородачей день и ночь горланила на площадях и подступах к правительственным палатам. Один даже объявил голодовку — не желал жить в отравленной стране. Не желал видеть бесплодных женщин и немощных мужчин, рождения трехглазых, хвостатых детей без конечностей. Небывалый рост числа этих нежелательных явлений зафиксировали с того самого дня, когда объявивший голодовку перенес свои требования на плакат и как знамя водрузил его посреди площади. Не только из Араратской долины, где аномальных, уродливых порождений, равно как и посрамленных на супружеском ложе мужчин было несравнимо больше, но также из далеких, отрезанных от тревог цивилизации горных сел, забросив дела и заботы, стекались в столицу люди, чтобы взглянуть на добровольно покидавшего жизнь дерзкого Бородача. Своей смертью новоявленный Христос хотел потрясти московских ставленников, которые и впрямь были сбиты с толку, но не настолько, чтобы забыть про архивы всеведущих спецслужб и, прежде чем предпринять какие-либо шаги, не сунуться в папку, растолковывающую личность Бородача. Содержание дела не было особо богатым: одно-два донесения агентов (написанные, скорее, для того, чтобы оправдать полученный аванс), характеристики, справки, свидетельства о зрелости и развитости, копия записной книжки наподобие дневника; анализ дела подсказывал, что над объектом исследования природа слегка подшутила, примешав к щепотке пыльцы христианства еще по щепотке — бунтарства, демократии, патриотизма, альтруизма и тщеславия, но не наделила способностью замесить все это хотя бы с горсть в единое целое.

И решили оставить Бородача в покое, хочет умереть — пускай умирает. Организаторы митинга оказались куда более практичны и благоразумны — сообразно требованиям дня и развитию событий, они бережно скрепили как искорки бунтарства, так и пузырьки демократии клейстером патриотизма. Водруженный на площади плакат превратился в неистовую газету, чьи обновлявшиеся строчки фиксировали количество уродливых порождений, цифры и проценты отравлений, смертей, рисовали графики эпидемических вспышек и предрекали великое национальное бедствие — исчезновение вида, угроза чего еще больше нагнеталась, если взгляду, устремленному в соответствующем направлении, не открывались дивные контуры заветной горы. Ядовитая мгла поглотила Арарат. Проявления Бородачева тщеславия организаторы демонстрации пустили на самотек, прекрасно сознавая, что это человеческое качество не нуждается ни в направлении, ни в управлении, оно самонаправляемо и самоуправляемо, только подпитывай. Им также не была нужна его смерть, вряд ли бы успевшая, попади она в жерло событий, обзавестись ореолом святости, то есть по поводу сожалений их убеждения с аналитиками спецслужб почти совпадали. Зато разнились в оценке степени опасности.

Чудом уцелевший в Афганистане Гор, чью невесту родители отправили замуж в американский город Сан-Франциско, Гор, который месяцами не выходил из дома и не разговаривал, а если и выходил, то общался лишь с немым сыном соседа Енока, однажды утром ушел в город и вернулся ночью с кривой ухмылкой на лице. Ни Аветик не спал, ни Овсанна, ни даже Еноков немой, который, сидя во дворе, царапал прутиком по земле и пытался вместить придуманные Маштоцем армянские буквы в хоть и равномерно вычерченные, но кособокие клетки. И не мог. Буквы взламывали слабые ребра клеток и по-птичьи встряхивали на свободе хвостиками. И сидел он так, как мог сидеть только он — свернув седлом слабую увечную ногу и вытянув вперед по всей длине вскинутую на нее здоровую. То ли кончик прута был пахучим, то ли изрезавшие артерии земли царапины соблазняли, но муравьи и мошкара, игнорируя немытого немого, покусывали буквы...

...Молния не сразу убила Енока — прошла через голову насквозь и выскочила из-под ног. Пока Еноков взгляд, проследив путь искрящегося внутри него тока, добрался до конечной точки, занялись огнем подошвы. Пинком полыхающей ноги успел, словно щенка, выкинуть из телеги шестилетнего сына и метнуться в сторону, в страхе, что мальчик, повинуясь бездумному инстинкту помочь отцу, может броситься в огонь и сгореть заживо вместе с ним. «Не подходи, ягненок!» — испустил последний крик Енок, понятия не имея, что сломанная левая нога ребенка застряла в камнях обочины, а мрачнеющий разум оборвал речевые нити...

— Где был? — спросил Аветик сына и заметил, что тот же вопрос, только с укоризной, задают глаза немого. И казалось, Гор, как обычно, оставив отцовский вопрос без внимания, опустится перед немым на корточки и жестами объяснит ему причину своего долгого отсутствия. Но Гор будто и не видел уже поднявшегося и отчего-то пришедшего в смятение немого.

— Зятек твой мартышку за руку водил, представление устроил. Я стоял и смотрел, — ответил Гор и расхохотался.

Странным был смех, — последним, как подумалось Аветику и Овсанне, симптомом той ужасной болезни, о которой они не смели обмолвиться даже наедине, в постели или в саду, лукавя друг перед другом, что раз один из родителей в поведении сына ничего странного не замечает, то подозрения другого беспочвенны и надуманны. Если бы осмелились обменяться сомнениями, сопоставить результаты тайком друг от друга наблюдений, признали бы аргументом единственную душевную и речевую связь сына с немым, сообща потрясли бы оба родовых древа, подбирая упавшие ядовитые плоды — истории ложной беременности матери Овсанны и погружения в обледенелое Гегамское озеро деда Аветика, тогда волей-неволей им пришлось бы собственными руками законопатить ту последнюю узенькую щелочку надежды, которая еще сохранялась в просветах молчания. Между тем хохот был исцеляющей отрыжкой — Бородач, устроивший голодовку на глазах тысяч демонстрантов под бдительным оком международного Красного Креста, и нянькой круживший вокруг него господин зятек какими-то подсознательными ассоциациями трансформирова-

лись в раздражающий палец, пощекотали Горово сквасившееся горло и откинули заевшую задвижку, позволив, чтобы щедро и без остатка изверглись из нутра заглоченные, но не переваренные ядовитые кусочки афганского кошмара.

«Каждые два часа, — утирая слезы, рассказывал Гор, — твой зятек таскал этого маймуна помочиться, а на досуге собирал в мешок деньги... А с ним и наш Долдон...».

С мешком, напоминавшим одно око хурджина, зять Аветика собирал пожертвования с целью помочь искалеченным людям и природе, а также — основать альтернативные, на солнечной и ветряной энергии, электростанции, переоборудовать химические и горно-металлургические заводы в безопасные и безотходные предприятия. Каждый битком набитый мешок, вскинутый на плечи Долдона, отправлялся невесть куда, продираясь сквозь ряды демонстрантов и упрочивая в душах людей надежду, что не сегодня-завтра эта проклятая атомная закроется, а из школьной учебной программы, как бесполезная и даже вредная дисциплина, вышвырнется химия. Господин зятек вырос и перед Гором, но потому что привык не узнавать лиц в толпе, спешно подсунул мешок другим, когда почувствовал, что этот вовсе не намерен лезть в карман.

«Отрекся от меня наш зятек!» — хохотал Гор и чувствовал, как уносятся прочь, канув в реку забвения, не только образы афганского кошмара, но и боль, причиненная невестой, отбывшей замуж в американский город Сан-Франциско.

В этой жизни нет ничего абсолютного. И трагедия не абсолютна. Наполовину комична. Комичность была в колченогом бегстве Енокова сына, чей сомлевший язык не умел сказать то, что выразили невероятные па, выделываемые ногами — одной здоровой и одной вислой. Гор покинул мир пантомимы и вновь очутился в той, враждебной стране, где всякая сформулированная мысль, каждое понятие озвучиваются. «Ты предатель, Гор, ты предатель!» — говорили жесты и телодвижения Енокова немого.

Комичность была и в истории ложной беременности матери Овсанны — тикин Мариам. Позабывшая черты мужниного лица, давно уже наверняка смешавшиеся с землей в братской могиле захудалой русской станицы, никогда после короткой супружеской жизни больше не изведавшая мужской ласки и считавшая себя заново девственницей, Мариам вдруг забеременела от святого духа и в качестве доказательства демонстрировала свой заплывший жирком живот, не сознавая, что, пока чудо-младенец не родился, пока не аргументировал чудесами свою божественную сущность, пока не воскрес из мертвых, она не имеет права суесловить, а тем более гордиться.

Дни беременности безумная Мариам отсчитывала фасолинами. Шкатулка для драгоценностей, жалкое содержимое которой она распродала или обменяла на продукты в годы Второй мировой войны, чтобы спасти от голода Овсанну, — единственный плод их с Василом недолгого супружества, теперь превратилась в копилку для посевной фасоли. Сами собой зародившиеся мелкие червячки выели изнутри, опорожнили часть фасолин, и от них остались лишь полые, малинового цвета оболочки. Стоило откинуть крышку шкатулки, и малейшие колебания воздуха сообщали движение этим крохотным разбальзамированным фараончикам. В конце концов Мариам, под предлогом отправки в роддом, забрали в психиатрическую лечебницу, где она и преставилась, по ее собственному последнему мнению — при родах.

Прежде чем сдать Геташен азерам, Гор отыскал бабкину могилу, очистил от чертополоха и мусора и, с автоматом на груди, сфотографировался рядом — так, чтобы не заслонять надпись: «Богородице Мариам».

А деду Аветика, отцу Стефаносу, в дни, когда истребляли клерикалов, приснилось, как чекисты расстреливают Гегаркунинкского викария вардапета Езника и кидают тело в прорубь. Якобы покончил собой. Сон содержал детали: перед тем как сбросить труп в прорубь, с отдавшего Богу душу Езника стянули вардапетское пальто и, перекроив в мирское, продали в Цахкадзоре. На пять пудов муки обменяли также русско-армянский словарь ученого вардапета, доставшийся сыну директора мукомольни. Пока представители святейшего патриарха вели с большевистскими лидерами переговоры в целях пресечения повсеместного произвола и возвращения конфискованных прицерковных зданий, имущества и поместий, отец Стефанос, ухватив

сон за хвост, обнаружил и перекроенное пальто, и словарь. Обнаружил даже лоскут архимандритского клобука, ставшего подкладкой для военной фуражки, но на этом вещественном доказательстве особенно не сосредоточился, поскольку в содержании сна такой детали не имелось. А коль скоро сей сон, вне всякого сомнения, был ниспослан свыше, то велик был и соблазн доказать факт расстрела вардапета Езника, который в ходе переговоров расценивался большевистскими правителями, как безосновательный, — правителями, разумеется, столичными, а не местными прислужниками, не гнушавшимися позубоскалить, заодно и постращать: «Если не хочешь сам попасть на алтарь, забудь про свой сон». Только кому ты это говоришь? — ночью, с керосиновой лампой в руке, отец Стефанос отыскал на Гегамском ледовом поле приснившуюся прорубь, подернутую молодым ледком, и тут же в нее полез. С лампой в руке. Одетым-обутым. Лампа, понятное дело, потухла, и захлебывающийся в подледном мраке святой отец не нашел ни страстотерпца-вардапета, ни тоннеля к свету Божьему. Зато чекисты нашли в доме святого отца и порочащие власть обращения к патриарху, и оружие, и неопровержимые доказательства его участия в Февральском восстании. Вина наличествовала, преступление было выявлено, но потому что наказуемый утонул, а матушка в процессе допроса умерла в тюрьме карающий перст вынужденно указал на единственного наследника святого отца...

Аветик раньше Овсанны догадался, что сын исцелился. Смачные описания, хохот Гора были заразительны, но ублаготворение Аветику давала вернувшаяся в дом радость. Он даже заочно возлюбил Бородача, чей мочевой пузырь каждые два часа переполнялся до готовности лопнуть с такой пунктуальностью, что демонстранты уже не нуждались ни в солнечных часах, ни в песочных, ни в пружинных, ни на батарейках. Впервые в мире был запущен новый тип часов — мочевой. И впервые в жизни Аветик возлюбил зятя, который всякий раз, вручив Долдону набитый деньгами мешок, подхватывал Бородача под руку и вел в общественный туалет, а каждый туда ступивший, если намеревался не измараться, должен был обладать бдительностью сапера и ловкостью горнолыжника. Возлюбил и кортеж, что, отделившись от демонстрации, следовал за Бородачом, содрогавшимся в вожделении справить малую нужду секундой раньше, и деликатно не замечал суетливой теребни пальцев новоявленного Христа на пуговицах ширинки.

Представители международного Красного Креста, вручая шествующему под руку с Бородачом господину зятьку пустую склянку, просили, чтобы подопечный любезно наполнил ее одолевавшей его жидкостью и остерегался поскользнуться на ступеньках подземного туалета, иначе и эта, очередная склянка, как и все предыдущие, разлетится вдребезги, в то время как миру, международному сообществу и прочим организациям, экспериментирующим на всевозможных революционных программах, до крайности необходима точная картина состояния здоровья голодающего. Вон, гляньте, какие деньги на ветер пущены, какие эй-би-си и би-би-си со всех концов света подосланы, сколько репортеров да фотографов по скольким высоткам крыши оккупировали — и всех интересует один вопрос: сколько еще протянет Бородач?

Откуда было знать Гору, что на сей раз настал черед его зятя поскользнуться и разбить склянку, и что ему самому суждено было сделаться невольным участником превращения этого промаха в естественный и плавный процесс.

«Гор?! — удивился зять, приметив, наконец, стоявшего впереди кортежа шурина. — Это ты, Гор? Как хорошо, что ты тоже с нами!» В попытке приветствия он оступился, склянка вылетела из рук и разлетелась вдребезги, пропитав землю драгоценным зловонием. А как же, не позориться ведь всей нацией перед мировой общественностью с лупой на глазу — уж не жирные ли крапины наваристого куриного бульона плавали, словно головастики, в исследуемой моче голодающего?..

— Тпру!.. — натягивая вожжи, удержал Ангела Аветик и остановил телегу у ворот рынка. Дал коню сена, чтобы отвлечь от бьющего тому в ноздри смешанного теплого духа фруктов, овощей, зелени и пряностей. Но Ангела не интересовали ни сено, ни теплый дух рынка — езид в окровавленном фартуке кидал подельникам бараньи головы из раскрытого кузова грузовика, подельники, гогоча, ловили их на лету и

вкатывали в мясной отдел. Ангел вытягивал шею, чтобы поближе разглядеть остекленелые бараньи глаза.

Смотритель рынка помог Аветику выгрузить из тележки полные сушеной сливы мешки, не сводя пытливого взгляда с упрятанного под сеном бревна.

— Удивлен, — произнес Аветик, имея в виду Ангела. — Стотысячные стада баранов видел, но столько отрезанных голов — нет.

— Не сгинь Гюмри, — заныл смотритель рынка, — и мы бы не увидели. Ереванцу неохота баранью голову опаливать, чистить, варить... Коли душа просила — ездили в Гюмри. А нынче — гюмрийца кормить надобно...

За крупную, похожую на дыню голову Аветик прозвал смотрителя рынка Головастиком и при встрече не подавал руки, брезгуя его короткими толстенькими пальцами... Сальные... Пальцы убийцы. Правда, длинные тонкие пальцы тоже рукоятку ножа сжимают, на курок давят, петлю затягивают, но мировые всезнайки отдали приоритет в ремесле душегубства коротким и толстым пальцам.

Суетливо, но мастерски развязав мешки, Головастик один за другим подставлял окуренные серой сухие плоды с верхнего ряда под ту точку на мглистом небе, где, согласно космическому порядку, должно было сиять солнце. Но светила не было, и Головастик, определяющий степень прозрачности плодов, напоминал жреца, наблюдающего затмение солнца в закопченный осколок стекла. Не хватало только лысины. Товар одобрил. Но когда расщедрился на похвалу, Аветик уловил в его голосе знакомые фальшивые нотки, и невольно огляделся по сторонам в поисках шпиона, хотя и знал, что по окончании судебного процесса над Гором за ним уже не следят. — Хороший товар, — сказал Головастик. — А кураги нет? — И с завистью глянул на тугую струю Ангеловой мочи, которая не только растапливала лед на асфальте, но возвращалась теплым паром, согревая коню брюхо. Должно быть, Головастик страдал задержкой мочи.

— Уж не обессудь, — съехидничал Аветик, — сам знаешь, для лошадей нужников в городе нету.

— И в советское время не было, — встал на защиту нового строя Головастик. — Не было, — согласился Аветик. — Но при царе были, при шахе были. Так теперь, по мнению лошадей, мы ушли вперед или назад?

— По мнению лошадей?

— Угу, лошадей. Или, скажем, буйволов, которым в свое время горшок подносили, как сейчас младенцам.

— Лошадиное мнение мне по фиг, и буйволово тоже... Сейчас буйволы есть?.. Говорят, заквашенный на молоке буйволиц мацун ножом резали, вилкой ели... Мне и людского мнения хватит.

— Очень хорошо, — сказал Аветик. — Когда нас вернули из ссылки и дали в пустыне кусок земли, у нас не было ни питьевой воды, ни поливной.

— Вас то и дело ссылают и сажают, да? — захихикал Головастик.

— На станции, — не прервал повествования Аветик, — была водонапорная башня для паровозов. Ведрами таскали оттуда воду, поливали и себя, и деревья, и огороды. Потом Талинский[1] Етим выкопал у нас во дворе колодец. Водой из колодца отец превратил наш кусок пустыни в сад. Через годы, когда я был уже в другой пустыне, туркменской, отец засыпал этот колодец землей, потому что в каждом доме был свой кран, свой полноводный ручей. Три года назад я собственноручно вырыл на том же месте новый колодец, чтобы поливать деревья, выращивать фрукты, отдавать их тебе, а ты — горожанину. Так теперь, не по лошадиному или буйволиному разумению, а по людскому — мы вперед ушли или назад?..

...Годы ссылки оставили в памяти лишь сплошную, распластавшуюся до самого горизонта снежную белизну и еще — ту черную точку, что, сорвавшись с горизонта, приближаясь и вырастая, на пороге лачуги превращалась в сани и закутанного в тулуп отца. Каждый раз в ожидании чуда, рожденного из снежной белизны, стоявшему на пороге Аветику казалось, что обледенелый тулуп уже не оттает под печным жаром и

[1] Талин — город в Армении.

не выпустит из плена ледяных бубенцов человеческое существо, бывшее его отцом, чтобы оживить его, мать должна была наполнить глубокую лохань талой горячей водой и тереть, тереть его одеревеневшее тело под завесой густого пара. То было краткое, доисторическое воспоминание — без глубины и продолжения, без чередования времен. Только снег, белизна, приближающаяся-вырастающая точка, что возле дома должна была превратиться в сани и закутанного в тулуп отца, один вид которого сообщал матери инстинктивную способность к чудотворству. Под ее руками и материя преобразовывалась — снег превращался в воду, и мертвое оживало... Доисторическим воспоминание было еще и потому, что не соприкасалось с более ранней жизнью, ранним существованием, ранними воспоминаниями... Оно само было началом... Сравнение дало всходы, и тоскливая реальность параллельной жизни слой за слоем проявилась уже после ссылки, под Сардарапатским небом, когда вдруг выяснилось, что в каких-то уголках земного шара достижения цивилизации, передаваемые из поколения в поколение, достаются даром, в качестве исходной точки, чтобы продолжить и без того бесконечное продолжение. Прошлое — это история, которую можно было заучивать или нет, знать или не знать, любить или не любить, и это был естественный процесс, процесс обладания. Неестественно было заново все это пережить, заново изобретать — от велосипеда до ракеты, будто до тебя ничего не существовало, ничего не придумывалось, и ты сам — первый человек, покинувший пещеру.

Посреди выжженной пустыни шатер; редкие, дымящиеся под солнцем деревья; высохшие уже к концу июня грядки с луком, петрушкой, редисом; клюющие скорпионышей и змеенышей куры, что линяли каждый месяц и ленились нести яйца, а снесенные, прежде чем их подбирали, успевали свариться даже в кустах; ураганы, срывающие и взметающие к небу лачуги и собачьи будки; майский град; зимняя вьюга; волчьи завывания и прочее, и прочее — не имели отношения к самолетам, время от времени взрезающим небесную гладь, к поездам, прибывающим-отбывающим, отбывающим-прибывающим под мерный перестук из Еревана в Мир, из Мира в Ереван, ко всем этим признакам Прогресса. То была параллельная жизнь, параллельное существование. Так близко друг от друга, и в то же время так далеко. В окнах ночных поездов сиял электрический свет, а в палатке мерцала свеча, лучина, в лучшем случае — керосиновая лампа, разбитое стекло которой частенько заменяли свернутой в трубу газетой. И как ни старались, но скатать ее в том месте, где нет портрета вождя, никак не удавалось, и когда бумажная труба начинала чернеть и куриться снизу, чудилось, будто сам вождь оживает и дымит своей неизменной трубкой. Радиоприемники в вагонных купе, декорированных грибовидными ночниками на столиках и кружевными занавесками на окнах, разносили по безлюдной пустыне экзотические мелодии и разбрасывали слова из чужих, непонятных языков по платформе, где оцепеневшему от волнения Аветику никак не удавалось нацелиться на какую-нибудь вагонную дверь, чтобы успеть ухватиться за поручень... Ему казалось, что если он сумеет одним прыжком вскочить в вагон прямо на ходу, то опровергнет несостоятельную теорию, согласно которой параллели пересекаются в бесконечности. Кому было нужно неуловимое, непонятное, непостижимое место встречи этой бесконечности? Пересечение необходимо в этой жизни, в это мгновение. Пересечение необходимо для того, чтобы положить конец течению параллельной жизни. Параллельная жизнь была одышкой, быстрым и нелепым бегом, который, к несчастью, не порождал полета, но превращал людей пустыни в зерна и кидал между жерновами, именуемыми желанием и возможностью. Хоть тресни, но ты должен преодолеть тот путь, что не прошли твои деды. Должен построить на месте шатра глинобитный дом, чтобы через какое-то время и его снести, потому что в долинах мертвых речушек обнаружат залежи песка, открытые карьеры туфа, а на запасных железнодорожных путях будут сутками стоять груженные цементом товарные вагоны. Сдерешь с окон и кинешь в печь прогнившие доски, истлевший войлок, потому что в пустыню ступит его величество Стекло. А потом, промчавшись от столба к столбу, явятся электричество, радио, телефон, и тебе покажется, что догнал, догнал, наконец, поезд Прогресса!.. Между тем бегущая рядом параллель будет все так же насмехаться над тобой — у нее свое течение, и тебя она не ждала...

Порой от бега параллельной жизни у отца перехватывало дыхание, он слабел, становился жалким, падал в лоно пьянства, а то и — белокурой Раи... Собранный подавальщицей Раей в привокзальном ресторане узел с букетом из остатков водки, закуски, копченой рыбы, шашлыков-кебабов прокладывал в ночном мраке аппетитную тропу до самого поселкового общежития, и по этой тропе, косяком к спасительному берегу, плыли уставшие от параллельной жизни мужчины пустыни, заглотнув наживку вместе с крючком. Для плывущих по аппетитной тропе Рая графика не составляла, и самые слабые в пьяной борьбе за обладание самкой, подубасив друг друга в темноте, вынужденно расходились по домам. Отец нередко возвращался запыленным, помятым, побитым, взъерошенным и, наверное, голодным, потому что шарил по кастрюлям, совал палец в мацун и засыпал стоя, с пальцем во рту. Но в одну из ночей, опередив очередного мужчину, победившего в сумрачном поединке, Раину дверь толкнула женщина.

— Бордель устроила, шлюха?! — напустилась женщина на Раю и стукнула хозяйку по голове подвернувшимся под руку веником. — На свиную похлебку и водочные последки мужской гарем содержишь?!.

С веника на Раины волосы упал паук-крестоносец, в панике зарылся в светлые локоны, опутывая струящимися нитями голову несчастной — паука со страху пронесло. Разрыдавшись, Рая обрушилась на тахту, проклиная свою черную судьбу и мужа-пограничника, который затащил ее в эту, самую распоследнюю на свете дыру, а сам переплыл Аракс и сбежал в Турцию, на обрезание. И пусть его кастрируют, в евнуха превратят, пусть сунут ему в зад бутылку от шампанского, пусть на китайский бамбук посадят, а если и это не поможет, то все равно — не избежать ему пули, уготованной предателю!.. Это ж надо, чтобы русский, да еще офицер, добровольно сдался туркам!.. Потом, немного успокоившись и осведомившись, чьей благоверной является жалобщица, по-сестрински улыбнулась, выудила, наконец, паука из кудрей, смахнула на пол и собралась было угостить чаем небывалую посетительницу. Женщина, так и не выпустив из рук веник, от чая брезгливо отказалась, даже сделала попытку плюнуть в сторону чайника, но промахнулась — плевок пришелся в окно, снаружи которого отпечатался приплюснутый к стеклу нос сегодняшнего победителя аппетитной тропы.

— Бог свидетель, он со мной в постель не ложился, — поклялась Рая. — Только пьет да по-русски со мной разговаривает... Тоскует по месту ссылки...

Разыскав на тропе к Раиному дому пьяного и в очередной раз побитого мужа, мать Аветика, взвалив на спину в перевязанной накрест шали бормочущего по-русски бывшего ссыльного, приволокла его домой, сунула в полное горячей воды корыто и, не доверяя мыльной пене, выплюнула нерастраченную в Раином доме желчь в его осквернённое лицо, волосы, руки, живот, ноги и между ног, как турчанка, воя и причитая. Аветику показалось, что отец умер и принимает последнее омовение, потом донеслось его урчание, что было тщетным усилием вторить причитаниям матери.

Рая не солгала: все ночные путники аппетитной тропы, почувствовав неприятную течь, кинулись, не сговариваясь, к фельдшеру Корюну и очень удивились, что эта некрасивая болезнь от красивой любви не поразила самого слабого из них...

В пустом, разгруженном от цемента вагоне Рая покинула пустыню...

— Хороший товар, — повторил Головастик. — А кураги, значит, нет? Люди летом мало абрикосов ели, хоть сушеными бы полакомились.

— Придется подождать года четыре, может, пять, — вздохнул Аветик. — Потерпишь?

— Э! — удивился Головастик. — При тебе Адам еще пешком под стол ходил, а ты в моем терпении сомневаешься? Посмотри вокруг — есть хоть кто тебе ровесник?

Страна резко помолодела — лихие революционные парни стремительным штурмом захватили не только банк, почту, радио, телевидение, правительственные дворцы и прочие учреждения первостепенной важности, как учат популярные пособия по классическим революциям, но оккупировали средние и низшие ступени управления и хозяйства, хотя впоследствии выяснилось, что многие из этих звеньев вовсе не были необходимы наметившей демократический путь независимой стране. Были беспо-

лезны и хлопотны. Стали обузой. А запланированная их ликвидация почти невозможна без предварительного захвата. А где захват, там неизбежно и вытеснение. Вытесненные, независимо от возраста, старели. Или бежали из страны. Или умирали от разрыва сердца...

...Первый удар с Овсанной случился, когда из Карабаха пришла весть, что Гор пропал. Второй, смертельный — в день его ареста. Волна бегства из страны поглотила-унесла господина зятька, как только революция вступила в стадию пожирания собственных детей. На долю Аветика выпало стареть, что так или иначе неизбежно для человека, если случай или болезнь не лишают его такой возможности. Вот только — сукины вы дети! — жизнь ведь не студенческое общежитие, чтобы ее заселяла одна молодежь!

Долдон, одноклассник Гора, стащил со склада управления по эксплуатации подземных вод тридцать четыре метра трубы и сам же себя выдал, позвонив в полицию и подробно обрисовав место тайника. Аветика, как хозяина похищенного имущества, тоже привлекли к охоте на вора, заранее пригласив съемочную группу с телевидения. В огороженный колючей проволокой склад запустили натасканных псов — сведать запах труб, и с десятком машин и мотоциклов осадили Долдонов дом. Для съемочной группы раздобыли специальную машину с открытым верхом, над съемочной аппаратурой приспособили балдахин, чтобы, в случае снега в процессе мероприятия, не замочило ни аппаратуру, ни лысую голову оператора. Собаки в нетерпении рвали цепи — вероятно, боялись потерять запах трубы, полицейские кулаками и сапогами колотили в запертые ворота, игнорируя высыпавших на улицу соседей, которые требовали прекратить гвалт и лай, поскольку — сами видите — дома никого нету, все уехали в село Мргашат, куда отдали дочь в невестки, а сегодня — сами знаете — Терендез или, если для телевидения — Теарн-эндарач! — или вы не заметили, что в каждом дворе торчат пирамидки из хвороста? — вот стемнеет, и заполыхают, чтобы болезнетворные микробы сжечь, ведьм распугать, порчу снять, и вообще, разве это не святотатство — заявиться в доспехах, с машинами, сыскными псами и телевидением в день, когда сорокадневного Иисуса впервые внесли в храм, и устроить ни в чем не повинным людям тридцать седьмой год?.. Однако полицейские, увлеченные охотой, в упор не видели ни ступающего навстречу Сыну Божьему старца Симона, ни Марию, ни Иосифа, ни терпеливо выжидающего выхода на сцену из будущего — Пилата. Во избежание лишней головной боли они попросту запретили съежившемуся под балдахином лысому снимать готовые полыхнуть пирамидки сушняка, взломали замок на воротах и запустили внутрь взмыленных собак, к счастью, не забывших искомый запах — те раскопали пролегающие вдоль всей стены дома пласты соломы, досок и тряпья и, на глазах многочисленных свидетелей, умастили клыки о железные трубы, предназначенные для строительства оросительной системы в Араратской долине. Захмелевшие Долдоновы родители все еще наслаждались в Мргашате христианскими прыжками новобрачной через языческий костер, когда пришла весть, что сынок их арестован на вокзале при попытке к бегству, а обыск в их доме завершился выявлением краденого.

Съемочную группу полицейские с почетом отрядили в Ереван, Долдона как следует отлупцевали, а Аветику намекнули отписать в министерство внутренних дел благодарственное письмо на предмет столь блестяще и оперативно проведенного мероприятия. Может быть, и написал бы, но поздно вечером к нему заявились Долдоновы родители с торбой, набитой яствами с Терендезовской пирушки, домашней водкой, бочонком вина и тут же было развязали узел, но разъяренная Овсанна схватилась за швабру. Тыкала пальцем в сторону торбы и вопила: «Уберите, немедленно уберите это из моего дома!». Видимо, свекровин дух, бунтующий против узлов с объедками, проснулся — вопила так, словно в торбе тикала бомба. Бутылки с водкой и бочонок с вином Овсанна вышвырнула за дверь, а узел Долдонова мать вынесла во двор и подвесила к лестничному приступку. И пошло сватовство: наверху — Господь, внизу — ты, братец Аветик... Одноклассник он твоему Гору, ровесник твоему Гору... Чтобы Господь твоего Гора, сестрица Овсанна, из Афганистана целым и невредимым домой вернул... Наш сын тоже должен был быть с вашим Гором, но знаете ведь — отсрочку дали, чтобы легкие за год подлечил... В юном возрасте, да с этой болезнью

в тюрьму — пропадет ведь, братец Аветик... Не знаешь разве нравы в наших тюрьмах, братец Аветик?.. Оттуда или вором в законе выходят, или... язык не поворачивается сказать, кем... Да и дело-то пустяшное... тридцать четыре метра... И продать-то не успел...

— Ладно, — сказал Аветик, тем более что ярость Овсанны поутихла, а безошибочные, как по маслу, действия полицейских ему и вовсе не понравились. — Ладно, — повторил, — дам справку, что трубы были списанные, никчемные. А что я еще могу?.. Не заявлять же, что кражи вообще не было, а все, что наснимали, — кино...

— Об этом не беспокойся, братец Аветик, это кино не покажут!

Терендезная торба, бутылки с водкой и бочонок с вином перекочевали в полицейский участок, где дело закрыли и откуда буквально вытолкали сопротивлявшегося Долдона — не хотел покидать камеру, где на одной из перенаселенных надписями стен уже успел разместить: «Вашу мать и жену!» По внутреннему, неписаному тюремному закону надписи, оттиснутые на стенах, не стирались, хотя на дне такой небрежности таилась взрывоопасная бомба — преступный мир накапливал богатый фактический материал о тех, кто был не пойман, но грешен не меньше пойманных. Сжатые лаконичные тексты содержали также бытовые подробности, в которые внешний мир посвящен не был или делал вид, что не посвящен. Герои всех сюжетов, начертанных на стенах, были конкретными — поименно и починно. И только Долдоново изложение носило общий характер: «Вашу мать и жену!». Авторы всех надписей были уголовниками, и только Долдон — политическим.

Долдон ты Долдон! Сразу после выдворения из тюрьмы вырвался из объятий отца-матери, напихал за пазуху камней, явился и... бац! — в Аветиковы окна. Осколки стекла так и посыпались как внутрь, так и наружу, один камешек влетел через обесстекленное окно в комнату и разнес вдребезги овальное зеркало со стершейся амальгамой. Скрутив по рукам и ногам, психа с трудом дотащили домой родители и друзья... И вот теперь этот самый Долдон, возглавив местную стаю революционных парней, проник в управление по использованию подземных вод, где Аветик все последние годы осуществлял программу по выводу на поверхность и бережной эксплуатации всего артезианского бассейна Араратской долины (чтобы обеспечить непрерывный ток оросительной сети без севанской воды, планировалось пробурить новые скважины и построить водосборные бассейны, из которых по трубам, с минимальными потерями, вода должна была стекаться в сады).

Местная стая революционных парней осталась во дворе, в кабинет к Аветику вошел Долдон и еще один, ереванский малый в галстуке для фотографирования перед поездкой за рубеж. Парень явно родился не в галстуке — то и дело поправлял с непривычки узел и тянул за угловатый короткий конец. Долдон швырнул на стол Аветика сложенный вчетверо кусок бумаги, развалился на диване и зевнул так широко, что затрещала челюсть.

— Дела, ключи, печать сдаешь нашему молодцу... Конец!

— Чему конец? — поинтересовался Аветик.

— Старому миру!

Молодцу в галстуке не понравилось расположение несгораемого шкафа — он выискивал взглядом более подходящее место, и вообще, по всему было видно, что собирается переставить, а может, и сменить всю обстановку.

— Отныне будешь жить на пенсию, — заявил Долдон. — А не хватит, не велика беда — небось, отложил на черный день... Помнишь, как запросто дал справку, что украденные мной трубы — это списанный никчемный металлолом? Если уж ты мне такую справку дал, это ж ско-о-олько тысяч метров ты для себя-я-я списал!.. Ознакомься с приказом и сдавай дела.

— Сдам, — ответил Аветик, отодвинув в сторону сложенную вчетверо бумажку, — только скажи мне, сукин сын Долдон, зачем ты мне окна расколол?

— А ты что, кладезь премудрости, — Долдон привстал с места, — думаешь, облагодетельствовал меня? Да лучше бы я в тюрьму сел, чем по примеру твоего сына в имперской армии служил... Где теперь твоя империя?

— Ты мне другое скажи, — словно со дна колодца донесся голос Головастика, — если абрикосов мало из-за весеннего града, как же твоя слива уцелела? Слева-

справа обвиняете этих наших молодых правителей, что они, мол, на деньги для противоградового снаряда дворцы строят, а ты — вон, из сливы сухофрукт сделал!.. Неужто фрукты тоже разделились на провластные и оппозиционные группы, и пресловутый град бьет только по оппозиционным? Ну да! — возликовал Головастик, словно сделал открытие. — Абрикос — фрукт дашнакцаканский! Кушаешь в меру — полезно, а переешь — сразу в штаны наложишь...

— Парень, — усмехнулся Аветик, — ты тут и в зной, и в стужу потом обливаешься, у крестьянина берешь, горожанину отдаешь, у горожанина берешь, крестьянину отдаешь, а те, кто меж двух ослов овса поделить не могут, партии основали, в Национальное собрание прошли, пустые речи толкают... Мудрость разносят твои уста, а речи произносят они. К тебе хоть раз какая-нибудь голоногая журналистка подошла, спросила твое мнение, скажем, по иракскому кризису?

— Ну ты, старик, и хитре-ец! — признал Головастик давнюю догадку. — Слова твои сверху сладкие, приятные, а на дне — колючки, булавки да шило... Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, только сын твой в суде как ты не разглагольствовал: черное называл черным, белое — белым. И чем больше говорил, тем больше разумелось, что он и есть — убийца министра...

— Что ж ты не заявил о своем разумении в суде? Не видел, что ли, как люди мучаются?

— Скажешь тоже! — обиделся Головастик. — Какое мое дело, кто кого убивает? В Библии сказано: когда стреляют, забейся в дыру и жди, пока стрелка поймают, а убитого зароют. Высунешь голову — снесут.

— Прямо так и написано? — засмеялся Аветик.

— Бог свидетель! — попробовал перекреститься Головастик. — У убийцы и убиенного свои счеты, и эти счеты ни меня, ни тебя, ни остальных не касаются... Что ни скажешь — ошибешься... Я же не утверждаю, что это твой сын убил министра... Я имею в виду, что твой сын говорил так, будто он убил. Защищаться не умеет... Как сын Божий... Сына Божьего распяли, а Барбарис разгуливает на свободе...

— Кто?

— Разбойник Барбарис... Ты что, неверующий?

— Я — неверующий, у которого есть Бог, — вспомнил отцовское письмо Аветик.

Аветик знал, что Головастик его сносит не ради летних плодов и зимних сухофруктов. Не будет Аветика, будет Погос, будет Барбарис-Варавва... В Араратской долине всегда есть излишек фруктов, который надо продавать, независимо от порядков в стране. Рынок есть рынок. Рынок вечен. Это политика переменчива. Власть переменчива. Сегодняшний смертник завтра может стать правителем, и наоборот. Где теперь плешивый московский ставленник? Небось, икает от голода. Сегодня распорядились следить за Аветиком, а завтра сын Аветика может отдавать распоряжения. Следить распорядились еще до ареста Гора — шпионили почти в открытую. Обнюхивали в округе, по дороге в Ереван, особенно в городе, от самого въездного моста. И нередко, проезжая по мосту, он подмигивал не черту, гримасничавшему в сводчатом мраке, а шпионам с уже знакомыми чертами лица. Шпионы в иностранных машинах кружили вокруг Ангела: то обгоняли, то отставали, переговаривались по мобильному телефону, а то, исчезнув, появлялись аккурат там, где остановилась телега. Бог ты мой, это ж сколько изводят бензина на слежку за одной-единственной телегой в осажденной стране, где самолеты наперстками таскают горючее!.. Еще пара шпионов засела в округе — не выйдет ли Гор, или кто, может, в гости зайдет? Даже курдянку, торгующую мацуном, приняли за связную, замучили расспросами, потом конфисковали кувшин с мацуном и, только выхлебав по ложке содержимое, убедились, что это белое кисловатое желе не маскировало оружия. Гор в те дни из дому не выходил, пил молоко с содой, глотал яйца всмятку, чтобы воспаление простуженных легких не перешло в туберкулез. Одного из маячивших под окном шпионов Гор зазвал к себе — сыграть в шахматы. «Я в шахматы играть не умею», — смутился шпион, но зайти во двор не отказался. «И в нарды, небось, не играешь?» — спросил Гор. «Да, и в нарды не играю. Я не охоч до игр». «А что мы теперь будем делать?» — поинтересовался Гор. «С чем что будем делать?» — еще больше смешался шпион. «Чем заполним мое безделье, твое безделье? Сели бы играть — я сделал бы мой ход, ты бы

сделал твой, ответный. Я бы сделал мой, ты бы сделал твой… я — мой, ты — твой… До завершения игры, до поражения кого-то из нас… А то на что это похоже — ни я хода не делаю, ни ты?» Шпион сбежал со двора, и с тех пор под окнами не показывался…

Несказанно любезен был в те дни Головастик — расхваливал фрукты, предлагал выгодную цену, приглашал в прирыночное кафе попить кофе, даже водкой угощал. И кидал вороватый взгляд в окно — закончили ли осматривать тележку? Ничего бы они в ней, конечно, не нашли, но мудрено ли было сунуть что-нибудь под сено или коню в зад?.. Как в день ареста Гора: перевернув вверх дном всю утварь, вывалив на пол книги, постельное белье и отчаявшись найти что-либо в доме и во дворе, зашли в сарай и обнаружили там целый арсенал. Соседей-понятых ошеломило количество оружия и обилие взрывчатых веществ, Аветика — ловкость сыщиков. «Я же сказал — глядите в оба! — отхлебывая молока с содой, упрекнул родителей Гор и посоветовал понятым не подписывать протокол обыска. — Не видите разве — это фокус. Цирковой фокус». Со страху все присмирели — попади в сарай шальная искра, весь квартал взлетел бы на воздух. Только Еноков немой разинул зев и захохотал. Откуда было знать сыщикам, что, пока они по щелям в доме лазали, немой, по сигналу друга, стащил из сарая единственное оружие — Горов пистолет и спрятал у себя в погребе. «Закрой рот, урод! — погрозил немому пальцем знакомый шпион и прошептал только для Горова уха. — Мы свой ход сделали, теперь твой черед…».

…Смакуя то кофе, то водку, Аветик, будто не замечая бегающих глазок Головастика, рассказывал, как прививает деревья и борется с насекомыми без всяких лекарств. Лекарство, да, убивает насекомого, но такой способ лечения убивает и дерево. Дерево само должно сражаться с болезнью. Сильным должно быть, могучим. Нет такой напасти, с которой не могло бы сразиться сильное, могучее дерево… Потом рассказывал про Валеру, приехавшего из Геташена на паршивой кобыле в Армавир навестить племянницу, который, добравшись до озера Акналич, увидел окруженный тополями оазис и возомнил себя стародавним купцом, а торчавшую на берегу закусочную — караван-сараем. Откупорил из припасенной для Аветика тутовой водки одну бутылку, скопил вокруг себя кутившую в закусочной молодежь, попросил исполнить песню из Дживани[1] и, потому что было жарко и пересыхало горло, открыл вторую бутылку водки, чье журчание, когда разливешь, и пузырчатая цепочка внутри стакана, и особенно затянутый Валерой карабахский оровел[2] свели с ума айастанскую[3] молодежь. Ночью Валера проснулся на берегу, в траве среди лягушачьей общины. Комары искромсали лицо, руки, открытые части ног, высосав вместе с кровью и силу карабахской водки. Восстанавливая в памяти кусок за куском подробности путешествия, Валера уже было добрался до последних образов, связанных с третьей бутылкой из предназначенной Аветику тутовой водки и фидаинскими песнями айастанских парней, как вдруг поймал таинственное свечение в центре озера. Свет вырастал из-под воды. Еще несколько секунд, и свет превратился в огненного коня. Валера уткнулся носом в траву, ущипнул себя, а когда снова открыл глаза, огненный конь был уже на берегу и обнюхивал под хвостом его паршивую кобылу… Потом Ангел родился… «Не тягловый, но силы — как у десятка тяжеловозов, — говорил Аветик Головастику. — Что ни грузи — потащит, сколько ни грузи — потянет. Только один у него недостаток». «Какой?» — затаил дыхание Головастик. «Оружия не любит, скотина, — ответил Аветик, демонстративно выглядывая в окно закусочной. — Собачьим нюхом чует — есть в тележке оружие или нет. Хочешь, попробуй, кинь в телегу оружие — город копытами истопчет… Столько оружия и смертей навидался, что аллергию заработал…»

По сигналу Головастика из рынка вышли четыре женщины, взвесили на пружинных весах и унесли мешочек за мешочком сушеную сливу — молча, как отрекшиеся от борьбы за титул старшей жены в гареме и сроднившиеся наложницы. Были одеты во что-то шерстяное, сверху — в синие халаты. Все четверо были краснощекие, с пухленькими ножками и одинаковыми елейными улыбками. Все четверо, возвраща-

[1] Дживани — армянский народный певец.

[2] Оровел — песня пахаря.

[3] Айастан — самоназвание Армении.

ясь, откровенно любовались покачивавшейся, будто в поисках мишени, пушкой под брюхом у Ангела.

— У тебя, старик, аж зрачки расширились! — хихикнул Головастик, — так и раздеваешь взглядом бедняжек... Точь-в-точь как я — бревно... Думаешь, раз сеном прикрыл, значит, спрятал? Твое разбросанное сено — что одежда на женщине. Разве одежда скрывает женское тело?

— Нет, — согласился Аветик.

— Моя колода для мяса вся истрепалась...

— Не продается, — упредил Головастика Аветик, только сейчас сообразив, почему нынче, в отсутствие шпионов, Головастик так лебезил, расхваливая чернослив. — Мое бревно не продается!

— Сейчас станешь меня убеждать, что в этом мире есть то, что не продается?

— Да, — сказал Аветик.

— Например?.. О высоком говорить не будем... Родина, честь, совесть... А впрочем, как раз и поговорим. Что такое родина? Горы, ущелья, поля, леса, реки, озера, земля, вода, руда... Что еще? Это все разве не продается?.. Америка сегодня придет и ткнет пальцем в твое озеро — не продашь? Откажешься — решит, что торгуешься и предложит такую цену, что в собственных слюнках захлебнешься. Давеча не твоей страны министр на внятном армянском заявил, что вода — это товар? Та самая вода, что, сливаясь родниками, превращается в ручей, ручьи сливаются в реку и стекают с гор в долину. Вода и есть вода — стекает сама по себе, а попробуй, полей этой водой свой сад и не заплати — фиг польешь! Из этих баб на какую глаз ни положишь, пойдет с тобой за пару кило сухофрукта и не посмотрит, есть у тебя зубы во рту или нету... А ты говоришь — бревно не продается!.. Коли баба себя продала — конец, значит, все продается.

— Эй, умник, — заметил Аветик, — продажные женщины и до Евы были, а земной шар, как видишь, пока вертится. Значит, еще не конец...

— И будет вертеться, а ты как думал?.. Земному шару до лампочки, что шлюхи плодятся...

Не торгуясь и не пересчитывая денег за чернослив, Аветик взялся за вожжи и подстегнул Ангела.

— Если передумаешь, — крикнул вслед Головастик, — я до вечера здесь. Истрепалась колода, э-ээ — вся истрепалась!..

Бревно Аветик привез для краснодеревщика Вароса. Весной, уже на другой день после вырубки абрикосов, страдая от вида опустевшего сада, приехал в город, долго и понуро бродил вокруг беломраморного памятника великому живописцу. Со стыда так и не поднял глаз, не вымолвил заклинание, которое формулировал всю дорогу: «Варпет, — обращался к художнику Аветик по пути, — рассудком я свой поступок оправдываю, а сердце щемит. Когда сердце с рассудком не в ладу, лучше уж умереть и не видеть поражения обоих...». Красота красотой, наслаждение наслаждением, но дерево должно еще и плодоносить, верно? Одряхлевшие деревья стали давать плоды раз в три года, и то лишь на верхних ветках, куда ни с какой лестницей не доберешься. Поклеванные воробьями редкие плоды перезревали, шлепались оземь, размазывали светлые блики на холсте и, слившись с муравьями и оводами, превращали райский сад в мушиные содом-и-гоморру... А болезни... Засмолевшие деревья обессилели и больше не сопротивлялись хвори. Дерево если ослабло, то червь и изнутри заведется.

Посаженных покойным отцом широколиственных деревьев было четыре — пока стояли, незаметно раскинулись в половину сада. Всего за два часа, в обмен на бутылку водки, потерявший в российской ссылке волосы, зато обзаведшийся профессией лесоруба и бензопилой «Дружба», Амо не только повалил эти исполинские деревья, но и разделал толстые стволы на бревна; средней толщины ветки, подогнав под размер печи, распилил на дрова; а хворост для растопки очага скрутил вязанками и сложил под туфовой оградой в саду. И только когда собрали с земли последнюю горсть опилок, пустота обнаружилась. Будто и не умер дух пустыни, а лишь уснул — и сейчас вдруг проснулся. А отец был уверен, что навсегда с пустыней покончил...

Заранее приобретенные саженцы, высунувшись из свежих гнезд, не заполнили, наоборот, еще больше подчеркнули пустоту, что, подобно коварной болезни или засухе, уже заползала на другую половину сада, где осиротевшими невестами трепетали яблони, вишни и сливы, а свежесрезанная лоза истекала слезами. И напрасно старался потерявший волосы в российской ссылке Амо заглушить боль утраты своими познаниями о дальневосточных лесах: «Пока мы пропиливали лес с одного конца до другого, по пустой просеке прорастали новые деревья».

На верхушке одного из абрикосов сорока свила себе гнездо. Прежде чем дерево срубили, Еноков немой вскарабкался на него, оседлал подходящую ветку и сунул руку в гнездо — проверить, нет ли яиц? Вынул три грецких ореха и золотое колечко без камня, напоминавшее зарубцевавшуюся глазницу. Исследовав трофей, потерявшие кольца женщины околотка не нашли на нем ни родимых примет, ни вырезанных букв и, выпустив на волю пары разочарования, обесценили драгоценный металл, обозвав его простой медяшкой. А парня попросили еще раз сунуть руку в гнездо и нашарить камешек, поскольку этот недоношенный обруч, украшавший какой-то женский палец, если и имел ценность, то непременно за счет пропавшего камня. Покуда женщины околотка обесценивали драгоценный металл и смачивали пересыхавшее от пустословия горло влагой из мисок, подставленных под виноградную капель, Еноков немой с упоением колол орехи, закидывал в рот крепкие ядрышки, сохранившие в сырости свежесть, а скорлупками, якобы камешком от колечка, швырялся в сторону молодух и орешины, где металась с ветки на ветку и горестно стрекотала сорока. А когда повалилось и это, последнее дерево, размотав на ворсинки гнездо, сорочий голос пропал. И в этой зловещей тишине никто не заметил, как сорока тяжелым камнем упала на голову немого, теребившего подолы молодух. Удар был сильным, боль — невыносимой. Немому показалось, что с него снимают скальп и тянут, тянут... Содрать скальп сорока не смогла, но окровавленную шапку утащила. «Эй, парень, — сказал потерявший волосы в российской ссылке лесоруб, — верни ты ей орехи, а то житья не даст. Сорока — тварь злопамятная...»

...Неудачную репродукцию картины великого художника «Под сенью абрикосов» Аветик сдернул со стены своей комнаты в студенческом общежитии и увез в Туркмению. Многие из его коллег по пустыне никогда в жизни ни абрикосового дерева не видели, ни о Сарьяне не слыхали, и было им странно, что молодой специалист, да еще горячих кавказских кровей вместо изображения голой красотки нацепил на стену в жилище такую мазню. И чтобы шутливые намеки, задевавшие самолюбие, не зашли слишком далеко, Аветик заявил, что на картине изображен двор его отчего дома. Ткнул пальцем в глубь сада, где едва улавливались силуэты людей, и с тоской произнес: «Вот это — мой отец, вот это — его партнер по нардам. — Игра в нарды туркменам была знакома, русским — нет, и то обстоятельство, что некачественные краски и примитивный типографский станок размазали изображение в глубине картины, открывало бескрайние просторы для полета Аветиковой фантазии. — Под ногами — видите? — кувшин с вином и два стакана. Кто проиграл, выпивает три стакана вина». «В вашей стране, — поразились, восхитились русские, — наказывают выпиванием вина? Какое великолепное наказание!.. Возьми нас в твою страну, — просили русские коллеги, взамен обещая найти в Армении запасы воды, утолившие бы потребности Ближнего Востока и Средней Азии. — Нефть — награда, дарованная мусульманам. Вы христианская страна, ваше — это вода. Ваше добро дороже — без нефти прожить можно, а без воды нельзя. Возьми нас в свою страну... Мы вам вечно будем проигрывать... Шведов победили, монголов победили, французов и немцев победили, а вам проиграем... С удовольствием...».

В последние годы Аветик, втайне от Овсанны, копил деньги на покупку оригинала картины, и когда скопилась приличная, по его разумению, сумма, отправился в город, чтобы выяснить, сколько еще не достает до искомой стоимости. Прежде, разумеется, посетил дом-музей художника, где молодой сотрудник с галантными манерами и женским голосом, почему-то приняв его за туриста, приветствовал на английском языке и уже было вознамерился продемонстрировать содержимое просторного зала, но Аветик его опередил: «Можете говорить и по-армянски». Заведомо не сообщив, что пришел сюда ради картины «Под сенью абрикосов», и, по сути,

выразив готовность внимать женскому голосу молодого человека, Аветик вынужденно подчинился характерной монотонности слова и шага. Галантный молодой человек, используя фрагменты из мемуаров великого художника, представлялся их автором, лишь ловко подменяя личные местоимения и сопряженные с ними вспомогательные глаголы. И потому что строго придерживался хронологии, начал, разумеется, с самого детства мастера — разве не в этом возрасте окончательно формируется человек?

«Степь была словно цветистый ковер, по которому он бегал за самыми прекрасными на свете бабочками — красными, синими, оранжевыми, белыми...»

В одном из углов зала находилась маска художника — единственный здесь экспонат, которого не касалась его рука, а значит, в мемуарах не могло быть и речи об этом жутковатом отпечатке смерти. «В тот момент, когда в морге снимают этот слепок, — уже своими словами рассказывал женский голос молодого человека, — первый в то время секретарь Центрального комитета отдает распоряжение сделать такие же с рук художника... Заметили? — одна рука длиннее другой, это та, что держала кисть, рабочая... Его тело несколько дней остается в морге... Страна отмечает праздник, а в праздничные дни не принято скорбеть... Я знаю одного такого — три дня продержал труп отца в холодильнике, пока не справил свадьбу дочери... Говорят, в тот день сняли еще одну посмертную маску... Не знаю... Вокруг имен великих людей всегда столько легенд...»

Потом галантный молодой человек вновь обратился к своеобразному прочтению мемуаров художника: «Выехав из Еревана, они добираются к вечеру на станцию Ани. В ближайшем селе Бухдашен нанимают лошадей и направляются в село Харьков, недалеко от которого дремлют руины исторической столицы. Стоит ясная лунная ночь. А ночи в тех местах поистине волшебные. Наконец, проведя в пути два часа, входят они, усталые, в дом сельского священника. Батюшка берется переправить их на другой берег Ахуряна. Уже вознесшаяся луна освещает серебристым сиянием отвесные базальтовые стены мрачного глубокого ущелья и гремучую, извилистую реку. Окружающие со всех сторон скалы делают зрелище фантасмагорическим... Интереснее всего — взбираться с другого берега реки в неустанном предвкушении приближения руин. Когда они подбираются к стенам и башням, нависшим над ущельем, кажется, что те сейчас обрушатся на них. Через лаз под оградой проникают в город, в этот жуткий мир развалин. Слышатся человеческие голоса. Где-то лает собака...»

К счастью, галантного молодого человека вызвали к телефону, и Аветик, пользуясь случаем, чуть ли не бегом пронесся мимо полотен, мимо «Восточных цветов», «Крепости Бжни», «Церкви Кармравор» и достиг, наконец, картины «Под сенью абрикосов». В глубине ее появились две женщины, сидящие у ограды, под деревьями копошились куры, а слева во дворе висело на веревке белье. Кувшина с вином, конечно, не было. И стаканов не было. И не могло быть, потому что совершенство — и есть завершенность. Воображение способно витать вокруг незавершенного, неполноценного, а перед совершенством воображение замирает, как в почетном карауле...

Уяснив причину вторичного посещения музея Аветиком, галантный молодой человек с женским голосом сообщил, что картина «Под сенью абрикосов» бесценна и продаже не подлежит. «Как, скажем, гора Арарат». Аветика ответ не расстроил, он даже почувствовал облегчение от мысли, что если ему не стать обладателем картины, то никому другому тоже не удастся. Раздобыл новые, более качественные репродукции и развесил их в прихожей, гостиной и спальне, а все накопленные деньги положил в сберегательную кассу, на будущие его с Овсанной похороны. В день ареста Гора, когда второй удар, в конце концов, убил Овсанну, денег в сберкассе оказалось ровно столько, сколько стоил не очень пышный венок. Погребальный обряд оплатил господин зятек — сам на похороны не приехал, но Соне наказал предать земле тещу на самом высоком уровне. «Я много раз ел ее хлеб», — снаряжая жену, сказал господин зятек.

От летнего зноя, зимней стужи, сырости и пыли краски очень быстро блекли, а мухи, разбухшие осенью, почему-то предпочитали метить именно на них. Вооружившись лезвием, Аветик часами простаивал перед репродукциями и по крупице сбривал черную мушиную пачкотню. И однажды Овсанна изрекла: «Божий человек, там, в

пустыне, эта картина была для тебя садом, и ты воображал, будто живешь в саду. Здесь у тебя есть сад, зачем тебе картина? — И выхватив из его рук лезвие, поднесла, словно кисть, садовые ножницы. — Ты свой сад преврати в картину...».

Аветик завел привычку к полудню или чуть раньше заходить в палисадник и по памяти наводить вокруг порядок. Подрезал сучья, поникшие гнутые ветки, переставлял игральный столик, пока не нашел для него вроде бы правильное место — разобрал ограждавшую сад колючую проволоку, возвел каменную стену и пристроил под стеной скамейку. В первое время различия между полотном и садом бросались в глаза и мешали полноценному наслаждению, потом вдруг — он даже не понял, природа ли приноровилась к картине, или сам уловил в картине таинство природы — сходство стало совершенным. И наслаждение тоже. Втайне от всех Аветик, наконец, обрел ту дивную картину, которая бесценна и продаже не подлежит.

Картина источала вкусы и ароматы детства, пробуждала давно забытые или казавшиеся малозначимыми детали, события, слова, звуки, которые теперь становились необъяснимо важными. Картина проливала свет на всю пройденную жизнь, вызывая странную и приятную сумятицу между прошлым и настоящим, среди времен и пространств — казалось, что ты из прошлого, сначала вглядываешься в настоящее, а не из настоящего переживаешь прошлое. Ощущение было, скорее, предвидением, пророчеством, а не воспоминанием или возвращением.

Переплетая времена и пространства, он проникал в картину, становился ее частью, цветом, оттенком... Зачерпывал горстью обрывки полуденного света, что, падая между листьями, распускали под деревьями ковер, и спешил разбрызгать светозарную краску по саду, будто боялся, что, если еще чуть-чуть опоздает, полотно останется безвозвратно искаженным, обернется неудачной репродукцией... Случались минуты самозабвения, когда Аветик ощущал себя одновременно и деревом, и цветом, и светом, и кистью, и... Сарьяном. И вот сейчас лишился этого наслаждения. Сам, по собственной воле спилил полотно...

В город весна вступает с опозданием. В Армавире с подрезанной лозы уже капал сок, вот-вот готовились взорваться почки, а в этом городском парке окрест стволов и в тени взгорков местами еще сохранялись снежные последки. От памятника великому художнику поднимался пар. «Да-а, — выдохнул Аветик, посмотрев, наконец, в глаза художнику, едва различимые из-под пара, — когда ум и сердце не ладят, лучше умереть...». Потом вдруг ноги остановились перед столиком мастера Вароса. Был ли то запах или некий таинственный сигнал, который посылают друг другу не только одушевленные, но Аветик почувствовал, что столик Вароса заставлен предметами, выструганными из абрикосового дерева. Резные шкатулки всяких размеров, солонки в виде зодиака, чаши, подносы, ложки, бусы, четки, шахматные и нардные доски...

— Это что за дерево? — не удержался и спросил Аветик.

— Абрикос, — заважничал мастер Варос. — Я только с абрикосовой древесиной работаю.

— А откуда у тебя столько абрикосовой древесины? — поинтересовался Аветик. — Так легко, что ли, спилить абрикосовое дерево, пусть даже дряхлое?..

— Нелегко, — согласился мастер Варос, — но если еще две таких зимы проживем — станет легче. Было у меня чудесное бревно, прошлой ночью не выдержал, порубил, закинул в печь... Дети холод выносят, а я не выношу...

— Весна уже, — заметил Аветик, — а ты о холоде толкуешь.

— Мерзляк я, — пожаловался мастер Варос. — Наверное, от долгого, неподвижного сидения кровь стынет. А ты никак абрикосовой древесиной торгуешь? Ну да, от тебя абрикосом пахнет!

Словно застигнутый на месте преступления, Аветик оглядел свои руки, обнюхал потертые рукава пальто, оттряхнул ноги — удостовериться, не осталось ли в складках опилок. Не обнаружил ни запаха, ни опилок, а двусмысленная Варосова улыбка терзала сердце...

— Соседи забрали по бревну, — раскрылся Аветик мастеру, — остальные, пока

были сырые, легко принимали топор — изрубил в щепки, на зиму... Одно осталось, самое крупное, гладкое... Эти четки тоже из абрикосового дерева?

— Сказал ведь, — занервничал мастер Варос. — Я работаю только с абрикосовой древесиной.

Аветик догадался, что мастера покоробил не лишний вопрос, а уход от разговора о бревнах, но объявлять решение с кондачка не торопился, потому что перебирал пальцами зернышки четок величиной с оливковую косточку и твердил в уме: «благо, беда, Бог... благо, беда, Бог...». Зернышек будто и не касался резец, будто бы речная вода, обрабатывающая породу, отшлифовала эту шелковистую гладкость

— Золотые у тебя руки. Молодец! — похвалил он, расплачиваясь. — Трижды перебрал кости, и все три раза выпало «благо».

— Все мои четки показывают «благо», — заверил мастер Варос. — Хоть десять раз проверь, с какого зернышка ни начни, все равно выйдет «благо». Другое дело, что жизнь сама по себе «беда»...

— Ну, коли ты такие чудо-четки мастеришь и людям надежду даешь, — засмеялся Аветик, — мое бревно — тебе. Если заедешь как-нибудь на досуге в Армавир, пройдешь от ворот рынка шагов тридцать и свернешь направо, попадешь в наш квартал, а там хоть у кошки спроси, где живет Аветик, покажет... Ты смотри — опять «благо» выпало!..

Варос за лето не появился. Осенью тоже... Вот и зима раскололась надвое, а Вароса все нет. А сам, как назло, только этим утром, выезжая в город, догадался закинуть бревно в телегу. Не в обхватку ведь тащить человеку это пудовое бревно! — машину должен был нанять, шоферу заплатить, потом еще и расходов на машину не окупить, продавая струганки из бревна... Где же тут выгода?.. Глупец, только этим утром и догадался... Сколько раз за последние месяцы приезжал в город — товар завезти, Гора повидать, в судебном заседании участвовать, адвоката чествовать, с кумовьями беседы вести... тьфу, чтоб тебя!.. Ты-то ведь знал, что в христианской стране живешь и нефти не имеешь... Твое — это вода...

В свое время, еще до бегства в Москву, господин зятек мысленно разливал по нарядным бутылочкам минеральные воды страны, продавал жаждущему населению земного шара и на вырученные деньги импортировал нефть. Он был убежден, что транспорт, именуемый телегой, отныне — экспонат в провинциальном музее, а то, что называется лошадью, должно выставляться только на скачках. «Перед нами мир открывается, как вы не понимаете?». «Понимаем, — говорил Гор, — не травоядные. Только ты сперва нарядные бутылки сделай, а уж потом невзрачные расшибай».

Господину зятьку окончательно вскружили голову запахи свободного рынка. С распахнутыми навстречу новым веяниям парусами он уже не мог жить в пропитанной тягостным духом назиданий, заставленной портретами Маштоца, Абовяна, Чаренца родительской квартире, где каждая вещь, каждый предмет был музейным экспонатом — недвижным, бездыханным, запыленным; а всего невыносимее было то, что слепленные из густой пыли эти мощи невидимыми, но липкими своими щупальцами пытались втянуть в желудок больного и жалкого народишки здоровые ростки вольнодумства нового поколения, кроша их в салат. И сожрать... Устроил судилище, продал свою долю в родительской квартире новоиспеченному посольству африканской страны, а сам, подхватив жену и детей, переехал в Россию. Открыл в Москве магазин, торгует куриными окорочками, сливками, бананами и нелегальной водкой, еще и грозится, что не вернется в страну, пока требование Мгера Младшего не удовлетворится. На кого обиделся, толком и не поймешь — то властительных друзей кроет, что, распределив урожай, о нем забыли, то оппозицию, особенно «тех дашнаков», мечтавших потопить Стамбул в море крови, которые оказались даже трусливее, чем полагал Александр Сергеевич Пушкин, и в нужный момент не решились пульнуть в пару лбов... «Парень, — предупреждал Аветик, — а не боишься, что твой телефон прослушивают? И ведь не спросят, кто ты есть, каково твое прошлое, чью мочу в банку ловил... Подбросят по карманам, по полкам в магазине гашиш или пушки-стволы, и все — привезут обратно со скрученными руками, не дожидаясь, пока требование Мгера Младшего удовлетворится». «Ты меня за дурака не держи, — артачился зятек. — Я

тебе не Гор!.. У дверей магазина с утра до вечера персонального полицейского держу, дочка твоя, внуки с телохранителями туда-сюда ходят... Я этих хорошо знаю...».

После голодовки и недолгого заключения Бородачу надо было оправиться от пережитого. Как хилые дети к рыбьему жиру, испытывающий отвращение к куриному бульону и вообще курятине, Бородач не отклонял ни одного приглашения, ездил из города в город, из села в село — на больших и малых сборищах, прежде чем сесть за стол, ораторствовал о неизбежном крахе империй, о свободе наций в самоопределении, о безоговорочном признании демократических ценностей, и чем многолюднее становились сборища и застолья, чем больше разбухал подбородок и расплывался живот, тем сильнее крепло его убеждение, что эта территория, именуемая Арменией, вовсе не мала и не бедна, а если, тем не менее, оставляет впечатление малой и бедной, то повинны в том колючая проволока и вспаханные пласты земли, окаймляющие страну. Любая территория, огради ее колючей проволокой, уменьшится. Большое и малое — понятия психологические. Убери проволоку, засей хоть тыквой вспаханные пласты, выявляющие след перебежчика, отправь русских пограничников стеречь дальневосточные границы, где китайцы с японцами зубами скрежещут, переплетись всеми ребрами с миром, и ложное это впечатление улетучится. Да, есть между нами и соседями морщины вопросов, но они избороздили не только соседские лбы, наши тоже... Разве мы агнцы невинные?... Разве не наши авантюристы в оврагах Болгарии самодельные бомбы катали? Разве не знали, что каждый взрыв обернется сигналом к бойне армян? Даже Всевышний счел нужным сверху предупредить — бомбу с кодовым названием «яблоко» разорвал прямо в руках испытателя, убив заодно и увязшего в нескольких метрах по колено в снегу предводителя авантюристов. Но кому ты это говоришь? Докатили «яблоки» до Константинополя, зарядили ими фаэтон, поставили как можно ближе к аллее, по которой от мечети к своей карете должен был прошагать султан, и в точно рассчитанный момент сдавили пружину — адский взрыв разнес на куски карету и уйму народу, но только не султана, который под покровительством Аллаха слегка замедлил шаг и остался невредим на полдороге... Допустим, взорвался бы и султан, что бы изменилось?.. Впрочем, оставим морщины этих вопросов истории и историкам и прислушаемся к тому, что происходит в мире. Мир уже не такой, как прежде, господа, и падение этой последней великой империи, свершившееся и при нашем содействии, если не сказать больше, должно, естественно, еще больше преобразить облик земного шара...

Настоящий Христос со своими апостолами, явись он в Армавир, и тот едва ли собрал бы на площади больше двух сотен слушателей, потому что такая разновидность армянина, как армавирец, несказанно тяжело отрывается от дома, земли, рынка, чтобы ступить в храм, где проповедуется вера, искрятся идеи, бродит политика. Таким ли он уродился, или впиталось в кровь нескольких поколений крылатое слово учителя истории Трдата: «Политика — обнаженный меч», трудно сказать, но то, что на лицах Бородачевой аудитории ни мускул не дрогнул, ни глаз не моргнул на протяжении всей его речи, было очевидно.

Как будто мало было ледяного приема армавирцев так, теперь и Гор состроил кислую мину, познав, что зятек, пренебрегши живописными берегами Акналича, студеными родниками Ервандашата и Багарана, прохладной долиной пограничной реки Аракс, устроил застолье в доме своего тестя. Парни из свиты, а с ними — местные деятели, как и Долдон, одноклассник Гора, уже зарезали и освежевали барашка, выложили на все еще пламенеющий очаг шампуры с нанизанными помидорами, баклажанами, перцем. Пинками гнали со двора учуявших пирушку кур, один вид которых вызывал у Бородача приступ тошноты. А Гор, захватив пистолет с дарственной надписью русского генерала Громова, ушел в сад и дырявил мишень в черно-белых кругах, прикрепленную к туфовой ограде. После каждого пятого выстрела Еноков немой ковылял к изрешеченной мишени, подсчитывал очки и на пальцах сообщал результаты.

Стоявший под абрикосами обнаженный по пояс Гор с прищуренным глазом и пистолетом в руке был новой деталью в картине великого художника, и ведь надо же! — красота молодого, мужественного тела нисколько не нарушала первозданную

гармонию. Чужеродным телом Гор не был. Полотно приняло Гора. Вившийся из дула пистолета дымок рассеивался в абрикосах так быстро, что не успевал затмить ни света деревьев, ни цвета ковра, разостланного на земле.

— Гость от Бога, — заметил Аветик Гору, — кто бы он ни был, а мужчине не подобает казать ему спину! — Съежившись под прищуром Гора, Аветик почувствовал себя мишенью в черно-белых кругах и, в свою очередь, в глубине души сам же изрешетил лицемерные пункты поговорки. — Сестру бы пожалел, плачет на кухне и мужу врет, мол, от лука в глазах щиплет...

Заткнув пистолет за пояс и вразумив Енокова немого собрать стреляные гильзы, Гор раньше Аветика вышел из сада и с видом только что появившегося на арене быка встал рядом с умывальником. Небрежным движением руки поприветствовал взопревших у очага парней из свиты Бородача, открыл кран и пригнулся под струю. Светлые блики с картины трепетали на его спине, узкая полоска воды, стекая, как лупа, увеличивала блики. Выхватив из рук матери полотенце, Сона сама подбежала к брату, дав волю слезам.

— Горик-морик-горморик! — шептала она на ухо брату детскую скороговорку-позывной, что погребена была под затверделыми осадками последующих лет и даже как воспоминание. Забыв о полотенце, она подолом платья, фартуком, телом своим вытирала волосатую грудь брата, его мускулистые руки, стройную шею, пегую спину. — Сколько у тебя родинок!.. Разве сосчитаешь... Помнишь, я звала тебя Горик-морик-горморик, а ты меня — Сона-мона-беладонна?.. Помнишь?.

— Помню, — сухо отозвался Гор, опасаясь поддаться ласке сестры. Но Сона не на поединок вышла, чтобы желать любой ценой, во что бы то ни стало сломать броню его жесткости. Она и не замечала, суров с ней брат или нежен, одет в броню или открыт, откликается ей или безучастен, как мороженая рыба.

— Почему ты меня Беладонной называл, а?.. Ради рифмы? Ты тайком стихи сочинял, правда?

— Беладонной звали девушку из цирка, — наконец улыбнулся Гор.

— Что за девушка из цирка?.. Что еще за девушка из цирка, а?..

То были обычные отношения брата и сестры с постепенно тревожащими грубоватыми проявлениями, зародившимися в том возрасте, когда Гор в уличных потасовках получал юношеское крещение, а вслед Соне, плескаясь в мутных водах Главного канала, бросали взгляды старшие, горделиво демонстрируя свои мужские достоинства. Воскрешая в фантазиях ту или иную кинокрасавицу, они состязались, кто дальше метнет распаленное мужское семя, а победитель становился полновластным хозяином очередной красавицы из очередного кинофильма — никто более не имел права грезить о ней. Время от времени из уст соперников срывались имена городских, школьных красавиц... На улицах, в хляби Главного канала Гор дрался со старшими, дома — с Соной. Ненавидел и этих гладиаторов, и сестру, которая не так ходила, не так одевалась, не так улыбалась, не так говорила... Не такой родилась... Красивой родилась. Но дрался по другому поводу — не мог ни старшим запретить глядеть вслед сестре, ни сестре — не такой родиться...

— Что за девушка из цирка? — задыхалась в объятиях брата Сона. — Я не помню или ты от меня скрывал?

— Однажды мы всей школой поехали в город. В цирк. Ты болела, с нами не поехала...

— Помню, как не помню!..

— Беладонна была девушкой твоего возраста... Красивая, как кукла... И волшебник ее усыпил...

— Усыпил?

— Пощупал какие-то точки за ушами, и Беладонна уснула...

— Я с нетерпением ждала твоего возвращения... Ты вернулся, что-то рассказывал, но я ничего не помню...

— Как ты можешь помнить, — грустно улыбнулся Гор, — ты тоже уснула.

...Ужаснувшись произошедшему, Гор кинулся к отцу и матери с криком: «Сона заснула, заснула, а как разбудить, я не знаю...». И пока Овсанна пощечинами и нашатырным спиртом пыталась разбудить спящую красавицу, Гор, распугав стаю

ночных псов, опрометью домчался до больницы — вызвать доктора. Но в крохотной больнице этого крохотного райцентра не оказалось доктора, смыслящего в гипнозе. Полусонный дежурный врач, утаив зевоту в рукаве халата, лениво изрек: «Пускай спит, от сна вреда не будет. Утром, как все люди и звери, откроет глаза». Гору пришло на ум слово, замешенное на звуках «ф» и «ш», показавшееся ругательным, — швырнул в лицо врачу это ругательство и выбежал, без конца повторяя: фельдшер, фельдшер, фельдшер!.. Вскочил в машину «скорой помощи», водитель которой, словно паук, выплясывающий вокруг паучих, кривлялся в приемной перед молоденькими медсестрами и погнал прямо в Ереван, к цирку, где уже погасили огни — и манящие наружные, и чарующие внутренние, и заперли двери. Вместе с вышедшим на зов сторожа волшебником была и Беладонна, в ночной рубашке, без прикрас, без искристого купального костюма. Обыкновенная паршивая девчонка, даже намека на грудь не было, и при воспоминании о ней все плававшие в Главном канале старшие, вероятно, впервые ощутив собственное бессилие, пристыженно и наспех натянули бы на себя штаны...

«Дурачок ты, дурачок! — все уразумев из бессвязного рассказа Гора, по-русски произнес волшебник и, как был в халате, уселся в машину, наказав дочери не дожидаться его и уснуть без гипноза. Стараясь избавить Гора от угрызений совести, расхваливал Ереван, армянского зрителя, дескать, народ, любящий цирк, бессмертен, потому что верит в сказку. — Кто верит в сказку — не боится быть обманутым, тогда как маловерный боится, и чудо незамеченным проходит мимо него...».

На дороге в объезд Эчмиадзина, близ церкви Рипсиме, обернувшейся в свете прожекторов иллюзией, появились полицейские машины — сигналили и мигали, призывая машину «скорой помощи» остановиться.

— Угнал, да? — догадался волшебник.

— Угу, — буркнул Гор, увеличивая скорость.

— Не жми, — спокойно произнес волшебник, — и не бойся... Сейчас они отстанут...

И отстали — сперва у одной машины спустила шина, затем у второй кончился бензин...

Сона все еще спала, и сон ее был ужасающим, как смерть. Соседи, хоть и пытались утешить, слова обнадеживающие говорили, но уже считали Аветика с Овсанной родителями, потерявшими дитя.

Волшебник вместе с Гором вошел в спальню, выставил Аветика, Овсанну, соседей, запер дверь и сказал:

— Ты усыпил, ты и буди.

— Как? — пролепетал Гор. Волшебник, мягко ухватив его большие пальцы, поднес их Соне за уши, нащупал нужные точки и повелел: — Поглаживай справа налево небольшими круговыми движениями и повторяй имя, зови ее обратно из сна. А я выйду, чтобы, пробуждаясь, она увидела только тебя и ни о чем не догадалась...

— Сона-а... — услышав звук закрывшейся двери, робко прошептал Гор и провел большими пальцами за ушами сестры. — Открой глаза, Сона, — позвал он чуть увереннее и вдруг понял, что обязательно ее разбудит. — Сона! — Лицо спящей сестры было еще красивее, чем в минуты бодрствования. Пожалуй, впервые он ощутил гордость оттого, что его сестра красива — прекраснее, чем все кинокрасавицы... — Сона!.. — Прекраснее, чем Беладонна в цирке перед сном. — Сона, открой глаза... Сона, я убью себя, если ты не откроешь глаза, я под поезд брошусь, Со-на... Со...на, Со-на, Сона-Беладонна! — вдруг сорвалось с языка, и у сестры легонько затрепетали длинные темные ресницы... Гор от напряжения разрыдался...

— Горик-морик-горморик... — чуть слышно произнесла Сона, открыв глаза. — Ты ничего про цирк не рассказал... Потом повернула голову и снова заснула. Но это был уже здоровый сон.

Нагрянувших полицейских волшебник не только успокоил и заставил отнестись к нарушителю-Гору добродушно, но и упросил их доставить машину «скорой помощи» к больнице, а его — в Ереван, взамен пригласив всех вместе с семьями в цирк, посмотреть тот самый чудесный номер, на исполнение которого он, в отличие от этого сосунка, осмелился лишь после десятилетних тренировок. А Аветику, проща-

ясь, сказал: «Если доверишь мне сына, я за пару лет сделаю из него первоклассного волшебника».

— Я уснула? — спросила Сона. — Уснула под твой рассказ?

— Да, — сказал Гор. — Я рассказывал сказку, и ты уснула. Ведь цирк — это сказка...

Обнюхивая пустые гильзы, Еноков немой прошел к себе во двор и, присев под виноградной лозой, подглядывал между прутьев изгороди, выжидал приглашения Гора. Гор накинул белоснежную рубашку, что вынесла мать, заправил ее в брюки и даже шагу не сделал навстречу приближавшимся Бородачу и зятю.

— А вот и Гор! — сообщил Бородачу господин зятек. — Наш афганец, которому генерал Громов подарил пистолет. А за какой такой подвиг, не рассказывает...

— Военная тайна, наверное, — сострил Бородач. — Хорошо еще, что пистолет подарил, другим цинковые гробы достались!

— На войне не плов раздают, — пробурчал Гор.

— Ты прав, — согласился Бородач. — Но во имя чего была эта война?

— Правильность или неправильность войны не солдат решает. Солдат, чтобы воевать.

— Но если солдата не будет, то и решения правильности-неправильности войны тоже не будет, — расставил силки Бородач и, согласно приобретенной во время поездок и выступлений привычке игнорировать ответы, отвернулся с явным намерением перевести разговор в другое русло.

— Если солдата не будет, то решение правильности-неправильности войны вынесет враг, — не сдавался Гор.

— У нас нет врагов, — почему-то рассердился Бородач, — наш враг — мы сами!..

Господин зятек с Аветиком подмигивали Гору, давая понять, чтобы он не продолжал дискуссию, распаляющую темные страсти, прекратил месить бесконечно нуждавшееся в воде тесто, заквашенное в незапамятные времена, которое созреет с ведома одного лишь небесного бородача.

— Если наш враг — мы сами, давайте перебьем друг друга, перемелемся-уйдем... Только мне не кажется, что вы себя считаете врагом...

— Ты мне нравишься, — расплылся в широкой отеческой улыбке Бородач. — Еще поговорим...

Прежде чем сесть за стол, господин зятек не вытерпел и шепнул на ухо Гору:

— Хочет, чтобы ты стал его телохранителем.

— Я?.. — растерялся Гор. — Я?! — оскорбился. — Этого писуна?!

Долдон заметил подглядывающего между прутьев изгороди Енокова немого и бросил шкворчащий кусок шашлыка в сторону искрометных в напряженном ожидании глаз. Немой ловко поймал кусок мяса прямо на лету, но тут же выпустил, сунув в рот обожженные пальцы. Под гогот сотрапезников Гор в два прыжка оказался возле забора, одной рукой обнял немого, другой, чуть пригнувшись, цапнул с земли замызганный кусок.

— Прости, — шепнул на ухо немому, — заболтались, забыл я про тебя... Прости, брат... — Швырнув обляпанный землей катыш в Долдонову тарелку, Гор усадил немого рядом с собой и, вперив взгляд в бывшего одноклассника, приказал:

— Давай, ешь!

— Браво! — воскликнул Бородач. — Браво!..

Оскорбленный Долдон бросился прочь со двора, за ним — Гор, господин зятек, парни из свиты, Еноков немой. Попытался было встать и Аветик, но Бородач спокойно жевал мясо и восхвалял единственного сотрапезника за то, что тот родил и воспитал такого сына. Неудобно было оставлять гостя одного.

— Свобода человека, — изрек Бородач, — кончается там, где начинается свобода другого человека.

— А кто пограничник? — спросил Аветик. — Закон, конечно, закон...

Господин зятек с парнями из свиты вернулись, расселись по местам и информировали, что между Гором и Долдоном происходит дружеская беседа, стало быть,

их присутствие при этом и неуместно, и нежелательно, а Еноков немой, схватив с Долдоновой тарелки перепачканный кусок, зашвырнул его в глубь сада.

— Когда умирает нравственность, — вразумлял Аветика Бородач, — действует закон, когда умирает закон, действует традиция.

— А мы сейчас на каком этапе? — поинтересовался Аветик. — Умирания нравственности, формирования закона или перепробуждения традиции?

— Сейчас действует революция, — ответил Бородач. — Ре-во-лю-ци-я... А в революции любой ее момент несет в себе все эти этапы... Одновременно...

Вслед за побледневшим Долдоном к столу подошел Гор. Заметив пустую тарелку бывшего одноклассника, решил, что обязательство, вырванное под угрозой подаренного Громовым пистолета, уважено, и в знак примирения поднял стакан, предложив столкнувшимся сторонам поцеловаться по-братски. От поцелуя Долдона Енокову немому стало противно, и он ушел из-за стола.

— Браво! — растроганный примирением, воскликнул захмелевший Бородач и ткнул господина зятька в бок. — Я же говорил, что он мне нравится!.. Не проводишь меня, по старой привычке, в туалет? — И уже чуть слышно прошептал: — Последствия голодовки и тюрьмы... Вечно кажется, что мочевой пузырь лопается, а дойду до места — только капли падают...

И вот писун этот вскоре расположился в том самом кресле, чей прежний хозяин, лысый московский ставленник, имел простодушие принять делегацию, отобранную из самых неистовых представителей митингующей толпы. Улица и дворцовые подступы гудели от дыхания десятков тысяч людей, из динамиков пункт за пунктом разносились требования ультиматума, которые внесли во дворец и предъявили лысому. В такой накаленной атмосфере демонстрантов и пуповиной связанных с ними делегатов не удовлетворял уже никакой ответ. Было только требование. Только требование! Неутолимое требование, которое не смог бы удовлетворить сам Господь Бог, не то что этот плешивец, чья беспомощная, нелепая улыбка попавшего в западню человека еще более озлобила делегатов. И самый необузданный из них, чей голос охрип днями раньше, а речь больше не содержала смысла, схватил со стола метровую металлическую линейку и хлестнул плешивца по нелепой улыбке. Брызнувшая кровь смутила всех — на миг отступили, перестав горланить, и в тишине пурпурноокрашеный плешивец, словно обезглавленный тюльпан, обмяк и исчез под столом. Окружавшая дворец толпа, однако, понятия не имея о ситуации, требовала от делегатов не обрывать пуповину, не расслабляться, и распаляющий запах крови, слившись с этим повелевающим требованием, живо привел сконфуженных в чувство. Теперь делегаты обрывали телефонные провода, связывавшие с внешним миром и особенно Москвой, били кабинетную мебель, стаканы, вазы, люстры, терзали обивку кресел и диванов, а тот, что хлестнул плешивца, пытался зубами разодрать ковер на полу. Со стен опрокидывались портреты вождей гибнущего мира. Мухи в ужасе приклеились к оконным стеклам, а одна бабочка-капустница так колотилась о стены, что вконец распылилась, обескрылилась и превратилась в едва подрагивающую гусеницу.

«Кончайте!» — вдруг крикнул Бородач и сам удивился, что посмел возразить толпе. С первых же дней массовых волнений они с товарищами поднаторели в искусстве перемещать массы по желаемому руслу, но никто еще не смел открыто им воспротивиться. Когда с высоты помоста наблюдаешь способность толпы в любой момент породить могучую волну, ты, только ты знаешь, к каким разрушениям это может привести, если вовремя и в нужных местах не выстроить плотины и не прорыть каналы... Делегаты удивились вдвойне. Удивление в их глазах постепенно перешло во враждебность, молнии метали эти глаза — глаза, обнаружившие предателя, и огни этих молний грозили перерасти во всепоглощающий пожар. «Кончайте! — не упустив момента ни плотину выстроить, ни канал вырыть, снова крикнул Бородач. — Все это нам самим пригодится!» И хотя было уже поздно, ибо все что бьется — разбилось, все, что рвется — изодралось, слова эти возымели магическое действие. Делегаты не только утихомирились, но, проникнутые чувством хозяина и уверенностью в близкой победе, вынесли из дворца Бородача, словно знамя над головами, и представили толпе как новопомазанного царя. Воздев руки, демонстранты, казалось, молятся Богу, между тем каждый стремился коснуться пальцами подола новоявленного. Только

его товарищи были мрачны. И господин зятек тоже. Выбора толпы они не одобряли, а возразить не смели...

Обычно, собираясь на свидание к Гору, Аветик покупал продукты в этом полуподвальном магазинчике, если домашняя снедь казалась ему скудной и однообразной. А скудной и однообразной она ему казалась почти всегда, потому что только эта, приготовленная на его жалких и поверхностных кулинарных знаниях, стряпня и создавала иллюзию живого присутствия Овсанны: яичница с помидорами, летняя хашлама, зеленая фасоль с яйцом и... пожалуй, все. Десятки прочих блюд, которые можно было приготовить, советуясь с Еноковой вдовой, листая иллюстрированную книгу «Армянская кулинария», или, в конце концов, смело экспериментируя, как бы вкусно ни получились, все равно выдали бы отсутствие Овсанны... В свое время, к сожалению, он редко захаживал на кухню, да и Овсанна не любила, чтобы мужчины забирались в ее владения. «Мужчина должен видеть готовый стол, — наставляла она Сону, — а не тот мусор, что накапливается, пока готовишь».

Магазинные продукты, может, и восполняли недостаток блюд, однако от свидания к свиданию все больше доставляло мук сохранить, поместить в жизнь, в одышку повседневности уже превращавшуюся в воспоминание Овсанну. Уставал Аветик сочинять для сына от имени Овсанны приветствия, наставления, слова любви и тоски, при этом заикаться и тревожиться, что в один прекрасный день Гор все равно сорвет покров притворства. Обязательно сорвет, потому что, как и кушанья, слова имеют свой вкус и аромат, потому что ложь — ненасытное чудовище, которое вечно нужно подпитывать. Не подпитаешь, грозится лопнуть и изгадить все вокруг. Только вот до каких пор подпитывать? И как?.. Однажды у Аветика чуть не сорвалось с языка, что прежде, чем прийти в тюрьму, он сходил на кладбище, посмотреть, завершили ли установку хачкара — запамятовал, что минутой раньше, доставая из сумки пакет со сцеженным мацуном и бутылку с дошабом, передал сыну наказ Овсанны: разбавить густой мацун дошабом, а не водой и вообще избегать тюремной воды.

— Мать, конечно, преувеличивает, — сказал Гору Аветик, — вода в тюрьме та же, что и мы пьем. Она и похуже воду пила — в пустыне... А уж я каку-ую... Однажды, — обрадовался пришедшей на память и выдернувшей из забуксовавшего вокруг Овсанны разговора истории, — еще в студенческие годы, картографируя в Лорийских горах родники и определяя химический состав почвы, я напился ослиного бульона...

— Как это? — засмеялся Гор.

— Шагали мы с увальнем Колей в двухстах метрах друг от друга и через каждые сто шагов забирали в маленькие мешочки образец грунта... Тренировка тех дней вбилась в голову — куда ни пойду, считаю шаги до ста... Первую половину дня шагалось легко, но к вечеру мы уже сгибались под тяжестью рюкзаков. Родники тоже попадались не часто. Из последнего родника напились утром, когда и пить-то не хотелось, просто привычка — встретил родник, должен попить... Тем более что название у него было заманчивым и непристойным — я фиксировал на карте это название из пяти букв и краснел, а сидевший возле родника пастух, сунув посох в соответствующую своему названию поилку, ржал: «Что, не похоже, а?.. Хоть раз-то, при рождении, должны были увидеть!..» Словом, день близился к концу, от жажды сознание теряли, когда, наконец, появился ручей с прозрачной водой. Толстяк наверху был, а я у подножия свою сотню шагов отсчитывал — тут же упал животом, ткнулся носом в воду и пью, как буйвол... Когда нос замерз, и я понял, что вода больше в горло не лезет, поднялся на ноги и вижу: толстяк мой стоймя стоит наверху, на берегу ручья — ни пьет, ни дальше не идет. «Что там?» — кричу. А он, мол, подойди, увидишь. Поднялся я по склону и в прозрачной воде увидел ослиный труп. От отвращения меня выворачивало, как, наверное, впервые шагнувшего в морг студента мединститута. «Ай толстяк, — выговариваю через рвоту, — чего не предупредил?». А он, мол — человеку, пьющему воду, даже змея не мешает. «А кроме того, — говорит, — это проточная вода, вреда не будет»... Недавно встретил его на ярмарке — спальный мешок свой продавал и геологический молоток. «Что геологию продаешь, — говорю, — понятно, штука лишняя. Нашей независимой стране геология не нужна... Но зачем молоток продавать? В доме пригодится, — говорю, — там гвоздь забить, тут

орехи поколоть...». Знаешь, что ответил? Говорит: «Продаю, чтобы однажды самому себе голову не расколоть и не покончить разом!»... Я обрадовался, что таким образом он избегнет самоубийства. Пригласил в Армавир, к нам домой: «Выпьем, — говорю, — вспомним былые дни...». В условленный день он не пришел, в день свидания с тобой пришел... Я здесь был, у тебя, а он в запертые наши ворота стучался...

— А мать где была? — спросил Гор.

— В школе, где ж еще? — едва нашелся Аветик, — с двоечниками сверхурочно занималась...

В другой раз поведал Гору, как познакомился с его превосходительством начальником тюрьмы — прямо в Армавире, прямо у них во дворе и, забегая вперед, поспешил заверить, что бывший этот грабитель, между нами говоря, обещал благоволить к арестанту Гору. «Считай, что у старшего брата гостит», — заявил начальник тюрьмы. А рассказ свой Аветик начал с мстительной сороки, объявившей Енокову немому войну не на жизнь, а на смерть и предавшей забвению удовольствия и обязательства птичьей жизни — яиц она не несла, птенцов не высиживала, повсюду подкарауливала врага. Нападала в саду, во дворе, на улице, на рынке и царапала ему голову. Раны не успевали зарубцеваться, появляясь снова и снова, и местами на голове даже перестали расти волосы. Полосатым арбузом стала голова парня. В атаке зачастую принимали участие и другие сороки, окружали немого, взвихривая крыльями смерч, ослепляли, вгоняли в оторопь, но сами не клевались, не царапали — право клеваться и царапать предоставлялось одной. Каждое утро Енокова вдова разбрасывала по двору орехи и в голос звала: «Налетайте, нажирайтесь — хоть лопните, вороново отродье, только оставьте в покое моего единственного!..». Немой натягивал на зимнюю ушанку, накрепко завязывал под подбородком тесемки и в этом головном уборе выходил на улицу, появлялся на людях и даже дома не снимал, если распахивалось для проветривания окно. Но ушанка — не стальной ведь шлем, после нескольких нападений изодралась, особенно в теменной части, пучками выставив потроха, что висели клубнями точно так же, как из созревших коробочек выглядывает хлопок. От верхушки шапки скоро лишь подкладка и осталась. От нее несло потом, и сорока долгое время брезговала клевать эту растрескавшуюся, как кожа, тряпку, и пока преодолевала отвращение, Еноков немой вспомнил про спрятанный им же самим пистолет Гора. С напоминающей полосатый арбуз голой головой он улегся посреди рассыпанных матерью орехов, удерживая палец на спусковом крючке. Сорока растерялась, не знала, с чего начать — то ли орехов сцапать, то ли ненавистную голову расцарапать?.. И утратив от растерянности скорость и ловкость, сделалась удобной мишенью... Пока на выстрел сбегались полицейские и гостивший у них начальник тюрьмы из Еревана, Аветик успел выхватить из рук немого Горов пистолет, уложить в тещину шкатулку, обернуть ее в целлофановый пакет, намертво перевязать и закинуть в колодец. «Колодец — наша оружейня» — подмигнул себе Аветик и до того безмятежно трудился в саду, что когда набежали полицейские и гостивший у них начальник тюрьмы, будто бы ни выстрела не было, ни в соседнем дворе окровавленного сорочьего тельца не валялось. «Извела-аа, извела-аа моего ребенка — била себя по коленкам Енокова вдова. — Не птица, а истый турок, аскяр!.. На голову его — на раны посмотрите...». Армавирские полицейские участливо покачивали головами, ереванский начальник тюрьмы все твердил: «Оружие где?»

Оседлавший слабую хромую ногу, Еноков немой, наугад забрасывая убитую сороку орехами, вопил:

— Кам-нем, кам-нем!..

— Камень тоже птицу может прикончить, парень, — согласился ереванец, — только вот камень не взрывается.

— Кам-нем, кам-нем!.. — повторял немой и мимикой давал понять Аветику, дескать, не подходи, не попадайся в паутину перекрестного полицейского допроса.

— О каком взрыве речь? — поинтересовался Аветик у ереванца. — Я с утра в саду, а никаких взрывов-залпов не слышал. Летом дробью воробьев разгоняют, но в это время года кто стрелять станет?.. Тем более что в это время года воробьи даже полезны... Червей поедают... Уж не говорю о том, что у людей на руках и дроби-то не осталось... Разве не прибрали в прошлом году?

— Дробь-то прибрали, а пулеметы и автоматы оставили... Если как следует обыскать, в ваших дворах и танк объявится.

— Чего только в нашем дворе не насобирали, — покуражился Аветик, — а вот танка не нашли... Нет, танка не было...

Енокова вдова выкопала яму, чтобы похоронить сороку, ереванец не позволил, а приободренный показаниями Аветика немой выкрикивал — кам-нем, кам-нем! Нацелившись оправдать вину сына еще большей виной сороки, Енокова вдова уверяла ереванца, что убиенная была ядовитой тварью, ядовитее змеи, и если не будет погребена в глубокой яме, то разнесет заразу — не только птицы, дикие и домашние животные, но и люди станут ядовитыми, и когда вспыхнет мор, то прольется много крови... «Не морочь мне голову! — разозлился начальник тюрьмы то ли на вдову, то ли на парня. — Это рана не от камня!.. Камень насквозь, что ли, пробивает?..»

Немого вместе с убитой сорокой доставили в полицейский участок, продержали до вечера, а вечером явившийся без полицейских начальник тюрьмы собственноручно кинул дохлую сороку в вырытую Еноковой вдовой яму, засыпал землей и вручил немого матери в целости и сохранности.

Аветик рыхлил клубничные грядки, обрезал мириады беспорядочных усиков, что, сплетясь между собой, покрыли землю густой сетью. Кусты крупной вкусной земляники плодоносили по нескольку раз в год, до глубокой осени, порой укрывая в густолистости поскребышей, которые обнаруживались позже, когда увядали и опадали листья, и, пробивая первый наст, высовывались их рдеющие головки. Начальник тюрьмы попросил у хозяйки воды — пригасить внутренний жар, распаленный гостеприимными армавирскими полицейскими, а Енокова вдова поднесла ему подслащенный клубничным вареньем мятный отвар. Осушив первый стакан разом и прихлебывая из второго, он подошел к Аветику.

— Дело закрыли, — сообщил ереванец. — Если покопаться в этой истории, то наказывать надо сороку. Э, парень сам ее наказал... А каким оружием, уже неважно...

— То-то и оно, — согласился Аветик, выжидая, в какую сторону поведет речь начальник тюрьмы. Кто знает, чего там наплел неуклюжий немой язык... Правда, как пистолет кидали в колодец, он не видел, но в момент, когда Аветик отнимал оружие, похоже, был в разумении... А этот чего сует нос не в свои дела?

— Я так думаю, — продолжал ереванец, — что месть сороки была не за орехи. Кто из-за трех орешков в бешенство впадает?

— А какая еще есть причина? — полюбопытствовал Аветик. — Дерево спилил мой дальний родственник, при чем тут немой?

— В гнезде, говорят, — таинственно информировал начальник тюрьмы, — вместе с орехами было еще золотое колечко...

— Да, было, — подтвердил Аветик. — Дрянное колечко с выпавшим глазком. Никому из соседок не приглянулось, никто не признал. Если бы кому-то пришлось по душе, сказали бы — мое... Вон, посверкивает себе у зеркала...

Оно с утра у зеркала сверкало, а до того лежало в шкатулке. Дрянное-то дрянное — без зеркального отсвета и не блестит, но какой смысл выкидывать его вместе с пистолетом в колодец? Все-таки, золото...

— Можно взглянуть? — попросил начальник тюрьмы. — Сорока как змея — золото любит.

Аветик вошел в дом за кольцом, посмотрелся в зеркало. Думал, что не напуган, но тот, глядевший из зеркала, был бледен. «Видно, здорово разболтался наш немой, — произнес из зеркала бледнолицый. — И как только выговорил эти три слога — ко-леч-ко, ко-леч-ко?..» Вручив стакан Аветику, ереванец повертел на ладони кольцо, вернул его хозяину, затем, вновь приняв стакан, прошелся вдоль двора, поглядывая в глубь сада, где саженцы абрикосов распустили первые цветки. На мгновение остановился у колодца, приподнял крышку, и Аветику показалось, что вот-вот, схватившись за веревку, он полезет внутрь за тещиной шкатулкой.

— Тот сад, что я видел, — пробубнил под нос ереванец, — был пышным. Ветки лицо царапали... К одному из деревьев цепью был привязан волкодав, если не ошибаюсь, и ульи были... И хромая женщина скандалила... Тридцать лет прошло... За эти годы у вас не было по соседству хромой женщины?

— Ищи свой сад в околотке напротив, — перевел дух Аветик. — Там, то ли в первом, то ли во втором доме проживала хромая женщина вместе с сыном. Индюшек держала... У всех куры были, а у этих индюки, штук тридцать-сорок...

— Правильно, — обрадовался ереванец, — индюшки тоже во дворе кулдыкали!..

— Их кулды-кулды до нашего околотка доносились, младенцев ото сна поднимали... В то же самое, упомянутое тобой время, кажется, они дом и продали, уехали.

— Куда?

— Откуда мне знать?.. Когда я из Туркмении вернулся, их уже не было. Только собака обездоленная бродила по улицам... Говорят, копали огород и нашли кувшин с золотом. Сами исчезли, а сказку вместе с собакой бросили в округе. Как дурная болезнь была та сказка — соседи с лопатами в руках года три-четыре перекапывали участки, сокровища искали... От этого изменилось и качество земли — глубинный песок и глина вылезли на поверхность.

— Это не сказка, — сказал ереванский начальник тюрьмы. — Если и была в ней ложь, так это — кувшин. Кувшина не было. И землю не стоило копать. Золото надо было собирать так, как ты клубнику собираешь... Целую горсть золота я этой ведьме в рот запихнул, чтобы не проболталась, не раскричалась, остальное по саду рассеял, уверенный, что увильну от полицейских, а если даже попадусь, то все равно — однажды вернусь и потребую свою законную долю... Я знал, что эта ведьма, прикусив язык, по крупинкам соберет разбросанное... От этого компота затошнило уже, — выплеснув остатки отвара, проворчал начальник тюрьмы. — У тебя домашней водки нету — рот прополоскать?

Аветик принес водку, вареные яйца, соленья, смоченный лаваш и протянул колечко с выпавшим камнем начальнику тюрьмы:

— Возьми. Для тебя это память, а для меня простой ободок. Вернулся бы из тюрьмы вовремя, отыскал бы следы, а теперь как узнаешь, на каком они краю земли? Не видишь, как посольства живьем прохожих глотают?.. Значит, наш ювелирный магазин ты ограбил, да? Я о происшествии узнал из отцовского письма... Происшествие что — событие это было для нашего городка! Средь бела дня... в одиночку...

— Ограбил я, а насладилась та ведьма проклятая... С утра копался в ваших полицейских бумагах — лелеял крохотное сомнение, что сдала золото государству... Никакого объявления... Теперь кто, выходит, вор — та ведьма или тот шестнадцатилетний сопляк, которого бес попутал на любви к золоту? Часами простаивал перед прилавками с золотыми изделиями и любовался их сиянием в разное время суток. Очень немногие ювелиры знают, что золото, подобно цветку, в течение дня меняет свои оттенки — то желтеет, то краснеет, а то словно вспыхивает оранжевым пламенем... И краски эти будто бубенцы звенят... Я красками бредил, бубенцовым звоном, а они меня за вора принимали... Так долго принимали и так часто выгоняли, что во мне вор и родился... А что насчет вернуться вовремя, — простонал начальник тюрьмы, — то дело это непростое... Пока заканчивается первый срок, второй начинается. Для задержки арестанта в тюрьме есть тысяча и один способ, который поочередно испытывается, если мысль о побеге остается дремать... что случается редко. Ибо о чем больше всего мечтает заключенный? О свободе. В обычной жизни люди не знают цену свободе. В обычной жизни свобода и не нужна. А вот в тюрьме... Ты смотрел на мир в бинокль с обратной стороны? Вот так и выглядит мир из тюрьмы — далеким, уходящим... В этом далеком, уходящем мире твою любимую женщину лапает другой, твою воду пьет другой, твоим воздухом дышит другой. Тебя нет. Ты есть и тебя нет. Если ты на свет не явился, не велико горе — нету и нету. А ты явился... но тебя нет. И с первого же дня мечтаешь перевернуть бинокль — думаешь о побеге. Мысленно измеряешь толщину тюремных стен, высоту, изучаешь расстановку часовых, характер надзирателей и сторожевых псов... И без конца ищешь напарника, потому что вынашивать замысел побега в одной душе несказанно трудно, почти невозможно... Ищешь напарника и никому не доверяешь, пробуешь всех и никому не доверяешь, а когда находишь избранного, оказывается, что он и есть доносчик. Понимаешь? — Начальник тюрьмы заметно хмелел. К еде не притрагивался, только пил виноградную водку и утирал рукавом губы. — Не перевернись мир, наступил бы мой очередной срок. Мир перевернулся, меня и выкинули взашей — иди, сказали, пускай тебя твоя независимая

страна содержит!.. А в независимой нашей стране все перемешалось — кто вор, кто шлюха? — никто не разберет... Старые законы не действуют, новых пока нет... Только внутренние тюремные законы и порядки все те же... Сын твой уже толщину и высоту тюремных стен измеряет, — резко сменил тон начальник тюрьмы. — Посоветуй, чтобы дальше не пошел... Сказка про оружие и боеприпасы — курам на смех, а один из свидетелей попытки переворота уже ума лишился, другой — покончил с собой... Пусть затаится, выждет...

Только к концу всей этой истории Аветик вдруг спохватился, что ни разу не отметил присутствие Овсанны. Овсанны не было — она не вздрогнула от выстрела пистолета, не увидела, как заявились полицейские и начальник тюрьмы, не услышала галиматьи Еноковой вдовы, не помешала Аветику войти в кухню и сварить яйца, полезть в бочку за соленьем. И не сама потчевала начальника тюрьмы — человека, от которого матери арестантов обычно не воротят нос, а которого, наоборот, стараются ублажить предназначенными для дорогих гостей припасами. И будто уличенный на месте преступления, Аветик рухнул на скамью в комнате свиданий, ожидая, пока вынесут вердикт. «Отец, — сказал Гор, — давай перестанем играть в бирюльки... Ты меня щадишь, я — тебя... Ты мне врешь, я — тебе... Ты меня мучаешь, я — тебя. Давай покончим... Я знаю, что матери больше нет...».

В полночь, когда ушла последняя соседка, а караулившая под окном тень Енокова немого отпугивала кошек, Аветик накрыл лицо Овсанны саваном и попросил Сону нашарить в ящиках шкафа сбереженный с дореволюционных времен греческий ладан, который, помнится, хранился в мешочке, похожем на хурджин, сшитом из обрезков туркменского ковра. Погасив расставленные вокруг гроба свечи, он взял в руки полотенце и, размахивая, стал через окна, через открытую дверь изгонять осквернённый воздух, который всколыхнулся, сообщил легкое движение савану, накинутому на лицо Овсанны, и создалось впечатление, будто Овсанна мирно дышит под маской смерти.

— Мух-го-ня-ешь? — снаружи Еноков немой просунул голову сквозь оконную решетку. — Не-спят-в-э-то вре-мя?

— Спят, — ответил Аветик. — Это смерть бодрствует.

До осязаемой реальности чувствовалось в комнате присутствие смерти. Подобно незаметной мышке, смерть шныряла по полу, карабкалась по стенам, грызла штукатурку на потолке — то занавес зашуршит, то стены застонут, а то вдруг заскрипит балка. Ее вездесущий запах был повсюду, успел впитаться даже в цветы, искажая их аромат. Душа Овсанны, без сомнения, была снаружи, носилась во дворе вместе с летучими мышами, покуда смерть не покинула дом. И прежде чем вошла Сона с медной курильницей, Аветик вынес цветы и единственный венок во двор, кинул их в корыто с водой, заполненное припасенными к поминкам бутылками с водкой и минералкой. Вода подогрелась, и Аветик несколькими ведрами из колодца остудил жидкость в корыте, а в последнее ведро сунул сомлевшую голову и терпел до тех пор, пока нарастающая в висках барабанная дробь не достигла угрозы взрыва.

На перилах балкона Енокова вдова зажгла свечку и, приладив к кулакам подбородок, заснула так близко от пламени, что дыханием тревожила чувствительный язычок огня, трепетавший и при вдохе, и при выдохе. Давно, очень давно не смотрел Аветик на небо — из-под струек стекающей по волосам воды звезды в небе приумножились и разбухли. Небо разрывалось от обилия и величины звезд. И в свечении этого неба, обращенного почти в единую огромную звезду, вдруг застыли летучие мыши. Подобно потерявшему ориентиры метеору, из открытой двери дома вырвалась наружу уродливая мглистость и, покружив вокруг замерших в воздухе летучих мышей, устремилась к небу. «Ушла, — сказал себе Аветик. — Завершила дело и ушла...».

От группы летучих мышей душа Овсанны отделилась и влетела в дом. Воздух в доме очистился...

Сона откинула саван и марлей осушала пот на лбу матери. А еще — говорила с матерью и была почти недосягаема для признания мокроволосого отца: «Я тебя обманул, Сона, что известил Гора... — Показались и руки Овсанны, цветом почти неотличимые от савана: синюшность пальцев исчезла, морщинистая поверхность

кожи разгладились. — Без Гора похороним ...» «Не разрешили? — удивилась Сона. — Они что — безбожники?». «А я и не обращался, — сказал Аветик, — не хочу, чтобы брат твой прожил всю оставшуюся жизнь с чувством вины...» — «А разве на нем есть вина?». — «Нет, но чувство вины будет...».

Гор обхватил руками голову отца, погладил поредевшие волосы и, с трудом сдерживая слезы, произнес: «Каждую ночь вижу ее, лежащую в гробу... Лицо безжизненное, неподвижное, а губы шевелятся... Сона промокает ей лоб марлей, а ты почему-то не отрываешь взгляд от балки... Мамины губы шепчут неуловимые слова, я не могу наклониться, прижать к ее губам ухо... Будто одеревенел... будто это я умер...»

— Я частенько тебя вижу в моем магазине, — попивая в углу кофе, обратился к Аветику хозяин магазина, чье туловище притаилось под стеклянным прилавком и только голова болталась поверху. — Я бы, может, и не вспомнил, если бы твоя тележка с конем не бросалась в глаза. Чудо-конь! — *Помесь карабахской породы и волшебного Огнь-коня из Акналича,* — похвастался Аветик, — *родной брат Грата, коня Кер-оглы*[1]*!* От одного отца, только матери разные.

— Бредень бредни бредет, а мы языком щелкаем, — съязвила голова хозяина магазина. — Тысячу лет сказки рассказываете — не надоело? Тут тебе и Кер-оглы, и Сасунци Давиды[2], и Варданы Мамиконяны[3]... Наши дети с молоком матери сказки впитывают, а как встанут на ноги — в сторону турка зубами скрежещут... Ну, дайте уже пожить!.. Прямо больная нация...

— Когда тебя в колыбели качали, какие сказки рассказывали? — поинтересовался Аветик.

— Все те же... А у тебя что, другие есть?

— А как же ты здоровым сохранился? — удивился Аветик. — Колбасу, сыр, рыбные консервы, — повернулся к знакомой продавщице. — Колбасы и сыра по полкило, консервов — две банки.

— Живешь в Ереване? — поинтересовалась голова хозяина магазина.

— Нет, в Армавире.

— Жаль, — покачалась голова хозяина магазина. — Мог бы на своей тележке товар привозить. За плату, конечно.

— Естественно, — откликнулся Аветик. — Кто же сегодня бесплатно за дело берется? Да, еще оливки, — обратился к продавщице.

— А как же водка? — удивилась голова хозяина магазина и появившейся из-под прилавка рукой опрокинула кофейную чашку на блюдце.

— Водка есть. Домашняя, сам гнал, — похвалился Аветик.

— А кур не держишь? — поинтересовалась голова хозяина магазина. — Точнее — петухов? Сейчас крутые парни петухов едят. Местных, с красным гребнем. С ума сходят по петухам!

— Десять кур у меня, — ответил Аветик. — И одного петуха на них с лихвой хватает.

— Но парни-то с ума по петухам сходят... Как за поросенка, как за барана цену дают!.. То и дело петуха требуют... И что с того, что петух не несется?.. Заведи штук сто... Двадцать в день я продам. Двух петухов только один Батон съест...

— Батон и трех съест, — добавила продавщица и уложила заказ Аветика в пакет. — Чтоб у Батона глаза ослепли, — проворчала уже тише, — сиротскую кровь пьет. Шоколад? — спросила. — Апельсиновый сок?

— Нет, — вздохнул Аветик, — не в тюрьму я... Свидания запретили. Я к кумовьям иду. Там маленьких детей нету.

— Объединитесь с кумом, заведите пятьсот петушков, — не унималась голова хозяина магазина, — тысячу заведите, пять тысяч...

---

[1] Кер-оглы — (букв.) Сын слепого, фольклорный персонаж, народный мститель.

[2] Сасунци Давид — богатырь, герой армянского эпоса «Давид Сасунский», записанного в 1873 г.

[3] Вардан Мамиконян — армянский полководец, возглавивший борьбу против персов (451 г.).

— Ну а если твой Батон завтра станет голубей кушать? — спросил уже в дверях Аветик. — Тогда что будем делать?

— Заведете голубей!

— Потом лягушек захочет...

— Заведете лягушек...

— Потом дерьмо собачье захочет... — сказал Аветик уже снаружи, после того, как хлопнула пружинная дверь, потому что не желал, попавши в русло пререканий, дойти в присутствии продавщицы до болтающейся под Ангеловым брюхом пушки. Если бы и это не послужило финальным выстрелом, то вынужденно припомнил бы прочие висячие атрибуты.

— Хо алла! — скомандовал Ангелу Аветик. — Хо алла, братец... Уставшие от сказок эти здоровые парни и у тебя съедят, и у меня... И не косись в сторону тюремной дороги... Сказано ведь — нэлзя! Нэ паложено!.. Когда это у нас нормальная тюрьма была, чтобы нормальный тюремный язык был?... Нэлзя — и все...

Вошедшего в камеру надзирателя Гор распластал на полу и под тягучую мелодию скрипки циркового оркестра стал тереть пальцами за ушами сомлевшего. Надзиратель на грани возвращения из беспамятства и погружения в глубокий сон улыбнулся. И крепко сомкнул веки. С улыбкой на лице. Градом разразились барабаны, захлопали медью литавры, трубы разметали притулившихся под куполом воробьев, и волшебник — в черном с головы до пят — раскаленной иглой прошелся по открытым частям Беладонны. Она не шелохнулась. Беладонна спала. Волшебник накрыл спящую своим плащом и вытянул из-под нее стол. Накрытая плащом Беладонна осталась лежать в воздухе. Потом волшебник палочкой подал оркестру знак замолкнуть, а когда в гробовой тишине откинул плащ, Беладонны не оказалось... Исчезла... Волшебник вытряхнул плащ, опрокинул стол, вывернул карманы, разворошил черными остроносыми туфлями опилки на арене и в отчаянии схватился за голову. Беладонны не было... И вдруг грянул оркестр, прожекторы залпом устремились в купол, из центра которого по едва заметной проволоке, в ореоле парящих воробьев, спускалась Беладонна...

Увидев в своем кабинете заключенного, обряженного в надзирателя, начальник тюрьмы потянулся за пистолетом, но тут же отдернул руку, заметив сверкнувший металл в кулаке Гора. Чека гранаты не проглядывала, но поза Гора выдавала смертника.

— Не делай глупостей, парень, — завопил начальник тюрьмы, — я не султан Гамид, я приятель твоего отца! — Гор подошел к столу, грохнул зажатую в кулаке связку ключей о стекло стола и, не оборачиваясь, ударил ногой в пах подоспевшему на вопль начальника тюрьмы конвоиру. Начальник тюрьмы кивком указал скорчившемуся от боли на дверь, освидетельствовал каждый ключ от камер, коридоров, этажей. — Не убил хоть, несчастный? — спросил начальник тюрьмы, не обнаружив на ключах следов крови. — Я же примечал блеск в твоих глазах и отца твоего предупредил, чтобы обуздал... Уж лучше бы ты стену продырявил...

— Твой охранник мирно спит на моих нарах, — успокоил Гор начальника тюрьмы, — и будет спать, пока не разбужу. Пару часов поспать не вредно, даже полезно — хоть пару часов не будет заниматься грязными делами... — Из карманов тужурки надзирателя он извлек банкноты, написанные с разной степенью грамотности записки, авторы которых увещевали того или иного родственника, друга удовлетворить потребности письмоносца. — За два часа я съезжу в Армавир и вернусь.

— Эй, парень, это тюрьма, — обиделся начальник тюрьмы, — а не пионерский лагерь». — И беглыми пальцами рассортировал банкноты и записки.

— Из этой тюрьмы, — сказал Гор, — каждую ночь выходят несколько воров — дом обчистить, магазин. Грабят и возвращаются. Я тоже вернусь...

— Но ты ведь не вор, — возразил начальник тюрьмы, — а с отцом, вне очереди, ты видался на прошлой неделе... Он свою водку приносил, толму твоей матери... Толму тебе честно отправили.

— Спасибо, — ответил Гор. — Только я иду не толму кушать. Хочу могилу матери увидеть...

— Ладно, — начальник тюрьмы как-то обмяк, — но с условием, что надзирателя разбудишь сейчас... А ночью я сам тебя в Армавир отвезу... Тайком. И нашу тайну даже твой отец не должен знать. И вообще, тайна — на то и тайна, чтобы ее не выбалтывать...».

Начальник тюрьмы выполнил бы обещание, если пробужденный надзиратель, припомнив случившееся, не ввалился бы с сослуживцами в камеру к Гору и не попробовал бы выудить у заключенного секрет безболезненного усыпления. «Все равно мы тебя усыпим, — заявил безболезненно отоспавшийся надзиратель. — Если не откроешь свой способ, уснешь по нашему методу!»... Гора усыпили испытанным классическим методом...

Кумовьева кошка узнала Аветика и, вытянувшись на задних лапках, обнюхивала раскачивавшуюся в темноте душистую авоську. Побитые игрушки на ветках осыпавшейся елки в темноте лестничной клетки отражали блеск кристальных глаз кошки, только что скребшейся в кумовьеву дверь, создавая иллюзию, будто находишься в каком-то древнем некрополе, в атмосфере которого, в качестве светлячков, мерцают фосфоресцирующие кости. Похожий на саксаул скелет елки, прежде чем пойти в печь, должен был подсохнуть на лестничной клетке, если его не утащат нищие, и, несомненно, принадлежал не кумовьям, а соседям, чья кожаная дверь подрагивала от внутреннего тепла.

Встревоженный Аветик бухнул ногой в кумовьеву дверь, подхватил на руки дрожавшую от холода и предвкушения кошку и, дабы отогнать мрачные мысли, вобрал в ладонь знакомые с детства потрескивания и искорки, погладил пушистую, пощупал хвост по всей длине.

— Хвост на месте, малышка, невредим — так чего ж тебя из дома выгнали?..

Внутри послышалось шарканье тапочек, потом — осевший голос кума:

— Арус?.. Ключи потеряла?..

— Я не Арус, — обрадовался Аветик, что кум не умер. — Я возчик Аво. Сушеные фрукты привез для твоих горожан.

— Сейчас, сейчас, сейчас!.. — сконфузился за дверью кум. — В поту плаваю, Аво джан... сейчас что-нибудь накину, открою... — Тапочки снова зашаркали.

Голос хозяина кошку воодушевил, но если бы дверь и не открыли, то ей уже было нипочем — зарылась под Аветиково пальто, ровно урчала и щекочущим хвостом пыталась расширить жизненное пространство.

Отец был кошконенавистником. Попавшуюся на глаза нещадно бил ногой, палкой, камнем, спьяну еще и подвергал гонению — бежал за ней до тех пор, пока либо преследуемая не ускользала, либо сам не падал. У рабочих, менявших прогнившие железнодорожные шпалы, выпрашивал смолу, раздавал соседским пацанам, и этим черным вязким дегтем они затыкали кошкам задний проход. По ночам округа спать не могла от кошачьего плача. Эти запломбированные горемыки извивались от боли, терлись задом о землю, о камни, исходили кровью и, в конце концов, лопались, как шарики, куда задули слишком много воздуха. В округе не осталось кошек. Прихватив новорожденных котят зубами, матери-кошки искали гостеприимные дома в соседних околотках, время от времени рискуя заглянуть в округу кошконенавистника — не угасла ли необъяснимая людская вражда?..

Аветиков инстинкт сопротивления отцу был могучим, но когда однажды, схватив лопату, он набросился на вооруженных прутами пацанов, ведущим было стремление спасти котенка. Упавшего в канаву замызганного новорожденного пацаны трепали прутьями, отбрасывали, не давая выкарабкаться на берег, развлекались беспомощным трепыханием крохотного существа на хрупкой грани жизни и смерти, не замечая мечущейся с крыши на крышу матери-кошки, случайно выронившей из пасти детеныша. Намокший пушок котенка приклеился к хилому тельцу, глазки едва моргали, пробившиеся на кончиках лапок ростки коготков пытались зацепиться за подол ускользающей жизни.

Раскрутив над головой длиннохвостую лопату, Аветик не устоял под силой вращения и сам завертелся, как волчок. То была безумная, головокружительная и

тошнотворная сатанинская пляска, еще чуть-чуть — и ноги оторвались бы от земли, и вихрь, порожденный вращением очертившей круг длиннохвостой лопаты, закинул бы его в небо. С бешеной скоростью чередовались путаные образы тонущего в хляби котенка, убегающих, словно мышата, врассыпную приятелей, статуей замершей на крыше матери-кошки.

— Кто подойдет — убью! — заорал Аветик сквозь вихрь. — Это мой кот!

Ошарашенные мальчишки, отступив в сторонку, позволили Аветику вытащить из канавы котенка, сунуть за пазуху и отнести домой. Победа была абсолютной. И как в случае любой победы, требовалось что-то вроде протокола, провозглашенного заявления — слегка угрожающего, слегка снисходительного. «А дегтем заткните свои задницы!» — бросил Аветик, прежде чем закрыть калитку. Отца тоже имел в виду. Его, пожалуй, в первую очередь. Мать-кошку в последний раз Аветик заметил на своей крыше, и ему показалось, что мать-кошка улыбается...

Так же, как мать купала отца в пору доисторических воспоминаний, Аветик налил в корыто теплой воды и кинул туда замызганного котенка. В двух горстях умещался детеныш, можно было обмыть и в миске, но Аветику было необходимо именно отцово купальное корыто — продемонстрировать новорожденный дух сопротивления. Пусть только попробует дотронуться до котенка, пусть только попробует растопить смолу в консервной банке!.. Чертов алкаш, кобель блудливый!.. А станет надоедать — ножом его в сердце!.. Ножом, который Аветик сам смастерил: из ореховой ветки рукоять выстругал, клинок получил из крупного железного гвоздя. Положил гвоздь на рельсы, и проехавший по нему длинный поезд расплющил металл, превратив в широкое лезвие. Под прессом бесчисленных колес гвоздь раскалился — горели и пальцы, и уловившие ругань машиниста уши, и спасением была шипящая на металл моча и ответный мат, едва догнавший последний вагон...

Окунувшись после холодной и слякотной канавы в теплое, с мыльной пеной, корыто, котенок будто попал во чрево матери — урчал от удовольствия, лизал Аветику пальцы, фыркал, выбрызгивая забившую ноздри грязь. Потом налакался мацуна и заснул на солнышке.

Уставшая от прополки мать не сразу обратила внимание, что во дворе появился котенок, но, увидев, пришла в такой ужас, словно не котенка узрела, а потерявшую детеныша мать-тигрицу. Подбежала к котенку и, когда убедилась, что распластанное под солнцем — не картинка, не тень, взмолилась к сыну, мол, ради Бога, убери это. Потом наспех расплескала по двору мутную воду из корыта и расплакалась.

— Это мой кот, — объявил Аветик, — и будет жить со мной!

— Умереть мне за тебя, — ополаскивая корыто, запричитала мать, — пожалей отца!

— Пожалеть? — удивился Аветик. — Пожалеть?! Он их — пинать, давить, он — на станции смолу воровать, кошек взрывать, а я его — жалеть?..

— Да, дитя, — ответила мать. — Это он — жалкий...

Вечером окрестные мальчишки окружили возвращавшегося с работы знаменитого кошконенавистника, поведали о случившемся и, дабы поступок сына в его глазах не представился геройским, единодушно засвидетельствовали, что Аветик, как мечом, ворочал не только лопатой, но и грязным языком... Краснея, заикаясь, помогая друг дружке, они слегка отредактировали последний выпад Аветика и извлекли обобщение с иным содержанием и смыслом: «А дегтем намажьте задницы своим мамашам!» И сочтя все акты заговора завершенными, ввалились во двор кошконенавистника, превратившись из действующих лиц в зрителей, чтобы вкусить последний, трагический акт.

— Что ты им сказал? — спросил отец, ткнув пальцем в сторону мальчишек.

Угрозы в голосе не было, было желание выяснить истину. Но Аветик был взбешен — прижав к груди котенка и вытащив из кармана самодельный нож, посмотрел прямо в отцовы глаза... Пусть только попробует тронуть... Лезвие клинка он долго и тщательно обтачивал о шершавые камни — в бритву превратил... Пусть только попробует тронуть...

— Что ты им сказал? — повторил отец.

— Сказал — это мой кот, а дегтем намажьте свои задницы! — не моргнув глазом,

ответил Аветик, и окрестные мальчишки не осмелились настоять на обратном. Поняли, что знаменитый кошконенавистник поверил сыну.

— А теперь убирайтесь! — велел отец мальчишкам. — И хотите — делайте, как Аветик сказал, хотите — как сами сказали... Потом, когда мальчишки исчезли, подошел к сыну, отобрал нож и бросил в колодец. И все. И котенок остался дома.

Три года кот и отец, обитая в одном доме, не встречались лицом к лицу. Летом кот спал в саду, зимой — в ногах у Аветика. Летом гонял полевых мышей, зимой — домашних.

И однажды, заправляя постель, мать схватилась за голову — Аветиковы одеяло, простыня, даже матрас покраснели от крови. Словно всю ночь в постели сына трепыхался недорезанный петух. На Аветике не было ни царапины, а под печкой обнаружили стонущего по-человечьи кота с раздробленным хвостом. Раны были глубокими, по мнению ветеринара Ераноса — неизлечимыми и опасными для окружающих. Собаки ли потрепали, мальчишки ли из мести камнем хвост раздавили, так и не выяснилось. Тайком от Аветика кинули кота в мешок, чтобы обратную дорогу не нашел, и унесли.

Другого кота Аветик не заводил. Позже мать поведала Аветику, что в своей жизни даже мухи не обидевший отец, это добрейшее в мире создание, ненавидит лишь большевиков и котов. Большевиков как врагов человечества ненавидит, а по отношению к кошкам чувство это — болезнь. А кто бы не заболел?..

Мощный вал весеннего шторма, вместе с рыбами, поднял из недр Гегамского озера тело нырнувшего зимой в прорубь отца Стефаноса, бросил на песок, и пока знакомые с морской природой рыбаки успели сбежаться на берег — собрать еще трепещущую рыбу, одичавшие кошки, словно гиены, растерзали лицо и тело несчастного священника... Только зажатая в руке керосиновая лампа осталась невредимой...

Книжные полки в квартире кума обрели вид челюсти с частично выпавшими зубами, и как слабеют в поредевшем ряду здоровые зубы, так же кренились вправо и влево еще не проданные книги, а некоторые лежали плашмя. За чистыми, без отпечатков пальцев на стекле дверцами зияли проемы, которые тикин Арус пыталась заткнуть фотографиями, градусником в виде Кремля, подсвечниками и составленными в японском стиле букетиками из бессмертников и сухих веток. На грифельной доске позолоченными буквами было выбито наставление из послания апостола Павла к Ефесянам: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо его требует справедливость». Портрета апостола Павла, сжегшего в костре своих проповедей магические книги стоимостью пятьдесят тысяч серебром, не было, однако другие великие из своих рамок грозили куму пальцем, укоряя за эту, подкинутую в мир, как недоношенного младенца, цитату. Слово ведь зачастую не завершается точкой, слово продолжается после необходимой, чтобы перевести дух, остановки, до полного выявления мысли, временами вводя в заблуждение, будто противоречит уже сказанному, тогда как всего лишь дополняет мысль. Кум не удосужился дать выписать на доске теми же позолоченными буквами продолжение: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ножиком кум вырезал и выкинул это продолжение, а ножницами — пространство между внуками на фотографии, занимаемое сыном. Нет господина зятька. Не было. Пухлощекие, с шаловливыми глазами внуки родились от пустоты и на эту же пустоту — один левым плечом, другой правым — опирались.

Опрятно жили кумовья — не было в квартире кислого старческого запаха, и потного тоже, хотя одеяло вновь забравшегося в постель кума намокло, хоть отжимай.

— Погоди, — сказал Аветик пристраивавшему голову к подушке куму, — погоди, одеяло переверну. Откуда в тебе столько воды? Насколько я смыслю в гидрологии, в тебе ни капли воды не должно быть. Ты что, в университете и в командировках общества «Знание» не весь выжался?

— Это все дерьмо — от Арусиного чаелечения, — проворчал кум. — Чаем с мятой поит, с чабрецом... Один стакан с кизиловым вареньем, один стакан — с малиновым, один — с медом, другой — с дошабом... Как только варенье, мед, дошаб

кончаются, наступает эпоха воображения... Пью чистый чай, но якобы пью с вареньем, медом, дошабом... Помогает, знаешь... Могучая штука воображение!.. В реальности не всегда имеешь натуральный мед, в реальности не всегда пчелка с цветка на цветок перелетает, нектар собирает... Чего ей себя утруждать, если можно, сидя в улье, пить сахарную воду?.. А в своем воображении ощущаешь аромат всех подвернувшихся пчелке цветов... Уж дала бы Арус чай с ядом — выпил бы, кончился разом...

— Устал, да?

— Да, — признался кум, — жить больше неохота... Твой любимый художник, говорят, в последние годы все бурчал, мол, что это за жизнь — каждое утро должен шнурки на туфлях завязывать, вечером развязывать... Завязывай-развязывай, завязывай-развязывай... Устал человек... Вот так и я устал... Никому не нужен... Кто сейчас станет слушать про науку, изучающую общие законы движения и развития природы, человеческого общества, мышления? Кто-нибудь сегодня воспринимает это движение как единый процесс противоположностей, как переход — скачкообразный, революционный — от одной формы движения материи к другой? Противоречия, противоположности сейчас только в людях, а не в обществе, хотя, казалось бы, меняются общественные формации, складываются новые идеологии, осуществляются революции... Все это — мираж. Материя давно уже не движется, Аво, портится, гниет без движения. Не дают ей двигаться. Тормозят движение, не способствуют, чтобы движение набрало необходимую для взлета скорость...

— Кто? — сунул палец в осиное гнездо Аветик.

— Ре-во-лю-ци-о-не-ры! — торжественно объявил кум. — Именно они! Революцию всегда компрометировали революционеры... Полистай страницы истории и убедишься, что запоздалых революций не случалось, но мне не известны революции, грянувшие точно вовремя, что случается только в природе. Все революции — плод преждевременных родов, точнее — выкидыша, потому что во главе революций всегда вставали нетерпеливые, себялюбивые, тщеславные личности. Для них важнее было не осуществление исповедуемой идеи, а собственное участие в этом осуществлении. Их не заботила проблема подготовленности всех слоев общества. Они удовлетворялись только своим окружением, соратниками, сочувствующими, которые если даже составляли большинство, то лишь по количеству, но никак не по качеству. А коль скоро революция предполагает качественные изменения, то неужели не ясно, что некачественным количеством не обеспечишь качества и в результате получишь переворот, а не революцию. Носитель идеи, пожалуй, важнее, чем сама идея. Я написал целую книгу о революциях, но кому теперь нужна такая книга? Кому нужен автор такой книги? Никому я не нужен. Даже Арус...

— Ты что, крест поставил на тех делах? — двусмысленно улыбнулся Аветик.

— Давно-о!.. — горестно протянул кум и вдруг засмеялся: — Одному седоголовому советуют забыть умершую супругу и снова жениться. «Чего ради?» — спрашивает седоголовый. «Баба, как-никак, — говорят, — обед приготовит, одежду постирает, по вечерам беседовать будете...». «А чем мне беседовать?» — отвечает седоголовый.

Спинка стула была аккуратно облачена в кумовы пиджак, брюки, рубашку и, конечно, тот самый — в черно-белый горох — галстук, который слышал столько лекций, сколько профессор прочел в университете и на собраниях общества «Знание». В этом же галстуке приехал в Армавир, на сватовство, потел, задыхался от трескучего зноя Араратской долины, без конца пил минеральную воду со льдом, засучивал штанины и потряхивал ими, но галстука не снимал. Считая подготовку к поспешной свадьбе женским делом, Аветик увел свата в сад, где флиртующие друг с другом листья производили местные ветерки без определенного направления. Обряд сватовства волею обстоятельств утратил изначальный смысл и превратился в формальность для быстрой маскировки свершившегося факта. И комичную историю о неспособном к «беседе» старике рассказал будущему куму сам Аветик, чтобы рассеять атмосферу скованности, которую создали нетерпеливые молодые. С одной стороны — проникший внутрь, игнорируя тугое кольцо галстука, зефир остудил скатывающиеся капли пота, с другой — анекдот о старике освежил перенаселенную тысячей и одним «изм»-ом память профессора, и он вдруг обратил внимание, что сад

ему знаком, близок. «Я у вас дома не бывал? — спросил он. — После лекций в Армавире меня к вам домой не приводили, на застолье?». «Нет», — возликовал Аветик, исполнившись гордости, что сходство его сада с картиной «Под сенью абрикосов» замечают и чужие.

— Ну ладно, вставай давай! — не выдержал, взорвался Аветик и, сгребши в охапку кумову одежу, кинул на постель. — Мало того, что дверь перед кошкой закрываешь, мало того, что у Арус яду требуешь — самому избавиться, а ее в грех вогнать, так еще и материю свою разлагаешь... Если вот так, по очереди, материю свою растлите, я с кем буду жить, с Батоном?

— Батон — это кто, Аво? — выпростав из-под одеяла волосатые ноги, поинтересовался кум. — Новое прозвище Бородача?

Аветик развязал узел на авоське, высвободил из пакетов, расставил на столе хлеб, сыр, колбасу, консервные банки, вытащил из кармана пальто бутылку с водкой, почти наполовину опустошенную им по дороге.

— Нет, — ответил, — не новое прозвище Бородача... Бородачево порождение. Одними петухами питается... Бородача тошнит от кур, а этот петухов ест...

За два дня до сватовства дошел до Аветика благовест о беременности Соны, донести который взялся сам господин зятек. И почему-то удобным местом для обсуждения столь деликатного вопроса счел управление по эксплуатации подземных вод, а не дом, как принято исстари — очаг, где бывал много раз в качестве друга, однокурсника, и проявил не свойственные для городских парней признаки конфуза.

«Родители знают?» — слегка очухавшись, спросил Аветик у сконфуженного и, не успев даже устыдиться своего вопроса, подивился логике парня: «Нет, — признался сконфуженный, — как-то затрудняюсь им сообщать...» — «Слушай, парень, — оскорбился Аветик, — а почему тебе показалось, что об этом легче сообщить мне, чем своим родителям?». К счастью, господин зятек остолбенел и не сказал того, что было написано у него на лице — дочка, мол, ваша, она и беременна, значит, свершившийся факт в первую очередь касается вас. Самым тяжелым предметом на письменном столе был прикрепленный металлическими кольцами календарь, и в первый момент Аветик едва сдержал движение руки в сторону демонстрирующего очередной августовский день и сообщающего мелким шрифтом время восхода и заката листка, в белой, пустой части которого, как на фотографической бумаге, проявились черты лица Андрея-змеелова. «Мне показалось, — признался ночью Аветик Овсанне, — будто передо мной Андрей, будто он сообщает о твоей беременности». «Сумасшедший, — ответила Овсанна, — сумасшедший ревнивец! Уже дедом стал, а ревность не умерла...»

— Чаелечение объявляю закрытым, — выискивая на кухне лук, крикнул Аветик. — Начинается водколечение!

Возглавляемая Андреем экспедиция змееловов добралась до места ночью, разбила палатки на покрытых камышом берегах заболоченных соленых озерков, служивших пограничной чертой между человечьим и змеиным материками. Змеи, как правило, границу не нарушали, даже не ползли за удирающими лягушками, которые, не доскакав до аула, высыхали на песке и падали лапками кверху. За человеческой жизнью змеи наблюдали из зарослей тростника, тревожились, если в ауле тарахтел трактор или самоходный буровой станок держал путь в глубь Каракумов, умиротворялись, когда одногорбые верблюды вновь восстанавливали нарушенный грохочущим металлом пустынный пейзаж. Их тревога усиливалась в моменты, когда мужчины аула, оставив безопасную, хотя и длинную в обход болота дорогу, спешили к Сладкому озеру, не только нарушая пограничную черту, но и растаптывая весь змеевник, полный беззащитного, не скопившего пока яду молодняка. В Сладком озере плавали и сазаны с окунями, и русалки, последние, помимо плавания, в определенные дневные часы измеряли уровень и состав воды, влажность и температуру воздуха, атмосферное давление и телеграфом передавали данные в большой мир. Еще они были меткими стрелками — предупреждающие выстрелы, что пускались в сторону стремящегося в русалочий замок безумца, дырявили воду вкруг подбородка ослепшего от страсти пловца, заставляли воротиться на исходную точку, откуда, пожалуйста, доз-

волено наслаждаться как чудо-озером, так и сказочными усладами русалок. Ни одна из русалок не была Раей, и гнездившееся с детства в душе Аветика отвращение к шлюхам, постепенно испарялось в рассказах вернувшихся со Сладкого озера мужчин пустыни. Никто из них не рискнул маскировать свою неудачу хвастливыми рассказами, выдающими желаемое за действительность, потому что неудача была общей, и ложь, бессильная обмануть, острым и метким копьем пронзила бы всех. Каждая следующая неудача, каждый отказ льстил их мужскому самолюбию. Очередной выстрел со стороны Сладкого озера упрочивал чувство равенства и справедливости, и сформированное на его основе братство уже не воспринимало существа по ту сторону озера материальными, которыми можно было обладать, которые можно было иметь или присвоить. Они боготворили русалок, как боготворили упавшую в пустыне из ока Господа слезинку-озеро, прибрежные деревья и прорастающие ранней весной из песка, проживающие свои несколько дней мелковенчиковые цветы. И было бы святотатству подобно запачкать озеро, оборвать листву на дереве, сорвать мелковенчиковые цветы.

Заболоченные соленые озерца и единственное по соседству с ними Сладкое озеро выдавали на поверхности земли картину ее недр — под гигантскими слоями горьких, соленых непригодных вод, в земных глубинах возникли и затаились слои пресной воды. Ты буришь, пробиваешься сквозь горькие воды, достигаешь пресной, выкачиваешь ее насосами, но уже через несколько дней вожделенная живительная влага отравляется, вобрав в себя горечь. Без конца ломалось, рушилось средостение между пресноводными и солоноводными слоями. Человек не сходит с ума от мысли, почему нет того или другого необходимого. Человек сходит с ума в случае, когда необходимое есть, но он не может им воспользоваться. Рука не достает. И способ пользования зачастую бывает таким понятным, таким простым, что долгое время пылится незамеченным в мудреных изысканиях.

Преграда рушилась от давления верхнего слоя, под тяжестью сверхплотного соляного раствора, но эта тяжесть дремала, пока не выкачивали пресную воду нижнего слоя, пока не нарушали равновесие между двумя слоями. Нелепой была идея укрепления преграды — теоретически, пожалуй, осуществимый, но противоречащий законам природы этот шаг стал бы временным, поскольку давление верхнего слоя неуклонно нарастало бы параллельно выталкиванию воды из нижнего слоя, а беспрестанно укреплять преграду значило бы не понимать, что донести воду из Швейцарии в Туркмению по золотым трубам более выгодно, чем выводить собственную из нескольких десятков метров глубины. Опора для разрушающегося — временный метод. Опора не спасение. Опора — мираж. Истинное спасение в идее сохранения установленного веками равновесия между слоями, для реализации которой необходимо всего лишь выкачивать помпами как пресную воду, так и горчащую соленую. В одинаковом объеме. Одновременно. Эврика!.. И постоянно следить, чтобы не нарушалось равновесие, чтобы алчность человеческая не разживалась сладостью, а лень человеческая не мешала выталкивать горечь.

Простота этой мысли, это Колумбово яйцо, содержавшее под уже расколотой скорлупой более важный, значительный, но пока еще неуловимый трепет, событие такой близкой сопричастности, общения с таинственными силами природы, рождавшее ощущение не хозяина, а участника, частицы природного единства, инстинктивное стремление быть оцененным, любимым, которое — утаиваешь или нет — есть у всякого изобретателя колеса, попросту закинуло Аветика в трясину, через которую пролегал самый короткий путь к Сладкому озеру.

Рожденная в тростнике, отмежевавшаяся от тростника и как тростник стремительная, гибкая, покачивающаяся на хвосте кобра загородила самый короткий к русалкам путь раньше, чем слившийся с природой Аветик успел испугаться и отвести последний шаг. Раздвоенный язык гадины сновал в темпе сердцебиения, раздражал ядовитые железы, наполняя смертоносной жидкостью полые зубы. Вместе с колышущейся головой змеи, в этом же ритме, покачивалась и голова Аветика, сообщая глазам колыбельную дремоту, наливая тяжестью вязнувшие в болоте ослабевшие ноги. Аветик и не пытался шевельнуться — смутно, туманно осознавал, что и не

сможет шевельнуть ни мышцей, ни жилкой. Лишь веки едва подрагивали, прежде чем сомкнуться... А когда — через тысячу лет — он открыл глаза, змеи не было...

Дух перевел уже на берегу Сладкого озера, растянулся на песке. Ощупать тело сил не хватало, но он был почти уверен, что змея его не ужалила — не чувствовал ни боли, ни жжения. Кобра лишь выплюнула яд, осквернив воздух. Напугала его, загипнотизировала... Может, и ослепила... Он ничего не видел... Только огромный алый диск очертился в небе...

Возглавляемая Андреем экспедиция змееловов добралась до места ночью, а уже на рассвете весь аул толпился в лагере, вокруг разбитых палаток, нетерпеливо дожидаясь жестокого представления ловли змей, подготовку к которому почти завершили прибывшие из Киева ребята и теперь с удовольствием пили верблюжий чал, ели вареную баранину и силились разобрать русский в говоре туркменов. С помощью десятка слов с ампутированными окончаниями и проигнорированными родами и падежами туркмены описывали беды, причиненные этими проклятыми гадами: скольких близких потеряли, скольких еле-еле спасли, высосав своевременно яд из ранки, сколько осталось парализованных. Эти твари валят даже верблюдов, даже баранья шерсть их не отпугивает... Когда сжирают в болоте всех лягушек, пиявок и насекомых, заживо проглатывают снующих в прибрежных песках ящериц и даже варанов величиной со щенка и не насыщаются, преступают пограничную черту между человечьим и змеиным материками, вторгаются в аул, чтобы ужалить верблюдов и баранов, осквернить чаны с кумысом и чалом, заползти в люльки, напугать беременных. Сколько писем, жалоб и требований отправлялись куда следует, даже в Кремль — Первому, даже в мавзолей — Великому усопшему, чтобы приняли меры и вытравили это поганое племя. Им что, теперь в огне гореть, раз в пустыне родились, где, да, и змеи должны обитать, но не в таком же количестве! Змеи с каждым годом размножаются, а число людей сокращается — кто умирает, кто не рождается, кто сбегает в город... Где справедливость? Неужели это Первый, вняв просьбе, отправил экспедицию, или Великий усопший, с чьим портретом ковры ткут туркменские женщины?.. Когда начнется шум-гам великой охоты, не хлынут ли массой в аул уползающие гады, не влезут ли в дома — как их тогда выгонишь, а если не выгонишь, то как жить будешь? Нет ли надобности с палками и оружием выстроиться вдоль всей пограничной черты и ценой жизни защищать Родину?..

Асклепии-змееловы снисходительной улыбкой и доступными словами разъясняли туркменам, что такой животный вид, как змея, опасен ровно столько, сколько, скажем, верблюд. Просто люди в свое время приручили верблюда, превратили его в дающую молоко, мясо, шерсть рабочую скотину, которую можно вдобавок оседлать и путешествовать по безводным пескам, а вот змею не тронули, страшась ее яда. Душераздирающий вопль первого ужаленного человека остался в ушах человечества, сведенный судорогой образ первого отравленного остался в памяти человечества, и ни одна жертва не догадалась, что ее погубило змеиное желание, а не жало. Отдели змеиное желание от яда, и жидкость эта станет бальзамом. Ни с палками, ни, тем более, с оружием выстраиваться вдоль пограничной черты нет необходимости, и так, извините, шуметь — тоже... Змеи шума не любят... Как и подобает мудрецам... И если вы займетесь своим делом и не станете мешать охоте, то обещаем через пару дней сократить тревожащее вас поголовье. В этом вопросе вы правы — надо придерживаться действующего в природе закона равновесия...

За происходящим в ауле Аветик следил из открытого окна, не мог оставить рацию — в разных точках пустыни началась одновременная откачка соленой и пресной воды, и испытатели каждые десять минут передавали результаты. Преграда не обрушалась, состав воды оставался неизменным, и в приемнике, в промежутках между процентами и цифрами, уже гремело мощное «ура» опьяненных успехом мужчин. Непричастный к великому событию аул, разумеется, жил другой жизнью — к полудню ловцы заселили змеями все стеклянные сосуды, в некоторые, нарушая порядок, поместили двух-трех гадов, но поскольку болото кипело от безумной змеиной пляски, то следовало отправить в Киев телеграмму с запросом дополнительных сосудов. И Андрей шагнул в Сладкое озеро...

Перехватывая бинокль, русалки внимательно проследили за змеиным скольжением незнакомого мужчины, проплывшего до нейтральных вод, оценили, не признаваясь друг другу, белокурую голову кувыркнувшегося резким движением на спину, ладный торс на поверхности воды, уверенный, стремительный стиль, что не распугивает всплесками рыб, не расточает лишних брызг и не тревожит озерную гладь. Направив взгляд в небо, скрестив на груди руки и продвигаясь только с помощью размеренных толчков ног, незнакомец время от времени забирал в рот воды с набегающей на лицо волны и выпускал фонтан, как кит. В эти мгновения стеклянные глаза бинокля вылавливали мимолетные радуги.

После первого залпа Андрей перевернулся на живот и рукой приветствовал русалок. Второй залп, изрешетивший пулями воду вокруг подбородка, больше попахивал смертью, чем шуткой, и Андрей смачно выругался, как ругается пьяный русский мужик или невинно осужденный под расстрельной стеной. «Сучьи шалавы, — закричал Андрей, — мне не ваш протухший монастырь нужен, а телеграфный аппарат!».

Проглотив смешанное чувство восхищения и оскорбления, русалки дали третий залп в небо. То был знак, что шлагбаум поднят.

Вечером в ауле грянула потрясающая весть — симпатичный предводитель змееловов поймал в свои сети не только змей из болота, но и русалок из Сладкого озера! Русалки усадили его по-турецки на ковер с портретом Великого усопшего, поднесли домашний кислый квас, орехи с изюмом и, представ групповой картинкой, преклонили пред ним колени, выжидая, в чью сторону ткнет капризным пальцем новоявленный султан...

Попавшая в поток триумфальных сообщений, прибывающих допоздна из разных точек пустыни, эта весть, обросшая невероятными подробностями, была ничтожным бытовым событием, вроде далекого зарубежного любовного кинофильма, казалось бы, не касавшегося Аветика, но почему-то, будучи ничтожным, именно это событие черной тучей нашло и омрачило душу. Едва намеченное ощущение подсказывало, что к его собственности, к его драгоценному имуществу простер свои грязные руки этот Асклепий-змеелов. Его возбужденное и болезненное воображение отчетливо рисовало подробности любовных утех змеелова с очередной русалкой на ковре с портретом Великого усопшего, блуждания загребущей мужской руки меж холмов женского тела, где равно доводят до исступления и вершины, и равнины, и ущелья. И эта рука словно хотела, содрав со стены, изорвать обветшалую репродукцию картины «Под сенью абрикосов», в глубине которой источало пар корыто с горячей водой, где мать пыталась отогреть замерзшие кости отца... Эта рука... эта грязная рука... Беспричинное, нелепое чувство, которое необходимо задушить, ибо не вызывать же на поединок того, кого пока даже не встречал, с требованием отказаться от того, что тебе и не принадлежит...

«Выключайте насосы! — крикнул Аветик в микрофон. — Продолжим завтра. В чем нуждаетесь?»

Пробежав взглядом по последним донесениям из пустыни, Аветик заметил, что все, словно сговорившись, сообщали такой состав воды, который, сконцентрировавшись в бутылке, выдал бы сорокаградусную водку... Водка! Спасение оказалось в водке. Беспричинное, нелепое чувство следовало утопить в водке...

Когда Аветик вышел из кухни с подносом, груженным очищенными луковицами, тарелками, стаканами и вилками, экипированный, при галстуке, кум прижимал к груди кошку, шептал, роняя слезы: «Так ты следом за Арус выбежала, да?.. А я зарылся головой под одеяло и не слышу твоего царапанья...»

Нет, Арус со своим чаелечением явно переборщила — ядреного мужика расхлябила, превратила в жидкое месиво, где безжалостно и безуспешно лущили друг дружку старые и новые энгельсы и гегели. Страдания кума были сродни мукам умершего, в которого снова вселилась только что отлетевшая душа — за старый строй он не цеплялся, через порог в новый не переступал и, что гораздо труднее, не взбирался на тот холм нейтралитета, с верхушки которого было бы легко плеваться что направо, что налево. Вон, друзья его, носители точно таких же галстуков, не

отрывая глаз от московского телевидения, группами собираются в парках, на площадях и, в соответствии с последними известиями, либо заговорщицки перешептываются, либо грозятся новой революцией, которая должна хлынуть потопом и смыть этих новоявленных разрушителей, этих грабителей, этих неучей, этих выскочек, этих шпионов и прежде всего, конечно, этих хамелеонов, которые с легкостью меняют галстуки, которые не привыкли сидеть в зале, пусть даже в первых рядах, а навострились находиться лишь на подмостках, независимо от того, что за представление откроет занавес...

Две рюмки водки камня на камне не оставили от системы теоретических знаний кума. С детской непосредственностью он восхищался соленостью сыра, мясистостью колбасы, горечью лука; прикармливал кошку и, освобождая человечество от бесчисленных идей и идеологий, от коверкающих, компрометирующих эти идеи и идеологии партий, провозглашал общественную формацию, состоявшую из слабых и сильных личностей. Эта борьба между слабыми и сильными видами человечества и самая большая загадка жизни заключается в том, что очень часто в этой борьбе побеждает слабый.

— Опасен, о, чрезвычайно опасен слабый! — витийствовал кум. — Он обходит свою жалкость, становится коварным, мстительным, льстецом, предателем, интриганом, бьет сильного из-за спины — всегда из-за спины! — дышит ядом и никогда не схватится врукопашную. Он расставляет повсюду капканы, подделывает явление, подлаживает историю к подлому делу выживания слабого, проникает в тело сильного, изнутри его пожирает, убивает сущность и является в его обличье. Оружие тоже придумано слабым. Оружие во всех его видах. Не правда ли, удобно — издали, с безопасного расстояния обстреливать других?..

— Поднимаешься на русскую березу, — вмешался Аветик, лишь бы что-нибудь сказать, — усаживаешься на удобную ветку и держишь на мушке своей прицельной винтовки, скажем, могучее сердце тренирующегося в Лос-Анджелесе Мухаммеда Али. А?

— Точно! — Кума разобрало. — А самое мощное оружие слабого — власть, самое надежное убежище — цитадель власти. И врут, фальшивят все биографы — что светские, что духовные... Все они лизоблюды... Хранящиеся в истории образы властителей не имеют с оригиналами ни малейшего сходства.

Кум повытаскивал из ящиков письменного стола полные рукописей папки, со стеллажей — не подлежащие продаже книги, разложил на стульях и в нужный момент бегло листал страницы и вычитывал подтверждающие мысль строчки с таким умилением, что проснувшийся было от шороха в кошке мышелов вновь убаюканно впадал в дрему...

Кот Аветика словленных в доме ли, в саду ли мышей не ел. Либо оглушал лапой жертву, если прикинувшаяся мертвой тайком дышала, либо ублаготворенно растягивался рядом, если сердце у мыши разорвалось от страха. И надзор длился до тех пор, пока Аветик или мать не брались за совок и веник.

— Мы безнадежно отдалились от способа продолжаться путем естественного отбора, которым руководствуется вся природа, — изрек кум. — Взгляни, какой тщательный отбор происходит в любой стае, в любом стаде, в любом табуне... Разве слабый, страшась клыков и рогов сильного, осмелится мечтать о том, чтобы стать вожаком? И значит, если порядок естественного отбора для человечества больше не действует, то необходимо, чтобы действовал отбор искусственный... Вслед за диагнозом, вслед за обнаружением слабого, проникшего внутрь сильного, необходима операция, — сформулировал, наконец, основную мысль кум. — Если не успеешь — слабый сам возьмется за нож...

— А кто будет проводить диагностику? Кто будет обнаруживать слабого? — возразил Аветик. — Есть такой избранный или совет избранных, комиссия, инстанция? Что-нибудь подобное есть? Если и есть, то кто гарантирует, что этот избранный или совет избранных вместе со слабым или даже вместо слабого не сбросят сильного со скалы? Ты знаешь, сколько в Армении скал, с вершины которых сбрасывали дашнакцаканов? И сколько скал, с вершин которых сбрасывали большевиков? Даже с

одной и той же вершины — и дашнакцакана кидали, и большевика... Что, всех скатившихся считать слабыми?..

— Так в чем же выход? — вскипел кум. — Пристроиться под твоими абрикосами и ждать, пока свершится чудо?

— А не мешало бы порой и посидеть, и подождать. И задуматься, почему год от года распространяется рак. Между прочим, рак очень похож на описанного тобой слабого...

— Ну-ка, ну-ка!.. — оживился кум, словно поощряя студента. — Раскройся, поясни свою мысль.

— Как и изображенный тобой слабый, рак гнездится в человеке и начинает съедать его изнутри... Обычно нетерпимый к инородному телу человечий организм с ним не воюет, потому что угнездившийся лукавит, что он не чужой, а свой. Прикидывается клеткой, железой, кишкой, почкой и чем-то подобным... Как организму воевать со своим? Когда догадывается, что его обманули, — рак уже захватил территорию.

— Пока что ничего нового... Не спорю. Дальше? Выход подскажи... Какое средство предлагаешь?

— Лапоть ты поношенный, вот кто! — нагрубил Аветик. — Бабочка сушеная на страницах классиков!.. Тебе хоть раз приходило в голову сесть в лодку и выйти в открытое море с мыслью, что смерть все равно есть, и значит — какая разница, где она тебя сцапает? А француз именно так и поступил!

— Кто? — не понял кум.

— Француз... Имя сейчас не помню. Какая разница?

— Да, — согласился кум, — имя тут ни при чем. Несколько сотен имен так часто повторялись, что вместо утверждения разнообразия, особенности устроили путаницу. Скольких история знает Платонов, Сократов, Аристотелей?..

— Когда врачи объявляют французу, имени которого не помню, что у него рак и что уже поздно прибегать к какому-либо средству, он интересуется, сколько ему осталось времени жить. «Полтора месяца», — отвечают врачи, которые, сам знаешь, как поднаторели в плане безошибочного прогноза. Предсказатели погоды, хоть и уже из космоса пристально следят за направлением и скоростью самых разных течений, все равно ошибаются, а врачи — нет. Полтора месяца, пятнадцать дней, пятнадцать минут... Скажут и — все! Никаких апелляций... Француз, значит, наш достает лодку, запасается едой и водой на полтора месяца, устанавливает радиосвязь и уходит в открытое море...

— Он был смертником, — запротестовал кум. — Его поступок понятен. Меня-то чего виноватишь, что в открытое море не ухожу?

— Все мы смертники... Просто кому-то на ухо судья или врач просвистел марш смерти, а кому-то — нет.

Кошка спрыгнула с кумовых колен, помчалась к отворяющейся двери, надулась, как индюшка, и уставилась на вошедшую Арус.

— Что такое? — враждебная поза кошки встревожила Арус. — Что тебе, Боро?

— Проделайте под дверью дырку, — приветствовав Арус, посоветовал Аветик, — чтобы животное могло свободно перебегать туда-обратно. Старый, испытанный способ...

В свое время, тайком от отца и матери, Аветик тоже проделал для своего кота дыру и так ловко приладил изнутри войлочную заслонку, что она легко впускала и выпускала кота. Через эту дыру и приплелся в последний раз кот с раздробленным хвостом, измазав кровью края заслонки. Не кровь была, а клей — заслонка намертво прилипла к деревянной двери и залепила отверстие.

Мужской стол всухомятку Арус не понравился. По пути в кухню бросила:

— Сейчас для вас Ефремовы яблоки сварю...

В ответ на недоуменный взгляд Аветика кум пренебрежительно махнул рукой в сторону кухни:

— Не обращай на нее внимания... Это просто губка. Губка для впечатлений... Ты дальше рассказывай! Вышел он в море... А что потом?

— Потом, дорогой мой кум, оказалось, что у моря тоже есть своя жизнь, своя

стихия, и оно вовсе не намерено, подлаживаясь под смертельно больного человека, гарантировать ему полтора месяца мирного плавания.

— Потопило, да, этого Сократа? — хихикнул кум.

— Живет по сей день. Истерзанный штормом, вцепившись в обломок разбитой лодки, двое суток человек проводит в холодной воде, борется за свою жизнь, пока не приспевает помощь. Он все равно бы умер через полтора месяца, но досрочно явившаяся смерть принуждает к битве. Сосредоточив все силы, волю, желание жить, организм человека сражается со смертельной опасностью и по ходу, как бы между прочим, побеждает рак. Когда спасенного начинают лечить от воспаления легких, вдруг выясняется, что от рака и следа не осталось... Общество тоже — единый организм, верно? Мобилизацией всех сил в обществе можно преодолеть собственный рак, а не выстрелом или ножом...

— Это долгая дорога!.. — простонал кум.

— Обманчиво короткие дороги еще длинней, — заметил Аветик, — или не приводят к цели... как запутанные тропинки в лесу... Бесконечно и тщетно испытывая обманчиво короткие дороги, однажды вдруг обращаешь внимание, что прошли тысячелетия, а ты никуда не пришел...

Андрею была ведома история француза, и ведомы истории многих других людей, попавших в чрезвычайные ситуации, не обязательно связанные с раком, но он к тому же сознавал факт уникальности этих неопровержимых чудес. Из тысяч, миллионов сочетаний лишь один случай имеет счастливый финал, и этот один-единственный, увы, не есть рецепт для человечества. Вызвать искусственную встряску для мобилизации потенциала организма теоретически возможно, но эта встряска сама по себе во многих случаях стала бы смертельной. «Единственный способ — это укрепить организм, сделать его могучим, — говорил Андрей. — В крепкий организм рак не внедрится, а если и внедрится, то проиграет».

Окутанное облаком пара блюдо Арус поставила на стол. Выудила из облака картофелину с растрескавшейся кожурой, подула на нее, перекинула с ладони на ладонь и сказала: «Ешьте, чтобы не погибли от голода!»

Армяно-английский словарь продала Арус и купила три килограмма картофеля, которым торговал на рынке начитанный древними книгами старик. Товар продавал дорого, познания раздавал даром. Он знал, из какой страны завезли картофель и когда, знал, кто автор доставки. И был убежден, что если бы ввезенный католикосом Ефремом картофель не распространился в Армении, то армяне погибли бы от голода. «А почему армяне не погибли от голода до того, как завезли картофель?» — спросила Арус. «Не знаю, — откровенно признался начитанный древними книгами старик. — В этом мире много чего непонятно...»

— Теперь времена английского, — пережевывая горячую и вкусную рассыпчатость, выговорила Арус. — Наш город в один момент забыл русский и перешел на английский. На армянском пока разговаривают, но уже не читают.

— Читают, все еще читают, — соврал Аветик и протянул часть от вырученных за сухофрукты денег Арус. — Все книги, что я забрал, продались...

Успев нажать кнопку вызова службы безопасности, Бородач нырнул под письменный стол прежде, чем в листве дерева, как резвящаяся в шаровидном аквариуме рыбка, в полный рост обозначился образ с рыжими редкими волосами и сверкающей в руке пилой. Отсвечивая полированной поверхностью капавшие сквозь листья лучи, пила утратила естественную форму и размер, превратилась в чудовищный огненный язык, а образ с рыжими редкими волосами напомнил укушенного бешеным псом друга детства, который дни напролет в больнице плевался пеной, по-собачьи скулил, выл, пока Господь не призвал его душу.

Комната охраны была заперта изнутри. Он сам запер — после встречи с французским послом, как поступал всегда, если, утомившись официальными беседами и предавшись мыслям или дреме в уединении, считал не только излишеством, но и помехой чье-либо, пусть и беспредельно преданного телохранителя, свободное перемещение и даже саму возможность перемещения. «Они призваны следить за чужими, а не за мной! — резко возразил он министру национальной безопасности, когда

тот вкрадчиво попытался приправить комментарий к священному распоряжению елеем собственной подчеркнутой приверженности. — Когда я один — никакого наблюдения, никакой охраны! Захочу — покончу собой!». «Не сможешь, дорогой, — заявил министр национальной безопасности, — твоя личность уже тебе не принадлежит. В этой стране только ты национализирован. Все остальное приватизируется».

Оконное стекло теперь уже дребезжало от сверхнатяжения, вызванного ветками, прогнувшимися под тяжестью образа с рыжими редкими волосами, и хотя треска стекла не послышалось, снаружи будто влетел ветер и взбил под письменным столом пыль. Едва сдержав чих, он пожалел о том, что поторопился запереть влитую в стену дверь без ручки и сунуть ключ в карман. Теперь телохранитель, бросив недоигранную шахматную партию, вынужден мчаться по долгому коридору, отпирать первую дверь, вторую дверь, третью дверь, зайти в приемную и мимикой вразумить непосвященного в вызов помощника, что приглашен, причем срочно. Прежде чем с точностью до секунды вычислить момент появления телохранителя в кабинете, он вдруг с ужасом заметил, что заблокирован древесиной — сверху древесина, по бокам древесина, на полу — древесина. И тесно. Словно его втиснули в гробик друга детства, что, взлетевши на плечо безутешного отца во главе длинной процессии, походил на скворечник.

— Глянь, кто там, на дереве? — крикнул из-под стола Бородач, смутно сознавая, что его крик — не столько приказ для ввалившегося в кабинет телохранителя, сколько попытка очнуться от кошмара, рассеять видение гроба, и заткнул пальцами уши, чтобы заглушить звук неизбежных выстрелов телохранителя или террориста. Перестрелка, однако, запаздывала, и тишина неопределенности обострила Бородачу нюх. В щекочущем нос пыльном фимиаме выделились запахи кожи, обувного крема, собственных носков и еще какой-то, напомнивший о бывшем хозяине письменного стола и кабинета.

— Это садовник, — голос телохранителя будто доставал с берега до морского дна. — Спиливает ветку, что вам мешала...

Потирая колени при выходе из-под стола, со стыдом припомнил свой вчерашний разговор с помощником и явный намек: срезать ветку за окном, которая и уличную панораму заслоняет, и оконное стекло царапает. В качестве подтверждения абсолютной безопасности телохранитель распахнул створки, и монотонное верещанье пилы удостоверило нерушимое господство защищенности и покоя, вместе с тем, подобно сладким воспоминаниям, всколыхнуло тоску по лесу.

— Чуть было не застрелил! — махая пистолетом, куражился телохранитель. — Вдруг вижу — садовник!..

— Закрой окно... опилки залетают.

Не пряча расцветшей под носом бахвальной улыбки, телохранитель сунул пистолет в кобуру и уже было привычно защелкнул указательным пальцем кнопку, однако настораживающие нотки в голосе хозяина заставили сперва выполнить распоряжение. Он вдруг устыдился, и ужаснулся собственной улыбке, и понял, что должен произнести нечто вроде оправдания, такого свойства речь, чтобы хозяин убедился, что — не ему предназначалась ухмылка.

— Что значит «чуть было», — опередил телохранителя Бородач. — Телохранитель или убивает, или не убивает. Ты не убил!

— Но ведь это садовник! — словно попавшая в невод рыба, затрепетал телохранитель, определенно угадав, что данный инцидент можно расценить, как недобросовестное исполнение обязанностей.

— А мог быть и не садовник. Кстати... — Бородач долго молчал. Медленно подошел к телохранителю, вытащил из раскрытой кобуры пистолет и презрительно швырнул на диван. — Кстати, — повторил, — террорист, дорогой мой Долдон, маскируется и под садовника. Иди!

В кабинете заметно посветлело, когда слезший с дерева садовник уже снизу стянул, опрокинул застрявшую в кроне спиленную ветку. Одной рукой тер глаза, другой смахивал опилки с рыжих редких волос и с довольным видом сделавшего дело человека мурлыкал под нос революционную песню. Если все еще поются революционные песни, значит, не пропала революционность. К сожалению. Революционность не кончается с окончанием революции, еще долго живет самостоятельной жизнью,

тлеет под пеплом гаснущего костра, временами испускает искры ностальгии и неудовлетворенности, которые, если им и не удается разжечь новое пламя, успевают опалить юношеский пушок революционных достижений. Вот почему революция вынужденно пожирает своих, все еще преисполненных революционности, детей.

Прежде чем потеряли сознание, растоптанных солдатскими коваными ботинками арестованных Долдона и садовника кинули в тюрьму. По телевидению сообщили подробности неудавшегося покушения на президента и в качестве вещественных доказательств продемонстрировали покоившийся на президентском диване пистолет, прислоненную к платану лестницу и маску, придавшую террористу облик садовника с рыжими редкими волосами. Дикторша одним глазом, скользящим по бегущей строке, плакала, а другим улыбалась, и создавалось впечатление, что она одновременно сообщает и опровергает новость, в то время как бедняжку на самом деле взволновало покушение и безмерно обрадовал его провал.

Выключив телевизор, Бородач отдал помощнику распоряжение позвонить в телецентр, отчитать кого следует за неподобающий уровень подачи информации, посоветовал перевести разноглазую дикторшу в театр юного зрителя и, потому что задыхался от скопления в приемной посетителей, разрешил им входить по очереди, дабы засвидетельствовать почтение, выразить соболезнования, озвучить поздравления, а также — преданность и верность. Первыми вошли соратники, потому что иностранные дипломаты запаздывали — проверяли детали происшествия и, припав ухом к телефонным приемникам, ждали из своих столиц инструкций, в соответствии с которыми должны были оснастить экипировку, лицо, прическу и, разумеется, речь.

От некогда внушительного отряда соратников осталось трое. В отличие от уволившихся, уволенных, покинувших страну, погибших, для этих троих с окончанием революции закончилась и революционность. Путь от подмостков на революционных площадях до дворцов власти они совершили пробежкой, успев пролистать по дороге труды Маккиавелли, посвященные проблеме создания сильного государства в условиях отсутствия развитых гражданских добродетелей, и в качестве эпиграфа к дальнейшей деятельности избрали истину: «Для осуществления политических целей позволительны любые средства».

Их революционность трансформировалась в безудержную манию строительства — для общества была разработана формулировка: «С целью преградить дорогу покидающим страну наши министры и высшие военные офицеры, возводя дома на прочном фундаменте, демонстрируют пример обустройства Родины. Равно как и вселяют в массы веру в будущее независимой государственности. Если бы не эта их вера, то зачем было дома строить?»...

Расспросы, осмотр места и кликушество соратников тяготили Бородача, и, якобы владея собой из расчета, что прошлое есть прошлое, он пригласил их выпить по чашечке кофе и поговорить по душам, пока послы не заявились. А прочим посетителям — государственным и партийным чиновникам, которые имели свободный доступ в президентский дворец и которые тоже готовились к расспросам и кликушеству, было велено освободить приемную и разойтись по делам. Ничего особенного не случилось — если ты у власти, то у тебя должен быть и противник, и враг. Независимость, строительство государственности — это не игрушки. Даже в странах могущественных, давно состоявшихся, президенты, и не только президенты, подвергаются террору, а что говорить о таких, как наша, слабеньких, маленьких, родом с Востока и так и не доросших до Запада государствах, где убить человека не сложнее, чем выпить стакан воды. Вон, в соседних странах раз в неделю устраивается покушение — мнимое или настоящее, какая разница? По поводу настоящего покушения скептики поднимают такой же шум, как и по поводу мнимого.

— Господин министр, — обратился Бородач к министру обороны, когда соратники расположились за кофейным столиком с мраморной столешницей и напрочь запамятовали, по какому поводу собрались. Они тоже не верили в подлинность покушения — пожалуй, больше всех. Но эти сукины дети не поверили бы даже если бы собрались вокруг трупа. — Правда, что твои солдаты обратились к тебе с требованием выдавать им две порции еды, два комплекта обмундирования, две пары обуви и двух женщин?

— Эту паршивую газетенку спалить надо, — под ржание соратников проворчал министр обороны. — Я не в состоянии сдержать гнев военных. И не удивляйтесь, если завтра эта редакция сгинет в пожаре. Логово сплетен устроили...

— Но согласись, что эти сукины дети остроумны, — заметил министр внутренних дел. — Если ты заставляешь солдата голосовать дважды, значит, у него два голоса, значит, его — двое... Почему же не хочешь удовлетворить его потребность в двух пайках еды, обмундирования, обуви и тем более — женщин?

Среди сохранивших преданность соратников Бородач особо благоволил к министру внутренних дел. «Армянское чрево, — сказал он как-то по случаю, — подобной индивидуальности не рождало». Наглым был, женолюбом, вышел, как говорится, из грязи в князи и не гнушался ролью шута даже в доме покойника. В напряженные моменты служил разряжающим атмосферу громоотводом и, что самое главное, не налаживал прямой связи между собой и Богом. Взглядом был устремлен вниз, а не вверх, в нижнем, ограниченном пространстве утолял свои неуемные страсти. Народ считал его своим сыном.

Министр обороны тоже не нацеливался на высшее кресло власти — впрочем, кто способен предугадать направление развития личности? — но временами в сверкающих из-под густых бровей его больших черных глазах мерцали искорки фанатизма, выдавая плебейское происхождение и воспитание, помноженные на соблазнительные и мифические националистические идеи. Он мог бы оказаться и в рядах оппозиции.

В беседе не участвовал министр национальной безопасности, который имел обыкновение, усевшись, взвалить ногу на ногу, не тревожась о том, что задравшийся носок левой или правой туфли мог коснуться носа собеседника. К счастью, эти ноги были не из потливых, и жена каждое утро заставляла его надевать свежие носки, однако нога — пахучая или нет — не та часть человеческого тела, с которой возмечтал бы пообщаться собеседник. В тот день он сидел как прилежный ученик, сомкнув колени и опираясь локтями на черный кожаный портфель, тяжесть которого обуздывала дурную привычку укладывать ногу на ногу. Время от времени, поймав взгляд Бородача, он мимикой давал понять, что есть серьезный разговор и что он явился не только с целью выразить сочувствие, и незаметно для соратников постукивал указательным пальцем по пухлому портфелю.

В этом портфеле в президентский дворец проникали анализы бродивших в разных уголках страны настроений, протоколы тайных совещаний оппозиции, записи телефонных переговоров, даже замечания касательно обихода ближних. В этом самом портфеле была доставлена информация, согласно которой оппозиция намеревается на очередном митинге сжечь чучело президента. Ребята из службы безопасности навестили всех в стране скульпторов и кукольников у каждого в мастерской и обнаружили четыре готовых чучела. Все четыре были сожжены. А чтобы обеспокоенные по поводу авторских прав скульпторы и кукольники не обратились в международный суд, ребята из службы безопасности по миллиметру подсчитали составляющие чучельный скелет металлическую проволоку, древесные обрезки, облицовочные лоскуты, с точностью до грамма взвесили опилки для головы и умножили итог на стоимость материала, установленную уже канувшей в историю империей. Скульпторы и кукольники пригрозили грандиозной культурной демонстрацией и поволокли ребят из службы безопасности на ярмарку, где процветал свободный рынок. Короче говоря, скульпторы и кукольники получили вознаграждение сполна и даже выгадали вдвойне, поскольку оппозиция великодушно не потребовала вернуть задаток. «Вы добросовестно исполнили свою роль, — сказал представитель оппозиции, особо акцентируя на функции исполнения роли. — Благодарим вас. Получилось так, как мы и ожидали». «Зачем же вы деньги тратили, заказывали, если были убеждены, что так и будет, — удивились скульпторы и кукольники, — если были уверены, что заказанное вами чучело не сгорит на площади?» «Сгорит, — улыбнулся представитель оппозиции, — сгорит пятое».

Пятое, достаточно похожее на оригинал чучело в натуральную величину, которое водрузили в центре проспекта напротив президентского дворца, с треском горело, и языческая толпа в дикой пляске носилась вокруг заживо сожженного. Изготовив-

ший чучело, некто из числа сочувствующих оппозиции и безвестный в мире культуры мастер-самоучка, не ставил перед собой задачи следовать законам искусства, в противном случае либо преуменьшил, либо преувеличил бы размеры оригинала, хитроумно выведанные оппозицией у Бородачева портного. Посему мастер-самоучка вывел дубликат, который уже одним своим видом, без оглядки на внутреннее содержание, вызывал чувство омерзения.

Телохранители оттащили оригинал от окна, опасаясь шальной или снайперской пули со стороны митингующих в ответ на пулеметную очередь, предусмотренную на случай, если демонстрация вдруг попытается взять дворец приступом. Было дано указание не пропускать во дворец какую-либо делегацию — «Знаем мы, что могут вытворять делегаты!» Во дворе резиденции стояли наготове водометные машины, несколько отрядов спецназа, а пулеметы заняли позицию на крыше, где простодушно изъявила желание расположиться Би-би-си.

Полыхающая голова чучела очень скоро отделилась от туловища, свалилась под ноги толпе и огненным ядром покатилась вниз по улице, подгоняемая пинками митингующих...

Данные из портфеля первыми сигнализировали о том, что в ближайших выборах победит единый кандидат от оппозиции, бывший соратник, чей враждебный блеск в глазах Бородач подметил в тот самый день, когда его на руках выносили из дворца, где пока еще властвовал московский ставленник с окровавленной плешью. Этого единого от оппозиции кандидата, этого бывшего соратника народ любил не больше, чем его. Народ его меньше ненавидел. «Мы строим государство по шкале ненависти, а не любви», — с грустью отметил будущий министр внутренних дел.

Этот самый портфель доставил в президентский дворец также план особняка министра внутренних дел, фотографии залов, спальных и игровых комнат, приемных помещений, пленку с изображением сада и просторного двора, заснятую с вертолета. Подлец повернул русло городской речки — бурлящие серебристыми рыбками воды текли вдоль всей протяженности двора, местами образовывая озерки и водопадики. А в том месте, где речка возвращалась в прежнее русло, с беззастенчивой наглостью грязно скалилась канализационная труба. Оппозицию эта наглость разозлила больше всего. «Каждый божий день, — жаловалась оппозиционная газета, — он на нас писает».

Очередное постукивание указательного пальца министра национальной безопасности вывело Бородача из себя. «Твой сундук бабахает как арбуз перезрелый. Что у тебя, говори. Ты разве не знаешь, что от этих у меня секретов нет?».

Безусловно, министр национальной безопасности не без основания желал бы выложить содержимое портфеля сперва перед президентом, опасаясь, что не посвященные в дело друзья-министры своим неуместным вмешательством могут подпортить целостное восприятие разработанной им программы. Но жребий уже был брошен, и задержка со вскрытием портфеля становилась опасной, тем более что министр обороны, точно обиженный ребенок, порывался уйти, дескать, по важным делам, а министр внутренних дел двусмысленно улыбался и пальцем прощупывал упитанность черного кожаного портфеля.

Избавившись, наконец, от тяжести, министр национальной безопасности закинул ногу на ногу и представил недавно скопированные из засекреченных папок Дашнакцутюн документы партийного расследования по делу о покушении на султана Гамида. Свидетельства, протоколы заседаний созданной для осуществления покушения так называемой «Указательной» комиссии, письма, специальный и экспертный анализ, акты партийного суда... В партии были потрясены провалом операции и, как водится в случае крупных провалов, приступили к поискам виноватых. Партия обвиняла «Указательный» орган, «Указательный» орган — Христофора, погибшего еще при опробовании бомбы у подножия Витоши[1].

«А нам эти документы зачем? — досадливо спросил министр обороны. — Скомпрометировать нашу историю? — Он не упустил момента отплатить соратнику,

[1] Витош — гора в Болгарии.

впопад-невпопад наушничавшему президенту, за его кагэбэшный стиль работы, хотя сам в борьбу за сохранение престижа истории мог вступить и без чувства мести. — Оглядываешься назад и в ужас приходишь... Каждая страница твоей истории скомпрометирована...».

Министр внутренних дел подмигнул — пусть, мол, наш товарищ раскроется, как его портфель, посмотрим, что скажет...

...Министр обороны, слегка захмелев на пиршестве по случаю открытия особняка министра внутренних дел, вышел во двор глотнуть свежего воздуха и увидел, как в повернутую руслом речку, бурлящую серебристыми рыбками, вальяжно мочится любимый певец молодежи Вруйр, почитавший себя городским ашугом, бормоча под носом не то песенку, не то молитву: «Господи мой Боже, брось куколку с небес — дочке отнесу». Министру обороны чрезвычайно понравилось безграничное чувство свободы певца, и, расстегнув ширинку, он пристроился рядом. «Господин министр, — узнав в полутьме министра обороны, почтительно обратился Вруйр, — и ты попроси Бога, пусть куклу бросит, хотя я не уверен, что у него есть... Все, что имел, побросал в детскую дочки нашего гостеприимного хозяина...» «Так уж и все!» — засмеялся министр обороны. «Да, все... Немецкие, американские, китайские, персидские... Одна танцует, другая поет, третья готовит... Знаете, почему я именно сейчас, писая, обращаюсь к Богу? — продолжал певец. — Потому что мужчина когда писает — сосредотачивается».

Изложение этого эпизода также проникло в президентский дворец в черном кожаном портфеле. Как и пленка с записью Вруйрова бреда. Как и сведения о том, что министр внутренних дел выписал из Австралии новый косяк серебристых рыбок, потому что прежний вымер от отравления.

Якобы не замечая подмигивания министра внутренних дел, министр обороны прямо заявил: «Мы что — туркам будем продавать эти документы?»

Началось... Неотесанный этот медведь даже не понимает, что в политике выражения, подобные «купить» и «продать» попахивают навозом, что главная причина иллюзорного шага — привычка видеть мир в черно-белых тонах. Так мы как будто упрощаем мир, облегчаем жизнь, делаем понятными отношения, а между тем всякая вещь усложняется и оборачивается во вред. Мы не освоились с искусством максимального выигрыша при минимальных потерях, потому что пока еще терпимы к веянию Варданова[1] знамени над нашими головами. Нет, дорогой спарапет[2], тысячу раз нет — мы не продаем эти документы турку, мы только публикуем их в прессе, одновременно решая несколько важных задач или, как говорится, сбиваем несколько птиц одним выстрелом... Прежде всего объявляем миру, что мы против террора вообще. Будь то теракт в Палестине или Ираке, в Иране или США, все равно — мы против, а коль скоро против, то осуждаем и произошедшие, когда бы они ни происходили... Мы осуждаем также теракт в Константинополе, где от мощного взрыва треснул минарет, лопнули стекла в окнах ближайших зданий, число погибших и раненых превысило две сотни... Тридцать экипажей взлетели на воздух и рассеялись, убило пятьдесят пять лошадей... Нет, тысячу раз нет, дорогой спарапет, мы не историю нашу компрометируем, а лишь указываем на страницы истории, достойные нашего осуждения...

— Осуждаем, потому что покушение не удалось, верно? Если бы вместо пятидесяти пяти лошадей убило султана Гамида, тоже осудили бы? — не унимался министр обороны. — Согомона[3] осуждаем?.. Суд оправдал, а мы осуждаем?..

— А публикация этих документов не добавит авторитета Дашнакцутюн в глазах народа? — вмешался министр внутренних дел. — Не может же наш товарищ наобещать к следующим выборам три порции еды, три комплекта обмундирования, три пары обуви и трех женщин?..

---

[1] Варданово знамя — Вардан Маликонян, победивший полководец битвы против персов (451 г.).

[2] Спарапет — полководец.

[3] Согомон — Согомон Тейлерян — армянский патриот, убивший в 1922 г. в Берлине Талаата-пашу, одного из организаторов геноцида армян в османской Турции.

— Нет, тысячу раз нет, — уверенно возразил министр национальной безопасности. — В глубине души народ не любит неудачников. Народ любит победителей. Да, — обратился к соратникам, — явление мученикопочитания и жертвопочитания тоже расцвело среди нас, но если приглядеться, то станет ясно, что без хотя бы крупицы вымышленной или реальной победы развенчивается, обесценивается жертвопочитание. Без этой хотя бы крупицы мученик называется ословым страдальцем[1]... В ословых страдальцев надо превратить их героев, а сотворить — их же собственными руками, — резюмировал министр национальной безопасности. — Документы такую возможность предоставляют.

Министр национальной безопасности бегло пролистал стопку документов и выудил один из актов, местами помеченный красным карандашом. «Вот послушайте, что говорит член «Указательного» органа Сафо про погибшего у Витоши при опробовании яблок, то есть бомб, основателя и идола Дашнакцутюн — Христофора: «Вы вольны корректировать историю, вы вольны наказывать дерзнувшего узреть пятна на солнце... Что я имел против Христофора? Все вы знаете, что мы дружили, жили в одной комнате, иногда горячились и спорили. Что я мог иметь против него? Обожествить хотите? Давайте, но он был таким же человеком, так почему не мог ошибиться? Почему не мог совершить ошибку при Витоши — разве он не был человеком? Он собирался вставить капсулу, поменьше, чем в Фелипе, но потому что был зол — а я это докажу! — произошло то, что произошло. Пятнадцать раз вздерните меня на виселицу, я буду утверждать — действуй он хладнокровно, не сотворил бы эту вопиющую ошибку... Вы полагаете, что мы, живые, способны на любую клевету, способны на подлость, а он был не способен на ошибку? Почему? Потому что он Христофор? Делайте, что хотите, но я скажу снова — пятна и на солнце есть...»

— Низкая речь в оправдание собственного провала, — заключил министр обороны. — Насколько мне известно из истории покушения на султана, Сафо сам изменил заранее спланированные действия — попытались прикончить изувера не бомбой, а заведенной в карете адской машиной. Ради безопасности... Идет убивать султана, заботится о безопасности... Но беда в том, что и переделанный план они реализовали неверно... Поставили карету в неправильную позицию...

— Видишь? — торжествующе улыбнулся министр национальной безопасности, — действовали ошибка за ошибкой, и ни в одном звене этой длинной цепи не отыщешь крупицы победы... Все они — ословы страдальцы...

— Ладно, — заговорил долго молчавший Бородач, — смысл твоего предложения мне в общих чертах ясен... Твоя цель, думаю, не только в дискредитации ословых страдальцев и Дашнакцутюн...» — «Разумеется, господин президент». — «И осуждение сегодняшнего покушения также составляет часть этой цели». — «Разумеется, господин президент... Не дают мне завершить мысль». «После завершишь... Вам, ребята, не кажется, — оживился Бородач, — что нам необходимо сбежать из города на пару дней? Придумайте повод, выберите уютное местечко, чтобы лес был, покой, чтобы послов не было, запаха бензина... Без роскошеств, конечно... По стопке водки опрокинем, по кусочку шашлыка откушаем...

— И — по женщине, — добавил министр внутренних дел.

Потемневшее небо Арцаха, в трещинах молний, сделало невозможным парение вертолетов-бабочек, лавирующих в извилистых ущельях среди вражеского огня. С неба то и дело падали обугленные тельца неразумных и спесивых крылатых.

И вспомнилось Гору легендарное путешествие маминого дяди, Валеры, из Арцаха в Армавир, явление из недр Акналича мифического Огнь-коня и паршивую кобылу, страдавшую поносом после страстного совокупления, которая за пару дней превратила бы двор в изнавоженный хлев, если бы инстинкт исцеления не потянул ее мордой, в сторону зардевшей вишни. Поедала ягоды с листьями вместе, не выплевывая ни косточек, ни мух со шмелями, присосавшихся к свежим сочным ранкам на вишнях, поклеванных воробьем.

[1] Ословы страдальцы — выражение, характеризующее напрасную жертву.

«Уж если его засранка-мамаша доковыляла, неужто сам не дойдет?» — пожал плечами подорвавшийся на мине одноногий Валера и с торжественностью оглашения завещания вручил седло племяннику.

Обозревая с вершины родную деревню в прижатый к глазам бинокль, Валера попытался улыбнуться, но стеной застывшая на лице смурнота осталась непроницаемой — русские танки въезжали в опустевшее село, где слонялись только беспризорные псы и куры. А бежавший вслед за танками сброд, ломая окна и двери, врывался в сирые дома, обитатели которых еще с утра взяли нелегкий путь в сторону монастыря Ерицманканц. «Видишь, как правильно было покинуть село, — сказал Валера и выругался в неопределенном направлении. — Ты с собакой дружи, но палку из рук не выпускай».

Потом, когда Гор, оседлав Ангела, ускакал, а ребята из отряда ушли в лес — обеспечить скитальцам безопасное передвижение, Валера, опершись на костыль, спустился в деревню, размахивая над головой белым платком.

На площади кутил сброд — из погребов в заброшенных домах выволокли бочонки с вином, из горшков выгребли сыр и соленья, в трапезных отыскали лаваш, жарили в наспех разведенных очагах ощипанных кур и потчевали занявших село без единого выстрела русских солдат. Валера прошел сквозь насмешку в глазах сброда и удивление — в солдатских, остановился перед русским полковником и отбросил костыль. Доковылял на одной ноге.

— Я пришел сообщить, господин полковник, — обратился Валера к отводившему взгляд полковнику, — что условие вывести вооруженный отряд из села мы выполнили.

— Вижу. Молодцы, — ответил русский полковник.

— Я пришел спросить, — продолжал Валера, — почему вы, господин полковник, нарушили уговор? Почему этот сброд проник в село? Вы же русский офицер — не стыдно?..

Ни сброду не удалось растоптать доковылявшего на одной ноге Валеру, ни солдатам — схватить за руку дернувшего провод смертника. Все вокруг рухнули наземь. Кроме Валеры... Он словно улетучился...

(Окончание следует)

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Равиль Бухараев

Габдулла Тукай: 125 лет народной памяти

У каждого народа есть поэт, пронзительно выражающий сокровенную и часто болезненную суть национальной души. При всем «национализме» таких поэтов, именно они наиболее близки по духу и другим народам. Оказывается, чем сокровеннее суть, тем более она «всемирна», поскольку у всех людей мира самое «свое», о котором, казалось бы, невозможно рассказать другим, и является самым общим. Но раскрыть эту истину удается только большим художникам. Таким художником слова и является самый «национальный» поэт татарского народа Габдулла Тукай.

Внешне его судьба напоминает судьбу М.Ю.Лермонтова — Габдулла Тукай не дожил до 27 лет и скончался от чахотки в апреле 1913 года. Но самым близким ему по духу и даже по деталям несколько эпатажной жизни является русский поэт Сергей Есенин. Именно в этом смысле можно говорить о «народности» Тукая, стремившегося постичь всю широту мировой культуры. Как и другие татарские интеллигенты начала XX века, он отчетливо понимал, что такой прорыв в мировую культуру для татарского народа осуществляется в первую очередь через русскую культуру. Тукай — первый переводчик стихов Пушкина и Лермонтова на татарский язык и посвятил им, а также Льву Толстому одни из лучших своих стихотворений, а также газетные и журнальные статьи — в то время, когда в татарских школах почти не преподавался русский язык.

Татары любили и любят Тукая так, что многие его строки стали надписями на шамаилях — настенных обрамленных и инкрустированных изречениях, веками представлявших собой лишь айяты Корана. Самые честные переводы на русский язык неспособны передать чувства, вздымаемые в татарской душе поэзией Тукая. Но для всякого человека, живущего в Татарстане, для любого гражданина нашей многонациональной республики Тукай — это данность общей татарстанской культуры, и — как всякую подлинную культурную данность — его творчество нельзя уложить в узкие рамки ультрапатриотизма и крикливого национализма.

Пожалуй, самым удивительным в творчестве Тукая, выразителя сокровенных духовных чувств и надежд родного народа, является то, что в нем наиболее полным образом воплощен извечный интернационализм татарской культуры:

Наш след не исчезнет на русской земле:
Мы — образ России в зеркальном стекле.
В лад жили и пели мы с русскими встарь,
Свидетельством — нравы, привычки, словарь.
Такого родства временам не избыть.
Нас крепко связала истории нить.
На счастье — с народом любым наравне
Имеем мы право в родимой стране!

Бухараев Равиль — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Родился в 1951 году в г. Казани. Окончил механико-математический ф-т Казанского ун-та (1974) и аспирантуру МГУ по кибернетике. Пишет стихи на русском, татарском, английском и венгерском языках. Печатается с 1969-го. Автор более 20 книг стихов и прозы. Переводит татарских поэтов. Составитель ряда поэтических антологий и исторических монографий на англ. языке. Лауреат Гос. премии Республики Татарстан им. Г.Тукая за поэтическое творчество. С начала 1990-х продюсер на русской службе Би-би-си. Живет в Москве и Лондоне.

Народ называл Тукая предельно честным и прямым поэтом — ему нечего было скрывать от людей, и его идеал на столетия вперед стал нравственным компасом страны, где он родился и прожил свою недолгую, но прекрасную и жертвенную жизнь. Никто лучше и выше Тукая не высказал идею святости родного языка и родной культуры, идею необходимости национальной свободы, направленной на духовный труд и земное созидание. Но случайно ли, что именно он, больше других понимавший сокровенные мысли и надежды татар, призывавший к возрождению древней татарской цивилизации, государственности, культуры, ярче всех совместил в своих стихах народный и государственный идеал Татарстана, суть которого — *свободное развитие татарского народа в пределах свободной России,* где слово «свобода» является ключевым и всеобъемлющим словом:

Здесь родились мы, здесь росли,
и здесь мы встретим смертный час,
Вот с этой русскою землей сама судьба связала нас.

Прочь, твари низкие, не вам, не вам смутить мечты святые!
К единой цели мы идем, свободной мы хотим России.

Нет свободной России без свободного Татарстана, как верно и обратное: нет свободного Татарстана без свободной России.

Яснее всего об этом на татарском языке сказал человек, творческая жизнь которого длилась лишь восемь лет, и он за эту жизнь испытал все отчаяние земного сиротства и полной неприкаянности.

На казанских фотографиях начала XX века Тукай выглядит подростком. Черные очки он носил потому, что с детства болели глаза, и сиротское детство навсегда запечатлелось в его тщедушной фигуре. Словом, не богатырь и не красавец, но какой огромный и сильный дух, какая работоспособность жили в этом маленьком теле! За время жизни в Казани — а ведь уже в 1910 году он заболел чахоткой — Тукай издал множество сборников стихотворений и написал множество статей по самым важным и острым проблемам общественной и политической жизни своего народа. Что касается лирической стороны его поэзии и личной жизни, то Тукай был настолько застенчив, что всячески сторонился женского общества, хотя и писал выдающиеся лирические стихи. Лишь одна из его поклонниц, Мавлюдова, связывается его биографами с личной жизнью Тукая, но они встречались только на людях, и ничего определенного об этом сказать нельзя. Тукай, по мусульманским понятиям, был очень молод, чтобы искать женитьбы, и к тому же, что мог он предложить невесте? В его музее хранится несколько личных вещей, умещающихся в один узелок, а ведь он был известнейшим и широко издающимся поэтом!

И все же в Казани Тукай испытывал не только человеческое, но и звездное одиночество. Вселенское сиротство, выпавшее на его долю, отторгало от людей и от земли, которую он любил. Любил так, что эта любовь пугала земных людей, потому что в словах и строках поэта была воплощенная жертвенность, отдающая все соки сердца тому, что не может ответить взаимностью. Стихи Тукая поздней казанской поры, уносясь с осенними ветрами его короткой жизни, взлетают прямо к звездам, ибо показывают, что душа его, как ни пыталась, не обрела пристанища на земле.

Габдулла Тукай — суть и совесть татарской культуры, которая, несмотря на все страдания и непреодолимые препятствия, всегда оставалась культурой, открытой для всех, и никогда не замыкалась в себе. Жизнь этого гениального поэта навсегда останется трагическим сюжетом российской истории, но его бессмертная душа присутствует среди нас, заставляя при всех тяготах бытия не забывать о вере, надежде, совести и любви к большой и малой родине, которая, увы, часто воздает должное своим сыновьям только после смерти.

С татарского. Перевод Равиля Бухараева

Весна

Пиши, ясней пиши, перо, и пробуждайся ото сна,
Ведь на земле уже давно весна, лучистая весна!

Пиши, перо мое, пиши, хоть пару строчек напиши,
Чтоб на бумагу перешли волненья сердца и души.

Звучат, звучат вокруг ручьи весенней искристой порой,
Пары тумана над землей восходят дымкой голубой...

Они сгущаются, как дым, и взору чудится тогда,
Что заволакивают мир туманы Страшного суда...

Льды оживают и плывут, несомы черною рекой,
Дробясь, сшибаясь, рвутся вдаль, могильный позабыв покой!

Внезапно кажется тогда, что в Судный час со всех концов
На сборище воскресших душ стремится войско мертвецов,

Что вдруг тряхнул рогами бык и Землю удержать не смог,
Что света Божьего конец вдруг вострубил архангел в рог,

Что все усопшие спешат к порогу Страшного суда,
Какие — в Рай, какие — в Ад, и неизвестно, кто куда!

Вселенную в зловещий миг объемлет ужас и испуг,
Повсюду страшный шум и гам, перемешалось все вокруг!

Природа в этот лютый час теряет вид привычный свой,
Как на закате облака, даль стала жуткой и рябой...

Но вскоре истинный свой цвет находят небо и земля,
Готовь зерно, паши и сей, работай, душу веселя!

И солнце сеет с высоты лучи горячие свои,
И прояснился наконец печальный, темный лик земли.

В напрасной ярости зима — уходит в стуже и снегах,
И шелковистая трава зазеленела на лугах.

Так обновляется всегда, готовый к праведным трудам,
Так воскресает люд земной, чьи предки — Ева и Адам.

Так с наступлением весны я размышляю ясным днем:
То о кончине я грущу, то восхищаюсь бытием...

1907

Не уйдем!

Человек с кривой душою нам пустой дает совет:
Уходите в край султана — здесь для вас свободы нет!

Не уйдем! Горька отчизна — край чужой стократ горчей!
Где у нас от силы десять — там пятнадцать стукачей!

Что за разница, казаки ль там нагайкой бьют сплеча:
Там казачье войско — в фесках, но камча — везде камча!

Слава Богу, казнокрадов там и здесь полно пока,
Кто богат, и на чужбине рвет кусок у мужика!

Разве мы ума лишились, чтобы, родину кляня,
В полымя бежать чужое из привычного огня?!

Мы б ушли, когда б за нами вдаль ушли и города,
Цепь мучительных столетий, наши горькие года.

От рожденья до кончины за родной живя чертой,
Мы срослись навеки плотью с почвой родины святой!

Вольная страна Россия — наша цель, и до конца
Не уйдем, и не зовите, лицемерные сердца!

Наш ответ звучит в печати — знайте раз и навсегда:
«*Если лучше вам, туда пожалте сами, господа*[1]*!*»

1907

Поэт

Меня движенье времени состарит,
В изнеможенье сгорбиться заставит,
Но, несмотря на древние года,
Душа не одряхлеет никогда!

Грудь пламенем поэзии полна!
Что старость — по плечу мне ноша эта!
Душа ясна — в ней навсегда весна,
Зимы и стужи нет в душе поэта!

Нет, мне не стать обычным старичком!
О мелочах печалясь, те стареют.
Дай Бог, не влезу я на печь молчком:
Меня уж как-нибудь стихи согреют.

Я, распевая песни, встречу смерть.
Сам Газраил не запретит мне петь.
Спою: «Я ухожу — вы остаетесь»,
Когда настанет время умереть.

1908

[1] В оригинале последняя строка написана Тукаем по-русски.

Национальные чувства (аллюки)

Вчера я слышал — кто-то напевал
Наш кровный, светлый, ласковый мотив...
Щемил он сердце, думы навевал,
До боли близок, вечен и красив.

Срываясь, переливы в тишине
Поведали, чем жив родной народ.
В напеве том понятны были мне
Все триста лет страданий и невзгод.

Жил, столько без претерпевая зря,
Жил, слезы проливая, горько жил,
Но, чувством кровной общности горя,
в напев свои мечты народ вложил...

Стоял я, потрясенный глубиной,
Величием страдающей души.
Вставал Великий Болгар предо мной...
Катила волны Белая в тиши...

Не снес я боли — подошел к нему:
«Земляк, скажи, что за напев — как стон?»
Печально поглядев в ночную тьму,
«Напев мой — Аллюки», ответил он.

1909

Утраченная надежда (Тафтиляу)

Краски яркие поблекли, мир я вижу без прикрас:
вот и жизни середина — вот и юность пронеслась.

Подниму ли взор на небо — среди звезд в тиши ночной
вместо месяца сияет полная луна сейчас.

Прикоснусь пером к бумаге — только зря взметнусь душой,
искрами безумной страсти стих не брызнет в этот раз.

Саз мой чудный, что же рано смолк священный голос твой?
Разлучаемся в печали, ты — разбился, я — угас...

Улетел из клетки мира птицей дух плененный мой.
Вместе с радостью и горе сотворил Господь для нас.

Не дадут душе приюта рощи родины больной;
все деревья облетели, до земли главой клонясь...

Озарившая улыбкой мой начальный путь земной,
мне отрадой ты не стала, скоро с миром разлучась.

Умерев в рыданьях, мама, не осталась ты со мной,
в мир чужого всем ребенка приведя в недобрый час.

Ты одна и утешала — ласки я не знал другой;
страж любви меня жестоко отовсюду гнал, сердясь,

И на твой могильный камень, что теплей души любой,
Боль моя слезой горчайшей и сладчайшей пролилась.

1910

* * *

Жизнь люби, люби отчизну, мир, которым жив народ.
Не печалься о кончине; всякий, кто живет, — умрет.

К мелкой злобной укоризне оставайся нем и глух.
Унижения мирские не вольны унизить дух.

1910

Елена Холмогорова

Анфилада

Повествование в шести комнатах

Наследница

Семнадцатого февраля случилась оттепель.

Я шла по узкому переулку, с двух сторон заставленному машинами. Они жались между сугробами, но пешеходам совсем уже не оставалось места. Некоторые водители залезли на тротуар так глубоко, что еле-еле удавалось протиснуться между капотом и стеной дома. Мне было жаль светлой куртки, которая проехалась по давно не крашенному подъезду и наверняка чернела грязной полосой.

...Удар пришелся по голове. Я удержалась на ногах, но мир пошатнулся, как-то на миг потускнел, смазав краски и задернув взгляд марлевой пеленой.

— Эй, вы живы?

Сквозь застилающую глаза муть разглядела человека, высунувшегося из припаркованной рядом машины. Молча киваю. Голос его доходит как сквозь подушку.

— А я уж думал, что вас убило. Вон какая глыба рухнула.

Тут я увидела, что стою среди обломков айсберга: кругом валяются куски льда.

— Подвезти куда-нибудь? Скорее, а то я поеду, не дай бог такая сосулища на машину упадет.

— Спасибо, мне рядом, — отвечаю я.

Воспитанность берет верх над благоразумием. Где я сейчас и что, собственно говоря, находится рядом, в тот момент не понимаю. Еще через минуту, когда машина трогается с места, я жалею, что отказалась от помощи. Сознание постепенно возвращается.

Я шла в библиотеку, как всегда делать чужую работу: проверять библиографию за своего трутня-шефа. Сегодня ему не повезло. Мысль о делах приводит в чувство. Надо домой, холод на голову, на ноющую ногу и спать.

Довольно бодро шагаю к метро. Почему я сказала, что мне рядом? Отсюда рядом было только до того места, где я появилась на свет, тихого переулка, с той поры сменившего название, в котором так и стоял четырехэтажный родительский дом, давно ставший офисным зданием.

Есть выражение: отшибло память. А если наоборот? Я так и слышу звон трамвая, доносящийся из открытого окна, на котором то надувается парусом, то безвольно опадает легкая тюлевая занавеска. Понимаю: это мое первое детское воспоминание…

В голове немного ломит от ледяной упаковки цветной капусты, которую, вытащив из морозильника, прижимаю к затылку. Я знаю дом, но не знаю ни этажа, ни куда выходили окна, ни сколько было соседей. Маму аж передергивало — «это кошмарное

Елена Холмогорова — прозаик, эссеист. Автор нескольких книг прозы. Постоянно публикуется в «Дружбе народов» (последняя публикация «ДН», № 7, 2009).

время в коммуналке», которого я не могла помнить, потому что мы переехали, когда мне было полтора года. Зато бабушка, папина мама, любила рассказывать, как в большой квартире наряжали одну на всех елку, какие были лепные украшения на потолке... Все вздыхала, что, наверное, нет уже на стеклянной филенке двери, ведущей в ванную, росписи, где ласточки сидят на проводах, как ноты на линеечке. Я много раз просила показать мне эту дверь, но у бабушки болели ноги, она ходила с палочкой — «тук-тук, тук-тук», и так мы туда и не выбрались.

Я задремала, и во сне мне щебетали белогрудые птички...

Спала я как никогда много. Доктор говорил, что при сотрясении мозга это лучшее лекарство. Видеть никого не хотелось. Соседка Надя приносила хлеб и конфеты, которые я поглощала в небывалых количествах. Доктор и за это хвалил: сахар был мне полезен.

Я пила чай с конфетами, чашку за чашкой, ходила целый день в халате и спала днем, чего мне никогда не удавалось в ненавистные «тихие часы» в неизбежных пионерских лагерях. И едва ли не каждую ночь меня посещал мой постоянный сон. Я иду по коридору и вдруг вижу незнакомую дверь. У меня в квартире, оказывается, есть комната, о которой я не знала! Я страшно удивляюсь и радуюсь. И каждый раз строю планы: сделать кладовку, чтобы квартира стала чистой и прозрачной? устроить зимний сад?..

Надя, пошарив в Интернете, торжественно и очень серьезно объявила:

— Я изучила все толкования. Замечательный сон. Лишняя комната — это твои нереализованные возможности, твои тайные таланты. Покопайся в себе, и тебя ждут открытия.

Надя любила все таинственное и часто выражалась высокопарно. Меня это раздражало, и я была рада, что не рассказывала ей об удивительном, единственном в моей жизни мистическом случае.

Много лет назад у нас был приятель, недолгий сослуживец мужа. И однажды мне приснилась его квартира. Что во сне происходило, я не запомнила, да и вообще о нем забыла. Но когда спустя полгода приятель пригласил нас на день рождения, прямо в передней меня пронзило: я это видела во сне. Я закричала: «Не открывай двери, я знаю, как стоит мебель!». Все потрясенно слушали, как изумленный хозяин растерянно кивает и приговаривает: «Да, точно, именно так». Наконец, когда я сказала, что у кресла стоит торшер, он завопил: «А вот и нет!». Но потом внимательно посмотрел на меня и поправился: «То есть сейчас не стоит, месяц назад абажур прогорел, и мы его выкинули, давно собирались».

За столом строили планы, какие выгоды могут сулить мои сверхъестественные способности, муж сидел, насупившись, и весь обратный путь выговаривал мне за ребячество, что, мол, завтра вся контора будет судачить об этой глупости. Но все конечно же обошлось, и ничего подобного больше со мной не происходило.

Странно, на время болезни я совершенно забыла, что у меня есть муж, который находился в санатории «Ласточка» в Кисловодске, получив льготную «несезонную» путевку, и попивал водичку на радость своему гастриту.

И возлюбленного своего я не пускала. Он никогда, даже в отсутствие мужа, не переступал порог нашего дома. Это был мой железный принцип.

Павел

Оттолкнув тяжелую дверь, — и как справляются с ней старушки! — он вошел в помпезный вестибюль. Мозаичные панно, холодный мрамор стен — не утраченный автоматизм довел его до турникета. Но тут он очнулся: как нынче платят в метро? И сколько? В разных столицах мира он задавался этим вопросом, и это было естественно, но здесь, в Москве... Павел досадовал, что никто не проинструктировал его, хотя нелепо было бы требовать, чтобы озабоченные похоронами и поминками люди объясняли такие очевидные вещи. Ему показалось стыдным задавать вопросы, и он встал около окошечка кассы, косясь на текущую очередь и делая вид, что роется в кошельке, купил картонный прямоугольник, небрежно бросив, подражая молодому

парню в бейсболке козырьком назад: «На пять поездок», а потом, словно заброшенный на парашюте резидент, повторил действия гладко выбритого клерка в начищенных до блеска ботинках с тонкой папочкой, так не шедшей к его крупной фигуре. На эскалаторе автоматизм немедленно вернулся, он резко выдохнул и только тут понял, что все это время даже дышал как-то с опаской. Вручая ему невесомый пластиковый пакет, мама спросила: «Может, машину поймаешь?», но он, сославшись на пробки, о которых здесь только и говорят, сам выбрал метро с тайной мыслью выиграть время, точнее, не выиграть, а протянуть, отсрочить возвращение в дом с занавешенными зеркалами к маме, еще не привыкшей к званию вдовы. Впрочем, со временем и так творилось странное: ему казалось, что с момента, когда он поднялся по трапу в раскаленном аэропорту Таллахасси, до этого московского эскалатора прошли годы. К тому же разница часовых поясов давала о себе знать, и уже два дня он пребывал в спасительном мареве. Мысли немного путались, врывались никчемушные мелочи или привязывалась какая-то чушь. Так и сейчас он не мог отделаться от мучительного вопроса, зачем нужно надевать на покойника трусы, притом непременно новые, за которыми его специально посылали в магазин, написав на бумажке размер, будто он был не в состоянии его запомнить.

Как всегда, морг находился в самом дальнем углу огромной больничной территории, неухоженном и захламленном, хотя обилие цветочных клумб и подстриженные кусты окружали корпуса. Объяснив, что привез одежду, он назвал фамилию и стал следить, как пожилая тетка в несвежем белом халате листает страницы амбарной книги. Она переспросила фамилию, он повторил отчетливо, по буквам, и презрение к труднопроизносимой фамилии отразилось на ее лице. Тетка снова принялась листать книгу, и ему казалось, что это происходит бесконечно. Наконец она сняла очки, внимательно и подозрительно поглядела на него и торжественно изрекла:

— У нас такого тела нет.

И закрыла книгу, давая понять, что разговор окончен.

— То есть как нет? — Его пронзила паника, и только здесь, в неопрятном закутке, он вдруг осознал, что отца не будет больше никогда.

Тетка все-таки снизошла до разговора:

— А в каком отделении он умер, знаете?

— Он умер дома, его потом привезли сюда.

— Так что же вы мне голову морочите! Так бы и сказали. Это же совсем в другом месте надо искать! — И как на лагерной поверке: — Фамилия!

Найдя запись, она с садистским удовольствием повторила по буквам подозрительную фамилию, а потом с унизительной брезгливостью перебрала вещь за вещью аккуратно сложенную мамой одежду. Дошла до трусов:

— Этикетку снимите!

Прочно пристроченный ярлычок не поддавался, он рванул сильнее, на его месте осталась крошечная дырочка. Поспешно свернув трусы дырочкой вовнутрь, он сунул их в пакет, предательски покраснев.

Когда, сжимая в кулаке расписку, Павел вышел на улицу, то опять сильно выдохнул, выталкивая из себя дух покойницкой.

Зато в метро он теперь чувствовал себя уверенно и спокойно. Народу было немного, однако садиться не стал. Две молодые, но некрасивые женщины громко обсуждали самое главное. Выходило, что работу надо искать, чтобы было много мужиков, только так и можно устроить жизнь. Одна — рыхлая и прыщавая — была одета нелепо ярко, а другая — чахоточно худая и румяная — с претензией на элегантность, даже курточка на ней была, похоже, натуральной кожи, но ее тонкая длинная шейка торчала так трогательно и беззащитно, как бывает у мальчиков-солдатиков, еще не привыкших к грубому сукну шинельных воротников. Вообще же толпа перестала быть однородно-серой, как когда-то, а тех, кто помоложе, и вовсе не отличишь от друзей его сына.

За почти двадцать лет американской жизни Москва стала чужой, даже враждебной. В их флоридской, пусть и столичной, глуши русские старались не сближаться, напротив, стремились слиться с соседями и сослуживцами. Теперь, когда его положение в университете было уже прочным, он мог позволить себе выпить водочки с

профессором-славистом, эмигрировавшим в свою пору из Ленинграда, и порассуждать о причудливой судьбе российской демократии. Но в нечастые свои приезды Павел убеждался, как далеки почерпнутые из Интернета сведения от московской реальности.

Москва, впрочем, не вызывала никакой ностальгии, не побуждала искать друзей юности и стала только тем местом, где болеют и стареют родители, которые так и не выбрались посмотреть на его новый дом и взрослого внука. Хотя тот стремился забыть свое происхождение, быстро стал настоящим янки, а женившись, чаще видел родных своей Мэри, чем папу с мамой. Павел помнил, как в тринадцать лет, только-только освоившись в тамошней школе, сын устроил истерику по поводу своего имени: «Не могли назвать по-человечески!». Действительно, родовое, прадедовское имя Аркадий сложно было переделать на американский манер. Зато белорусская фамилия Кмит, странная и двусмысленная в Москве, а здесь звучащая почти как Смит, его вполне устраивала. С сыном Павел говорил по-английски: как старались для практики после переезда, так и пошло. О Москве тот и слышать не хотел, однажды бросил презрительно: «Чего мне туда ехать, я там уже был!». Павел сначала по-отцовски возмущался, а потом поймал себя на том, что делает это исключительно в воспитательных целях и, наверное, зря. Важнее, чтобы Аркаша чувствовал себя американцем. На самом деле убеждал он не сына, а самого себя.

Начал накрапывать дождь. Отдельные крупные капли лениво падали на асфальт, чуть прибивая пыль, и он становился похож на мамину блузку в горошек, а в воздухе разлилась свежесть и тот забытый запах, который долго не выветривается из новых станций метро. В его детстве открытие каждой было событием, и они с родителями непременно ездили посмотреть на подземные дворцы.

Последние годы он стал гораздо чаще звонить в Москву, постепенно перейдя на ежедневный режим разговоров. Беседы с отцом превратились из повинности в потребность, даже отдушину. Поверив, что это недорого, отец перестал торопиться, а темы все чаще становились философскими, историческими. Отец, забыв, как был против отъезда сына, то и дело повторял: «Бедная Россия, разбросало по миру твои мозги». Но эмигрировавших коллег не осуждал: «Ну, как жить в стране, где не так уж давно в порыве борьбы с космополитизмом готовы были именовать Эйнштейна Однокамушкиным, раз уж нельзя совсем обойтись без теории относительности». И еще они играли в цитаты. Старались подловить друг друга: «А это откуда?». Накануне смерти отец сказал: «"Все к лучшему в этом лучшем из миров" — не помню, Монтень, что ли». Когда мама разбудила Павла ночным звонком и сказала, что только что закрыла папе глаза, первое, что он сделал, — включил компьютер и выяснил, что не Монтень, а Вольтер. Смешно, но он ощутил это как последний невыполненный долг… Шагая от метро к дому, Павел думал, какое счастье, что они с отцом напоследок успели узнать друг друга, подружиться. Но эгоистично не отмечал, что для запертого в четырех стенах и живущего на уколах умирающего это было и вовсе единственной отрадой.

Обычно к телефону подходила мама, они коротко обменивались бытовыми и медицинскими новостями, потом начинались разговоры с отцом. Время было крайне неудобным — восемь часов разницы, а летом — все девять. Павел приноровился вставать в шесть утра, чтобы спокойно поговорить перед уходом в лабораторию. Он заводил будильник, и, хоть клал его под подушку, Рита часто просыпалась.

Сколько раз Павел пытался представить себе, как сложилась бы его жизнь, не попади он в разгар перестройки на международную конференцию, где его темой заинтересовались американцы. Смоделировать карьеру он не мог, но точно знал, что с женой развелся бы. В женитьбе он повторил путь отца, только с обратным знаком в итоге. Отец взял в жены одноклассницу, Павел сделал то же самое. Ранний брак освобождает от сексуального голода, оберегает от многих рискованных предприятий и того, что называется «дурными компаниями». Можно сказать, что он хранил Рите верность. Московские грешки — мелочь, не в счет, а в Штатах поначалу было не до того, а потом и ни к чему, «и крепнет нравственность, когда слабеет плоть». Так что можно сказать, что он был безупречен. Да и Рита не искала развлечений. Но какая же в доме была тоска… Чем обеспеченнее, тем тошнее.

Родительский симбиоз, особенно в юности, казался ему сюсюканьем, а бесконечные нежности едва ли не показными. Только уехав, он стал тосковать не по каждому в отдельности, а по так раздражавшей его раньше атмосфере дома, где предугадывались слова, намерения и желания, где была предсказуема каждая реплика, роли расписаны с точностью до ремарок и любой третий — даже он — оказывался лишним. Культовая книга его студенческих лет — воннегутовская «Колыбель для кошки» давала название таким парам — «дюпрасс» — «карасс для двоих». Как они бредили этой книгой! Она была таким же глотком свободы, как «Битлз». Недавно они с отцом вспоминали семидесятые годы и сошлись на том, что для Павла и его друзей не политика, не Би-би-си с «Голосом Америки», а именно битлы с Воннегутом были символами протеста против режима. Павел с тех пор не открывал «Колыбель для кошки», все хотел, наконец, прочитать ее по-английски, да так и не собрался. К тому же отец отговорил. Он наткнулся у Довлатова на отзыв о замечательном переводе Райт-Ковалевой: «Курт сильно проигрывает в оригинале».

Павел поймал себя на том, что о чем бы в последнее время он ни задумывался, оказывалось: они обсуждали это с отцом. Вроде бы очищенные от быта, отвлеченные разговоры, освященные пониманием неизбежного скорого их конца, неожиданно привели к такой близости, что неназываемые вещи стали понятны. Павел был потрясен, когда однажды в добавление к поздравлениям Рите в день ее рождения отец неожиданно вздохнул и завершил: «Что делать, терпи...».

Прошли похороны, почти без перерыва — неотличимо похожий, казавшийся их продолжением девятый день и наступил последний вечер. Именно его Павел с самого начала боялся больше всего, прощание с мамой априори было тяжелее, чем навсегда с отцом. Он ждал, что она будет сокрушаться, мол, осталась одна, не знает, как жить дальше, а он так далеко... Павел понимал, что это было бы совершенно естественно. Воннегут утверждал: люди одного дюпрасса покидают этот мир в течение недели, но, увы, только в сказках бывает, что не только живут долго и счастливо, но и умирают в один день. Как ни отгоняй, в голове крутилась мысль, что в следующий раз он приедет на мамины похороны. И ничего, решительно ничего с этим нельзя было поделать. Да, он договорился с вышедшей на пенсию родственницей, что она будет помогать маме и, если потребуется, переедет к ней, оставил вперед деньги. Хорошо, хоть этим мог помогать. Отец, благодаря за очередные переводы, как-то сказал, что без его баксов лекарства такие не сумел бы покупать, и процитировал Оскара Уайльда, попросившего перед смертью шампанского со словами: «Я умираю не по средствам». С чувством юмора у отца до последних дней был порядок...

Павел мучительно ломал голову, как бы найти благовидный предлог и сбежать хоть на пару часов. Но мама затеяла долгий чай и разговоры о том, кто был и кого не было на похоронах.

— Жаль, что не нашли никого из соседей по коммуналке. Хотя я дружила только с теткой Сережки, с которым ты в детский сад ходил, пока мы не переехали, он еще зверей здорово рисовал, помнишь?

— Так, смутно.

— А однажды он упал со стула, все перепугались, что ноги-руки переломал: хотел поближе рассмотреть роспись на двери, а потом нарисовать. Ты хоть ее помнишь?

— Вроде птички?..

— Да, ласточки. Интересно, что ужасы той коммуналки — общая ванная, толкотня в кухне помнятся только как фон, а тогда были молоды, все кругом так жили, норма была. И детей нарожали кучу, чуть ли не за два года. Весь коридор оккупировали, носились, как безумные. Страшно было из кухни в комнату кастрюлю горячую нести — то один, то другой под ноги кидался. И коридор неширокий, он же был для прислуги, а для господ, как и полагается, — анфилада.

— Дом-то наш стоит, не добрались новые русские?

— Ой, я давно там не была. Сережа, между прочим, стал то ли художником, то ли искусствоведом. А тетю его я лет двадцать не видела, — вздохнула мама.

— Все-таки я не совсем понимаю: почему так уж важно прийти на похороны, если десятилетиями не общались?

— Да, конечно, предрассудок, но принято как-то — проводить в последний путь. Вообще провожать принято. Ты зря не разрешаешь, чтобы я с тобой поехала в аэропорт, оттуда, говорят, теперь прекрасные электрички прямо до метро ходят.

— Мама, долгие проводы — лишние слезы.

Они помолчали. Павел замер: сейчас начнется. Куда бы уйти?.. И тут его осенило:

— Ты знаешь, я не прав. Вот ты сказала про соседку, про мальчика Сережу, про дом, а мне вдруг ужасно захотелось прогуляться по тем переулочкам, зайти во двор…

Он было застыдился, но голос звучал так убедительно, что во всплеск ностальгии нельзя было не поверить.

— Иди, иди, погода чудная, вечера светлые. Папа всегда говорил, что переход на летнее время — единственное благое решение большевиков.

В передней, уже закрывая дверь, вдогонку, скороговоркой то важное, что мучило ее все эти дни:

— Теперь, когда папы нет, ты, может быть, с изумлением обнаружишь, что и со мной есть о чем поговорить, кроме лекарств и давления.

В другой момент его бы тронули, зацепили эти слова, но сейчас он, без малого шестидесятилетний профессор, с заметным животиком, презрев лифт, как школьник, летел вниз по ступенькам: «Свобода!!!»…

Утром, когда такси стояло у подъезда, мама спохватилась: «Ты не взял ничего папиного на память». Уже не очень соображая, Павел сделал самое нелепое, что только можно было вообразить: наклонился и достал из-под стола плетеную вьетнамскую корзину для бумаг. Опомнился он в аэропорту, когда выбившиеся соломинки прорвали схваченный впопыхах полиэтиленовый пакет, и Павел, поежившись, представил себе, что скажет жена. Дно корзины еле держалось и было приклеено несколькими слоями белого лейкопластыря старательной рукой отца, не умевшего ничего делать кое-как. Именно из-за пластыря, который накручивали оборот за оборотом ловкие отцовские пальцы, он, наверное, и взял эту waste-paper basket, по-русски — корзину для бумаг, мусорную корзину. Только какой же это мусор — черновики, где теснились, кренясь то вверх, то вниз ряды формул, внятные лишь посвященным знаки таинственного, невесть кому и зачем нужного знания.

Отец всегда писал только простым карандашом. Недавно Павел спросил его почему. Он ответил, что всегда возмущался эпитету «простой», и заговорил с неожиданным жаром: «Что за глупость — простой! Он самый загадочный: твердый, мягкий и самый мой любимый 2М. Им можно делать разный нажим, почти как забытыми под тотальным нашествием шариковых ручек настоящими, чернильными, с «открытым» и «закрытым» пером и, как вершина, — «золотым». И он самый совестливый: написал глупость — бесследно исчезает, тронутая ластиком… А еще раньше были «химические» карандаши, ты уже, поди, не помнишь, — канули в Лету. Бывало, послюнявишь, так что на языке долго остается след, и они пишут сине-фиолетовым несмываемым цветом, который у меня почему-то ассоциируется с посылками, которые получала твоя няня из деревни: в фанерном ящике переложенные местной районной газетой огромные краснобокие яблоки сорта «апорт», а на крышке — коряво написанный крестьянской рукой наш адрес. Кстати, яблоки эти няня Валя называла, как привыкла, «Опороть», ловчее выговаривалось.

В последние месяцы из любого пустяка отец вытягивал маленькие устные эссе, их разговоры были всегда *существенны*, даже если предмет вроде бы не стоил такого внимания. Так было у Павла только в юности, когда долгие беседы ни о чем самоценны, горит свеча, а скверное кислое вино кажется амброзией.

Павел не то чтобы боялся самолетов, но не любил, да и летать часто не было нужды. Сейчас под ним была бездна, впереди — бездна же времени. Пора потихоньку возвращаться в реальность. Павел так и думал: в самолете стряхну с себя московские переживания, настроюсь на обычную жизнь, прилечу уже в форме, в боевой готовности. Но получилось наоборот: пока что его все глубже затягивали воспоминания.

В его молодые годы еще свежа была мода на «физиков», а его, студента МИФИ,

тянуло к «лирикам». С одной стороны, он гордился своей «избранностью», но испытывал жгучее, безмерное любопытство к тем, для кого не конкретика, а размытые, «умные» разговоры — профессия. Он искренне не понимал, какие *специальные знания* могут дать *право судить* литературу, искусство. Поэтому так обрадовался, когда случай ввел его в компанию художников. Он был уже женат, и одно это препятствовало его полноправному членству в компании, да и Рита не вписалась бы в эту легкомысленную вольницу. Так что был он там всего несколько раз. От этих встреч и этих людей осталось лишь общее туманное впечатление. Но одного парня он хорошо запомнил. Они как-то разговорились про красоту иных физических терминов, как, например, истинное и ложное изображение в оптике или совсем загадочное — «солнечный ветер». Павел спросил его, правда ли, что труднее всего писать небо, воду, снег, то есть мнимо однородные поверхности? Тот согласился, но сказал, что еще очень сложно изображать «слишком красивое», например, морозные узоры на стекле — и показал, подойдя к замерзшему окну.

У них во Флориде снега не бывает. Но в прошлый раз он был в Москве зимой и, как в детстве, прижимая монетку к автобусному стеклу, пожалел, что тогда не сказал этому гуманитарию, что мы зря смеемся над понятием «прошлогодний снег». Ведь есть многолетний снег, частично слежавшийся, так называемый *фирн* — на севере и на высоте в горах. Он никогда не тает. Только сверху падает новый. Так и в жизни — нарастает слой за слоем, но ничего, ничего не исчезает.

Вот вчера сходил во двор своего детства. Оказавшись в родном переулке, с ужасом понял, что ничего не узнает, что попросту его не найдет, память не подсказывала ни одной приметы... Хотя вот же, прямо перед ним — тяжелая серая громада доходного дома с трехгранными эркерами и безвкусной лепниной! А его дом напротив. То есть не его, конечно. Тупой, усредненный, не для жизни — для работы, голая функциональность. Даже не подошел поближе прочитать надпись на блестящей табличке: что ему имя фирмы, выселившей его бывших соседей...

Но двор вылизали. Клумба, дорожки ровные. Все лавочки заняты. К женщинам садиться не хотелось, тем более что одна разговаривала по мобильнику, а другая курила, неловко выпуская горький серо-голубой дым. Мужчин двое: простоватый и, похоже, нетрезвый мужик — еще пристанет, а другой — элегантно одетый, сел ровно посередине, явно намекая, что не хотел бы, чтобы его privacy (в очередной раз он не мог найти нужного русского слова, а может, его и нет — неприкосновенность личности, что ли) была нарушена. Пришлось пристроиться с краю на скамейке, где сидела немолодая тетенька, опираясь на костыль, который резал глаз своим ярко-красным цветом, так нелепо не сочетавшимся с зеленым платьем.

Никакой ностальгии он не ощутил. Но сейчас, в самолете, ему пришла в голову странная мысль: ему будет теперь легче жить оттого, что нет еще одной точки, по которой можно было бы тосковать. Прав Вольтер: «Все к лучшему в этом лучшем из миров».

Наследница

И почему я вечно влипаю в истории! Вот вчера шла от метро, а раззява-лотошница уронила сосиску, которую пихала в булку, жирно поливала кетчупом и, назвав заграничным словом хот-дог, с успехом впаривала прохожим, даже небольшая очередь выстроилась. Заторопилась — и сосиска полетела на землю. А рядом бездомная собака крутилась, наверное, ей недоеденное иногда перепадало. Конечно, сосиску — хвать. А тетка ее давай лупить. Очередь заулюлюкала. Развлечение! Я сую тетке деньги за погибшую сосиску, покупаю еще и бегу за собакой, чтобы угостить, а та, пуганая, естественно — от меня. Очередь готова меня растерзать, мол, в Эфиопии дети голодают, а она тварь жалеет, которую отстрелить давно пора, такие в стаи сбиваются и кидаются на людей...

Завидую бомжам... Их грязные, тощие собаки всегда без всякого поводка трусят рядом, иногда забегая вперед, и невыразимо трогательно и преданно оборачиваются, заглядывая им в глаза.

А я тяну свою породистую, с родословной до пятого колена, откормленную дорогущим Royal Canin суку и боюсь спустить с привязи, зная, что она немедленно рванет к мусорным контейнерам наперерез машинам. Не пошла ей впрок собачья академия, курс УГС — управляемая городская собака, так и осталась она своевольной анархисткой. Потому для меня такая мука, когда у мужа дежурства по больнице и, соответственно, по собаке дежурю я. Как я люблю ее дома, под защитой прочных стен и замков, недоступную для зубов свирепых соседских псов и окриков злобных старушенций: «Развели кобелей, гадят вокруг!». Однажды я не выдержала и неожиданно для себя рявкнула в ответ: «А у меня не кобель, а сука, как ты». И на одну стало меньше — никогда теперь не возникает.

Добро бы какая-нибудь левретка или терьер йоркширский! А то угораздило мужа купить щенка ризеншнауцера. Она хорошая девочка, наша Лайма, только выступаем мы с ней в одной весовой категории, и если для собаки сорок пять кило прилично, то для хозяйки — чистая беда… Кто кого выгуливает на поводке — большой вопрос. Как только меня за жизнь не обзывали: и «метр с кепкой», и «дюймовочка», и «пигалица». А возлюбленный мой иногда дразнит меня Кнопочкой.

Но как-то на него нашло несвойственное его ироничной натуре пафосное настроение. И говорит: «Ты знаешь кто? Ты — моя Прекрасная Дама». Я так хохотала: «А ты, что ли, рыцарь?».

В юности беда была: из всей одежды годилась мне школьная форма для малышни да одежки из «Детского мира». Приходилось шить и переделывать. На уроках физкультуры привычно шла в конец строя. А попробуй туфли на высоком каблуке купить тридцать четвертого размера! Да не бывает таких в природе! Оно, конечно, нет проблем с фигурой, как у большинства подружек, к тому же верно говорят: «Маленькая собачка до старости щенок» — моих пенсионных лет никогда мне не дают.

Но беда в том, что и внутри у меня все детское. Вздыхала мама: «Как ты такая кроха рожать-то будешь», норовила подложить мне лишний кусок мяса — не помогло. И сейчас помню ледяной круг стетоскопа, прижатый к уже округлившемуся животу, а потом как докторша прижалась ухом, не поверив тому, что прошло сквозь резиновые трубки: «Не слышу сердцебиения!»…

И навсегда помню, как муж меня утешал, нежно, ласково, — а сам весь серый.

Я его тогда гнала — уйди, найдешь себе нормальную бабу, родит тебе сына. Но он слушать не хотел, даже кричал на меня: «Я тебя, тебя люблю!». А взять ребенка из детского дома духа не хватило, страшно стало — мало ли кто там родители, какая наследственность…

Так и прожили, страшно сказать, тридцать пять лет. Он любит своих больных, и ночные дежурства ему по сию пору не в тягость, я вечно зарываюсь в книжки и рукописи. По утрам у нас режим разный: он спешит в больницу, а я встаю, только когда он уходит, и неспешно пью кофе, слоняюсь по квартире, убираю раскиданные накануне вещи. Зато по выходным кофе вдвоем — ритуал. Готовить я терпеть не могу. Приходилось, конечно, когда не то что полуфабрикаты — курица синяя была дефицитом, а теперь давно уже у плиты не стою. Перезвонимся: кто чего-нибудь на ужин купит? — вот и все гурманство. Гости бывают редко, тогда уж приходится повозиться, но это совсем другое дело.

Муж — домосед, его вечером никуда не вытащишь, увлечений мужских у него нет: так, футбол-хоккей посмотреть, когда все об этом говорят. Но за всем следит, от Интернета не оттащишь, так что поговорить есть о чем. Отдыхать ездим каждый год, пол-Европы уже изучили. Вот что мы оба любим — экскурсии. Даже смешно. Все презирают «посмотрите налево, посмотрите направо», кругом-бегом, а нам нравится. И очень часто гиды попадаются — заслушаешься. Проблема только с собакой, так что на Надюшу молимся. Вот и когда я лежала с сотрясением мозга, а муж был в санатории, она с собакой гуляла и жаловалась только на плохую погоду, — никакие четвероногие и двуногие ее не волновали. Хорошо быть такой толстокожей!

А я со вздохом облегчения вхожу в подъезд. Половина дела сделана. Завтра утром выведу ее, а потом опять свободна на неделю… Впереди долгий вечер. Правда, насладиться тишиной не получится, — приплыла халтура. Время от времени перепадают толстые романы — хорошо еще, не все издательства отменили корректуру.

Я больше всего люблю исторические романы и мемуары, благо моя редакция как раз по преимуществу мемуарная. А вот для заработка иногда приходится читать такую галиматью! Я, увы, не умею следить только за знаками препинания — вникаю. Однажды в молодости видела символ кошмарной работы, — что там Сизиф… Еще в докомпьютерную, страшно сказать, эру повели нас в типографию на экскурсию. И там сидела среди прочих наборщица иероглифов (пояснила, что русско-японский словарь) — женщина средних лет, такая бесцветная, что волосы, губы, глаза сливались с лицом в одну белесую поверхность. Ее спросили, как она различает значки, трудно, наверное, набирать, не понимая смысла, и она таким же монотонным, лишенным интонации голосом односложно ответила: «Привыкла».

Много лет я об этом не вспоминала, а вчера вдруг всплыло в памяти и конечно же сразу откликнулось сном. Будто я сижу у огромного стола, он медленно движется, вроде как конвейер. А на нем статуэтки гипсовые ползут однообразной нескончаемой чередой — «Мыслители» роденовские, сантиметров по тридцать ростом. Передо мной раскрытая амбарная книга, и я должна взять каждую фигурку в руки, осмотреть и записать, чем она отличается от других.

Позвонила Наде — она, небось, весь рабочий день шарила по Интернету в поисках толкования, но не обнаружила ничего подходящего, а не то сто раз сообщила бы.

Как же я ненавижу зиму… Хорошо бы поселиться в теплых краях, где нет полугода снега и льда, и не в мегаполисе, где по вечерам страшно смотреть на галактики горящих окон, а в тихой провинции, в собственном доме с садом. Мамины родители жили под Москвой, в деревянном доме, куда мы в детстве ездили в гости. Я любила мост над железной дорогой, который назывался так красиво — виадук. Когда под нами проезжал поезд, мама приговаривала: «Тук-тук-виа-дук! Тук-тук-виа-дук!». Любила, пока однажды не испугалась. Мама наверху всегда останавливалась, чтобы отдышаться, а мне вдруг показалось, что сейчас мост рухнет на рельсы. Сказать было стыдно, но такие желанные раньше поездки стали мукой.

Возлюбленный мой рассказывал, как его побили деревенские мальчишки, когда он гостил у родственницы и к слову сказал им, что живет на девятом этаже. Телевизоров там еще не было, дальше двухэтажного райцентра никто не ездил, а потому москвичу досталось за вранье и бахвальство.

На каком же этаже я родилась? Все время забывала отца спросить, а теперь некого. Интересно, почему бабушка так уходила от разговоров о той квартире и под разными предлогами отказывалась ехать туда? Неужели не хотела расспросов, не то чтобы боялась, но так, подальше от греха, по привычке не болтать лишнего. Она сама только детство провела в анфиладе, а потом пошло-поехало: уплотнения, коммунальный быт…

А меня даже соседи по площадке раздражают. Да, хорошо бы жить в своем доме, распахивать дверь и выходить на свою землю, четыре ступеньки с крылечка вниз — не больше. Все-таки человек — не птица, он не должен парить в воздухе и вить гнезда на высоте, под крышей. Представила: даже нелюбимой зимой… Открыть дверь в заснеженный сад. Синеватые сумерки. От крыльца к калитке расчищена тропинка, а по обе стороны громоздятся сугробы… Правда, сразу посетила отрезвляющая мысль: а кто широкой лопатой сгребал снег и с размаху кидал на высокую белую гору?..

Я очнулась, глянула на часы — надо браться за работу. Мечты в сторону. Хотя кто снег убирает — ясно, таджики. Ходят толпами по всем подмосковным поселкам и предлагают: «Еврокопка канавы нужен?..». Но дедовский дом за виадуком отошел маминой сестре, с которой перезваниваемся только по праздникам, и никакой земли у нас нет.

Близок локоть, говорят, да не укусишь… Какая дача у возлюбленного моего — мечта! Три минуты ходьбы от станции, электрички, наверное, так уютно шумят, особенно в ночной тишине. Только один раз я там была, да и то не больше часа, но как сейчас вижу: сосны высоченные, посмотришь вверх — и голова закружится от устремленных в небо стволов и колючих шаров верхушек. Дом, конечно, запущен, но это ерунда, поправимо.

Только сам он этим заниматься не станет, а вместе нам никогда не быть…

Галина

Эка невидаль — прошлое, оно у всех есть. А вот у нее было еще и позапрошлое и позапозапрошлое, так она сама называла. И не в возрасте дело, подумаешь, пятьдесят восемь, а в том, как судьба сложилась. Из каких кубиков, с какими арочками-башенками. Были три марша Мендельсона и три марша Шопена, и она, трижды вдова, так и мерила жизнь отрезками: от очередного свадебного марша до похоронного. В «последний раз», как Галина говорила, придавая значение окончательности, она овдовела всего год назад, но погоревать толком не успела, заболела гриппом, вызвала врача, бюллетень, а там — пропала птичка, коготок увяз — всей пропасть, погнали по кругу: флюорография, гинеколог, маммолог… И в итоге — отхватили кусок груди, а потом месяц на облучение таскалась. В общем, считай, легко отделалась. Но голова кружилась. И зачем полезла окно мыть! Даже ногу она сломала как-то смешно, не по-людски — пятку. Подруга позвонила из аптеки:

— Галь, тут костыль под локоть, как тебе велели, представляешь, только красный, что делать?

Думала, наверное, что та погонит ее искать другой, но не учла Галиного характера:

— Здорово, я и не знала, что такие бывают.

Так и ездила на Каширку на красном костыле, а потом на работу вышла, надоело дома сидеть. Недалеко — всего три остановки на метро без пересадки. В час пик, конечно, пока к эскалатору дойдешь, вдоволь в пингвина наиграешься: плотная толпа переваливается, мелко переступая и чуть-чуть продвигаясь вперед с каждым шажочком, ну, точно стая пингвинья, только крыльев не хватает. Или у них ласты? А на работе что — бумажки: накладные да счета-фактуры, ноги ни к чему.

Повезло ей с работой. Квалификацию свою по специальности много лет назад потеряла, когда оборотистая подружка создала кооператив и стала откуда-то привозить коробки с диковинной техникой.

— Бросай свое бюро, быстренько, бухучет освоишь на ходу, ты мне нужна как воздух!

Галина растерялась:

— Какой из меня бухгалтер?

— Ты будешь не бухгалтер, а мой заместитель, но вообще-то должность у тебя самая дефицитная и ответственная — «честный сотрудник».

Галина сильно колебалась, странно ей было вдруг превратиться в «купи-продай», а квартиру сделать складом. Но она только что похоронила второго мужа, осталась с восьмилетним сыном, решила попробовать — деньги лишними не будут.

Но главное — надеялась отвлечься. Прийти в себя. Первый брак ее был так, по молодости-глупости, хотя пролети мимо та бетонная плита, худо-бедно скоротали бы век вместе. А вот Мишенька был ее единственной любовью. Прожили они в счастье почти десять лет. Настоящий «еврейский муж», жил при маме, женился поздно, заботливый, тихий, примерный отец, все в дом. И мама его, Ревекка Моисеевна, примирившись с тем, что сын «взял гойку», обожала внука, да и к Галине относилась хорошо. Научила ее вязать как следует, и та распустила, вздохнув, доморощенный свитер, связанный первому мужу еще в период жениховства. К ниткам добавила по блату купленную мохеровую шерсть, так что, как свекровь говорила, растягивая «а», получился мела-а-а-нж — слово это Галина впервые услышала. Такая вышла красота: английская резинка, реглан, воротник апаш — загляденье. И потом сколько всего навязала — себе шаль и кофточки ажурные, мужу еще два свитера — один, синий с вырезом уголком, он даже считал выходным. А уж когда сын родился, мастерили они ему наряды в четыре спицы и два крючка, в детском саду все от зависти лопались. И готовить свекровь ее научила: мама-то покойница только борщ варить была любительница, а так — сосиски, пельмени, макароны да бычки в томате с вареной картошкой. Надо же было Галине оказаться в еврейской семье: она с детства привыкла считать евреев странными людьми, живущими обособленно и таинственно, да и видела их только издалека. Новый снабженец, про которого шептались все в конторе,

не сразу стал оказывать ей знаки внимания. Сблизила их служебная неприятность, в которой оба, по существу, не были виноваты, но их сделали крайними, лишили квартальной премии и тем связали одной веревочкой. Свекрови понравилось, что не девчонка, не разведенка, вдова — почетное дело, муж на стройке погиб, несчастный случай, бывает, два года с лишним с тех пор прошло — прилично новую семью создавать. Своего покойного мужа, Мишиного отца, Ревекка Моисеевна вспоминала всегда с придыханием, почему-то возводя глаза к потолку, вероятно, обращаясь к небу, где он, по ее понятиям, теперь пребывал: «Он был на большой работе». Про артистов еврейского происхождения она со значением и одобрением говорила: «Он ex nostris». Наверняка она была бы поражена, узнав, что изъясняется по-латыни, у кого-то подхваченное выражение «из наших» она считала еврейским, на иврите там или идиш, разницы между которыми не понимала и искренне недоумевала, зачем ее соплеменникам два языка.

С самого начала ей нравилось, что невестка была со своей жилплощадью и не претендовала на прописку. В Галинину однушку после свадьбы стали пускать жильцов, а поселились молодые в их двухкомнатной, — Миша жизни отдельно от мамы не представлял. Галине было жаль, что в ее квартирке живут чужие люди, и она, приезжая на мамину могилу, всегда просила за это прощения. Чтобы вырваться из коммуналки, та горбатилась в стройуправлении, моталась по объектам и, сколько Галина помнила, дома носила толстые шерстяные носки — ныли подмороженные в ледяной грязи стройплощадок ноги. Квартиру, в конце концов, дали. Мама пыталась хлопотать о двухкомнатной, пусть бы смежной, да куда там… До конца жизни мама не могла успокоиться: «Видишь ли, однополые мы. А я говорю: не успеешь оглянуться, дочь невеста будет, так нам, что же, кавалеров сменами, по графику водить?!». Про коммуналку своего детства Галина помнила, что было многолюдно, весело, часто угощали конфетами. Мама же ее ненавидела и говорила, что хорошего там было только картинка старинная на двери ванной — птички какие-то.

Когда сыну пора было в школу, решили съехаться, получили трехкомнатную, чтобы мальчик готовил уроки в отдельной комнате.

А потом один за другим ушли из жизни свекровь и муж. Два гроба за год…

Недавно наволочку выбросила — вся истлела, даже на тряпки не годна, а метка для прачечной держится на клочке железно, намертво пришита. Как Ревекка Моисеевна учила, так Галина всегда и делала: никаких времянок. И клецки кидала в бурно кипящую воду, прямо туда, где бурунчики, и посуду рыбную мыла сначала холодной водой, и обувь зимнюю убирала в ящики, набив газетами и густо смазав гуталином. А главное — сына Толика подняла, дала высшее образование.

Самым радостным был восьмидесятый, год Олимпиады. Чистая, полупустая летняя Москва, откуда, говорили, в массовом порядке вывезли всех подозрительных лиц. Непохожие на своих, как инопланетяне, приветливые иностранцы, нарезанная колбаса в невиданной вакуумной упаковке, порционные сливки для кофе, крошечные, словно игрушечные…

К торжественному открытию самолетами разогнали тучи. Они поехали в центр, гуляли по Тверскому бульвару, молодые, нарядные, двухлетний Толик в майке с ушастым мишкой посередине, мороженое ели. И Галина напевала новую песню Пахмутовой и Добронравова, которую чуть ли не каждый день крутили по радио:

Сколько в звездном небе серебра,
Завтра будет лучше, чем вчера.
Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья завтрашнего дня.

Не выбрала…

Вчера пришла на работу, а девочки ей говорят:

— Галя, посмотри, у тебя блузка не на ту пуговицу застегнута.

Она ахнула, оглянувшись на дверь, быстро привела кофту в порядок и весь день ходила сама не своя от неотвязного открытия: «А ведь это подкрадывается старость».

В третий раз она вышла замуж из жалости, ну и от одиночества, конечно. К тому времени Толик уехал с повышением в филиал своей фирмы в Воронеж, там женился, дом с тестем на пару строил, а она в который раз решила строить новую жизнь, но теперь уже, так сказать, одноместную.

И как первый шаг — отпраздновать день рождения, а по-честному юбилей — полтинник. Наготовила всякого-разного. Понятное дело, компания в основном подобралась женская. Типа «восемь девок один я» — муж подружки. Хорошо посидели. Особенно ей один тост в душу запал:

— Тебе, Галя, все Бог дал: ум, красоту, здоровье, доброту, но главное — характер золотой. Всем возле тебя тепло. Много у тебя было горя, но ты молодец — веселая вдова. Так держать!

Вот так она и будет строить жизнь — веселая вдова! Бассейны всякие, нет, это не для нее. А вот попариться разок в неделю — надо компанию сколотить. И на курсы записаться — или комнатного цветоводства, или бисероплетения. Каждый месяц в парикмахерскую, это железно. И в театр. Она смолоду театр любила, хотя по пальцам пересчитать, сколько раз там и была. Надо только девчонок расшевелить, а то расселись по своим клеткам перед телевизором. Была у нее на работе когда-то тетка, культорг. Зазывала-зазывала, билетики распространяла на выходные, всем неохота, дома стирка-готовка, устали за неделю. Но если кто соглашался — рассказов потом на месяц было. Вот она станет заводилой, и всем будет хорошо.

Человек, как известно, предполагает, а располагает-то Господь Бог... Планы хороши, а долгие одинокие вечера, бесконечные выходные, никчемушные отпуска... И появился на ее горизонте Вадик. Потом всегда так и говорила — «такой душевный, такой душевный». Подруга, хоть и горевала о «честном сотруднике», когда Галина из мелкого бизнеса сбежала, но с ней не поссорилась. И тут как-то подруга эта в гости к ней напросилась вместе с Вадимом: «Ты же его помнишь, правда? Надо поддержать мужика, на него наехали серьезно, он все уже продал, как бы не пришлось с квартирой расстаться».

Пришлось. И поселился Вадим у Галины, и сыграли они скромную свадьбу. Третий ее марш Мендельсона. Зажили душа в душу. И все ее планы начали осуществляться, только с поправкой, что в компании не с подружками, а с законным мужем. Но она-то знала, что такое любовь, ее не проведешь. И когда девочки говорили про Вадика «твой», она неизменно поправляла:

— Он не мой, мой в могиле.

Хотя свитера Мишенькины распустила и Вадиму навязала жилеток да пуловеров.

Да не успел он их сносить... Упал прямо на кухне. Тромб.

А она теперь уже не веселая вдова, а инвалид второй группы. Но жить-то хочется! Вчера в метро вдруг подошла к киоску и купила билет в театр. Один. Нет настроения кого-нибудь агитировать. И на комедию попросила — трагедий в жизни хватает.

Погода — красота. Тепло, светло, вышла в нарядной толпе из Театра Сатиры, домой не хотелось. Здесь были места ее детства, школа, Дом пионеров, куда в танцевальный кружок ходила. Галина хмыкнула, покосившись на свой костыль. Теперь тут все не так, домов понастроили модных, обязательно с башенками. А их, с коммуналками, снесли, наверное. Пойти глянуть, что ли? Куда спешить...

Наследница

Над диваном в нашей большой комнате висел портрет деда, папиного отца — присяжного поверенного, в тяжелой деревянной раме, увитой резными виноградными гроздьями. Собственно фотография была небольшая, тонувшая в широком паспарту. Сколько раз, в детстве, стоя на диване и покачиваясь на мягких пружинах, я прикладывала к этой раме репродукции из «Огонька», жалея, что мне не позволят заменить ими тусклую фотографию. Но лучше всего в ней смотрелся плакат, который я выпросила у подружки в обмен на мягчайший, не оставлявший противных катышков ластик. На ярко-розовом фоне девочка в блестящем шелковом костюмчике с тугими

шариками черных волос, закрученных над ушами, кормила птичек. В нижнем углу был столбик загадочных значков. Я тогда уже знала, что это китайские буквы — иероглифы. Однажды я так удачно запихнула плакат в щель под край рамы, что не успела вынуть, услышав мамины шаги. Она стала вытаскивать его, бумага с треском порвалась, дивная картинка была безнадежно испорчена, и мама разорвала ее на мелкие кусочки, приговаривая «ничего святого, ну ничего!». *Присяжный поверенный* — слова с детства знакомые, родители всегда гостям рассказывали, кто изображен на портрете, произнося их со значением, а те почтительно кивали, возможно, не всегда понимая смысл. Для меня эти слова были хоть и привычными, но какими-то чужими. Впрочем, произносить их было приятно, и я щеголяла перед гостями, как, видимо, и родители, не без удовольствия. Собственно присяжным поверенным дед побыть не успел: получил это звание перед самой февральской революцией, а там пошло-поехало... Юристы были не нужны новой власти, — правосудие вершилось иными способами. Незадолго до смерти отец показал мне бумажку, на которой дедовским почерком было написано нечто в высшей степени странное: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает».

— Это что такое? — спросила я в недоумении.

— Цитатка, — ответил отец, — смотри, ссылка есть, с томом и страницей. Ленин Владимир Ильич, а может, еще Ульянов. Нашел в ящике письменного стола. Забавно, что Ильич сам был помощником присяжного поверенного, пока в политику не ушел. Деду всю жизнь поломали, с его-то блестящим юридическим образованием посадили в нотариальную контору бумажки заверять. Да и мне отчасти.

— А тебе-то каким боком?

— Ну, здрасьте... Отец толкал меня в медицинский, куда я сам не очень-то стремился, повторяя без конца, что врачи нужны будут при любой власти. Я особо не вникал, учился хорошо, он настаивал — пожалуйста. А потом война, и так я нагляделся на фронте крови и трупов, что плюнул на сданную анатомию и двинул в Бауманский. Отцу не до того было — счастье, что я живой вернулся.

— А цитату зачем хранил?

— Не знаю. Как нашел — не представляю, зачем хранил — тем более. Семья наша была законопослушная, тихая — дворянство свое никогда не поминала, советские обыватели, одним словом.

Не только дедушка с бабушкой, но и мои родители умерли до всяких новых времен, и, когда наступила эра всеобщей политизации, я страшно удивлялась сама себе: как могло случиться, что никаких разговоров дома, кроме обычного интеллигентского брюзжания, я не слышала. А всякие «вражеские голоса» и рукописи на одну ночь почитать пришли ко мне уже в замужестве.

Рядом с дедом в овальной раме, простой, без резьбы и завитушек, но явно благородного дерева — портрет папиной бабушки, умершей родами. Почему из всех родных так выделены были папины отец и бабушка — не знаю, думаю, случайно, без особого умысла, — просто красивые старинные фотографии сохранились. Мамины предки были то ли неинтересны, то ли неизвестны, во всяком случае, я о них мало что знала. Приехали они откуда-то из среднерусской провинции, поселились в Подмосковье, бабушка работала на канцелярской работе в скучных учреждениях, дедушка техником в местной электросети, а глубже я никогда не заглядывала. Зато по папиной линии все заслуживало рассказа и много чего уцелело. Например, альбом в синем бархатном переплете с ажурной металлической застежкой, в который вклеены были пожелтевшие поздравительные телеграммы с крестиками «ятей» по случаю свадьбы моих прадеда и прабабушки. Это было аж в 1886 году. Тогда-то и куплена была квартира, где много лет спустя я появилась на свет. То есть, конечно, меня привезли туда из роддома, — традиция рожать на собственной кровати в советское время пресеклась. А вот прабабушка, та, с красивой фотографии, спустя два года разрешилась от бремени именно там и, не успев поцеловать первенца — моего дедушку, покинула этот мир.

Кроме альбома дожила до сего дня кое-какая мебель: непонятного назначения тумбочка, маленькие столики и книжный шкаф орехового дерева с резным орнамен-

том удивительно *теплого* цвета. В нашей пятиэтажке, про какие едко шутили, что Хрущев, слава богу, не успел совместить там пол с потолком, шкаф главенствовал в большой комнате и почти упирался в этот самый «два с полтиной» потолок. Но тумбочка и столики смотрелись вполне органично и определяли интерьер. Наверное, именно эта мебель навела через знакомых знакомых ассистента режиссера с «Мосфильма» на нашу квартиру. Им надо было снять эпизод в профессорской квартире: «Ищем давно не ремонтировавшуюся, запущенную квартиру в типовом советском доме, где старинная мебель соседствует с современной и много книг, — так она привычной скороговоркой протараторила, — съемки завершим за вечер и ночь, все потом приведем в порядок, соседей не побеспокоим, платим за это сто долларов».

На дворе были ранние девяностые, открылись границы, мечта об отдыхе в Турции, а то и в Греции будоражила ум, и сто долларов были большими деньгами. «Плата за ночь! Как валютной проститутке! — я робко пыталась сопротивляться, — а сколько уборки...». Но разум взял верх.

С ужасом мы смотрели, как из большого автобуса вываливается толпа людей, как тянут к нам через форточку какой-то кабель, несут ящики с аппаратурой. Через полчаса в кухне вовсю орудовали гримерши, а мы, прижавшись к стеночке, слушали распоряжения режиссера. Иногда к нам обращались для порядка с вопросом «Можно?..», но начинали действовать, не дожидаясь ответа.

В «дедушкину» раму вставили военного в форме и при царских орденах, а с «прабабушкиной» вышел конфуз. Приезжавшая на разведку ассистентка упустила из виду, что рама овальная, и приготовленный женский портрет не влезал. «А можно снимать с вашим, это же дореволюционный, правда, он по времени подходит?» — спросил режиссер и тут же отошел в другой угол, не дав нам времени на семейный совет. Ошарашенно мы смотрели на распоряжавшихся в доме чужих людей, как будто при нас, живых, вслух обсуждали, какие наши органы сохранить для возможной пересадки, а какие пустить в переработку на мыло.

Знала бы — сама заплатила б сто долларов, чтобы этого не видеть... Да еще любопытные соседи сбежались.

Несколько дней потом приводила в порядок дом. С тех пор я знаю, что грязь делится на «свою» и «чужую». К первой привыкаешь, не замечаешь, и «запущенная», как выражалась бойкая ассистентка, квартира кажется вполне приличной, зато после топтания двух десятков посторонних отскребаешь в углах вековую копоть и думаешь: «Вот измерзавили дом».

Убираться я не люблю. Нет, у меня ничего не валяется на столах, не громоздится на стульях мятая одежда, никогда не остается в раковине грязная посуда. Я четко разделяю «порядок» и «чистоту». Порядок у меня не только с виду, но в шкафах и ящиках, я с удовольствием складываю все аккуратными стопочками и знаю, где место каждой вещи. А вот пылесосить, мыть полы, чистить ванну — всегда через силу.

Но настает момент, когда откладывать дальше невозможно. Либо гости ожидаются — «санитары дома», как муж говорит, либо самой противно становится. А сегодня никаких отговорок нет: третий день сижу на бюллетене, к врачу только вечером. Да и повод — глупее не придумаешь! Позавчера брызнула дезодорант в глаза, прямо направив на себя едкую струю. Как это случилось, ума не приложу. Никогда ничем лицо не брызгала, так что нельзя сказать, что перепутала. Неприятно. Теперь поверю преступнику, твердящему, что сам не понимает, почему и как действовал. Мужу неловко было звонить в свою больницу дежурному окулисту, но не ехать же в «Скорую»... У меня было ощущение, что глаза, особенно правый, покрылись коркой, хотелось ее соскрести чем-нибудь острым. Муж помчался в аптеку, ловко, профессионально сделал все, как велели. Тут пришла Надюшка и запричитала, что аэрозолей во всем мире советуют избегать, что от них одни озоновые дыры, а мне пора в отпуск — такие штуки происходят неспроста. И вообще: то сосулька, то теперь новая напасть...

Она как всегда права — я устала. Не от работы, конечно, от жизни своей уродской.

Выдраила квартиру — честно говоря, приятно. И с чистой совестью (ха-ха!) помчалась пообедать с возлюбленным моим. Увидев меня в темных очках, сострил:

«У нас уже и друг от друга конспирация?». Я буркнула: «Не смешно». На редкость вкусно нас накормили в кафе с дурацким названием «Грабли». А его потянуло к темам, на которые вообще-то у нас наложено табу: «Знаешь, я недавно понял, что главное в моей жизни — еда, потому что с тобой мы вместе чаще всего именно едим, да и то в казенных домах. А как бы хотелось на тесной кухоньке, даже готов посуду помыть, а потом заснуть, проснуться, позавтракать...». Осекся, понял, что брякнул лишнего. Мне стало его жалко, и я свела все к шутке: «Недавно попалась цитата, что-то вроде того, что, мол, безутешного горя не бывает, поел — вот и первое утешение. Это, представь себе, Тургенев сказал. Так что утешайся эклером».

А у самой все рвалось внутри: знал бы он, возлюбленный мой, как мне больно, что нам не проснуться рядом никогда...

Марина

Во рту перекатывается галька, а может быть, зеленое стеклышко от бутылки выпитого когда-то пива или газировки «Дюшес» — жалкого предшественника «Фанты». Она обкатана соленой водой до такой гладкости и неузнаваемости, что изначальная сущность стерлась и утратила всякое значение. Вкус глянцевой поверхности так и остался на языке, никуда не ушло это ни на что не похожее — *море.*

Как все-таки странно: пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать — три раза на Черном море, два на Средиземном... Муж не любил жару и пляж, зато жить не мог без грибов и рыбалки, поэтому отпуска проводили обычно в Подмосковье. По молодости Марине еще удавалось его уговорить, а в последние годы в Турцию она ездила с подружкой: «Валяйте, девушки, развлекитесь», — говорил он и великодушно подбрасывал денежек.

Да, странно, что она так любила море, хотя именно там ее впервые настиг толчок смерти. Было ей десять лет, шторм в Ялте разыгрался нешуточный, но, несмотря на мамино: «Ты себе хозяин, а ребенка не пущу!», отец взял ее с собой. Было весело и жутко, крепко держась за руки, встречать удар волны, падать, подчиняясь потоку, сползать в море, а потом опять выкатываться на песок. И вдруг огромный вал, втрое выше прежних, свалил ее с ног, а главное — разорвал сцепленные руки, и она, лишенная отцовской силы, стала беспомощным комочком, невесомым мячиком, которым забавлялись, перебрасываясь, волны. Стоило воде отхлынуть, Марина пыталась встать на ноги, но тут же падала под новым натиском. Ее уже не раз протащило по камням: такие ласковые в штиль, они теперь вздыбились и обдирали до крови бока... И тут она вдруг поняла, что этому не будет конца, что ей не выбраться на берег. Отца она не видела и не знала, в каком отчаянии он пытался прийти ей на помощь. Но его относило дальше и дальше. Вытащили ее двое незнакомых мужчин, а потом подбежал отец и они втроем, держа за ноги, перевернули ее вниз головой, чтобы вылилась вода. Марина навсегда запомнила, как неестественно громко стучали ее зубы — не от холода, от страха.

Похожий страх она испытала десять лет спустя, когда ей давали наркоз, чтобы вскрыть огромный фурункул. На лицо положили пахучую маску, она начала задыхаться и в ужасе, понимая, что умирает, сквозь забытье слышала: медсестры обсуждали, как ловчее поднимать спущенные петли на чулках.

Теперь она неотступно думала: «Неужели Руфина живет с таким страхом, держит его в себе не один месяц?». Хотя, навидавшись разного, она понимала, что человек устроен хитро: боится всякой ерунды, а перед лицом смертельной болезни отталкивает страшную реальность от себя, делая вид, что все нормально. Врачи, слава богу, еще не махнули на нее рукой, пытались подступиться к болезни так и сяк, назначили курс облучения. Руфина бледной тенью спускалась из палаты и повторяла, что уж лучше бы они ездили каждый день через всю Москву, чем круглые сутки слушать нытье соседок по палате.

Марина уже познакомилась с теми, кто приезжал «из города». У нее была своего рода игра: угадывать, кто больной, а кто сопровождающий. Очень часто она ошибалась: более изможденными выглядели родные. Но иногда был верный признак. На-

пример, если женщина была не в меру пышно причесана: почему-то, потеряв волосы от химиотерапии, они выбирали неестественно вычурные парики.

Очередь к «пушке» ничем не отличалась от всех других, и так же легко завязывались разговоры. Строгая, похожая на старорежимную учительницу дама, привозившая тихого, интеллигентного мужа, вежливо поддерживавшего светские беседы, пожаловалась, когда он дождался своей очереди и пошел получать порцию убийственно-живительных лучей: «Он ведь дома все время молчит, в крайнем случае, отвечает односложно. Только тут, среди "своих", и оживляется».

А еще Марина как-то разговорилась с простоватой женщиной, которая приезжала одна. Сразу объяснила: «Мне-то повезло, я в рубашке родилась, подумаешь, отщипнули кусочек груди, не жалко, она у меня и так четвертого размера, — и засмеялась. Приходила, опираясь на ярко-красный костыль, но не теряла чувства юмора: — Даже если разрешат, подпорку не брошу, — место в метро уступают. А что цветной, веселее». Но жаловалась, что после сеанса кружится голова, боится на обратном пути упасть. Марина осторожно спросила, не может ли кто ее провожать. Та ответила: «Сын далеко, да и что сын... Муж настоящий в могиле. Сестру мама мне не родила». — «А подруги?». — «Подруг не бывает, настоящие, близкие — только по крови родные. Вот как вы. Хорошо вместе расти, погодки, наверное?».

Бедная Руфина! Счастье, что она не слышала этих слов... Потому что была ровно на десять лет ее моложе. Поздний ребенок — радость созревших родителей. Крепенькая, здоровая, хорошенькая — просто куколка. В отличие от болезненной, внешне неяркой старшей сестры, с которой к тому времени накопилось немало уже подростковых проблем, — подарок. Да и условия уже были другие: не огромная коммуналка, а своя, отдельная квартирка. Марина не считала, что в детстве была обделена любовью, но после рождения Руфины ей редко перепадало настоящее внимание и ласка. Сама она младшей особенно не замечала: не капризная, не вредина — вот и хорошо. Выросли, по очереди вышли замуж, Руфина родила, потом развелась, встречались в родительском доме по праздникам, спустя годы по очереди похоронили отца, а вскоре и маму, не изведав тягот ухода за стариками.

Правда, мама в последние годы, уйдя на пенсию, томилась одиночеством и бездельем и поочередно мучила дочерей звонками, требуя детальных отчетов: «Ты уже на работе?.. А что ты сегодня надела?.. А, знаю, зелененькое. А серьги к нему какие?». — «Ты уже пришла с работы?.. А что у тебя сегодня на ужин?.. А, курица, понятно, а на гарнир что?». Или вдруг в самый неподходящий момент: «Слушай, а ты когда-нибудь думала, в чем смысл жизни?»... Но хоть никогда не корила Марину, что бездетна, а Руфину — что дочь Ира выросла разгильдяйкой.

После смерти мамы в жизни сестер образовалась странная брешь: ее назойливое внимание ничем не восполнялось, вместо освобождения возникло чувство, что их жизнь никому не интересна, что они никому, в сущности, не нужны. И как-то само собой получилось, что они стали созваниваться каждый день, посмеиваясь иногда: «Ну, ты прямо как мама». Скоро они стали интересоваться не только семейными и служебными делами друг друга, но и делами друзей, которых никогда в глаза не видели. Одним словом, когда выяснилось, что Иринка беременна Бог весть от кого, а у Руфины запущенный рак, — а случилось это с интервалом в три дня, — Марина поняла, что жизнь ее круто переломилась.

Каждое утро, просыпаясь, она видела сначала контур золоченой рамы, а потом и саму картину: на фоне бордового, красиво задрапированного шелка старинный медный кувшин с изысканно изогнутым носиком, ваза с фруктами, откуда небрежно свисает гроздь лакированного винограда. Муж не одобрил этого приобретения, да еще Марина сдуру честно призналась, сколько заплатила художнику.

— Способностей на копейку, а хапать хотят как великие! Да любой первокурсник Суриковского намалюет тебе таких шедевров сколько хочешь, хоть все стены увешай!

Но Марине было все равно. Уют в доме был ей необходим как воздух. Она терпеть не могла хаоса и времянок. Даже в купе поезда, где предстояло провести ночь, она умудрялась создать ощущение жилья, а уж в доме отдыха немедленно переставляла мебель, подхватывала пояском от халата занавеску, раскладывала

салфеточки, ставила цветы в привезенные с собой вазочки, обязательно вешала что-то красивое над кроватью. А такую картину она не один год хотела, прямо видела натюрморт в стиле старых мастеров в этом простенке. Как бывает: при ее любви к интерьерам так и не складывалось поработать в чьем-нибудь доме-музее, а теперь и вовсе — панорама «Бородинская битва». Хотя надо радоваться — не по возрасту ей трястись в экскурсионных автобусах или драть горло на морозе. Работу она любит, не понимает, как это Руфина всю жизнь с чертежами в своем НИИ... Они совсем разные: Марина ради картины тряпки лишней не купит, а той достаточно календаря настенного с приторными фотографиями. Она даже иногда годы помнила по календарям:

— Это было, когда в кухне висели «Замки Луары». Или же «Лучшие озера мира».

А картина... Муж только для виду сердится, на самом деле гордится тем, что их стандартная квартира Мариниными стараниями смотрится как произведение искусства, и любит приглашать гостей «на рюмку чая», упиваясь их восхищенными аханьями. Привыкли они друг к другу и, если бранились, так, по пустякам. И то она больше распалялась. Вот вчера не сдержалась, сорвалась на крик, потому что тысячу раз просила не оставлять смеситель в ванной переключенным на душ, а опять, как открыла кран, ее обдало водой.

Убираясь в кухне, Марина чувствовала, что в затылке то и дело включался моторчик: «з-з-з-з-тр-тр...з-з-з-з-тр-тр...», но не как бормашина или дрель, а ударами, накатами. Ритм тяжелого рока сотрясал потолок, — сын верхних соседей отдыхал. Включил деликатно, а лучше бы громко, противней всего вот так — фоном. Неотступных мыслей не заглушает, но на голову давит, давит... Вчера пошла делать маникюр, а там какая-то незнакомая девочка — хорошенькая. Марина расстроилась сначала, но она оказалась ловкая, аккуратная. И очень разговорчивая. Сказала, что собирается замуж, что молодой человек за ней уже три года ухаживает, но семья у них «почти пуританская» и воспитали ее в строгих правилах, — конечно же «никаких отношений до свадьбы». И жених это ценит, «хотя сам он падший». Она вздохнула: «Но для меня это, наверное, даже лучше».

Странный разговор, уж очень несовременный. Девочка примерно Иришкиных лет, а какая пропасть... Звезд с неба не хватает, без образования, но с хорошей специальностью и твердыми понятиями. А Ирка так и осталась без профессии, два института по очереди бросила и теперь развозит бумажки по всей Москве, хоть и говорит, что не просто курьер, а как все они теперь, менеджер. То какие-то музыкантишки вокруг нее вертелись, то фотограф, весь аппаратурой обвешанный. Руфина предполагает, что от него-то Иришка и беременна, хотя та скрывает: «Ребенок *мой* будет, остальное неважно».

Дорога от «Бибирево» до «Каширской» — через всю Москву. А в стороне Руфинин «Сокол». Смешно: жили бы как когда-то в коммуналке, пусть бы себе Руфина полеживала, а с ребенком она бы возилась, обедали бы вместе... Прямо идиллия! Но Марина еще помнила, как пускала мыльные пузыри в ванной, а соседка барабанила в дверь, украшенную росписью с ласточками: «Ты там не уснула, деточка?». Обо всем можно успеть подумать в дороге. Может, пусть родит, а я племяшку воспитаю как дочь, раз своих Бог не дал? А может, как сына.

Тут она вспомнила, что, между прочим, есть еще муж, которого в хлопотах о сестре она совсем забросила. Он покорно ел пельмени и не роптал, жалел ее. От стоячей работы и качания в метро вены у Марины вылезли синими реками, пришлось носить компрессионные колготки. А натягивать их надо по утрам, не вставая с постели. Так он вчера удачно сострил:

— В сериалах они просыпаются, как из салона красоты, а ты круче — уже в колготах.

На пересадке толпа вывалилась из вагона. В поезд вошла пара. В их лицах было что-то неуловимо странное, отделяющее от остальных пассажиров. И сели они не рядом, а напротив. Марина дернулась от догадки. И тут же увидела, что не ошиблась. Почему она так боялась глухонемых?! Одно время ездила на работу с пересадкой на «Площади Революции», а они там кучковались. Мистический ужас вызывали их жесты, как движения в ритуальном танце, когда смысл скрыт от непосвященных, а

потому несет тайну, а может быть, и угрозу. И поскольку в голове было только одно, Марину вдруг стукнуло: а что если родится глухонемой ребенок?

Бананы, конфеты «Ласточка», ананасовый сок, бахилы — можно ехать. В больнице так всегда ждут посетителей. Руфина плакала, потому что Ирка, гадина, обещала и не приехала навестить:

— Я понимаю, что сама виновата, но так страшно и так стыдно, когда твой ребенок, которого ты воспитала, плюет на тебя... Когда я еще была здорова, могла по три дня не объявляться: «Что мне звонить, у меня никаких новостей нет». И так хотелось ей сказать: «Дорогая моя, а может быть, у меня есть новости, это тебе не приходит в голову?». А сейчас что делать? Я же не могу ей сказать ни слова, потому что инвалид теперь, а не бабушка, обуза, а не помощь. Хотя маленького так хочется.

И осеклась. Всю жизнь она боялась задеть бездетную Марину.

— Руфишка, не психуй, ей сейчас несладко. Помогу, вырастим. — И ляпнула лишнего, потом себя корила: — Дай бог, не будет на маму похож.

На обратном пути, невесть почему, Марина вышла на «Маяковской». Ей захотелось нырнуть в нарядный поток на Тверской, поглазеть на красивые витрины, зайти в какой-нибудь магазин, съесть мороженое у фонтана за спиной Пушкина, одним словом, почувствовать дыхание жизни, встряхнуться. Люди вокруг казались оживленными, беззаботными, с наслаждением скинув тяжелые одежды после нудной зимы, двигались легко и пластично, и Марина, забыв про тянущие вены, плыла в веселом потоке, чувствуя себя здоровой и молодой. Такой чудный светлый вечер, начало лета, жары еще не было, поэтому зелень не пропылилась. Она прекрасно понимала, что это иллюзия, что у каждого на этой широкой улице свои непростые обстоятельства, но безвыходных ситуаций не бывает. Сколько лет она сердилась на мужа за вечную присказку «как-нибудь да будет. Еще никогда не было, чтобы никак не было», но сейчас поддалась этой спасительной мудрости. Лишь бы Руфина себя чувствовала хорошо. А ребенок, может быть, подарок судьбы. Ей вдруг пришло в голову, что муж, вполне вероятно, только обрадовался бы заботам о малыше. Марина потянулась к мобильнику, но передумала — не хотелось разрушать прозрачного зыбкого состояния. Мама рассказывала, что, когда она родилась, в их коммуналке случился настоящий беби-бум. Конечно, слов таких тогда никто не знал, но за два года появилось на свет шестеро малышей, как по заказу — три девочки и три мальчика! Где они теперь? И что с домом? Все равно — гулять, и Марина свернула в паутину переулков.

Тихо здесь. Дворик совершенно преобразился. Убийственный стандарт, офисная стерильность. На соседней скамейке сидел папа с девочкой лет пяти на коленях. Он неумело, но старательно заплетал ей косичку, и видно было, как ему трудно. А дочка смотрела в пространство, болтала ножкой в белом носочке и чего-то напевала.

Марина вынула сигареты.

И тут зазвонил мобильник. Ирка. Только Марина раскрыла рот, чтобы, наконец, сказать ей, что они на самом деле рады и помогут всем колхозом, только собралась выдать эту заготовленную бодрую фразу, как услышала:

— Тетя Марина, вы маму успокойте, что завтра опять не приду. Полежать надо. Я аборт сделала...

Папа с девочкой удалялись, размахивая сцепленными руками в такт песенке...

Наследница

Как-то встретилось в рукописи. Ученики хохочут над задачей: «Баба копра массой m1=830 кг падает на сваи массой...». А училка ярится: «Что смешного? Вот копер, а у него есть баба». Я конечно же слышала и даже видела этот механизм, но стало интересно, что за дурацкое название. Под рукой был словарь Даля: «*Копер — м. козлы для бойки свай: чугунная баба подымается через каток, калитку, вручную или воротом, и падает на сваю; в первом случае канат (лопарь) кончается кошками, пуком веревок; второй вид зовут копер с полундрой».* Действительно обхохочешься: баба, козлы, кошки, лопари, полундра...

Но совсем не смешно было, когда мы переехали в новый дом, а старую нашу

«хрущобу», видную из окна, стали рушить этой самой бабой копра. С ужасом мы смотрели на кафельные срезы ванных, обнажившиеся куски стен с розовыми в цветочек обоями, силясь не считать этажи, чтобы не угадать свое погибающее жилье.

Накануне переезда, в последнюю ночь, в разгромленной квартире, набитой ящиками и тюками, мне приснился сон. Как будто ко мне ночью влезли грабители, а я даже не могу встать и спугнуть их, потому что лежу под одеялом абсолютно голая (что, кстати, было правдой — сплю всегда голая, терпеть не могу всяких ночных рубашек, а тем более пижам).

Но тогда даже Наде не рассказала, — обеим не до того было, она назавтра переселялась, в наш же подъезд, этажом выше.

Для меня это был первый в жизни переезд: как сюда перебирались из коммуналки, по малолетству я не запомнила. Когда узнала, что прадед был хозяином той огромной квартиры, самого дома уже не было. То есть он стоял в тех же границах, может быть, на том же крепком старинном фундаменте, закованный в панцирь из бетона и серо-свинцового стекла, ощетинившись коваными козырьками дверей и отгородившись от мира металлическими жалюзи подземной автостоянки. Я — горе-наследница, правнучка, не помнящая родства, мало интересующаяся корнями. Не испытываю никакого возмущения и горечи по поводу утраченной недвижимости и прочих богатств, не проклинаю большевиков, не жажду мести.

Упаковывала книги и наткнулась на полузабытое. У нас дома невесть откуда была маленькая книжечка без обложки, но профессиональной рукой переплетенная в веселенький цветастый ситчик. Владислав Ходасевич «Путем зерна». Раритет — тираж 800 экземпляров. Издана в Петрограде, а вот в каком году, узнать было долго мне не по зубам: длинный ряд прописных латинских букв заслонял значение. По-старомодному: MDCCCCXXI, что на привычном языке означало 1921. И я, как гимназистка, в альбом или, как мои сверстницы, в украшенные бантиками и принцессами в кринолинах тетрадки каллиграфическим почерком с легким наклоном вправо слащавые вирши Эдуарда Асадова или в лучшем случае Есенина переписывала в блокнот:

В заботах каждого дня
Живу, — а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня...

И то, что под стихами стояла дата «1917», особенно волновало меня: вокруг революция, а человек пишет такое...

Стала листать книжечку, сдувая пыль с хрупких пергаментно-желтых страниц. Наугад открыла, нет, — так не бывает!

Здесь домик был. Недавно разобрали
Верх на дрова. Лишь каменного низа
Остался грубый остов...

И точно в настроение:

Где ссорились, мирились, где в чулке
Замызганные деньги припасались
Про черный день; где в духоте и мраке
Привычные супружеские ласки
Беспламенно вершились, где потели
В жару больные; где рождались люди
И умирали скрытно, — все теперь
Прохожему открыто...

Пробралась, перешагивая через увязанные коробки, к компьютеру и немедленно отправила мейл возлюбленному моему, получая удовольствие от переписывания строчек, которые плотно легли на измученную нарушением жизни душу.

Ответ пришел через пять минут. Ахматова:

И, раз проснувшись, видим, что забыли
Мы даже путь в тот дом уединенный,
И, задыхаясь от стыда и гнева,
Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там все другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали... Боже мой!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему...

Это ж кому рассказать — не поверят, скажут, выдуманные, ненатуральные отношения, с жиру беситесь, книжек старых начитались. Но ведь правда! До нашей встречи я и не подозревала, что мне отравляла жизнь тоска по чему-то возвышенному. А он всегда мгновенно оказывается на одной волне со мной. И слов не надо. Можно цитатами разговаривать. Или не разговаривать вовсе. А, например, вместе слушать музыку.

Муж признает только «популярную классическую музыку» — шедевры, униженные бесконечным тиражированием. Как в горькой шутке, что Моцарт — это тот, кто мелодии для мобильников сочинял. И еще романсы душещипательные: «Пой, ласточка, пой, дай сердцу покой...». И на мои возражения отвечал с возмущением: «Это же сама Вяльцева!».

Я как-то постановила, что, мол, люблю слушать музыку одна, это дело интимное, поэтому после концертов он встречал меня у метро, никогда даже для приличия не расспрашивая о программе и впечатлениях.

А ходили мы втроем.

Возлюбленный мой покупал два билета вместе, а мне — на ряд ближе: «люблю смотреть сзади на твой полупрофиль». Единственный, кто был посвящен в нашу странную тайну — «милый друг», как звали мы его между собой, почему-то избегая имени, был музыковед, и ходить с ним было одно удовольствие. Он знал не только все про всех, но столько *вокруг* музыки, что она оживала. Обычно мы встречались пораньше и сидели в «Кофемании», прямо в консерватории, где он читал лекцию о том, что нам предстоит услышать.

Когда мы познакомились с возлюбленным моим на презентации книжки нашего «милого друга» о Григе, вышедшей в соседней редакции, меня поразили, как ни банально, его руки, державшие бокал со скверным красным вином, о котором и были наши первые обращенные друг к другу слова. Сам небольшого роста и худощавый, даже костистый, а руки — крупные, с тяжелыми для тонких запястий пальцами. Почему-то я подумала, «виолончелист» — музыкантов было много. Это самое кисловатое вино уже несколько придало мне несвойственной свободы в общении, и я так и спросила: «А вы виолончелист?». Он засмеялся: «Я вас разочарую. Увы, к искусству не имею никакого отношения. Примазался как старинный приятель героя сегодняшнего вечера. А профессия у меня когда-то почтенная, а нынче немодная. Угадайте!». И я гадала до конца вечеринки, а потом долгую дорогу до метро, а потом с пересадкой до моей станции и три остановки на автобусе. И уже у моего подъезда он сжалился: «Представьте себе, я инженер. Совсем неромантично. Зато я умею чинить электроприборы».

Сколько раз, по два дня ожидая жэковского монтера, я сокрушалась, что не могу попросить его о помощи. А уж когда грянул этот переезд...

Вещи перевозили в два приема. Сначала крупную мебель, расставили, а на другой день на «Газели» — что помельче. Грузчик мне помогал, старался, трогательный какой-то. Я даже его пригласила чаю выпить. К слову сказала, что наследница большой квартиры. Он удивился, что не сокрушаюсь. И тоже разоткровенничался. Признался, что за воротник закладывает, а раньше хорошо был устроен. И неожидан-

но заговорил высокопарно: «Я знал взлеты и падения, у меня были месяцы, когда я до трех тысяч баксов заколачивал». И все недоумевал, как же это муж меня бросил одну на такое дело — ведь переезд почти что пожар.

Я только улыбнулась в ответ. Потому что, правда, так было легче, — сама все делаю и за все отвечаю, и никаких, пожалуйста, претензий.

А возлюбленный мой тогда чуть ли не единственный раз взбунтовался: «Не могу позволить, чтобы ты одна с мужиками разбиралась. Можно, я приеду хоть для виду?! С тобой по-другому разговаривать будут».

Но я конечно же не разрешила. Потому что моя тайная жизнь не должна пересекаться с обыденной никогда.

Сергей

«...намеренное смещение предметов второго плана на первый, создание эффекта так называемых "невозможных фигур" — вот суть метода оптического искусства, направления, известного как "оп-арт"»...

Сергей встал, отошел от компьютера. Это все слова, годные для каталога выставки, для специалистов и любителей, но никак не для покупателя. Ему важно, у кого в коллекции есть подобные, не слишком ли их много и, наоборот, достаточно ли художник или направление известны, а еще лучше, модны, чтобы можно было небрежно щегольнуть экспонатом своей коллекции, а если захочется или понадобится, продать с выгодой. Крепкий орешек попался, весь накачанный, будто сделанный из тех самых цветных металлов, на которых сколотил состояние, и даже загар его отливал медью. Въедливый, дотошный, он все требовал новых и новых доказательств ценности полотна. Пора было заканчивать эту историю, иначе можно сорвать сдачу оформления серийной книжки. А это хоть и скромный, но постоянный заработок на обозримое будущее. «Кризис, кризис», — отовсюду несется эта песня. Вот и этот, меднолицый, не иначе как только что с Канар прилетевший, туда же, все пытается цену сбить. А владелец галереи нервничает, хотя Сергею полностью доверяет и знает, что в мастерстве обаять богача, жаждущего стать обладателем «оригинальной и перспективной» коллекции, ему нет равных. Особенно, когда речь идет о его любимом и мало кому понятном авангарде.

Сергей решительно вернулся к столу. Нет, надо сначала добить справку, которую этот металлический требует: «Классическим образцом картины в стиле "оп-арт" является созданная еще в середине XX века работа Морица Эшера "Бельведер"»... Он взглянул на часы. Через десять минут придет Мария Николаевна, как всегда по утрам в понедельник, с последним, одиннадцатым ударом настенных часов. Несколько лет назад она появилась в его жизни, внеся окончательный упорядочивающий штрих. Сергей уважительно именовал ее домоправительницей, как миссис Хадсон у Шерлока Холмса. Еще десять минут. Он опять сидел перед компьютером, но сосредоточиться не мог. Эшер, дом Эшеров, нет, это не Конан Дойл, а Эдгар По, рядом с его мрачной мистикой тайны Шерлока Холмса — детские страшилки. Ну, все. Бьют часы, а вот и поворот ключа в замке:

— Добрый день, Мария Николаевна!

На самом деле Сергей был аккуратен и чистоплотен, его холостяцкая квартира изумляла продуманностью деталей, отсутствием какого бы то ни было мужского бедлама, и в сущности ему не очень-то была нужна женская помощь. Разве что пуговицу пришить, чему он так за жизнь и не научился, и изредка холодильник разморозить, что он люто ненавидел. Но ее приход был ритуалом, а это он ценил едва ли не превыше всего. В передней забирал у нее из рук хозяйственную сумку, помогал снять пальто и церемонно осведомлялся о здоровье, погоде и внучке, потом шел на кухню и ставил чайник.

— Что желаете сегодня, любезная миссис Хадсон, — «Выбор императора» или «Грезы принцессы»?

Она знала, что от этого вопроса нельзя отмахнуться, и со всей серьезностью, морща лоб, задумчиво изрекала:

— Пожалуй, «Выбор императора».

Он неторопливо заваривал чай в толстостенном глиняном чайнике — един-

ственной, на его взгляд, подходящей для черного чая посуде (с зеленым — другое дело, нужен тонкий фаянс).

— Бальзам рижский, алтайский, ликер «Шартрез» или же «Амаретто»? — И будто спохватившись: — А может быть, рюмочку «Хеннесси»?

На стол он всегда накрывал сам, а она в это время поливала цветы на подоконнике и стирала пыль с огромного бронзового Будды, перед которым стояли в стаканчике благовонные палочки.

Чай пили долго, ведя необязательные, поверхностные разговоры, которые внятны только людям, знающим жизнь друг друга в подробностях. У Сергея не было никаких родственников, кроме тети в Кирове, которую он сто лет не видал, и эти еженедельные полчаса замещали то, чем обычно тяготятся люди, обремененные родственными узами. Конечно же Мария Николаевна слыхом не слыхивала про «оп-арт», но это не имело никакого значения: тройка в четверти по математике, несправедливо поставленная ее внучке, или же опять подорожавшее снотворное, без которого Сергей не мог уснуть, значили в этот момент куда больше.

Перед уходом, — а он, тщательно одевшись, всегда покидал квартиру на два-три часа, чтобы не путаться под ногами во время уборки-готовки, — Сергей спрашивал (тоже всегда ритуально, одними и теми же словами):

— Чем планируете меня потчевать?

Жизнь его устроилась таким образом, что на три дня ему хватало приготовленного Марией Николаевной обеда, а дальше он без труда справлялся сам. Однако обед, а главное — суп вносил в быт что-то давнее, миновавшее, он, собственно говоря, знал, что именно, и называлось это «мама».

Деньги клал на тумбочку в передней. Сумму давно не обговаривали, он просто периодически добавлял «на инфляцию» по собственному разумению. Мария Николаевна принимала это как должное и никогда не комментировала.

Понедельник Сергей именовал как «разгонный день», стараясь сделать побольше дел вне дома. Сегодня надо непременно быть в галерее, успокоить хозяина, что клиент зреет, казаться безмятежно спокойным и уверенным, хотя от раздражения на металлического короля все внутри кипело, получить фотографии, а потом заехать в одно издательство, где наклевывалась работа. Сергей вздохнул. Сколько времени прошло, а хвост скандала все портит ему жизнь.

Был у него романчик с художественной редакторшей крупного издательского дома, тянулся вяловато, потом медленно стал сходить на нет. Тут она забеспокоилась и предъявила совершенно неожиданные требования. Оказывается, она была уверена, что их связь — испытательный срок, который успешно выдержан, и теперь пора под венец. Пришлось предпринять решительное объяснение. Истерика, крики... Но Сергей был тверд. Тогда она — воплощенная обманутая невинность, потрепанная дама сорока пяти лет от роду — учинила шум на всю Москву: «Он подлец, я ему молодость отдала, а он обещал жениться и в последний момент в кусты, да так оскорбительно... Он еще пожалеет!». В общем, в худших традициях мексиканских сериалов.

Но пожалеть — не пожалеть, а хлебает он до сих пор. Ведь раззвонила по всему невеликому профессиональному сообществу, что доверять ему нельзя ни в чем. Сколько заказов уплыло! Утешил его полуспившийся талантливый художник:

— Зато теперь другие разговоры утихнут, перестанут про тебя болтать, что голубой.

Сергей так и сел.

— Что???

— А ты не знал? Живешь один, эстетствуешь, платочки шейные, ботиночки блестят. Гомик, поди.

После этого потери стали казаться не такими сокрушительными, вот ведь, нет худа без добра.

Уже давно Сергей изжил комплексы несостоявшегося художника, тем более что отказался он от роли творца добровольно, смолоду решив, что, чем рядовым живописцем, лучше быть первым среди искусствоведов (то, что можно и здесь не стать первым, в голову тогда не приходило). Его дебютная и последняя персональная выставка была в пятнадцать лет, когда в благодарность за помощь в оформлении пионерской комнаты ему разрешили на неделю развесить свои художества в коридоре третьего этажа. Умолив сторожа, он с приятелем всю ночь прилаживал рисунки и

даже несколько пейзажей маслом в настоящих багетных рамах. Предприятие имело успех, но оставило след на всю жизнь. Снимая работы, он упал со стремянки. Нога срослась неправильно, потому он счастливо и без хлопот избегнул армейской лямки, а легкая хромота избавляла от ненавистных ему физических упражнений и туристических радостей. Что касается обстоятельств получения увечья, — тут был простор для изобретения романтических историй.

В галерее все прошло гладко, и Сергей отправился в фотоцентр, где ему сканировали материалы, нужные для обложек. Молодящаяся дама долго и мучительно выбирала, какие свадебные фотографии стоит печатать. Скорее всего выдавала замуж дочь. Но Сергей быстро понял, что новобрачные интересуют ее куда меньше, чем то, как получилась на снимке она сама. А мужчина, вынув из конверта, долго рассматривал одну за другой сценки семейного отдыха: жена, сын лет шести, аквапарк, пляж, пальмы, набережная, базар. Скорее всего недавние первомайские каникулы в Египте или Турции. Он не мог оторваться от глянцевых картинок, перебирал, вспоминая счастливые дни. Сергею показалось, что парень нарочно держит фотографии так, чтобы было видно стоящим рядом. И такая была в этом трогательная гордость, что Сергей явственно ощутил укол зависти. И сделал усилие, чтобы не впустить в себя все чаще наведывающийся в гости призрак одинокой старости.

Когда он, довольный деловыми встречами, вернулся домой, его встретил запах борща. Заглянул под крышку сковородки — бефстроганов, а на другой — жареная картошка. Сергей стал переодеваться, напевая бессмысленное: «Дама сдавала в багаж купаж, терруар и винтаж...». Винтаж был для рифмы, а сделаться знатоком вин он мечтал, изучил теорию, в застолье мог щегольнуть терминами, глубокомысленно порассуждать о достоинствах дубовых бочек, интриговать всех рассуждениями о «доле ангелов» и со значением рассматривать наполненный бокал на свет. Но, увы, вкуса вин не различал и предпочитал им сладкие ликеры, в чем не признался бы и под пытками.

За обедом не мог отделаться от мыслей о том мужчине в фотоцентре. Пора и ему планировать отпуск. Уезжал он каждый год, но не признавал коротких поездок и экскурсионных путешествий. Быстрая смена обстановки была для него мучительна. В Италии съездил в Рим, Флоренцию, но уже в Венецию не захотел, хотя и было оплачено. Предпочитал провести недели три в одном месте, не тяготясь санаторной размеренностью ритма. Фотоаппарат он никогда с собой не брал. Зачем? Любоваться на себя на старости лет? Но в его семейном альбоме тоже были фотографии, конечно же черно-белые, уже слегка выцветшие, где он — мальчишка, держа за руки родителей, впервые входит в море. В Анапу они ездили несколько лет подряд, в один и тот же пансионат «от маминой работы». Как это забавно звучит теперь! Ему не надо было доставать альбом, — он прекрасно помнил сияющие лица мамы и отца. Еще бы: отдыхают на юге, только-только выбрались из коммуналки, получили прекрасную квартиру «две изолированные комнаты, кухня семь метров, на пятом этаже с лифтом и балконом». И это смешно! Скоро панельные девятиэтажки, говорят, разделят участь пятиэтажных «хрущоб». Лишь бы не загнали далеко, уж очень он ценил пятиминутную близость к метро. От коммуналки его раннего детства тоже осталась фотография: папа, мама и тетя, учившаяся в Москве и прожившая с ними в шестнадцатиметровой комнате пять лет, стоят около наряженной елки. Где она там могла поместиться?! Он хорошо помнил только роспись, странно украшавшую дверь в ванную, — ласточки на проводах. Он любил, когда отец сажал его на плечи и можно было провести рукой по слегка пыльному раскрашенному стеклу. Еще помнил широкий коридор, как они носились с соседским мальчишкой, от которого в памяти осталось только имя Колька.

В двадцать лет он остался один в квартире. Родители погибли в автокатастрофе. Туристический автобус сорвался с обрыва на Военно-Грузинской дороге. Все насмерть. Громкая была история.

Оттого, наверное, он так и не создал семью: страшился потери. Даже кота боялся завести — звериный век короток. Избегал ходить на похороны, не смотрел новости по телевизору, если по радио сообщали о катастрофах или авариях. Из любви ко всему красивому и несколько высокопарному выписал максиму Ларошфуко: «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор» — и тем раз и навсегда оправдался.

Сергей тогда учился в Полиграфическом институте. Слегка подогретые комп-

лексом второсортности по отношению к Суриковскому и Строгановке, его однокашники (а каждый из них мнил себя вовсе не оформителем книг, а конечно же в первую очередь живописцем) считали неотъемлемой частью этой профессии богемный образ жизни. Сергею не хотелось быть белой вороной, но удовольствия от ночных бдений с кислым вином он не получал и тяготился притворством. Став обладателем квартиры, всячески оберегал ее от чужих визитов, и только сочувствие к семейной трагедии оградило его от всеобщего осуждения. Конечно же жить совсем бирюком он не мог и не хотел. Но за все студенческие годы была только одна, недолго просуществовавшая компания, куда он ходил с удовольствием и даже пару раз пригласил к себе.

Хлопали друг друга по плечу, называли «старик», «старуха», носили вытянутые, грубой вязки свитера, прибегали с горящими глазами:

— Послушай, это гениально! Белла Ахмадулина «Не плачьте обо мне, я проживу…».

— Вот так, в двух словах, как Кушнер, никто еще не сказал: «Таинственна ли жизнь еще? Таинственна еще!».

Сыпали цитатами из уже не запрещенного булгаковского романа, упивались «Колыбелью для кошки», конечно же считая себя людьми одного карасса, передавали из рук в руки еще запрещенного «Доктора Живаго», «Архипелаг ГУЛАГ» и телефон доверенного мастера, который переделывал рижский ВЭФ так, что он хорошо ловил «вражеские голоса», выстаивали очереди на заезжих знаменитостей, влюблялись, расставались. Кто жил в те годы, помнит…

Сергей мыл посуду, когда раздался звонок, которого он ждал все эти дни.

Когда формальности были завершены и Сергей пошел проводить меднолицего металлического короля, за которым шествовал шофер с упакованной картиной, тот сказал:

— Нет, так не годится, поехали, отметим. Я угощаю.

Чего не хотелось ему, так это ужинать в компании замучившего его хозяина жизни. Болтовня про Кортасара, ленту Мебиуса и мантиссы изрядно утомила Сергея. Но клиент был перспективный, вознамерившийся стать коллекционером и, быть может, даже меценатом. Отказать было бы неразумно.

Они приехали в неприметный подвальчик, каких развелось в Москве множество, где угодливый метрдотель, кланяясь, изрек прямо-таки литературное: «Давненько не бывали у нас» и после этого весь вечер напоминал сцену из пьесы Островского, наложенную на день сегодняшний, как любят делать современные режиссеры. И роли как по писаному: нищий интеллигент и богатый нувориш.

С точки зрения гастрономической Сергей, передоверивший заказ («Вы лучше знаете здешнюю кухню») меднолицему, был разочарован: Мария Николаевна готовит куда вкуснее. Единственный приятный момент наступил, когда стали выбирать вино. Тут Сергей блеснул, огорошив сомелье несколькими точными вопросами.

— Так вы не только по вопросам искусства, оказывается, можете. Вот теперь я знаю, с кем консультироваться, — впервые за все это время в голосе металлического короля зазвучало уважение.

Впрочем, он как-то внезапно и быстро захмелел, незаметно перешел на «ты» и вернулся к прежнему презрительно-снисходительному тону:

— Все ваше «ведение» — болтология чистой воды, на таких дурачков, как я, рассчитанная. Что ты знаешь о жизни? Да ничего. А о науке, которая движет цивилизацию? Думаешь, поди, что физик, изучающий теорию поля, связан с посевной. А у нас в точных науках все без вопросов — гидрид-ангидрид, и конец, мать твою!

Чтобы прервать его монолог, Сергей перешел в атаку и, внутренне ежась, тоже решил на «ты».

— Ты зря думаешь, что в естественных науках можно игнорировать красоту. Вот мне один физик говорил, что есть потрясающие термины, например, солнечный ветер. И, кстати говоря, — он вспомнил, что на работе, и надо мягко подвести его к будущим покупкам: — многие технари куда тоньше разбираются в искусстве, чем иные горе-искусствоведы. Ну что, за первое приобретение, за основание новой коллекции, — и тут уж его совсем занесло, — за нового Третьякова!

Выпили. Подошла очередь горячего.

— Рыбу будешь? — спросил меднолицый. — Я на реке рос, с детства рыбу

люблю. — И ударился в воспоминания. — Понимаешь, я простой деревенский мальчишка, пока в район в техникум не уехал, в хате под солому жил. Вот ты где вырос? Небось, из чистеньких московских мальчиков? В матроске и сандаликах! По траве босиком, если бегал, то в жару, «для здоровья», а я торф рыл в болотах!

У Сергея заныло в затылке. Угадал, гад! Была и матроска, и сандалии. Самая его любимая фотография, где он именно в матроске с родителями в Парке культуры, на фоне «Чертова колеса». Но тот не ждал ответа:

— Все эти ухваты, горшки и прялки, которыми вы теперь музеи набиваете, ах, народное, ах, старина, да я в этом жил! А тебе, наука, хороший ты мужик, сейчас скажу, только мне процент отслюни за идею. Пора платить за идеи. Ты же питаешься крошками с моего стола, я купил картину, а тебе крохи. — Он почему-то тряс перед лицом Сергея кулаком. — Знаешь, что надо собирать? Уходящую натуру! Будет денег стоить через десять лет, еще доживем, как раз капиталец будет под старость. Ищи ручки дверные, шкатулочки всякие, салфеточки бабкины... А мне процент! Крохи с твоего стола мне на этот раз!

Сергей вспомнил картинку с ласточками в квартире, где родился, с тоской подумал, что наверняка он погиб в геенне ремонтов и вообще неизвестно, стоит ли на месте сам дом.

И когда вышколенный шофер, без подсказки знающий, что гостя, которого привезли, надо доставить домой, спросил: «Вам куда?», неожиданно для самого себя назвал переулок своего детства...

Глядя на тупой параллелепипед, украшенный только коваными козырьками подъездов, Сергей думал: «Дом вроде бы есть, а вроде бы его нет. — Он поднял прутик и стал чертить на песке, которым были посыпаны аккуратные дорожки. — Есть только место, где стоял родительский дом». Недавно видел он старинную карту, где ближе к краю было незакрашенное белое пространство и надпись «terra incognita». Без всякого переносного смысла, без пафоса, просто неизвестная земля, где никто еще не был. Во времена буквальных смыслов «утопия» в переводе с греческого означала вовсе не «несбыточная мечта», как мы привыкли считать, а «место, которого нет». В этом забытом, изначальном смысле он был сейчас в этой самой «утопии».

«Сидят на соседних лавочках люди, и никто не знает, что я здесь родился...» — думал он, продолжая чертить на песке.

Наследница

Сколько же у меня было творческих порывов! Рисовать не умела, хотя с детства любила. Петь обожала, не имея настоящего слуха и тем более голоса. В школьном хоре пионерские песни с таким удовольствием подхватывала. А сейчас бы пела с радостью на клиросе, но кто меня возьмет, да к тому же церковное пение куда сложнее пионерского. Хотя бывает: пристроюсь на службе к певчим поближе и тихонько, почти беззвучно им вторю — благодать. Музыка, конечно, в кирхах и костелах помощнее будет, но зато убранство храма моему эстетическому вкусу претит. Никогда бы не смогла преодолеть неприязнь к аляповато раскрашенным статуэткам: ангелочкам и тем более — Богоматери. Что сделаешь, любое пространство я пытаюсь преобразовать «под себя», даже стол на работе, а что уж говорить о доме.

Маленькие были, так во что играть любили больше всего? Конечно, в дом! Лучше всего накрыть стремянку пледом, и вигвам готов. А самое подходящее место прогулок, всегда запретное и потому манящее, — стройка. Вспомню, и на языке чувствую лакированную гладкость черного-пречерного блестящего вара. Куда там теперешним приторным жвачкам...

А у возлюбленного моего дома я не была никогда, только однажды на даче. Так устроились наши отношения. Тем более что он раз и навсегда объяснил, что стесняется своего холостяцкого беспорядка. Он рано овдовел, не успев стать отцом, и больше не женился. В одном из бесчисленных и «запретных», а потому всегда прерванных на полуслове разговоров он сказал: «Знаешь, я слабый человек, можешь меня презирать, по мне всегда лучше было не иметь, чем потерять. Вот такой я эгоист. А сейчас...». И ведь никакого между нами не было электрического разряда, никакой искры, а, наоборот, медленное, но неуклонное прорастание друг в друга. Как

плети дикого винограда, которые цепляются за невидимые глазу шероховатости гладкой стены, мы свивались все крепче.

Надя прочитала, как всегда, в Интернете, что психологи велят перед тем, как заснуть, непременно вспомнить пять хороших вещей, которые случились за прошедший день: «Поначалу, — объясняла она, — будет трудно, ты с изумлением обнаружишь, что, оказывается, хороших вещей не запоминаешь. Так что надо себя приучить, тогда ценность каждого прожитого дня возрастет». В последнее время у меня с хорошим трудности.

Возлюбленный мой в больнице, опять сердце, и не только в душе — в расписании жизни зияет брешь. Прибегаю к нему, когда эсэмэску пришлет, что сестра или племянница только что ушли. По коридору иду, озираясь. Даже котлеты мои фирменные он при мне съедает, чтобы следов не осталось. Ну и жизнь мы себе придумали!

Потому что обо мне они не должны узнать никогда.

Николай

«Нормалек», — Николай удовлетворенно отошел от окна, — минус пять, снежок... Для человека, работающего на улице, градусник — первое дело. Врунам этим — никакого доверия, дармоеды. Он подозревал синоптиков в сговоре, грандиозной афере: «Они вообще не работают, только делают вид. Кто проверит? Сидят, рисуют схемы, какие-то механизмы свинтили для блезиру!». Николай был скептик, ипохондрик и брюзга. Он считал, например, что никаких космических полетов не было, доказать невозможно же! Одна пропаганда. Он искренне не понимал, зачем людям тратить попусту силы, а особенно — рисковать. Самым большим обманом Николай считал науку, в первую голову — медицину. Был уверен, что все таблетки делают из мела, а из ампул в шприцы набирают дистиллированную воду, поэтому категорически отказывался от любого лечения, применяя от простуды мед да горчичники и от всех болезней родимую беленькую. Еще, правда, признавал силу человеческих рук и, когда сорвал спину, таская мебель грузчиком, согласился на мануальную терапию, которая поставила его на ноги. Но доктора упорно именовал костоправом.

Не то чтобы Николай был глупым человеком, он просто исповедовал принцип разумности усилий, о чем не раз говорил после второго стакана: «Неужели люди становятся счастливее оттого, что автомобиль стал ездить быстрее, телевизор сделался цветным, а телефон можно носить в кармане?». При этом он не призывал к пещерному образу жизни, просто тех благ цивилизации, которые существовали полвека назад, в его детстве, было, как он считал, вполне достаточно для достойной жизни, а дальнейший прогресс — от лукавого, «от скуки», как он говорил. Эта позиция была незыблема и универсальна. Николай ополчался не только на умственный труд, он, например, на дух не переносил спорт. «Ничего глупее мир не выдумал! Рвать кишки ради собачьего жетончика на шею!». Не понимал, для чего нужно много денег. Крыша над головой, теплая одежка, котлета с картошечкой и чекушка — что еще надо? Прочее — «с жиру беситься».

Все вокруг, разумеется, были сыты по горло этими идеологическими выкладками, в спор давно не лезли, но каждого свежего человека, который встречался на его жизненном пути, Николай непременно втягивал в дискуссии.

Нельзя сказать, что в собственной жизни он вел себя до конца последовательно. Как всякий сильно пьющий человек, был он зависим прежде всего от жены Зинаиды, которая обеспечивала ему вполне сносный быт, родила и вырастила дочь Любочку, по-своему любила, а от философствований привычно отмахивалась, мол, уймись, балабол.

Не надо думать, что Николай даром ел свой хлеб. Он всю жизнь работал и исправно отдавал Зине зарплату, легально вычитая кое-что «для своих потребностей» и распределяя так, чтобы не влезать в долги и не пить на халяву. И еще имелась у него одна тайная страстишка, но об этом попозже.

Смолоду крутил он баранку, на какое-то время уезжал «на севера», устав от жизни в одной комнате с матерью, хотел даже накопить на кооперативную квартиру, но затосковал по столичному шуму и скоро вернулся в родную коммуналку. Правда, в этой точке его биографии имелась некая закавыка, сбой, о котором он не любил вспоминать, хотя непременно наутро после излишеств, как укол, что-то дергало

изнутри и выжимало слезу. Пока он утюжил пятитонным «МАЗом» колымские трассы, внезапно умерла мать. Точного местонахождения его никто не знал, поэтому даже сообщить не смогли. Только когда пришла от него поздравительная открытка к восьмому марта, соседка отбила телеграмму по обратному адресу.

Приехав, он долго плакал на пороге опустевшей комнаты. Соседка накормила его борщом, налили по рюмке, помянули. Она успокоила: «Мать же не лежала. Уснула, а к утру отлетела душа. Да за такой смертью надо в очереди стоять!». Николай подарил ей на память мамино золотое колечко, одно-единственное у нее и было. Получил в крематории урну с прахом, замуровал в стену. Надо бы в землю, да раз сожгли, чего уж там... Оставил на мраморной дощечке место для портрета. Никаких альбомов у них сроду не было, и вообще сниматься мама не любила. Только на стенке висела свадебная фотография, по которой Николай и представлял своего отца, бросившего их, когда он был еще маленьким. С трудом Николай открыл рассохшийся ящик тумбочки около маминой кровати, где держала она всякие документы и бумажки, и обнаружил: детские волосики, завернутые в салфетку, на которой дата его первой годовщины, табель за второй класс, потертый рубль с надписью «с Колиной первой получки», и все это в грубом сероватом конверте, а на нем слово, которого он больше никогда не услышит: *«Сынуля».*

Скорее уж теперь услышит он «Дедушка», Любочка на Новый год намекала, может, Зинаида и в курсе, но суеверная, как и он сам, молчит.

За этими мыслями Николай допивал вторую чашку чая, а поскольку был он стрезва пунктуален, заторопился: магазин открывается через час, а ему десять минут ходу до метро, пять минут ехать, пересадка, еще десять и там быстрым шагом минут семь. Итого с запасом сорок пять — пятьдесят. А потом — переодеваться во все шутовское, пестрое, колпак с помпонами на голову — и вперед.

По дороге думал о дочери: «Вот ведь — ни в мать, ни в отца — нежная, тихая, в школе хвалили. Окончила курсы, секретаршей взяли к большому начальнику в фирму серьезную, на компьютере работала, зарплату хорошую дали. Каждое утро блузочку чистенькую, отглаженную наденет, пиджачок с брошечкой — загляденье. И замуж вышла за командировочного, увез он ее в Ярославль. Красиво там, Волга широкая, они на свадьбу ездили, подарки везли богатые, год потом кредиты выплачивали. А теперь, похоже, на крестины пора копить...

По штатному расписанию именовался он красиво — «сотрудник отдела рекламы», а в просторечии называли их «сэндвичами». Сменами — «два через два» в любую погоду вышагивали они по тротуару в своих клоунских нарядах, протягивая прохожим яркие зазывные листовки: «Скидка 30% на ВСе!». Или хуже того — стихи:

У нас для вас сенсация!
Спешите! Суперакция!

В подсобке судачили, что за рифмовку заплатили хорошие денежки, а грузчик дядя Костя смешил всех до упаду, передразнивая, кривляясь и почему-то приседая на каждом слоге: «У нас!..», «Для вас!..» — «Пушкин!».

Еще полагалось время от времени вскрикивать, обращая на себя внимание, да повторять «Не потеряйте! Скидочка при предъявлении листовки!». Николай привык, работы не стеснялся, тем более что и впрямь золото у них было дешевле, чем в ювелирном напротив. Вот когда начинал карьеру «человека-сэндвича», таскал на груди и спине непонятные картонные щиты «Ликвидация фирм», бумажки впарить мало кому удавалось. А теперь дамочки то и дело сворачивают к ступенькам магазина. Оно, конечно, дело не пыльное, только и забот — не дай бог кто из знакомых пройдет мимо. Друзей, правда, давно не было, одни «дружки», как Зинаида говорила. Слова «собутыльники» Николай избегал.

Вообще Николай очень даже верил в силу слов. Даже не возражал, чтобы Любочку записали на материнскую фамилию, потому что прозвище Стопарик, естественно образованное от фамилии незнакомого ему отца — Стопарев, нарисовало судьбу, прочно привязав к граненому стеклу.

Пить он начал после смерти матери. В юности, да и на Колыме прикладывался так, когда со всеми, за компанию, а запил первый раз, вернувшись в пустую комнату. Нет, он и сейчас в одиночку не очень любит, так, иногда, если душа горит, два-три раза в год, и тогда ноги сами несут его на троллейбусную остановку. Зинаида этот

маршрут давно изучила и сколько раз волокла его домой чуть не на себе, приговаривая: «Черт, старый, помирать скоро, а ты все мамке под крыло хочешь!». Но на самом деле, как ни странно, тягу к родовому гнезду уважала: «Родные стены, видишь ли, что там от них осталось-то», — ворчала, но беззлобно. Во дворе, где он играл мальчишкой, и впрямь мало что уцелело: посредине клумба, на ней летом кругами разноцветными цветочки, скамейки поставили удобные, со спинками. Николай садился лицом к бывшим своим окнам, смотрел на безликие слепые рамы с жалюзи, и жалость к себе ползла щекотным ручейком по щеке, петляя в щетине на подбородке.

Назавтра Николай неизменно удивлялся сам на себя: «И чего я так? Грех на судьбу жаловаться: здоров, сыт, дом есть, жена, дочь...». Но что-то не осуществившееся давило, как будто он не выполнил невесть кому данное обещание. Как будто он знал, что достоин лучшей доли и виноват перед собой и, главное, еще перед кем-то, о ком вспоминал раз в год по весне, когда Зинаида красила в припасенной луковой шелухе яйца и к чаю подавала не печенье, а пахнущий ванилью и чернеющий изюминками кулич.

Но бывало и по-другому, когда всплывали самые лучшие моменты в жизни: как в деревне мамин брат брал его мальчиком с собой на рыбалку, а туман на рассвете был такой, что берега скрывались из виду, и казалось, что кроме их лодки нет ничего на всей земле; как ездили от работы на автобусную экскурсию в Суздаль, и там ему привиделось, что Николай Угодник с иконы подмигнул; как в первый раз целовался с Зинаидой в темном кинозале, а фильм показывали про любовь — «Москва слезам не верит»... Тогда, из «России» вышли, он и предложение сделал. И свадьба была честь по чести, правда, с приключениями, но лучшего праздника у него не было.

Готовились долго, по талонам в магазине для новобрачных брали все: платье белое гипюровое, фату с цветочками, темно-синий костюм Николаю. Ботинки узконосые неделю дома разнашивал, не пожалел стакана водки — внутрь наливал и мокрые натягивал. Хотя чего там, маму уже оплакал, жизнь наладилась, баранку крутил в трансагентстве и по будням о выпивке не грустил.

У Зинаиды тетка в Мытищах в столовой работала. Там и гуляли. Родни у Николая не было, но друзья-приятели приличные, пришли в галстуках, один даже с женой. А у Зины — родители, подружки... Человек тридцать набралось. Стол по тем временам дефицитным был, богатый, постаралась тетушка. Приехали из загса, расселись, стали шампанское открывать. Пробка в потолок — бабах! Мама дорогая, а там лампа дневного света здоровая, дзинь — вдребезги, на мелкие осколочки!.. И на икорочку, и на рыбку, и на салатик «оливье», и на селедочку под шубой! Тетка суетится, с дальнего края стола к середине все передвигает, мама Зинина рыдает, а отец, уже успевший рюмочку пропустить, кричит, перекрывая общий гам: «К счастью! К счастью!». Зато танцевали как потом! Зинаида только расстроилась, что прическа ее высокая парикмахерская растрепалась, — правда, ему так больше нравилось, а то прилизали, и уши оттопырились. А за фатой башни этой и вовсе не видно было.

После свадьбы хотел вместе с молодой женой опять рвануть на заработки. И она поначалу не возражала. У нее родня была на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Дядька на железной дороге работал начальником станции. Называлась она странно и красиво — «Ласточка». Говорил, что мог бы хорошо устроить зятя. Но потом Зинаида разумно сказала, что уедут — проморгают очередь на квартиру. «А пока у нас тут свои ласточки есть, целая стая», — шутила она, кивая на дверь в ванную, где с дореволюционных, наверное, времен красовались нарисованные птички.

И была, как обычно, права. И двух лет не прошло, как получили они квартирку, в которой до сих пор и живут.

Но на работе не очень-то повспоминаешь. Из окна менеджер, а то и директор послеживают, пристаешь ли ты к людям, заговариваешь ли. Тут их недавно собрали и давай мозги канифолить: «Вы — члены команды! От вашей улыбки зависит доход торговой точки!». И сказали, что теперь всем по очереди будут выдавать мегафон, чтобы покупателей зазывать, и текст напишут. А еще специальные отметочки расставят на листовках, чтобы учитывать, кто сколько клиентов завлек, и лучшим будет премия. «Кризис настал, надо приложить усилия».

Про усилия Николаю, естественно, не понравилось, но нажитая мудрость подсказала, что все успокоится и будет по-прежнему. Главное — пережить зиму. Хорошо у него на спине из собачьей шерсти повязка, радикулит не страшен, и носки толстые,

деревенской вязки. А вот руки, как ни кутай, — коченеют. И глаза к концу дня устают. Мелькают, мелькают люди, а ты знай себе — выхватывай жертву за жертвой из толпы, выдавай дежурное: «А вам золото будет к лицу…», пихай бумажонки на морозе задубевшие. Для отдыха время от времени переводит взгляд на ноги: сапожки модельные на каблуках, — как только по льду-снегу пробираются; надежные, вроде как «прощай молодость», чего только нет! Зато валенки совсем не попадаются, а зря — удобная штука по нашему климату. Сколько же людей разных Господь создал!

Да, многих он повидал на своем веку. Особенно когда из шоферов его попросили за то самое, но не уволили, а перевели в грузчики. На «Газель». Так что жилы не рвал, крупногабаритных тяжестей не попадалось, все больше ящики да тюки, иногда диваны со столами. За день два-три рейса. Интересно было, сколько квартир, сколько привычек… И отношение разное: кто смотрит на тебя, как на механизм, тяни, мол, толкай, передвигай. А кто имя спросит, на чай даст. А вот попить вместе чайку за все годы только одна пригласила. И встречу эту он хорошо запомнил.

Было это несколько лет назад.

Представился: «Николай Стопарев», а она: «Редкая у вас фамилия», — и без всякой усмешки.

Муж у нее был, сказала, что врач, в больнице, мол, на дежурстве, а переездом занималась сама. Маленькая, ручки-ножки как спички. Не то что шкаф — стул с места на место с трудом двигает. Нехорошо. Николай был твердо уверен, что есть мужские дела.

Он одобрил квартиру — просторно, обе комнаты квадратные, лоджия и балкон, прихожая большая. Пятиэтажку их сломали по соседству, и в этот дом переселили. И вообще, хорошо въезжать в новую квартиру, расфилософствовался он, нет чужого духа.

А она рассказала, что сама из богатого дворянского рода. И у прадеда собственная квартира огромная была. Она и родилась в ней. То есть, конечно, к тому времени у ее семьи одна комната осталась, была нормальная коммуналка. Он согласно кивал, — сам в такой полжизни прожил. И спросил только: «Не обидно, что так судьба распорядилась, что хоромы потеряли, а теперь вот двушке радуетесь?». Она засмеялась: «Так это когда было, бабушка моя еще помнила те времена, вот ей, наверное, обидно было, а я уже советское дитя»…

И заплатила хорошо. Он тогда заначил. На Ласточку свою. Дело прошлое, но как вспомнит — сердце колотится. Дружок устроился охранником на ипподром. На какое-то время прилепился Николай к окошечку кассы. Ставки. Руки дрожат. И вдруг: «Отстала на полголовы!» И самое загадочное: «Отстала на полноздри!».

Зинаида выпивку еще терпела, но — кобыла??? Хорошо приятеля на другой объект перебросили, а то пропал бы ты, Николай, с потрохами!

И вообще без Зинаиды пропал бы. Хорошая она баба, только мечтательная. А раз не складывается, как хотелось бы, — начинает мучиться завистью. А это штука такая — разъедает изнутри. Лучше бы телевизор не включала, а то все на себя примеряет, и выходят одни переживания. Устроили ее в богатую семью домработницей, за большую, между прочим, зарплату. Но не смогла она перенести хорошей жизни вблизи. Чуть что хозяйке говорила: «Вы мой крест, мое божеское наказание!», беззлобно, но кто ж такое за собственные деньги станет терпеть. Вообще на язык она невоздержанна. Нет, не матерится, только если изредка, когда совсем уж невмоготу. А грубовато сказать может. Хозяйка, добра ей желая, посоветовала диету хорошую, а Зинаида так и рявкнула в ответ: «Нечего вякать на чужую мякоть». Это было последней каплей, и в тот же день получила она расчет.

Теперь работает кастеляншей в гостинице. С некоторых пор она стала называть ее отелем, но произносит это так мягко, что слово выходит какое-то тельячье. Но и тут видит красивую жизнь и завидует горничным вроде бы за то, что они получают чаевые, а на самом деле потому, что они молоденькие и смазливые, а кто ее туда возьмет — старую толстую задницу.

Николай жену любил. И как только распродажа у них в магазине — тут же какой кулончик или цепочку золотую приносит. Она не жадная, но так и светится от радости. И что-нибудь особенное приготовит, и бутылек из тайника, хорошо ему известного, вытащит…

Любочка родила к лету, в день рождения его матери, и Николай, впервые почти трезвый, пошел рассказать маме, что она стала, наконец, бабушкой и внучку назовут

в ее честь. Николай верил, что мать его слышит, поэтому лукаво утаил нехитрое совпадение. У зятя мама тоже Наталья, так что в честь двух бабушек было решено назвать, как только определили, что будет девочка. Но зачем маме это знать, пусть порадуется, что ее помнят. На кладбище он бывал только на Пасху, не любил эту ненастоящую могилу, до сих пор стыдился, что прах мамин не предан земле, даже как-то говорил об этом с батюшкой. Не в храме, конечно, — перевозил холодильник с квартиры на квартиру, а дверь открыл священник в рясе. Николай так и оторопел. И, уходя, вежливо извинившись, сказал, что мучает его один вопрос, нельзя ли задать. Батюшка как-то привычно-обреченно кивнул головой, пригласил войти, но Николай быстро проговорил: «Святой отец, — на это обращение священник слегка дернулся, но промолчал, — мать у меня похоронена в стене. Умерла, когда я был на Колыме, соседи сожгли, места не было, замуровали в стенку. Не мучается ее душа там?». Николай не заметил, что «на Колыме» священник понял как «на зоне» и инстинктивно сделал шаг назад, но ответил неторопливо: «Это хорошо, что вас это волнует, совестливо. Но что поделаешь, таковы условия нынешней жизни. Посещайте кладбище, а главное — молитесь об упокоении ее души, свечки ставьте, и все будет хорошо». Не дождавшись, что Николай протянет руки для благословения, перекрестил его и простился.

Но легче не стало, и по-настоящему Николай вспоминал маму во дворе их старого дома.

По дороге не удержался — добавил. И был рад, что оказалась свободная лавочка, никто не будет дышать рядом. Но сегодня почему-то не думалось о маме, вообще о прошлом, а хотелось помечтать о будущем. Делать этого Николай не любил, скорее даже не умел, потому что жизнью в принципе был доволен. «Дай бог не хуже» — этим его пожелания исчерпывались. Хорошо было бы, конечно, не стареть или вовсе не умирать, да только так не бывает. Так что все, что смог он придумать, — чтобы были все здоровы. Мечтать оказалось скучно, и Николай стал смотреть по сторонам, борясь с дремотой: «Какие же все люди разные, вот фантазия у Господа Бога. Вон бабенка с костылем, наверное, в каблучищи вырядилась, думала, что ей все двадцать лет, и навернулась на ровном месте, а другая — пигалица, кожа да кости, а та, что напротив на лавке, к телефону прилипла, его зарплаты не хватит так по мобильнику болтать. А мужики? Один пузо отрастил — пивком балуется, а другой перед зеркалом крутится, как баба, по полдня: стрелки на брюках ровные, ботинки блестят — жених».

Но наблюдения наскучили ему, глаза слипались и последнее, о чем он подумал, проваливаясь в сон, как бы не пришлось сегодня Зинке за ним сюда приезжать.

Наследница

Он умер, возлюбленный мой. «Скончался ночью от второго инфаркта». Перечитываю эсэмэску в сотый раз. Это наш «милый друг». Побоялся звонить, не осуждаю. А я уже начала волноваться, почему в начале рабочего дня, как обычно, нет звонка. Больше я его не увижу. Даже на похороны не могу пойти, потому что «на людях нам вместе не бывать никогда» — сама так постановила. Все замерло: время, движение, звуков не слышу... Вроде как сосулька опять на голову упала. Действую, будто робот, говорю, что неважно себя чувствую, но домой не ухожу. Даже пытаюсь работать. Звоню мужу, что вечером поеду к подруге.

Кончилась его земная жизнь. И моя — придуманная. Нельзя так играть, только теперь я это узнала. Мы взрослые, стареющие люди, вели себя как подростки, да и то не в наши времена свободы нравов. Смешно сказать: духовная близость до полного слияния, а ни разу не разделили ложе. Тристан и Изольда! Господи, о чем я... *Он умер...*

Откуда я взялась такая нескладная? Мама с папой такую родили, бабушка не те книжки мне в детстве читала?

И некуда пойти, негде заплакать...

Дивным прозрачным вечером побрела я в родной переулок.

Хотелось быть маленькой. И чтобы пожалели. Чтобы мама... Нет, бабушка — совсем маленькой. «Тук-тук-виа-дук, тук-тук-виа-дук», нет, не та бабушка, которая в деревне, а папина — с палочкой по коридору «тук-тук», по длинному, который тянулся

позади анфилады комнат, для другой, непарадной жизни. Хотелось напиться, чтобы ничего не помнить, чтобы все стало неправдой, напиться, как тот мужик, который клюет носом на соседней лавочке. Дятел стучит? Откуда он здесь? Нет, в висках «был-бы-жив, был-бы-жив»…

Почему я так решила? Я, что ли, Господь Бог? Я, что ли, управляю током крови и решаю, биться ли сердцу — «тук-тук, тук-тук»? Но я и только я управляла своей жизнью. Это я решила, что «никогда». Это я погубила себя и его. А, собственно, почему? Потому что мой муж — родной, славный, ни в чем не повинный человек, страдал бы, такой неприспособленный, без утреннего кофе по выходным…

Хотелось уехать, провалиться, исчезнуть, улететь на Марс, сбежать в параллельный мир, в прошлое, в будущее — все равно. Нет, не все равно. Только не в будущее. Тогда бы я узнала, что дальше случилось, как в пошлом сериале. Я бы узнала, что через два года не подозревающий о моей трагедии муж уйдет от меня к пухленькой глуповатой хохотушке, рекламирующей посуду «Цептер».

А возлюбленный мой, кто знает, «был-бы-жив, был-бы-жив»…

Я сидела до темноты. Дворик опустел. Последней ушла тетенька в нелепом платье, постукивая костылем. А на песке уже не различить, что же так усердно чертил палочкой элегантный господин. Вот ведь: у всех своя жизнь, свои беды. Кто-то умирает, а кто-то просто исчезает, как соседи по той коммуналке. Вот ведь соберись мы вдруг здесь — дети той анфилады, нам было бы не суждено узнать друг друга, ахнуть, всплеснуть руками, обняться, вспомнить детство, засмеяться и заплакать, записать номера телефонов, которые никогда не будут набраны.

Как трудно, невыносимо принять истину, что все в нашей жизни происходит по промыслу свыше.

Но, правда ведь, ничего не бывает случайно. Как у Ахматовой, которую так кстати прислал возлюбленный мой:

Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас — и даже
Все к лучшему…

И стук в висках «был-бы-жив» сменился на страшное в своей несправедливой правде «все к луч-ше-му»… Нет, это ерунда! Как это «к луч-ше-му»? «Все к луч-ше-му»?

Когда я шла к метро, налетела сухая гроза. Грохотало все ближе. И казалось, каждый раскат предназначен только тебе, и не просто это удар, а ответ на твой молчаливый вопрос, как будто между вами тайный диалог: ты — вопрос, а тебе — ответ.

Или вспышка — и нет ответа…

20 ЛЕТ ПОСЛЕ БЕЛОВЕЖЬЯ

Николай Шмелев, Леонид Медведко

Прогнозы и надежды

«Авансы и долги» два десятилетия спустя

Публикацию материалов, анализирующих обстоятельства заключения Беловежского договора и его последствия, мы не случайно начинаем именно этой беседой. Статья Николая Шмелева «Авансы и долги», опубликованная в № 6 журнала «Новый мир» за 1987 год, была одним из знаковых текстов, определявших интеллектуальную и идейную атмосферу горбачевской перестройки, которая завершилась развалом Советского Союза.

Леонид Медведко: Николай Петрович, мы знаем друг друга давно. Помню, как почти двадцать лет назад я брал у тебя интервью для издаваемой в то время с Алексеем Аджубеем газеты «Третье сословие». Тогда у нас шел разговор о перспективах погашения старых долгов советской власти и о способности страны рассчитаться со всеми прежними авансами...

С тех пор много воды утекло и очень многое изменилось. В минувшем, «нулевом», и нынешнем, 2011-м, годах сблизились три «круглые годовщины». 65 лет назад окончилась Вторая мировая война, а 70 лет назад начались Великая Отечественная и восхождение к общей Великой Победе. И эта победа, одержанная в «сороковые роковые», спустя много лет — в «лихие девяностые» обернулась для России победой-поражением, можно сказать, дважды сокрушительными. И для начатой тридцать лет назад перестройки и провозглашенного ею «нового политического мышления», и для великой страны, Советского Союза, прекратившего в 1991 году свое существование.

Хотелось бы в этой связи возобновить прежний разговор и узнать твои нынешние взгляды на современное положение России и стоящие перед страной проблемы, так сказать, в ретроспективе и перспективе.

Николай Шмелев: Если начинать с ретроспективы, то сразу скажу: в современном весьма неопределенном состоянии страны рассуждения по линии «Святая Русь» — «Великая Россия» — «Великая Россия без Святой Руси» или наоборот — мне лично не кажутся очень уж плодотворными. В позапрошлом, девятнадцатом, и в начале двадцатого века Ф.Достоевский, Н.Данилевский, Н.Бердяев и другие сказали

Шмелев Николай Петрович — профессор, академик РАН, доктор экономических наук, директор Института Европы РАН. Публикации в «ДН»: «Безумная Грета», повесть (1994, № 9); «XX век: вехи истории — вехи судьбы» (№ 3, 1997).

Медведко Леонид Иванович — академик РАЕН, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Публикации в «ДН»: «От Эдема до Армагеддона. Сопряжение на «разломах» цивилизаций» (№ 5, 1999); «Общий дом на Святой земле. Запад и Восток в новейшее время» (№ 12, 2007).

все, что можно, наверное, сказать, о духовном богатстве русского человека, о его всемирной отзывчивости, о его метаниях от крайности к крайности...

Думаю, что сейчас, после всех наших трагедий и потрясений, настало, наконец, время рассуждать не в рамках «Бог—общество—человек», а следует искать ответы на вполне конкретные вопросы. И вопросы эти не «кто виноват?» и «что делать?». Ответы на них мы уже, похоже, все знаем. А вот «как делать?» — это по-прежнему остается неясным.

Мне представляется, что российский человек в массе своей жил и остается вот уже более пяти поколений подряд заложником, как ты называешь, сокрушительных побед-поражений. Вряд ли какой еще народ всего за сто лет пережил столько кровавых войн и не менее кровавых революций, не говоря уже о разных видах террора, о чем недавно напомнила трагедия в «Домодедово». Она опять заставила нас вспомнить, что мы продолжаем якобы находиться в состоянии войны.. Только полномасштабных войн на памяти еще живых поколений, можно сказать, было восемь: японская, Первая мировая, Гражданская, польская, финская, Великая Отечественная, афганская и последняя, кавказская, конца которой не видно даже и сегодня. К ним можно приплюсовать почти столько же революций: 1905 года, Февральская 1917 года, Октябрьская 1917 года, невероятная по своим гибельным последствиям коллективизация 1929–1933 годов, сменивший ее столь же гибельный «революционный» террор 1937—1938 годов, наконец, нынешняя, «демократическая» революция. По своей «социальной цене» она тоже вполне сопоставима с теми пагубами, что были и до нее.

Л.М.: О «социальной цене» ты вспомнил очень кстати и вовремя в свете не только недавних «революционных событий» в Тунисе, но и последовавших за ними социальных и политических потрясений в Египте, Алжире, Йемене, Ливане и даже в монархической Иордании. За все, оказывается, надо платить и расплачиваться этой самой «социальной ценой». И за одержанные в недалеком прошлом сокрушительные победы-поражения, и за состояние «ни мира, ни войны», и за «прорыв к миру», который совершил Египет при президенте Садате и его преемнике Мубараке. Отчасти это можно отнести и к недавним событиям в Москве на Манежной площади. Они тоже могут служить напоминанием о «социальной цене». Платить ее приходится за все сокрушительные победы-поражения. Как в войнах, так и, как раньше говорили, в борьбе за мир. За мир приходится платить «социальную цену», не меньшую, чем за войну. В противном случае народ не поймет, за что он воевал.

В прошедшем столетии самой большой для России бедой стали войны. XX век вобрал в себя рекордное число войн и революций. Большинство из них завершалось для России не триумфальными, а, скорее, именно сокрушительными победами, так что страна уже исчерпала свой лимит на войны и революции в XXI — как мы уже видим, далеко не мирном — столетии. Первое его десятилетие, которое ООН в 2000 году провозгласило Международным десятилетием культуры мира и ненасилия для детей планеты, этого названия не оправдало. И вряд ли его будут заслуживать последующие декады... Как ты думаешь, скольким еще поколениям предстоит оставаться заложниками антикультуры войн и одерживаемых в них сокрушительных побед?

Н.Ш.: Надежд на какие-то просветы в будущем питать не приходится. Правда, кое-кто из тех, кто озабочен сохранением мира и обеспечением безопасности для России, именно на них и рассчитывает. Это заставляет меня вспомнить слова из послания апостола Павла: когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигает людей пагуба.

Из двух возможных сценариев развития России в следующие двадцать-тридцать лет — пессимистического и оптимистического — первым в голову приходит, к сожалению, пессимистический. Он даже связан с ожиданием грядущей катастрофы и «конца истории» России. К такому выводу подталкивает многое, причем из самых разных и зачастую даже не связанных между собой сторон нашего бытия.

Начать хотя бы с того, что нельзя не признать определенной обоснованности под утверждениями тех, кто говорит сегодня, что российский народ просто «выдохся», надорвался; что ему уже никогда не восполнить тот чудовищный генетический ущерб, который нанесли ему за XX век все упомянутые войны и безжалостные эксперименты наших разномастных революционеров. Он связан также и с тем, что в

соответствии с теориями таких мыслителей, как О.Шпенглер, А.Тойнби, Л.Н.Гумилев и других, русский народ уже прошел пик своей «пассионарности» и ему осталось только медленно, потихоньку (и хорошо бы безболезненно) вырождаться, растворяясь в более мощных, более жизнеспособных цивилизациях. Неоткуда, дескать, больше ему взять внутреннюю динамику: последнее, что у него оставалось из того, что было накоплено веками, истрачено сначала в годы красного и белого террора, а затем и в кровавой мясорубке Второй мировой войны. Все это не могло не сломать России хребет: доказательством этого стал в 1991 году самопроизвольный (как говорится, «на ровном месте») распад великой сверхдержавы на множество едва ли исторически жизнеспособных осколков и территориально все еще огромный, но внутренне аморфный, желеобразный массив России, так и не успевший сложиться в единый социум народов.

Л.М.: Будучи постоянным читателем журнала «Дружба народов», ничего предосудительного в советской дружбе народов, как единого социума, я не вижу. Тем более что она, говоря словами Николая Трубецкого, складывалась на сожительстве русских с туранцами (тюрками), которое проходит красной нитью через всю историю во многом схожих между собой соседних народов. Недаром о положительном опыте национальной политики вспоминал и президент Дмитрий Медведев на заседании Госсовета, посвященном межнациональным отношениям. Другое дело, что в советский период российской истории только начинал складываться, говоря словами Николая Верта, социум общеисторической судьбы. Наверное, кого-то не устраивало, чтобы такой социум сложился.

Для евроазиатской России в условиях глобализации трудно определять, какая из политик, внутренняя или внешняя, является продолжением одна другой. Россия, как это было и в прошлом, остается страной, по определению Ивана Солоневича, «обреченной» на протяжении всей своей истории преодолевать географию. После распада СССР ее сухопутные границы не сократились, а число соседей не уменьшилось — даже увеличилось. У арабов есть такая пословица: «Прежде чем строить дом, выбери соседа». Но нельзя сказать, что у России сложились со всеми соседями добрососедские отношения. Наверное, не все в них заинтересованы...

Н.Ш.: Согласен с тобой. Но если ты имеешь в виду каких-то внешних супостатов, то давай исходить из того, что прочность и безопасность всякой великой державы зависит все-таки больше от внутренних, чем от внешних факторов и угроз. Этим определяется также самостоятельность и независимость любого государства.

Жизнь показала, что надежды человечества на всеобщий мир и «в человецех благоволение» оказались в XXI веке столь же призрачными, какими они были и во все предшествующие времена. Своекорыстный интерес, произвол, стремление решать силой старые и новые проблемы, борьба за геополитическое пространство — все это как было с древнейших времен, так и остается движущей силой международных отношений вплоть до сегодняшнего дня. И нет сколько-нибудь серьезных надежд, что в ближайшие пару поколений мир научится жить по другим законам — взаимной терпимости, компромиссов, учета интересов как больших, так и малых членов мирового сообщества, объединения усилий всех наций в решении общемировых неотложных проблем.

Наиболее серьезными в перспективе представляются вызревающий уже сегодня конфликт и борьба за общемировое влияние двух ведущих мировых центров силы — США и Китая. При сохранении нынешней динамики — причем и в военно-политической, и в экономической, и даже в научно-технологических сферах — вполне вероятно, что к середине XXI века США вынуждены будут уступить первенство на мировой арене Китаю (особенно если ему удастся без большой войны воссоединиться с Тайванем). Если разнообразное влияние Китая в Южной и Юго-Восточной Азии будет возрастать нынешними темпами (а судя по всему, так оно и будет) и если ему удастся установить некие похожие на союзнические отношения с другим азиатским гигантом — Индией, то можно будет, наверное, говорить (пользуясь критериями этой самой «пассионарности») уже не только о «закате Европы», но о начинающемся закате всей евро-атлантической цивилизации.

В этой борьбе России (если исключить возможность ее глухой самоизоляции и

превращения вновь в «осажденную крепость») придется выбирать, с кем ей быть: с США и Евросоюзом или с новым восточноазиатским сообществом, возглавляемым Китаем. И в том и в другом случае ее ждет подчиненная, подсобная, второстепенная роль ведомого, идущего в кильватере за лидером. Конец «самостоятельной истории» России при таком развитии событий представляется, естественно, лишь вопросом времени.

Другой важнейший и, вероятно, долговременный фактор современной международной ситуации — всплеск исламского фундаментализма и международного терроризма, ставшего органическим его порождением. Трудно не согласиться с теми, кто утверждает, что новая, третья мировая война началась, война без границ и без правил, и неизвестно, когда, где и как эта война закончится. Однако в отличие от борьбы двух ведущих мировых центров силы — евро-атлантической цивилизации и восточноазиатского сообщества, которая вряд ли когда-либо примет вид прямого вооруженного столкновения (тем более с применением всех современных вооружений), агрессия исламского фундаментализма имеет ту особенность, что она с самого начала нацелена на вооруженную борьбу и может быть, следовательно, в конце концов так или иначе раздавлена силой. Будет ли такая сила организована в полномасштабную международную союзническую коалицию, ведущую прямую, открытую борьбу на всех фронтах, где ей бросают вызов фундаментализм и терроризм, и будет ли новая Россия активным участником подобной коалиции, представить себе сейчас достаточно трудно.

Но одно, похоже, ясно: при любом повороте событий Россию ожидает многолетняя, упорная и дорогостоящая борьба с исламским экстремизмом и международным терроризмом, во-первых, на ее границах с Центральной Азией и Кавказом и, во-вторых, внутри страны, где многовековой межконфессиональный мир тоже может оказаться достаточно хрупким. Все это, естественно, потребует серьезнейшего напряжения как политических, так и экономических сил страны и, несомненно, как минимум, сильно затруднит ее выход из нынешнего системного кризиса.

Наконец, еще одна общемировая угроза, которая и для России на ближайшие полвека останется, по-видимому, весьма актуальной. Речь идет о медленном, но верном расползании ядерного оружия по миру и угрозе его применения в каком-нибудь локальном конфликте или в ходе очередной атаки международного терроризма. Потенциальных очагов возможной ядерной вспышки в мире уже достаточно: незатухающий ближневосточный конфликт и надвигающееся ядерное противостояние Ирана и Израиля, углубление иррационального, преимущественно идеологического конфликта между Ираном и США, застарелое соперничество между Пакистаном и Индией, прежде всего по территориальным вопросам, конфликт между Северной и Южной Кореей вкупе с союзником последней США, наконец, возможное попадание ядерного оружия в руки самых оголтелых международных террористов — все это делает мир и в перспективе столь же неустойчивым, каким он есть сегодня. Не важно, далеко или близко от границ России, или вовсе внутри ее собственной территории может случиться ядерная вспышка. В любом, как говорится, раскладе, исходя из простого инстинкта самосохранения, Россия вынуждена будет в ближайшие десятилетия отвлекать на цели собственной безопасности силы и средства, вряд ли намного меньшие, чем она это делала в советские времена.

Л.М.: Однако в условиях полуразрушенной в результате скоропалительных реформ страны это может оказаться и непосильным...

Н.Ш.: Разумеется, список внешних угроз, в целом ведущих в предстоящие десятилетия не к усилению, а, скорее, к ослаблению России, далеко не исчерпывается перечисленными выше опасностями. В грядущий мировой хаос не могут не внести свой вклад и такие острейшие проблемы XXI века, как безудержная и безжалостная глобализация в пользу «золотого миллиарда», оставляющая в стороне от своих достижений большинство населения планеты; многомиллионные потоки стихийной миграции, меняющие этническое и цивилизационное лицо современного мира — в первую очередь стран, составляющих ядро евро-атлантической цивилизации; кровавые региональные и межэтнические конфликты почти на всех континентах; наркотрафик и трансграничная преступность; экологические опасности, природные и техноген-

ные катастрофы, эпидемии, болезни, голод, неграмотность многомиллионных масс и прочее. Конечно, можно уповать на то, что за пятьдесят лет человечество сможет выработать наконец нечто похожее на мировое правительство, которое сумеет взять под контроль эти разрушительные процессы и остановить или, по крайней мере, ослабить вероятный мировой хаос. Но, судя по прошлому опыту, сегодня, как и раньше, надежда на подобное развитие событий может быть только очень и очень слаба.

Л.М.: А коль скоро ты в начале разговора напомнил о социальной цене демократической революции, то следует добавить, что, вернее всего, предстоит еще также оплачивать и ее авансы и долги. Об этом под занавес ушедшего десятилетия напомнили далеко не мирные акции и события с разгоном многотысячной демонстрации не только на Манежной площади в центре Москвы, но также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других российских городах. Все эти события выходят за рамки разборок между фанатами. Это еще и нерешенность межнациональных отношений. Поэтому выяснению этой проблемы и было посвящено специальное заседание Госсовета. На нем одни усматривали главную причину конфликтов в росте националистических настроений, другие видели в них скорее проявление возрастающего страха власти перед обществом, нежели общества — перед властью. Говорилось также и о признаках увеличивающегося в обществе раскола — социально-экономического, этнического, культурного и мировоззренческого. Но в нынешних условиях, когда страна оказалась полуразрушенной в результате скоропалительных и все еще продолжающихся реформ, особенно в армии, решение этих проблем может оказаться просто непосильным.

Н.Ш.: Как мне представляется, приближающийся конец «самостоятельной истории» России (в традиционном ее облике) связан не столько с внешними факторами, сколько с нынешним внутренним состоянием страны. Россия больна изнутри, больна наследственно. Получилось так, что примененная к ней после 1991 года «революционная терапия» лишь усугубила те болезненные процессы, которые начали складываться в ее недрах еще в советские времена.

Первым в длинном списке болезней современной России следует, по-видимому, назвать резко ускорившийся процесс депопуляции страны. Отсюда идет и углубляющийся демографический кризис и запустение огромных ее территорий. Как следствие этого — заметные сдвиги в ее этнической структуре, отток населения из восточных ее районов на запад, а не наоборот. Отсюда и сократившаяся под влиянием прежде всего искусственных, политико-административных причин иммиграция в ее пределы и одновременно возросшая эмиграция из нее, причем наиболее активной, дееспособной и образованной части населения. Все это порождает весьма обоснованные опасения, что в предстоящем полстолетии Россия не сможет удержать в своем составе по меньшей мере Восточную Сибирь и Дальний Восток, а возможно, и пояс прикавказских автономий. Где будут пролегать восточные границы России в середине XXI века — по Лене, по Енисею, а может быть, и по Оби, и даже по Уралу, — предсказывать это сегодня не возьмется никто.

Очевидно одно: без целенаправленных общегосударственных усилий (причем с упором именно на государственные инвестиции и поощрительную социальную политику) стихия рынка не решит подобную задачу. К сожалению, преобладающая пока в российском руководстве ультралиберальная идеология либо пренебрегает этой крупнейшей проблемой современности, либо и того хуже — сознательно ведет дело к избавлению страны от «излишнего бремени», как сознательно был инициирован в 1991 году развал Советского Союза под тем же самым предлогом избавления России от «бремени всяких нахлебников».

Нет никакой уверенности и в том, что Россия при жизни новых двух-трех поколений сумеет преодолеть последствия жесточайших структурных изменений в экономике, которые ей пришлось претерпеть за последние двадцать лет. За исключением энергосырьевого сектора и отчасти военно-промышленного комплекса старый, создававшийся десятилетиями экономический потенциал страны разрушен или почти разрушен: традиционное тяжелое машиностроение и приборостроение, авиационная и автомобильная промышленность, железнодорожное строительство, судостро-

ение, весь комплекс потребительских отраслей, аграрный сектор и т. д. По всем этим направлениям сложившиеся ныне условия в стране не внушают особого оптимизма, если исключить, конечно, издревле присущую российскому человеку надежду на чудо.

Л.М.: Но почему только на чудо? По заверению нашего «лучшего в мире министра финансов» у нас с финансами все будет в порядке при сохраняющемся теперешнем уровне цен на нефть. Сейчас они колеблются где-то 80—90 долларов за баррель, а нам хотелось бы — 100—110. Но, как утверждает твой коллега, хорошо нам обоим знакомый Николай Петраков, мы опять кормимся за счет мировых цен на нефть и уже почти профукали свой прежний стабилизационный фонд. Живем, как он выразился, по прежней системе: нефть в обмен на колбасу.

Н.Ш.: Ну, положим не только в обмен на колбасу, Получаем кое-что и другое. К примеру, деликатесы, о которых раньше и слыхом не слыхали. Все получаем, кроме ожидаемых инвестиций в нашу экономику.

Л.М.: Парадокс не только в этом. Один талантливый и предприимчивый российский ученый и бизнесмен — не хочу называть его имени — уже начал вести конкурентную борьбу с нашими газонефтяными компаниями. Его фирма за океаном успешно работает в области использования природных сланцев, которые могут заменить нефть. Более половины вложенных в это дело капиталов — это российские инвестиции. Выходит, инвестиции идут, но в обратном направлении?

Н.Ш.: В отношении иностранных инвестиций соглашусь здесь с премьером, дела идут из рук вон плохо, в том смысле, что в наши руки после всех «откатов» они почти не попадают.

Никогда, наверное, ни одна страна в истории не попадала в такую нелепую, абсурдную с точки зрения обыкновенного здравого смысла ситуацию, когда деньги, и не только инвестиционные, но и другие, на деле оказались ей не нужны. И это при тех колоссальных неудовлетворенных и не удовлетворяемых потребностях в деньгах для решения ее самых неотложных инвестиционных, социальных, общекультурных задач, которые стоят сегодня перед страной! В последние полтора десятка лет в диапазоне, по разным оценкам, от 300 миллиардов до 1 триллиона долларов частных капиталов «сбежало» из страны. Такого массового экономического «кровопускания» не было в истории нигде и никогда. Но и этого оказалось мало. В последние годы государство само вывело за рубеж порядка 500 миллардов долларов, которые оно аккумулировало в виде валютных резервов Центробанка и накоплений Стабилизационного фонда и «влило» на самых льготных условиях этот капитал в экономику Запада, а не в собственное народное хозяйство. В это же время политику России стал почти официально определять абсолютно уже невероятный для нормальных людей лозунг: «Чем меньше денег в стране, тем лучше». И если смотреть на вещи трезво, то теперь эти эмигрировавшие деньги вряд ли когда-нибудь вернутся обратно в массовом порядке: экономика Запада уже успела основную их часть впитать и переварить.

Ненадежными представляются также и упования на некие внутренние российские накопления. Розничный российский держатель денег как минимум дважды (в 1992 и в 1998 годах) был подчистую ограблен государством. Он не доверяет больше ни банкам, ни фондовому рынку, ни пенсионным фондам, ни государству вообще. Неизвестно, сколько потребуется десятилетий, чтобы его доверие восстановить. Общая сумма денег, хранимых «под матрацем», остается сегодня не меньше тех, что вложены во всю организованную банковскую систему.

Деньги нашего бизнеса тоже не могут пока быть гарантией решения проблемы накопления. В первую очередь они сейчас стремятся уйти за рубеж. Того, что остается внутри страны, явно недостаточно для решения ее основных структурных задач. Энергосырьевой сектор, торговля, гражданское строительство, спиртовое производство, финансовые спекуляции, криминальный оборот, ну и отчасти телекоммуникации — вот, собственно, и все, где оседают сегодня внутренние накопления нашего бизнеса.

Л.М.: Насколько я понимаю, нет смысла рассчитывать и на иностранные инвестиции.

Н.Ш.: Для иностранных инвеститоров Россия как производитель высокотехнологичной продукции никакого серьезного интереса не представляет. Россия привлекательна только как богатейший энергосырьевой придаток передовых западных стран и стремительно набирающего силу Китая. И еще, конечно, как значительный и недостаточно пока освоенный рынок для всего спектра потребительской продукции — от колготок до автомобилей и самолетов. Думается, что России в этом контексте еще предстоят серьезнейшие испытания с непредсказуемым пока исходом, особенно в связи с ее вступлением в ВТО и неизбежным резким усилением иностранной конкуренции на ее внутренних товарных и финансовых рынках.

Итак, со средствами для массированного высокотехнологичного «прорыва» России дело обстоит не очень обнадеживающе, если не сказать сильнее. Не лучше оно обстоит и с побудительными внутренними мотивами для организации и стимулирования модернизационного «прорыва».

В сфере частного капиталообразования и автоматического, рыночного перелива капитала из отрасли в отрасль (имея в виду прежде всего перелив из менее перспективных в более перспективные высокотехнологичные, инновационные отрасли) России, видимо, еще очень долго придется расплачиваться за те фундаментальные ошибки, которые были совершены в 90-х годах прошлого столетия. Нет сегодня такого автоматического рыночного механизма, и никто не решится сказать, когда он у нас будет. Это историческая плата, во-первых, за дармовую, организованную сверху приватизацию огромных государственных активов, в одночасье превращавшую всякого рода нахрапистых проходимцев в мультимиллионеров и миллиардеров, и, во-вторых, за государственные же авантюры, вроде выпуска пресловутых ГКО с доходностью до 200–300 процентов годовых, полностью развративших, растливших российский деловой мир, который и сегодня, что называется, «не нагнется», если ему не светит прибыль меньше 100 процентов годовых (при том что весь мир работает из 5—15 процентов и считает это нормой). А такой, поистине «заоблачный», уровень прибыльности ныне возможен у нас только в энергосырьевых отраслях, спиртовом производстве, кое-где в торговле, в криминальном обороте, но никак не в высокотехнологичных, инновационных отраслях (особенно на первых порах).

Когда психология российского бизнеса изменится, когда он приучится работать из нормальных 5—15 процентов годовых прибыли — вряд ли кто решится сегодня предсказать. Во всяком случае, первое поколение российского бизнеса (старший и средний возраст), которое сойдет со сцены через двадцать-тридцать лет, в этом отношении представляется безнадежным. А будут ли их дети и внуки, которым предстоит действовать во второй четверти XXI века, более цивилизованными, менее алчными, более ответственными перед обществом и страной, можно только надеяться, но с уверенностью этого сказать нельзя. Надо заметить, что кое-какие надежды в связи с ростом образованности и расширением кругозора нашего делового сообщества все же вроде бы уже просматриваются.

Л.М.: С открытием нашей Силиконовой долины в Сколково появляются даже вроде реальные надежды. Особенно в треугольнике бизнес—государство—общество. Одной из его программ руководит и мой внук. И все же одного я никак не могу понять. Где гарантия того, что выпестованные в Сколково изобретатели, будущие лауреаты Нобелевских премий, не уедут за границу вместе со своими изобретениями? Что сможет их удержать в России? Нет и речи о каких-либо гарантиях до тех пор, пока не решится главный вопрос: кто будет иметь право на обладание интеллектуальной собственностью. Этим же вопросом задается и твой коллега академик Петраков. Он считает сложившееся положение ужасным, чтобы не назвать его дурацким. Ученые не могут считать себя не только обладателями интеллектуальной собственности, но и быть собственниками своих научных идей, не говоря уж об изобретениях. Поэтому они и продолжают эмигрировать за границу, как это сделали недавно двое наших новых нобелевских лауреатов.

Н.Ш.: Да, с этим нельзя не согласиться. До сих пор серьезного побудительного мотива для частной инновационной деятельности и ускоренного развития высокотехнологичных отраслей у нас в стране нет. При нынешней же идеологии, которой все еще руководствуются российские верхи, трудно надеяться и на то, что, если уж так

складываются дела, государство берет на себя основное бремя организации модернизационных «прорывов». Власть выдвигает лозунг «как можно меньше государства» в экономике. Не только в промышленном строительстве, но даже и в инфраструктурных отраслях. Но само же государство стремится вывести средства за рубеж и пустить в дело только малую часть возросших государственных доходов от мировых цен на нефть — все это приводит к тому, что в реальности в государственном секторе российской экономики действенного стимула к инновационному развитию как не было, так и нет.

Все последние двадцать лет близорукая политика высшего руководства — если не на словах, то на деле — исходит из того, что фундаментальные и прикладные исследования, образование, система здравоохранения, культура в тех масштабах, которых они достигли в советские времена, могут подождать. Произошло сокращение расходов на науку в 10 раз и на образование в 5 раз, государственные ассигнования на исследовательские цели доведены до абсурдных количеств — 0,3 процента ВВП (во всех высокоразвитых странах сегодня — 2—4 процентов ВВП). Сохраняется нарочито нищенский, ниже даже среднего по стране уровень зарплаты ученых, конструкторов, преподавателей, работников здравоохранения и культуры. Это принудительно вытолкнуло (и продолжает выталкивать) за рубеж наиболее талантливую, наиболее активную часть нашей творческой интеллигенции.

Даже при благоприятном развитии событий на то, чтобы воссоздать разрушенное — и по материальному обеспечению, и, главное, по кадрам, — потребуется теперь не меньше, чем двадцать лет. И многое говорит за то, что в ближайшие полвека Россия имеет все шансы превратиться в конце концов в «мировое интеллектуальное захолустье» даже при существовании Сколково.

Л.М.: Весьма символично, что двадцатилетие новой России совпало с такой же круглой годовщиной создания не существовавшего ранее Министерства чрезвычайных ситуаций. Оно, однако, не в состоянии было упредить, тем более не допустить чрезвычайной ситуации на улицах Москвы и других городов России на почве межэтнической и национальной розни. Как я уже упоминал, собравшееся по этому случаю чрезвычайное заседание Госсовета не сумело прийти к согласию о первопричинах случившегося.

Одни делали акцент на состоянии социального бытия, другие — на отсутствии общественного сознания и общенациональной идеологии. Впервые, кажется, публично выявилось и расхождение взглядов на это между президентом и премьером. Прежде всего — в оценке прошлого советского опыта в достижении национального согласия. Президент напомнил, что никакие социальные проблемы не могут оправдать хамства, вандализма и погромов. Против этого никто не стал возражать, но в беседе с главой Дагестана после уже заседания Госсовета Путин вспомнил, что при Советском Союзе были межнациональные и межэтнические конфликты, но не было такой ожесточенности в межнациональной розни. В чем же все-таки первопричина происходящего?

Н.Ш.: Конечно, ничего похожего на новую «пугачевщину» или новый 1917 год ожидать, думается, нет оснований. Россия на поколения и на века вперед, похоже, перенасытилась насилием и кровью. Но вот апатия, недоверие к жизни, неустроенность и нищета многомиллионных слоев населения, стремительно увеличивающаяся социальная пропасть между немногими невероятно разбогатевшими и основной массой населения, миллионы бездомных, беспризорных, брошенных на произвол судьбы людей, наконец, коррупция и криминал, превратившиеся, по существу, в норму жизни страны, — эти пороки современного российского общества продолжают, как ржа, подтачивать его изнутри.

Л.М.: Я лично, как бывший офицер советской армии, остаюсь просвещенным консерватором-марксистом. Конечно же социально общественное бытие определяет общественное сознание, но при отсутствии в нем толерантности общественное бытие тоже не становится лучше... В результате прорывов ни в бытии, ни в сознании ожидать не приходится. Соглашусь с новым мэром Москвы Собяниным — начинать надо с молодого поколения. Если же кое у кого энергия с желанием порезвиться бьет

через край, то не зазорным предлагает он отправлять кое-кого на дополнительные армейские сборы.

Н.Ш.: По-моему, было бы лучше направлять на общественно полезный труд, а не организовывать марши несогласных. Сам же соглашусь, общее социальное состояние страны не может не вызывать тревогу.

Конечно, не стоит ждать каких-то «прорывов» или какого-то взлета энтузиазма и творческой энергии трудящегося российского человека, об этом не приходится мечтать, пока не будут решены основные социальные задачи страны. Во-первых, ликвидирован глубочайший разрыв в средней зарплате между той, которая была и остается характерной для жизни вот уже, по крайней мере, четырех поколений россиян, и тем, что получают за такой же труд работники во всех высокоразвитых странах. Этот разрыв достигает сегодня величины порядка 6—10 и более раз. Во-вторых, должна быть уменьшена до социально-безопасного уровня разница в доходах между верхними и нижними по доходам 10 процентами населения, составляющая у нас сегодня уже 15:1 (а неофициально 60:1) при соотношении 6:1 во всех евро-атлантических странах. В-третьих, должно быть, наконец, построено подлинное «социальное рыночное хозяйство», гармонично сочетающее в себе рыночные и внерыночные (включая натуральные) формы удовлетворения общественных потребностей, прежде всего в социальном обеспечении, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальной сфере.

Пока во всех этих областях наблюдается движение не вперед, а назад — очевидный отход от общепринятых в мире принципов «социального рыночного хозяйства». Неясно, осознают ли опасность подобного курса поколения, которые будут жить и действовать в следующие полвека. Если осознают, то как быстро они сумеют преодолеть это состояние апатии, всеобщей растерянности и ощущение глубочайшей социальной несправедливости.

Одним словом, приходится считаться с реальной угрозой прекращения «самостоятельной истории» России или ее превращения в историю уже другого государства.

Л.М.: Создается картина, прямо скажем, безрадостная. Неужели нет более оптимистического альтернативного сценария на первую половину XXI столетия?

Н.Ш.: Почему же нет? Могут быть и другие сценарии. Исходя из прошлого России, весьма сомнительными кажутся все эти утверждения о том, что российский народ окончательно выдохся, устал, исчерпал все запасы своей творческой энергии. Вспомним, как не раз уже возрождалась Россия, по существу из небытия. Но возрождалась она отнюдь не ослабевшей, а, напротив, еще более могущественной.

Революция 1917 года, Гражданская война, коллективизация и сталинский террор, страшные потери во Второй мировой войне в своей совокупности стоили России много больше, чем затянувшийся ее современный системный кризис. Переживает она сейчас не финансовый и не экономический, а именно системный кризис. Нынешняя Россия расплачивается в основном еще по тем, старым счетам и долгам. Некоторые современные наши генетики имеют, видимо, основания утверждать в этой связи, что потери в генофонде страны за период 1917—1953 годов будут естественным порядком восстановлены лишь примерно через пять поколений. Но это как раз и будет середина XXI века! Это значит, что лицо и динамику России к этому времени будут, вероятно, определять люди, так сказать, первого сорта, а вовсе не то посредственное, худшее или даже наихудшее по качеству, что осталось в целости после всех трагических событий и передряг XX века.

Л.М.: Но всего этого можно было бы и избежать. Не знаю, как экономисты относятся к альтернативной истории, но еще до появления твоей статьи «Авансы и долги» у страны была и другая историческая альтернатива. Все зависело от пресловутой роли личности в истории. Уже после распада Советского Союза Аркадий Вольский, некогда состоявший в группе консультантов Андропова в бытность его генсеком, рассказывал нам с Чингизом Айтматовым, что этого можно было избежать. Оказывается, по указанию Андропова готовился план раздела Советского Союза на 41 область по административно-хозяйственному, а не по национальному принципу. Вольский был убежден, что подобная мера могла бы помочь сохранению целостности

страны. Однако новое административное деление страны так и осталось проектом — генсек умер, и план был заброшен. Проживи Андропов дольше, у Советского Союза имелся бы шанс если не сохраниться, то хотя бы минимизировать последствия глобального системного кризиса. Китай, как мне представляется, не считает себя частью капиталистической системы.

Н.Ш.: Ну, начнем с того, что Россия — не Китай, а россияне — не китайцы. Нам подавай коммунизм, как вешал всем лапшу на уши Хрущев, уже при жизни нынешнего поколения. Китайцы же готовы ждать даже десять тысяч лет. О названии системного или общесистемного кризиса спорить не приходится. Ныне его переживают, по-моему, все прежние «измы» XX века.

Говорят, что России нужна новая всеохватывающая и всех объединяющая национальная идея великой Россию. Однако не следует ждать появления какой-то спасительной новой идеи, мобилизующей на подвиги весь российский народ, — ей просто неоткуда взяться. В перспективе по меньшей мере двух ближайших поколений спасительной может быть только одна, в высшей степени простая идея. Это — общая цель всего российского общества: сохранение и благополучие народа, созидание, строительство, дальнейшее освоение и обустройство страны, достойная, надежная жизнь каждого человека и его близких. Этого, представляется, вполне достаточно не только для выхода страны из ее нынешнего системного кризиса, но и для «прорыва» России в политической, в социально-экономической, в культурной областях. Для современного мира такой стремительный подъем за жизнь одного-двух поколений вовсе не диковина: примеры известны — Германия и Япония после поражения во Второй мировой войне, «азиатские тигры», некоторые арабские страны, Бразилия, Индия, Китай и даже Южно-Африканский Союз, создавшие теперь вместе с Россией БРИКС. Нет никаких объективных оснований считать, что российский человек в массе своей глупее, или ленивее, или нравственно слабее кого бы то ни было в мире.

Л.М.: Коль скоро речь зашла о мире, настал черед поговорить о геополитическом местонахождении России в глобальном мире. Но, естественно, в контексте ее внутренней безопасности. Позволю себе напомнить, что появление первых признаков глобального системного кризиса почти совпало с объявлением Вашингтоном глобальной антитеррористической войны после 11 сентября 2001 года. Она и стала предвестником не столько новой эры глобализации, сколько глобального цивилизационного кризиса. С прекращением «холодной войны» Америке и России, как и Западу—Востоку в целом, пришлось столкнуться с новыми вызовами и угрозами постхолодного мира. Как в этой связи должна определять свое место Россия в известной, по Арнольду Тойнби, межцивилизационной системе «вызова—ответа»?

Н.Ш.: Даже если не очень надеяться на усиление международного коллективного регулирования современных противоречивых процессов, Россия в предстоящие два-три десятилетия вполне в состоянии выстроить собственную систему независимых, равноправных и взаимовыгодных отношений практически по всем направлениям международной политики и цивилизационных миров.

Можно вполне обоснованно ожидать, что отношения России с двумя пока ведущими центрами силы — США и Евросоюзом — будут все более и более приближаться к отношениям прочного стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и взаимном интересе. После стольких десятилетий балансирования на грани взаимоуничтожения ни Соединенные Штаты, ни Россия не являются сегодня и, похоже, не будут и в перспективе реальной угрозой друг для друга. По существу главной проблемой для США на будущее представляется возможный тесный союз России с их основным стратегическим соперником — Китаем. Но такое развитие событий тоже, по-видимому, отнюдь не обязательно должно стать реальностью.

В то же время в борьбе против новой мировой опасности — международного терроризма — США и Россия объективно уже стали союзниками, и в дальнейшем России, по логике вещей, предстоит обеспечивать «северный фронт» против агрессии исламского фундаментализма, имея в виду в первую очередь Центральную Азию и, возможно, Кавказ. В отношении же весьма сомнительной нынешней линии США на противодействие укреплению СНГ и поддержку всякого рода «цветных революций» перспективы сегодня далеко еще не ясны. Взять на свое содержание даже на какое-

то короткое время энное число внутренне слабых новообразованных государств США вряд ли когда решатся. А с опорой только на собственные силы эти государства имеют весьма малые шансы войти на равных в международную политическую и, главное, экономическую жизнь.

Ничем чрезмерно опасным не грозит России и перспектива ее взаимоотношений с Евросоюзом, даже если он станет расширяться и дальше. Уж во всяком случае, с этой стороны конца «самостоятельной истории» России ожидать не приходится. Военное столкновение между Россией и Евросоюзом невозможно, поглощение России европейским интеграционным процессом нереально. Присоединение Турции, Балкан, Украины, да еще и России может привести не к усилению, а к развалу всего исторического проекта «Единая Европа». Все имеющиеся сегодня разногласия между сторонами могут и, вероятно, будут со временем разрешены на основе взаимных компромиссов в обычном договорном порядке.

Более того, процесс дальнейшего «открытия» России (в том числе с вступлением ее в ВТО) значительно повышает ее привлекательность для Евросоюза как весьма перспективного партнера — и как энергосырьевой базы европейского континента, и как прибыльной сферы приложения капиталов, и как достаточно еще слабого в конкурентном отношении, но довольно обширного рынка, и, наконец, как обладателя пока еще мощного военно-промышленного и научно-технического потенциала, который, в случае чего, мог бы быть весьма полезен и для объединенной Европы.

Принятая уже сторонами на вооружение концепция «четырех общих европейских пространств», при всей ее аморфности, имеет все шансы в перспективе ближайших десятилетий далеко продвинуть Россию по пути превращения ее в безусловно европейское государство. Свобода передвижения через все европейские границы товаров, капиталов, знаний и людей, сближение правовых основ государственности, гарантии прав человека — если подобная цель будет достигнута за период смены всего двух поколений, это будет означать грандиозный исторический успех для нашей страны.

Л.М.: Не получится ли так, что Россия может стать членом Европейского союза раньше, чем реализуется проект Союзного государства Россия—Беларусь и Таможенный союз трех государств с участием Казахстана в рамках Евразийской организации экономического сотрудничества? По-моему, не стоит забывать, что Россия — как евразийское государство — не может существовать вне системы цивилизационных координат в дихотомии Востока—Запада, Европы и Азии. Самое время вспомнить, что и само слово «союз» (со-узы) имеет славянские корни.

Н.Ш.: Конечно, Россия не только европейская, но и евроазиатская страна, и с этим нельзя не считаться. Будущее России (особенно ее восточных регионов) в значительной мере зависит от того, как ей удастся прежде всего выстроить свои отношения со странами СНГ, Центральной Азии и с лидером восточноазиатского сообщества — Китаем.

История много чему учит — между прочим, и тому, что Срединная империя за долгие тысячелетия своего существования никогда не отличалась стремлением к территориальной экспансии, за одним, по существу, исключением (речь идет об Индокитае). Не территории интересуют Китай, а, во-первых, возможности укрепления его энергосырьевой и водной базы, включая активное участие в разработке ресурсов таких соседей, как Россия и Казахстан; во-вторых, новые рынки для его традиционной, а теперь и высокотехнологичной продукции; в-третьих, облегчение условий, причем повсюду в мире, для миграции наиболее подвижной (но всегда лишь маргинальной) части населения страны в поисках занятости и сфер приложения своих капиталов.

К настоящему времени политическая база для долговременного сотрудничества и взаимодействия России и Китая создана. И есть все основания ожидать, что даже такой сложный, деликатный вопрос, как трудовая миграция (в которой, следует подчеркнуть, заинтересованы обе стороны), со временем тоже найдет свое нормальное, то есть договорно-правовое, разрешение, что позволит взять под взаимный контроль и соответственно дозировать стихийно складывающиеся миграционные потоки.

Приоритетными остаются и будущие отношения России со странами СНГ, остающимися традиционной сферой российского влияния даже после выхода Грузии из Содружества и столкновения с ней. Конечно, прежний Советский Союз никогда, вероятно, уже не будет восстановлен. Но создание и утверждение в грядущие полстолетия своего рода свободной конфедерации независимых постсоветских государств, костяк которой составят Россия, Белоруссия и Казахстан и присоединиться к которой, не исключено, может и ряд других постсоветских стран, это вполне, по-видимому, реальная перспектива, тем более — после пережитого кризиса в отношениях с Украиной. Слишком многое и слишком долго связывало все эти страны во всех областях жизни их народов, чтобы полностью отказаться от оценки так называемого «постсоветского развода» как исторически кратковременного замешательства. Сами по себе эти новообразованные государства, по большому счету, не нужны сегодня в мире никому, а самостоятельно, вне тесной связи друг с другом и с Россией, их реальный экономический потенциал при нынешних масштабах международной конкуренции вряд ли жизнеспособен. И даже в такой специфической области, как энергетика, каспийские и прикаспийские энергоресурсы (которые Запад сегодня рассматривает как резервные на случай широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке или осложнений в Латинской Америке) могут быть эффективно и, главное, надежно освоены лишь в рамках крупнейшего многостороннего международного проекта, не противоречащего, а, напротив, стимулирующего интеграционные процессы на постсоветском пространстве, наряду, конечно, с самым активным участием всех заинтересованных западных партнеров.

Однако безусловная необходимость свободы передвижения на постсоветском пространстве товаров, капиталов, знаний и людей, без чего немыслимо себе представить ни сохранение в этих странах их старого, оставшегося от прежних времен экономического потенциала (кому еще в мире нужен, например, украинский сахар?), ни поддержание занятости их населения, ни развитие их науки и образования, ни, тем более, их серьезный прорыв на новые высокотехнологичные мировые рынки, — это лишь одна сторона вопроса. Другая же состоит в том, что без опоры на взаимное сотрудничество, и в первую очередь с Россией, в ближайшие полстолетия не может быть решен, скажем, такой исторически наиважнейший вопрос, как обеспечение стран Центральной Азии водой, или реализовано на деле строительство новой системы коммуникаций Запад—Восток, или урегулирована проблема самопровозглашенных непризнанных государств, или, наконец, обеспечены традиционные гарантии существования Армении и той же Грузии, особенно в условиях нарастающей агрессии исламского фундаментализма. Думается, что по всем этим направлениям в предстоящие десятилетия инициатив следует ожидать не столько от самой России, сколько именно от других постсоветских государств. От России в данном контексте нужно только, во-первых, навести наконец порядок в собственном доме и, во-вторых, отойти от нынешней нейтральной (а иногда даже и деструктивной) позиции в отношении своих постсоветских партнеров.

Л.М.: В недавно вышедшем политическом бестселлере В.Соловьева и Н.Злобина «Путин — Медведев. Что дальше?» утверждается, что за прошедшие теперь уже двадцать постсоветских лет Россия и Запад полностью перестали доверять друг другу. Что касается российско-американских отношений, то они, как их ни «перезагружай», все равно приближаются к «мягкой холодной войне». Со стороны Востока и Юга Россия, как ни старается, не может избавиться от вызовов и угроз. Так в каком же кильватере ей придется в XXI веке следовать?

Н.Ш.: Ни в какой кильватер России в будущем выстраиваться не надо. В нарастающем соперничестве США с Китаем нам незачем выбирать ничью сторону. Предпочтительнее сохранять максимально добрые отношения с обоими соперниками. Россия, если ей удастся наконец преодолеть нынешний системный кризис, имеет все шансы оставаться и впредь влиятельнейшей, самодостаточной во всех отношениях страной. Для этого надо иметь надежную оборону, мощную экономику, высокоразвитую науку и культуру. Быть страной, открытой для делового сотрудничества со всеми, кто проявляет к этому искренний интерес. Между прочим, это касается и ощутимой уже сегодня подспудной борьбы между США и Китаем за доступ в перспек-

тиве к разработке российских энергосырьевых ресурсов, особенно в восточных районах страны. Как говорил когда-то А.П.Чехов: «Чего толкаться-то? Всем места хватит». И если у России будет достаточно терпения и умения удержать в собственных руках политический контроль над постепенным своим врастанием в глобальную экономику, ничего, кроме пользы, конкуренция между мировыми центрами силы в подобных областях для страны не принесет.

В целом в обнадеживающем, думается, направлении развивается и внутриполитическое устройство России. Страна всерьез приступила (по сути, впервые в своей истории) к строительству демократического общества, и теперь, похоже, ничто, кроме угрозы вторжения извне, не может свернуть ее с этого пути. Будет ли у нас, учитывая российские традиции, своего рода «демократический цезаризм», или классическая парламентская демократия, или федерация с обширными полномочиями регионов, аналогичных, скажем, правам американских штатов, или канадских провинций, или даже швейцарских кантонов — на предстоящие полстолетия не это представляется главным. Основная задача для двух, как минимум, ближайших поколений — создание прочного фундамента под всем зданием российской демократии, а именно, действенной системы местного самоуправления. На это, между прочим, ведущие демократические страны потратили целые столетия. Дважды делала попытки и Россия: в середине XVI века (в первой половине царствования Ивана Грозного) и во второй половине XIX — начале XX века (земство). К сожалению, терпения, как говорится, не хватило. Сегодня же мы вновь лишь в начале пути. Но без выборной, ответственной и в финансовом смысле самостоятельной системы местного самоуправления Россия вряд ли может рассчитывать на истинный подъем творческих сил народа, на утверждение законности и порядка сверху донизу и если не на искоренение, то, по крайней мере, на обуздание разъедающих ее изнутри коррупции и преступности. А с мелкими локальными конфликтами, возникающими по самым разным причинам то тут, то там, ей, по-видимому, придется уживаться еще долго. Показателен в этом отношении пример многодесятилетней борьбы Великобритании с северо-ирландскими сепаратистами или Испании с движением басков.

Думаю, не следует недооценивать и реальные возможности заметного ускорения социально-экономического развития России. Даже самая болезненная в смысле перспектив проблема страны — демографическая — при соответствующей целенаправленной политике может быть, по-видимому, так или иначе решена. Конечно, это потребует колоссальных усилий не только со стороны государства, но и от всего российского общества. Во-первых, в самом близком времени государство должно изыскать необходимые средства (а они у него есть) для всемерной поддержки семьи, поощрения рождаемости, создания разветвленной системы льгот, в первую очередь жилищных, для молодых семей, ликвидации национального позора страны — бездомности, беспризорности, заброшенности миллионов людей, от детей-сирот до беспомощных стариков и инвалидов. Во-вторых, необходимо возродить прежнюю переселенческую политику России, благодаря которой за исторически короткие сроки ей удалось хотя бы отчасти освоить и заселить Сибирь и Дальний Восток. В-третьих, нужно устранить все административные и, что, может быть, даже еще важнее, массово-психологические препятствия перед иммиграцией на территорию России не только русских и русскоязычных, но и всех других граждан из бывших советских республик. Вполне возможно, в частности, что именно такая иммиграция станет одним, если не главным, способом заселения пустеющей российской деревни и малых городов. В-четвертых, не будет ничего удивительного, если в предстоящие полстолетия российское руководство обратится вновь к политике, которую наиболее масштабно и успешно начала проводить еще Екатерина II, организовавшая массовое переселение в Россию иммигрантов из других европейских стран.

Л.М.: А кого больше можно ожидать?

Н.Ш.: Будут ли это выходцы из стран Европы, или из Китая, или это будет даже такой экзотический вариант (предлагаемый сегодня, в частности, видным российским африканистом А.Б.Давидсоном), как приглашение постепенно вытесняемых из Южной Африки буров и других потомков европейцев, — трудно сейчас гадать. Проблема, несомненно, требует самого тщательного и добросовестного изучения. Но

то, что Россия вновь может стать своеобразным «плавильным котлом» для самых разных национальностей, каким она практически на протяжении всей своей истории была для многих угрофинских, тюркских, монгольских, кавказских, не говоря уже о славянских, народов, — такую возможность сбрасывать со счетов никак нельзя.

Вера в лучшее будущее России позволяет надеяться и на то, что в не столь уж отдаленной перспективе в ней сложится экономическая система, в которой исчезнет, наконец, во многом искусственный конфликт между государством и рынком, государственной и частной собственностью, государственным регулированием и свободой предпринимательства. Уже сегодня просматриваются некоторые признаки того, что российское общество готово признать основные результаты пусть и скоропалительной, но ставшей уже непреложным фактом приватизации: новый передел собственности (не важно, в пользу ли государства или же других частных лиц) обойдется, что называется, себе дороже, это может лишь резко нарушить только-только возникающее в стране состояние стабильности.

Можно, конечно, ожидать, что крупнейшие частные корпорации будут вынуждены предоставить обществу в лице государства какую-то одноразовую компенсацию за, по существу, бесплатно приватизированные активы. Можно и даже должно ожидать, что вместо существующей еще и поныне несправедливой формулы деления рентных доходов от энергосырьевых ресурсов между бизнесом и государством будет выработана новая формула, приближающаяся к той, что действует в таких, например, странах, как Норвегия и Саудовская Аравия. Весьма вероятно, что Российское государство перестроит в недалеком будущем и свою налоговую систему, с одной стороны, освободив от налогов все капиталовложения в расширение или модернизацию производства, а с другой — отказавшись от «плоской шкалы» налогообложения частных доходов без различия их уровня и происхождения, что мало кому присуще в мире сегодня, кроме России.

Л.М.: Но вот тут и встает вопрос не «что», а «как» и в какой последовательности это делать...

Н.Ш.: Государство, особенно в наших конкретных условиях, должно сосредоточиться на главных экономических функциях, которые еще длительное время просто некому будет выполнять, помимо него самого.

Это, во-первых, дальнейшее развитие основной части инфраструктуры страны: дорог, коммуникаций, трубопроводов, электроэнергетики, водохранилищ, мелиорации, крупных портов, общественных зданий и сооружений, школ, больниц, природоохранных систем и т.д. Во-вторых, еще долго (если не всегда) будет существовать необходимость в казенных заводах, прежде всего оборонного назначения. В-третьих, государственные средства, помимо прямой инвестиционной деятельности, должны стать фундаментом всей кредитной системы страны, тем кредитором и страхователем «последней инстанции», каким государство является во всех благополучных странах. В-четвертых, без государственной помощи — в виде налоговых послаблений, льготных кредитов, защиты от бюрократического и криминального рэкета и прочего — малый и средний бизнес, давно уже ставший во всем мире основным двигателем экономического прогресса и источником инноваций, никогда не окрепнет и не выйдет из «тени». Пока «в тени» создается, по различным оценкам, свыше 40 процентов ВВП страны.

Столь же необходима государственная помощь и аграрному сектору, будь то индивидуальное фермерство, или нарождающиеся фермерские кооперативы, или агропромышленные компании: без прямой бюджетной поддержки этого сектора нигде в мире не обходится — ни в развитых, ни в развивающихся странах. И наконец, в-пятых, нигде, даже в самых «рыночных» экономиках, наука, образование, здравоохранение и культура не существуют без решающего участия государства в их содержании и финансировании. И вряд ли российский бизнес, даже при наиблагоприятнейших условиях, когда-либо сможет взять эту функцию целиком на себя.

Разумеется, как регулятор общего экономического климата, как бесспорный источник норм и правил поведения, государство незаменимо в любой системе. Деньги, бюджет, налоги, валюта, общегражданское и общехозяйственное законодательство — это всегда было и останется прерогативой государства. Никто не оспаривает

сам этот принцип, сомнениям и спорам подвергается реализация его на практике, особенно первоочередность задач.

Представляется, что сегодня в регулирующей деятельности Российского государства особо важное значение приобретают: во-первых, создание самых твердых гарантий неприкосновенности частной индивидуальной и корпоративной собственности, принуждение к соблюдению бизнесом общепринятых норм деловой этики, борьба против всех квазизаконных и вовсе незаконных способов захвата чужой собственности, против коррупции, организованной преступности и криминального оборота; во-вторых, восстановление (путем намного более существенных, чем сегодня, государственных гарантий) подорванного доверия внутренних и внешних инвесторов к российской кредитно-финансовой системе; в-третьих, отказ от абсурдной по своей сути политики бюджетного профицита или чрезмерного ограничения его дефицита, противоречащей всей веками устоявшейся мировой практике и резко ограничивающей бюджетные расходы как раз тогда, когда сокращать их нельзя ни под каким видом; в-четвертых, проведение самой жесткой антимонопольной политики, поскольку в сложившихся у нас условиях не только и даже не столько денежный фактор, сколько безответственная деятельность естественных и рукотворных монополий является основной причиной все еще незатухающей инфляции.

Л.М.: Но как быть и как поступать с нашим «диким рынком»?

Н.Ш.: Определенный оптимизм здесь внушает и то, что российский дикий рынок 90-х годов понемногу, похоже, нормализуется. Эпоха «баронов-разбойников» в силу естественных причин приближается, кажется, к своему закономерному концу, и на смену им уже видится приход новых поколений деловых людей, привыкших или привыкающих соблюдать общепринятые в мире «правила игры». Остается все меньше и меньше сфер бизнеса, где сохраняется возможность работать не из нормальных, а из заоблачно высоких прибылей, нормальной становится привычная миру психология «клиент всегда прав», все шире распространяется практика решения хозяйственных споров в обычном судебном порядке, сама собой постепенно исчезает ничем и никогда, казалось бы, не истребимая многомиллионная армия «челноков», все более появляется признаков, что социальная ответственность отнюдь не так уж и чужда российскому бизнесу, особенно если он уже вышел из стадии «первоначального накопления». Как говорил когда-то Л.Н.Толстой, в конце концов «все образуется»: российский бизнес только-только начал выходить из стадии бурного, но все-таки детства, и те 5—6 процентов населения, которые во всем мире составляют слой предприимчивых людей, как обнаружилось, сохранились и у нас, несмотря на все трагедии XX века. От государства этим людям нужно одно: не мешать им, а помогать, и не менять, по мере возможности, слишком часто «правила игры».

Л.М.: А как решать то, что ты называешь отдельным вопросом: как остановить утечку капитала из России?

Н.Ш.: После краткого замедления она в последние пару лет вспыхнула с новой силой. Любые административные меры (да и налоговые тоже) могут в этом отношении дать лишь временный и весьма ограниченный эффект. Между тем от решения проблемы прямо и непосредственно зависит будущее страны в перспективе ближайших десятилетий. Ключевое слово здесь, по-видимому, одно: *гарантии*. Иначе говоря, твердые государственные гарантии того, что никаких угроз для частной собственности Российское государство не допустит и что в стране всеми силами будет сохраняться политическая, экономическая и социальная стабильность, не меньшая, чем в тех странах, куда наш капитал убежал и все еще убегает. Создания этих же условий требуют и наши надежды на то, что в недалеком будущем вслед за реэмиграцией российского капитала последует приток капитала истинно иностранного, но уже не в экспериментальном, так сказать, а в массовом порядке.

Два поколения — достаточный срок и для того, чтобы избавиться от еще одного наследственного порока России: недопустимо заниженной и до сих пор занижаемой оплаты человеческого труда. Доля зарплаты в ВВП страны сегодня составляет 30—32 процента, во всех экономически передовых странах — 50—70 процентов. Нечего и говорить, как это неблагоприятно сказывается на трудовой активности российского человека, на его творческой отдаче и его морали. Вынужденное безделье, преступ-

ность, алкоголизм, наркомания, неустойчивость семьи — это все в первую очередь порождение бедности, а не его, человека, греховной природы.

Уже сегодня могла бы начаться воистину историческая и главная для страны социальная реформа: доведение в ВВП доли оплаты труда до уровня других высокоразвитых стран. Если бы сегодня был принят закон об обязательной минимальной оплате труда, скажем, 3 долл. в час (500 долларов в месяц), это означало бы рост доли зарплаты в нашем ВВП примерно до 40—50 процентов. Конечно, подобный, поистине радикальный сдвиг в социальном устроении страны не может быть достигнут в одночасье: он потребует времени. Однако без него трудно рассчитывать не только на резкий подъем производительности труда и оживление экономики, но и на создание какого-то социально устойчивого, эффективного баланса между рыночными и внерыночными формами предоставления населению жизненно важных социальных услуг.

Л.М.: И когда можно ожидать такого сдвига?

Н.Ш.: Будет ли подобный поворот достигнут в процессе цивилизованной парламентской борьбы, или он произойдет стихийно, или он станет результатом оживления и у нас широко распространенного в мире трехстороннего социального партнерства (государство—работодатель—профсоюз) — трудно сейчас сказать. Но одно ясно: бедность, преднамеренно насаждавшаяся в течение многих десятилетий в стране, всегда была и остается тем главным тормозом, который не позволяет ей занять в мировой цивилизации место, отвечающее ее масштабам, ее культуре, ее природным и человеческим ресурсам.

Таким образом, при благожелательном и по возможности непредвзятом взгляде на вещи баланс между пессимистическим и оптимистическим прогнозом развития России в ближайшие полвека складывается примерно в соотношении 49:51 в пользу последнего. Разумеется, еще более важную роль, чем логика, в подобных оценках играет вера: кто-то верит в катастрофу, кто-то в лучшее будущее — так оно было и так будет всегда. Но даже если руководствоваться одной чистой логикой, нельзя ни понять, ни, тем более, оправдать упорное отрицание нынешними российскими верхами необходимости иметь ясный для всех — и для властей, и для бизнеса, и для самой широкой общественности, и для наших зарубежных партнеров — стратегический, долгосрочный план развития страны, который, среди прочего, включал бы в себя также и долгосрочную структурную (промышленную) политику. «Авось куда-нибудь кривая сама вывезет» — этот известный принцип для многих, конечно, удобен. Но он никак не удобен для страны, внезапно вдруг потерявшей свою прежнюю цель и не обретшей до сих пор вместо нее ничего, что отвечало бы уверенному продолжению ее от века «самостоятельной истории».

А в качестве своеобразного итога этой самонадеянной попытки заглянуть куда-то в середину нынешнего века не вредно было бы, думается, вспомнить мысль, высказанную как-то нашим крупнейшим математиком и футурологом академиком Н. Н.Моисеевым (однажды всполошившим, между прочим, весь мир своим прогнозом «ядерной зимы»): нет смысла загадывать и прогнозировать дальше, чем на пятнадцать-двадцать лет вперед, ибо за это время в мире обязательно произойдет что-нибудь такое, что перевернет все с ног на голову. Кто-нибудь мог, к примеру, предсказать даже не за двадцать, а всего лишь за пять лет до того, такое всемирно-историческое событие, как внезапный самораспад Советского Союза? Или трагедию 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке? Или, скажем, кто знает, как отреагирует мировое сообщество, если в предстоящие полвека на Землю вдруг все же опустится долгожданный корабль каких-нибудь инопланетян?

В отношении же места России, будь то в дихотомии Востока—Запада или Севера—Юга, можно с достаточной уверенностью сказать, пожалуй, лишь одно: через пятнадцать-двадцать лет Россия не станет ассоциироваться и не сможет идентифицировать себя ни с одним из этих миров. Но, скорее всего, она наконец расплатится по всем своим и старым, и новым историческим и человеческим счетам. А что будет дальше — это знает, вероятно, лишь Верховный Судия, который ждет. Но хватит ли и у него терпения?

Александр Супрун

Хождение в Европу, или Принудительное знакомство с азами капитализма

Документальная повесть

1

Чтобы «въехать в тему», немножко расскажу о себе.

Жизнь до перестройки опускаю. Там было молодо, живо, интересно — но это не про нас, современных. То были иные времена, совершенно другие люди. Плевать на них не стану, да и вам не посоветую. Хотя в те далекие годы я сильно скалился на общественные порядки. Не нравилось мне государство, а особенно его начальники. Злился на мизерные зарплаты, убогость быта, дурацкие условности и мероприятия. Хотелось воли, хоть немножко Америки, побольше денег… Казалось, вот ослабит партия вожжи и мы рванем — доскачем за «пятьсот дней» до уровня помпезных небоскребов капитализма.

Надежду подогревала горбачевская болтовня: «Так жить нельзя». Я очень соглашался с генсеком. Поверил придурок: наконец-то позволят зарабатывать достойно. Без колебаний примкнул к вольным кооператорам.

Занялись газификацией сел. Дело пошло удивительно гладко. Налоги тогда были маленькие, зарплата — приличная. Работали по государственным расценкам — быстро и качественно. Даже селяне руки нам благодарственно тискали. Бодренькие и счастливые, гоняли мы по долинам и по взгорьям, уверенно размечая трассы и дальние перспективы. Принарядились, повеселели жены и окрепли семейные бюджеты.

Но в Беловежской Пуще уже накрывали столы. «Наследнички» запировали — вошли в загул. Решили делиться — вместе начальникам тесно. Никого не спрашивая, порезали одуревшую державу, как плавленый сырок. Со страной ушли колхозы — основные наши заказчики. Дела обрушились. Вдобавок мода на переделы достигла «низов». Вот и в нашем кооперативе вызрели «индивидуалы», возжелавшие хапануть совместно нажитое. Начались раздрай и грызня. Обманутый костяк поувольнялся. А без квалифицированной работоспособной команды заверховодили проходимцы. Деградация происходила медленно, но неотвратимо…

Супрун Александр Павлович живет на Украине, во Львове. Геодезист по образованию, он освоил множество профессий, работал маркшейдером, генпланщиком, дорожником, конструктором, дизайнером, художником, фотографом и имеет несколько рабочих специальностей. В настоящее время составляет проекты по ландшафтному дизайну. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Энергии и азарта на новую авантюру еще хватало. Семеро недобитых оптимистов решили производить мебель. Арендовали сгоревшее здание, отремонтировали его. Установили станки и оборудование, начали работать. Отбились от инспекторов, бандитов, освоили технологию. Появились клиенты и даже прибыль... Но история повторилась. «Самый умный» из нас попытался подъедать «общак» в одиночку. Не съел — подавился бедолага, но доверие убил. После мордобоя фирма разбрелась.

Облаяв и проклявв все человечество, я решил зарабатывать на жизнь самостоятельно. Слава богу, талантами не обижен; пригодилось давнишнее увлечение живописью. Стал писать и продавать картины. «Живописал» всерьез. Позже реализовывал работы в Москве за немалые деньги. За границу ушло многое. Но городской вернисаж прозябал — в обнищавшем городе Львове массам было не до картинок. Там и в добрые-то времена местный прижимистый люд не очень спешил тратить «копийку — на цяцькы». Вырученных денег едва хватало на еду.

Вот тут меня и прижало. Доходов нет, перспективы никакой, настроение висельника.

Как с неба, раздался звонок из Москвы. Приятель предлагал работу в австрийской фирме. Он предупреждал: работа не простая. Но я, уже не слушая, дал согласие.

Желание сорваться с места стимулировалось не только безденежьем. Тогда обстановка во Львове сложилась ужасная. Предприятия остановились (стоят ободранные и сейчас). Их корпуса походили на декорацию к военным фильмам: пустые оконные проемы, битое стекло, ободранные стены, ржавое железо... Работы нет. Там, где недограбленное производство еще шевелилось, заработанную плату не выдавали годами. Да и подачку в тридцать долларов трудно назвать зарплатой. Осмотришься вокруг — жить не хочется: грязь, мусор, разбитые дороги. Из квартиры не выползал бы. В транспорте — одни тоскливые лица или злобные морды. Ночью на улицах сплошной мрак. Дети, от незанятости и беспризора ставшие шпаной, сбиваются в стаи, рыщут в поисках развлечений. Вдобавок приторно-нудная атмосфера лжи, лицемерия и трусливой ненависти, привнесенная добравшимися до власти. Жить в подобной среде возможно, лишь изолировав себя коконом из приемлемого быта. А кокон требует кучу денег...

2

Но долой тоску! Пора действовать. Промозглым ноябрьским утром 93-го я волок от Киевского вокзала тяжеленную сумку. Ковылял в неизвестность. А точнее — на Краснопресненскую набережную Москвы. О фирме, которая меня наняла, был наслышан (ранее она бралась возводить отель в центре Львова, да передумала). Считалась фирма российско-австрийской и именовалась, сокращенно, «АМР». Что в ней российского, я не понял и позже — все руководство было австрийское.

Московская стройка, где мне предстояло работать, располагалась на улице Николаева, в двух шагах от Белого дома — прямо на берегу реки. Место живописное, но зажатое между «хрущобами». Очами видно: строительные командиры не из «наших» — не наблюдалось привычной глазу славянской расхристанности и разбросанности. Громадина возводимого здания лезла ввысь прямо из-за забора, как доспевшее тесто из формы. В тесной щели между оградой и растущими стенами подрядчики умудрились разместить: бетонный завод, два башенных крана, грузовой лифт, вагончики бытовок в два этажа, склады, проходы. Явно кто-то с нерусской мелочностью стремился оправдать каждый цент земельной ренты.

Перед воротами — классическая картинка времен Великой депрессии: темно-серая толпа людей, жаждущих работы, и плотные охранники с «демократизаторами». По гулким деревянным трапам меня препроводили в комнату к начальнику, громкий голос которого слышен был уже при подходе, сквозь дверь.

Шеф впечатлял! «Морской волк» — определил я про себя (очень походил на капитана Ларсена из советской экранизации Джека Лондона). Пятьдесят шесть лет. Плотный. Слегка вытянутое лицо с хищным тонким ноздрястым носом. Глаза мутные, выпученные. Разговаривал громко, медленно, лаконично, не глядя на собесед-

ника. Скорее командовал, чем разговаривал. Без сомнения, то был Хозяин над собой и подчиненными. Звали его Герберт Гаузер. (В просторечье при переводе с немецкого согласную «г» всегда меняют на «х», поэтому рабочие обращались к герру Гаузеру: «хер Хаузер».) Помню, в голове мелькнула тревожная мысль: с этим «хером» скучно не будет.

Вначале босс объяснялся со мной через переводчика, но когда услышал, что я отвечаю по-немецки, общаться стало проще. Правда, лишь в словесном плане. От австрийца не исходило ни капли приветливости или доброжелательности. Взгляд холодного равнодушного таксатора, намеренного только ставить отметки и выбраковывать, без поблажек.

В первый день шеф очертил круг моих обязанностей, не познакомив ни со структурой стройки, ни с хозяйством, ни с людьми. Все это мне пришлось «догонять» самому. Не буду повторять его методу, нарисую вам общую картину предприятия.

По проекту предполагалось выстроить шестнадцатиэтажное здание из монолитного железобетона. Заказчиком выступал московский «Токобанк». Генеральным подрядчиком, то есть главным распорядителем отпущенных на строительство денег, была австрийская фирма «АМР». Гаузер уверял: это большая фирма европейского масштаба, во что верилось с трудом. Причина сомнения: почти полное отсутствие у предприятия собственных строительных мощностей. Все оборудование, механизмы и большая часть коллектива принадлежали подрядчикам низшего ранга, которые и выполняли основную работу. Роль «АМР» была руководяще спекулятивная. Лишь небольшая бригада, в тридцать-сорок сотрудников, непосредственно подчинялась Гаузеру. При почившем социализме такую фирму осудили бы как пиявку-эксплуататора.

А громче всех гремела механизмами швейцарская фирма «Ляй». Она рыла котлован, укладывала фундамент, возводила бетонную коробку здания. Самосвалы, подъемные краны, бульдозер, бетонный завод — все это «Ляй». Соответственно и коллектив у нее был самый многолюдный. Руководила там еще одна колоритная фигура — инженер Урс. Невысокий, рыжий, вечно то ли поддатый, то ли обкуренный швейцарец, щеголявший массивной золотой цепью на шее. Знавшие его говорили, что Урс толковый инженер. Вполне похоже на правду — работали ляйевцы быстро и на момент моего приезда успели соорудить коробку шестого этажа.

По мере надобности «АМР» нанимала множество других подрядчиков со всей Европы, но о них расскажу позже.

Работу на фирме я начал в должности геодезиста. Смысл службы состоял в предварительном прочтении строительных чертежей и в разметке всех рабочих операций. Линиями наглядно размечались проекции мест монтажа будущих объектов: стеновых перегородок, дверных проемов или сантехники... В отличие от наших строек, здесь мастер не бегал с рулеткой, чтобы определиться «в натуре». Контуры разметки наносились синими линиями заранее — на стенах, потолках и на полу. Все, до мельчайших подробностей. Пользуясь разметкой, рабочий, не задумываясь, делал потом свое дело. Такой подход мне нравился. Он существенно повышал производительность труда. Определялись даже параметры, которые у нас вообще никогда не учитывались. Например, все окна фасада выставлялись строго в единой плоскости. Красиво, когда отраженные в стеклах облака образуют неискаженную целостную зеркальную картинку.

Понятно, что забот у геодезиста хватало — он один готовил разметку для всех. Спешка, цейтнот, большая ответственность. Любое неправильное прочтение чертежа или ошибка в промере могли привести к издержкам и к скандалу. Пришлось с ходу принять резвый темп и бегом перемещаться по зданию. Из-за того, что я постоянно маячил перед глазами, поддатый Урс обозвал меня «шпионски». И был близок к правде, всю нужную мне для работы информацию приходилось добывать с огромным трудом.

Условия труда не предполагали уюта и комфорта. Рано пришла зима, сырой бетон стен промерз и заиндевел. Ледяные сквозняки гуляли по зданию, свободно подпитываясь от промозглых ветров с набережной. Погреться негде. Серый зимний день заканчивался быстро, и в здании воцарялся тяжелый суматошный мрак. Авст-

рийцы жмотились на общее освещение, поэтому кромешную тьму лишь местами разрывали галогенные переноски. Темнота укрывала и настоящие опасности. Новичок, не знающий топографии здания, элементарно мог гулькнуть в неогражденные межэтажные проемы. Сюда бы инспектора по технике безопасности — накатал бы целые тома актов о нарушениях... Но о такой должности на стройке и не слыхали.

Морально я был готов ко всему и сильно от дискомфорта не страдал. Больше поразили отчужденность и холод в общении. Стройка шумела и грохотала механизмами, раздавались возгласы и даже ругань, но никогда я не слышал раскатов смеха. Меня, привыкшего к труду в коллективах, к атмосфере ироничных и доброжелательных подколок, такая обстановка настораживала. Правда, называть коллективом эту массу людей неверно. Похоже, никто и не задавался целью сплотить работяг в команду. Даже иерархические построения не служили идее коллективизации. Никаких бригад, бригадиров, мастеров. Производственная единица — рабочий (часто с помощником). Утром получал он задание, инструменты и участок работ, а затем, ни с кем не общаясь, тупо молотил в своем забое. Дисциплина жесткая. Перекуры, приседания вводили австрийцев в бешенство и грозили нарушителю немедленным увольнением. Никаких хождений «в гости» или «поболтать». Полчаса на обед — весь отдых. Опасность быть застуканным угнетала лишь какое-то время (наши люди обязательно нащупывали слабину в надзоре и умудрялись посачковывать).

Постепенно и я вмерзал в стройку. Не скажу, что гармонично. Хотя прошли первые бесконечные две недели, по-прежнему большинство мелькавших равнодушно неприветливых лиц оставались мне незнакомыми. Это обстоятельство слабо поощряло мою самоуверенность.

Я мог рассчитывать только на поддержку профгруппки братьев-геодезистов. Они помогли разобраться с немецкими чертежами, объясняли тонкости строительной технологии. Для меня, брошенного на произвол, удовлетворение любого «что? где? когда?» стоило многого. И болезненный жилищный вопрос друзья помогли решить.

Ночевали мы с коллегами в хрущевке, в двух шагах от места работы, что среди нашего брата считалось большой удачей. Для многих проезд до места работы напоминал побег под обстрелом. Добиравшиеся на стройку из Подмосковья каждый день несли потери в борьбе с милицейскими патрулями. Те безошибочно вычисляли гастарбайтеров, выдергивали их из людского потока в метро, в электричках, издевались и ощипывали нещадно.

А у нас — три королевские раскладушки в отдельной тринадцатиметровой комнате трехкомнатной квартиры. Несколько смущало постоянное присутствие хозяев. Но отсутствие такого довеска означало бы немедленный рост цены за проживание до запредельных высот. Жаловаться на тесноту мы считали за грех. Собственниками квартиры оказались милые люди — чета пенсионеров. Хозяйка сутками не отводила глаз от телевизора, а больной хозяин вообще не ходил, зато, не переставая, кашлял. Понятно, что в такой обстановке каждый стремился забиться в свой угол и поменьше шуметь. Но нашим телам требовались ванная, кухня, туалет. Поэтому случались и накладки.

Периодически скромными квартирантами интересовался участковый инспектор, но никак не мог нас застать. Мы уходили — он еще спал, приходили — уже спал. Однажды — застал-таки, паразит! Ежемесячно пришлось его «убеждать», что мы «хорошие».

Понемножку все утряслось, и мое внутреннее состояние перестало напоминать зудящий от напряжения трансформатор. На службе уже понимал, чего от меня хотят, быт устроился. Родилась иллюзия стабильности. Но покой нам только снится!

3

От удара тяжелой ладони дверь распахнулась настежь... Плавно и неумолимо, словно океанский лайнер, в прорабскую заплыл Гаузер. Огибая стол, ни на кого не глядя, швырнул он мне на стол тяжелую подшивку с документами.

— Так, Александр!.. Будешь главным специалистом по Кнауф-системе! — прорычал австриец нежданный приговор.

Поскольку сказано было по-немецки, я подумал, что чего-то недопонял. Никакой Кнауф, тем более его система, в моих знакомых не числились...

— Что смотришь? — продолжал убивать Гаузер. — С сегодняшнего дня ты прораб (он произнес по-немецки: Polier) по внутренним работам, с зарплатой два доллара тридцать пять центов в час. Изучай, — кивнул он на подшивку. Довольный моим обалделым видом «хер» хмыкнул и приказал: — Пошли на обход.

Как в тумане, я последовал за ним. Шел и считал: «Я — четвертый... Третий и двух месяцев не протянул». Ранее коллеги рассказывали: шеф сменил до меня уже троих прорабов. Совершенно ясно — мне конец! Этот гад, решив человека прикончить, даже оклад в утешение не поднял.

«Ну и черт с тобою! — вздохнул я, про себя. — Влез в ярмо, так вези».

Выбора не было, и я уныло поплелся на обход.

Ох уж этот обход! Любимое мероприятие Гаузера. Почти крестный ход. Начинался этот обряд обычно в девять, происходил ежедневно и продержался до конца строительства. Внешне он напоминал врачебный обход в больнице. Недоставало лишь коек да белых халатов. Больных, однако, хватало — особенно после обхода...

Процессия внушала страх и трепет. Профессор Гаузер в окружении понурой свиты медленно и чинно обследовал все строящиеся этажи. Заглядывая в каждую дырку, выискивал недоделки, брак в работе, делал разносы и давал указания. Правда, все участники мероприятия и так знали о своих слабых местах. Но руководству важен сам процесс констатации их наличия.

По будням свиту составляли три-четыре человека, а часто вообще один я. Мне и доставалось за все недочеты и упущения. Зато раз в неделю, во вторник, голову мыли всем. То был царский выход, и государь готовился к нему тщательно.

Начинали обход с подвалов и медленно продвигались к небу. За главным церемониймейстером топталась сборная прорабов. У всех — мрачные надутые физиономии. Кроме меня, непременно присутствовали три завсегдатая. Невысокий, плотно сбитый бородач Вилли, представляющий фирму «Ляй». Поблескивающий очками рыжий балагур Эмиль — руководитель большого коллектива польских рабочих. Правая рука шефа — прораб Саша, достойный отдельного описания, и о нем я еще расскажу подробнее. По мере подключения других подрядчиков свита могла увеличиться до двадцати человек.

Теоретически целью мероприятия был оперативный контроль хода строительных работ. Но кроме деловой составляющей существенную роль в спектакле играли личностные отношения. Поскольку они изначально сложились непростыми, страсти бурлили шекспировские. Не было лишь кинжалов да ядом не травили. Без натяжки взаимоотношения можно было назвать конфронтацией. Все — на нервах. Производственные проблемы обсуждались и решались, но под косые и злобные взгляды и с плотно сжатыми губами. Каких-то реверансов и подвижек навстречу друг другубы не предполагалось. Каждый субъект исполнял обусловленные договорами обязанности и ни на йоту больше. Такие понятия, как «помогать» или «выручать», не произносились и в делах отсутствовали напрочь. Зато часто практиковались подножки и подставы.

У вражды имелись экономические предпосылки. Фирма «АМР», захапавшая основной пакет заказов, стремилась лизать сливки где только можно. Даже такому крупному слону, как «Ляй», навязали пункт об обязательном использовании рабочей силы генподрядчика. То есть «Ляй» не имела права сама набирать рабочих. Их принимали и увольняли исключительно через контору Гаузера.

Рассмотрим простую арифметику. Российский заказчик платил австрийцу за каждого сметного рабочего 5—7 долларов в час. Гаузер нанимал у ворот двухдолларовых «рабов» и сплавлял их в «Ляй». Ему доставалась пенка в 3—5 долларов с головы. Чистоганом ежедневно набегало по 30—50 долларов с каждого трудяги — разница между сметной и фактической оплатой труда. По моим прикидкам, размер навара за бригаду — полтысячи в день минимум. А если учесть манипуляции с численностью, то гораздо больше. Ляйевские прорабы только облизывались. Им

дармовщины не перепадало. Конечно, такие деньги — мелочь для хозяев фирмы. Я думаю, что эти крохи традиционно расклевывались прорабами и считались законной добычей «низов». Потому «полиры» и крысились, переживая об утраченных довесках. Но вряд ли только денежные манипуляции возбуждали у «европейцев» столь сильные эмоции. Спекуляция есть законная норма рынка и не вызывает бури чувств: сегодня повезло тебе, завтра я на коне. Причиной враждебных отношений скорее был сам Гаузер, его грубость и беспардонность в общении с людьми.

А общение при обходе выглядело так. Гаузер во главе процессии приближался к интересующему его месту и останавливался, ожидая, когда стихнет визг «болгарок» и грохот перфораторов. На рабочего, вовремя не сообразившего «заглохнуть», он вначале тупо смотрел, а потом, нагнувшись к самому его уху, широко разевал пасть и гортанно орал как на скотину: «Эээээээээээ!». После его рыка любой звук мгновенно обрывался, и воцарялась тишина... Очумелый от неожиданности, трудяга срывал с лица защитные очки и испуганно прятался в темноту.

Удовлетворенный, Гаузер обводил всех покровительственным взглядом и констатировал:

— So!..[1]

Затем, пользуясь лучом фонаря как указкой, высвечивал провал в бетоне и, скривив рот в издевательской ухмылке, обращался к Вилли:

— Что это?.. Когда?!.. Когда ты заделаешь эту дыру?!

Ответное, скорострельное многословное бухтение — это, мол, технологическое отверстие, скоро будет заделано — вызывало у Гаузера ехидное кивание головой: мели Емеля... Потом начиналась словесная перепалка, в которой начальник неизменно держал тон величавого превосходства, с явным удовольствием играя роль верховного судьи. Злорадными подколками, сдобренными красноречивыми жестами и гримасами, он загонял противника в угол и, как носорог, беспощадно затаптывал его самолюбие в прах. Исполняя прокурорскую функцию, шеф всегда формально был прав и с легкостью побеждал ответчика в споре. Тот, обозленный, уходил. Аксиома стройки: производитель работ всегда не прав и виноват.

После перемены диспозиции и участников действа сцена повторялась с незначительной импровизацией. Менялся лишь объект террора и накал угрозы. Некоторым Гаузер невыносимо хамил; с иными общался нормально. По моим наблюдениям, уровень нормальности в общении зависел от степени закрепощенности субъекта Гаузером. Случались фирмачи, демонстративно чихавшие на его величество и делавшие свою работу, вообще не встречаясь с австрийцем. А над полностью повязанными славянами (вначале особенно надо мной) он иногда измывался до экстаза. Как американский сержант брызгал в лицо слюной:

— Я оторву твой длинный нос!

В такие минуты я, как йог в трансе, отключал все свои эмоции, тупо и безучастно смотрел на желтые прокуренные зубы крикуна и про себя лишь сожалел: «Старый дурак! Чего ж так распинаешься? Разговаривай ты нормально, горы для тебя своротил бы». Но, лающий петь не умеет. Дождаться доброго слова от австрийца было немыслимо — я ни разу не услышал...

Так, редея от потерь, процессия приближалась к верхним этажам. Наконец, отваливал и я, оставляя шефа осматривать стройплощадку, где вязали арматуру под заливку очередного этажа.

Теперь можно передохнуть, собраться с мыслями и спокойно обдумать ситуацию. Изначально она представлялась мне безысходной. Настроение было паническим. Стройки не знаю! Технологии не знаю! Людей — не знаю! Полное приехали... Воспитанное коммунистами чувство ответственности вопило: «Бросай все! При таких вводных ты завалишь дело».

Но сволочное эго возражало: «Кто я здесь? И что я здесь?». У того же Гаузера болит за меня голова? Выжмет, растопчет и выбросит... Вот и предоставим ему это сделать. А моя задача — заработать на жизнь в буквальном смысле слова. Нечего

[1] Так! (*нем.*)

голову сушить. Вспомним заповедь Будды: «Не бери на себя больше отпущенного тебе судьбой». В конце концов, это не моя игра, и дом сей мне чужой...

Примерно с подобными мыслями пришло успокоение и простое решение: терпеть. Делать, что в состоянии, и терпеть до конца. Терять мне нечего. Дома полный голяк.

От таких рассуждений стало даже весело. И я пошел считать свои денечки, невыносимо тягучие вначале и безоглядно галопирующие позже.

4

С чего начинать? Как простодушный советский инженер, начал знакомиться с кадрами и подсчитывать имеющиеся в моем распоряжении ресурсы. Почти сразу столкнулся с фактами, противоречащими стереотипным представлениям об идеальном обеспечении капиталистического труда. В ту пору баек на эту тему распространялось множество. В основном восхищенно-хвалебных: о дармовой спецодежде, «кока-коле» — залейся, о бесплатном питании, сказочной зарплате... Может, где и случался рабочий рай с заботливыми и праведными отцами-командирами, но на нашей стройке правил Его величество Жмот!..

Подчиненные мне двадцать шесть человек выглядели как оборванцы. Носили они собственные старые «лахи», которые изорвать и испачкать уже невозможно (давно дырявое и не отстирать). Посему эстетика внешнего вида отдыхала, и труппа имела колорит банды анархистов времен гражданской войны. Кто в камуфляже, кто в фуфайке, кто в валенках, кто в клетчатых домашних тапочках. Лишь один имел когда-то белый латаный комбинезон, украденный с предыдущего места работы. Национально-державная идентификация личного состава пестрая: три москвича, один питерец, три молдаванина, два белоруса, один вологодский и остальные — «хохлы». Оснащенность орудиями труда страдала «красноармейским синдромом сорок первого года»: на одну винтовку — два бойца. Дрались между собой за самое необходимое: за стремянки, фонари, электроудлинители... Но такие обстоятельства для эсэнговского люда не в диковинку.

Сильнее шокировали непривычные для нас производственные порядки и отношения. К примеру, резкая реакция Гаузера на мою попытку завести книгу учета стройматериалов:

— Не твое дело!

Я недоуменно уставился на него: «Прорабу не знать о движении материалов?!»

Значительно позже стала ясна причина непонятной грубости. Шеф элементарно воровал и не желал иметь документального контроля...

За период адаптации подобные недоумения случались со мною довольно часто. Однако Гаузер и не помышлял облегчать мою нескучную жизнь советами и наставлениями. В обучении надменный европейский учитель явно отдавал предпочтение методу «плыви — если выплывешь», холодными глазами изучая мою способность выкарабкаться из затруднений. Думаю, он получал удовольствие, следя за потугами новичка. Возможно, повторял методику школы, пройденной когда-то им самим, и считал такой жесткий подход единственно правильным. Но это уже мои гипотезы.

Так или иначе, и я помаленьку постигал его науку. Натерпевшись обломов, сообразил, чего хочет и чего терпеть не может мой патрон.

Хотел он от меня «не так уж много». Утром принять людей, раздать им инструменты, определить объемы работ и расставить всех по рабочим местам. Следить за производственной и технологической дисциплиной. Контролировать качество работ и расход материалов. Оперативно управлять процессами. Организовать взаимодействие с другими подразделениями и фирмами. Вести учет и отчетность. Вдобавок я делал разметку конструкций, так как должность геодезиста Гаузер зажилил и нового разметчика не нанял.

А не мог шеф терпеть инициатив. Никаких! Все начинания должны исходить только от него самого, как от Господа Бога. Лишь увольнять рабочих мог я самовольно.

Мой обычный день состоял из беготни по текущим нуждам: то помочь разобраться с чертежами, то переставить бригаду на другое место, то шурупы закончились, то немцы зачем-то зовут. Секунды свободной не имел. Даже вечер не приносил послабления — прием инструментов на склад, возня с бумагами.

Ежедневную рутину разнообразили авралы по случаю прибытия транспорта с материалами. Разгрузка фуры — наипротивнейшее дело. Не для рабочих, для меня. Те были рады выбраться на свежий воздух, на небо взглянуть. А мне в цейтноте нужно «выбить» кран, в жуткой теснине выкроить места для промежуточного складирования и безошибочно распределить очередность подъема разнообразных грузов по этажам. При этом расставить людей и организовать хоть подобие безопасного ведения работ. Вот где нервы горели.

Требовалось быть вездесущим, на ходу решая возникающие сложности. Помощи не дождешься. Скорее — наоборот. Практически все европейские прорабы имели зуб на Гаузера; соответственно этот зуб кусал и меня — гаузеровского адъютанта...

Однажды фура встала под разгрузку в конце рабочего дня, когда все австрийские начальнички уже отдыхали. Мне позарез нужен был башенный кран, которым командовал прораб Вилли. Узнав, что «командир» крана еще не ушел и сидит в «кают-компании» (месте сбора всех немцев), я бегом, взмокший, ворвался в зал...

Там витала блаженная расслабленность. Клубы сигаретного дыма, янтарное пиво на столах, развалившиеся в креслах вялые тела... Разом все уставились на мое явление и молча, холодно, даже враждебно глазели. Я ощутил себя негром, попавшим в салун «для белых».

Оплывший на мягкой коже, бородатый Вилли из-под полуприкрытых век жевал меня недобрым взглядом. Вытащить расплавленного пивом немца можно было только с креслом. Понял, что просить тут не у кого. Хмыкнув, я побежал дальше...

В тот вечер выручили братья-поляки, непосредственно обслуживавшие кран. Помогло знание языка. Услыхав от меня польскую речь, полезли обниматься. Еще и сто граммов «выборовой» налили...

5

Недели три осваивался, и шеф особо на меня не давил, только спрашивал каждый день:

— Нравится Александру на стройке?

Врать я не собирался и только пожимал плечами:

— Что здесь может нравиться?

Кажется, такими ответами я сильно его разочаровывал. Полезнее было блеять от восторга. Но у раба нет восторгов. Удовольствие получают от творческой работы. А все мои попытки ввести хоть какую-то систему (сколотить из сброда коллектив, сделать что-то по-своему) мгновенно ревниво пресекались. От меня требовалось лишь неукоснительно выполнять чужую волю.

Смешно, но саму суть этой воли часто понять было весьма непросто. Поражала австрийская манера ставить задачу. Предположим, нам нужно изготовить решетку на проем в вентиляционной шахте. Любой славянин, строя пояснения, идет в рассуждениях от общего к частному. Примерно так: нужна решетка с такими-то размерами, собранная из уголкового алюминия, из таких-то деталей, способ крепления такой-то... Задача предельно ясна.

Гаузер объясняет задание так:

— Берешь уголки, соединяешь их так-то, а затем (показывает руками) вдавливаешь в шахту.

Недоуменно спрашиваю:

— А что, собственно, должно получиться?

Следует раздраженный повтор предыдущего, слово в слово. И так раза три-четыре, как обезьяне. Хорошо если речь идет о простой решетке. Уразумев наконец, чего от тебя хотят, сплюнешь, рассмеешься и в двух словах пояснишь все рабочим. Они у нас сообразительные и понимают, что надо делать, уже после слова «решетка».

А если предмет обсуждения более сложен? Тогда при бессистемном изложении в конце сумбурных пояснений забываешь, что же было вначале.

Однажды перед группой рабочих шеф объяснял мне, как следует сопрягать элементы разноуровневых крыш. Пояснял в своей манере, с жестикуляцией в «натуре». Я уловил смысл, нашел аналогичное сочленение на соседней крыше и спросил, указывая на сходный узел:

— Так же, как там?..

— Слушай сюда! — зарычал австриец, даже не глянув, куда я показываю.

И пошел на второй круг. Лихорадочно соображая, я пришел к выводу, что иначе, чем на соседней крыше, вообще не получится. А этот... крутит свою шарманку в третий раз, но уже закатывая к небу глаза... Чувствую себя полным идиотом. Хочется соврать, что все понял, но совесть не позволяет. А «фашист» талдычит заученно в шестой раз...

Когда прояснилось, что все же я прав, доказывать правоту было некому. Ликующий Гаузер удалялся обсудить с немцами безнадежную тупость русского.

Конечно, свою роль в создании недоразумений играл мой неуверенный немецкий. Но сейчас я убежден, что австриец специально разыгрывал «дурочку» — своеобразный спектакль-развлечение, необходимый для подкормки его непомерно раздутого самомнения. А может, ему казалось, что униженным и задолбанным подчиненным легче управлять. Но он ошибался. Подобные штучки рождали в душе тихую злобу, мутью оседавшую на дне сознания. Доверие и уважение к австрийцу постепенно таяло. Но приходилось терпеть и играть отведенную мне роль. Далеко не всегда это получалось. Хотя многим приемчикам, способным облегчить жизнь, можно было поучиться у ближайших коллег. Там было много лицедеев. Про одного не могу не вспомнить.

Звали его Саша Крамаренко. Происхождения львовского; образование — инженер-строитель. Работал с Гаузером давно, и тот доверял ему полностью. С моим приходом Сашу «продали» фирме «Ляй», где он курировал бригады бетонщиков, возводящих коробку здания. Но и с «АМР» не порывал. Вел денежные дела Гаузера и на первых порах приглядывал за мной. Внешне Крамаренко не производил внятного впечатления. Женоподобное тельце, вялые, сонные движения; носик — птичий клювик, очки с большим увеличением, делающие из глаз куриные яйца. Но какой актер!

К примеру, идет обсуждение проблемы отвода грунтовых вод из подтапливаемого подвала. Присутствующие высказывают свои предложения. Один Саша молчит, уложив белы ручки на стол, а голову — на ладошки. Кажется, что кроткий котенок, насосавшись молочка, спит, прикрыв веки. Гаузер нервничает, резко критикуя предлагаемые варианты. Наконец переводит взгляд на любимца и спрашивает на ломаном русско-украинском:

— Саша, твой думка?

В ответ густой домашней сметаной медленно разливается тишина... Саша не реагирует... Саша молчит... Они думают... Его клюв воткнулся в мягкие пальчики... Гаузер напряженно безотрывно смотрит на хохлацкую макушку. Идет четвертая минута молчания (без преувеличения!). Мухи отменили дальние перелеты, пошли на посадку, перестали сучить лапками — замерли в ожидании. Мне становится не по себе. Начинаю ерзать, тревожно поглядывая на обоих: «Заклинило?!». Чувствую себя пассажиром самолета с заглохшими в полете моторами. Состояние тихой паники. Хочется дать по башке: «Ну, давай! Рожай, заводись». И когда стало ясно, что из пике нам не выйти никогда, вдруг выстрелом вскидывается веко. Сашин глаз, увеличенный линзой до размеров дыни, вылупляется на Гаузера. Глаз излучает такой УМ, такое хитрое лукавство, что всем присутствующим становится совершенно не важно, какое конкретное решение выдаст мягкий ротик. Понятно главное — такой глаз знает Истину! Гаузер в полном восторге. При том что Сашино предложение наибанальнейшее (прорыть по периметру дренажную канаву), оно принимается с ходу.

Меня от этого индийского кино просто передернуло. Никак не предполагал, что такие примитивы могут работать. Лицедейством я не пользовался и скорее всего выглядел задерганным и мрачным типом. На приставания начальника: «Александр! Почему ты невеселый?» — отвечал: «У меня морда такая».

Ему-то после обязательного послеобеденного пива легко впасть в игривое настроение. А я постоянно находился в состоянии напряжения. Да и позже то, что называется нормальной стабильной работой, ко мне так и не пришло. Вначале я считал причиной дерганины собственную некомпетентность и неосведомленность. Но теперь, оглядываясь назад, ясно вижу — был бессовестно перегружен.

6

Время летело. Я осваивался, приобретал опыт и многое стал понимать. На фоне ежедневной суеты обрисовались и главные проблемы. Первой, как мне тогда казалось, была проблема рабочих.

Упоминал ранее, что под моей опекой уже было два десятка человек. Но Гаузер предупредил: скоро их станет шестьдесят. Эта новость меня беспокоила. Я не видел в команде костяка будущего коллектива. Люди были разобщены и ходили на работу как на каторгу. Запуганные, они чуждались даже друг друга. Приходили утром, холодно здоровались и скреблись весь день по рабочим углам. Очень все разные, но одинаково угнетенные.

Одни, хлебнувшие горя, пахали, как затравленные. Например, бывший белорусский народный депутат «демократического созыва» Юра Бейзаров. Попал человек в переделку: прокатили на выборах, лишился работы — единственного источника доходов, серьезно заболела маленькая дочурка. Девочке требовалась дорогая операция. Жена впала в истерику. Что называется, пришла беда — отворяй ворота. И дошел Юра до состояния богомола. Кто не знает, есть такое худющее как палка насекомое с глазами навыкате...

Другая категория работников — к счастью, малочисленная — легко мыслящие субъекты. Для них немецкая дисциплина — непреодолимое препятствие. Их характерная черта — патологическая страсть к опозданиям. Хоть минуточку, но украдут. Стиль поведения — заискивающе нахальный плюс циничные высказывания и приблатненные манеры. Их задницы пребывали в непрерывном режиме поиска места, где бы присесть. А то еще припрутся с бодуна да втихаря опохмелятся. Этих не жаль, и я таких особо не задерживал. Троих алкашей пришлось выгнать сразу.

Оставшиеся были нормальными людьми и хорошими специалистами. Мне казалось, они понимали слова. Требовалось лишь завязать контакты, выделить самодостаточные натуры, на которые можно опереться, и наладить человеческие отношения. Нутро мое не принимало гаузеровских методов запугивания.

Страха вокруг и так витало в избытке. Обстановка давила на психику: серый мрачный холод, в темноте затаился невидимый надзиратель и буравит недобрым глазом. Прервешь работу — раздается раздраженный окрик, после которого белым лебедем летишь на улицу, искать себе новый «хомут». Именно так рабочие смотрели на отношения с начальством. Любой представитель администрации, в том числе и я, вызывал неприязнь и даже ненависть. Как враг. Приходилось признать, этот взгляд и стереотип поведения максимально соответствовали реальным обстоятельствам.

Мой жизненный опыт подсказывал, что снизить вероятность получения пакостей от деструктивно настроенных подчиненных можно одним способом — снять конфронтацию и заслужить доверие. У нормальных людей только взаимная симпатия вытесняет вражду и цементирует сообщество. Страх — для быдла. А для быдла я пастух плохой. Нет во мне куражу и желания гонять себе подобных. Наоборот, хотелось вспомнить простые созидательные стимулы: энтузиазм, дружбу, поощрения. Конечная цель — избавиться от австрийского тюремного надзора и перейти на бригадное самоуправление. Сделать упор на привычный нам коллективизм. Эта утопия могла стать реальностью, если конечным ее продуктом была бы высокопроизводительная и качественная работа.

Чуть позже наш коллектив доказал, что прекрасно работает без внешней опеки. Но это было позже. А в тот момент мои предложения, изложенные на сходке с рабочими, вызвали споры. Публика разделилась на три группы. Одни с энтузиазмом меня поддержали. Другие подозревали, что нововведения приведут лишь к большей

эксплуатации. Третьи вообще кисло отмалчивались, желая лишь отмотать свой срок и смыться. Недоверие было очень сильным. Правда, я иного и не ждал. Лиха беда начало.

Но имелся еще Гаузер. Он видел, что происходит какая-то возня, и я вынужден был изложить ему суть моих планов. Технически просил немного. Первое: отдать право формирования коллектива мне (даже Крамаренко самовольно приживлял нам бездельников, уволенных из его «бетонной» бригады). Второе: при успешной работе разрешить премировать отличников.

По сути я просил нормальные рычаги управления.

Гаузер долго смотрел на меня своими красными выпученными буркалами, а потом вытянул руку и согнутым пальцем постучал по моей макушке:

— Александр! Они насрут тебе на голову.

Затем решительным тоном продиктовал мне основной принцип решения кадровой проблемы:

— Так! Слушай сюда. Идешь за ворота. Выбираешь из толпы десяток соискателей. Через неделю шестерых изгоняешь и набираешь свежатины. Так — до полного комплекта. Понял?!..

Просто, дешево и без тени сомнения. Дальше — больше. Пару раз он всерьез рекомендовал мне бить рабочих, демонстрируя свой кулак. Бедный австриец. Он жаждал простоты. У тех же немцев есть хорошая пословица: «Просто — в голове у дурака». Будущее показало: стучать по башке следовало не меня.

Занятно, но однажды начальник даже вступил со мною в «философскую» дискуссию на тему отношения к личности. Гаузера рассмешило, когда я процитировал пословицу из Корана: «Потеря одной жизни равна утрате целой вселенной». Свой взгляд на проблему он озвучил тоном многоопытного мужа, поучающего недоросля:

— Представь себе, плывет корабль. Кто-то свалился за борт. Что изменится? Плыл корабль и плывет себе далее.

И возразить было нечего. Разве только поменять акценты. Допустим, герр Гаузер — за бортом. Что тогда изменится? Не на корабле, а для самого «философа». И для его вселенной. Где и чем он тогда станет лепить и оглашать свои примитивы? Но, видимо, личный его опыт не позволял допустить и мысли о том, что Гаузер может оказаться за бортом. Герберт Гаузер — непревзойденный, непотопляемый капитан. Immer![1]

7

А опыт у «хера» действительно имелся. Он сам рассказывал, что долго работал в Африке и на Ближнем Востоке. Узнав про это обстоятельство, я понял, откуда проистекает у него — и у его австрийских коллег — предвзятое отношение к «черным».

В фирме «Ляй» за доллар в час работал огромный двухметровый чернокожий Али. Кажется, он происходил из Судана, но давно ассимилировался в Москве. Женился на русской, завел детей, защитил кандидатскую по экономике. Жена служила на телевидении, а он от безденежья подрабатывал на стройке. По десять часов кряду безостановочно сбивал плоским ломом бетонные наплывы. Другого дела австрийцы ему не поручали. Мне нравился этот добродушный гигант и его добросовестная работа. Мы подружились, и я задумал переманить его к нам. Но Гаузер даже слышать о неграх не желал. Похоже, в его представлении все этносы и расы имели свою цену. «Черные» там стоили вполовину дешевле «хохлов». Возрадуемся, братья-славяне, что не сильно загорели!.. Любопытно, стоял ли на этой иерархической шкале кто-либо выше австрийцев? Впрочем, ответ предсказуем. Национализм есть некритическое отношение субъекта к себе и своему этнокультурному пространству.

Если быть объективным, не все иностранные фирмы, работавшие тогда в столице, руководствовались принципами, подобными гаузеровским. Строившие недалеко

[1] Всегда (*нем.*)

от нас шведы понимали важность атмосферы стабильности и предсказуемости в коллективах. У них имелась целая система поощрений и стимулов. Годами использовались неизменные рабочие команды, которые время не разлагало, а цементировало в монолит. Цементом служил постоянный рост квалификации, заработной платы и доверия.

Восточные европейцы, работавшие в Москве по договорной системе, также ощущали себя увереннее. Поляки, словаки, югославы... У них в контрактах заранее оговаривались условия труда и быта. Наши «братья по соцлагерю» получали пять долларов в час, стабильный выходной, горячий завтрак и обед, оплаченный отель, двухнедельный отпуск, бесплатный самолет — домой и обратно. Можно не сомневаться, что подобная забота окупалась сторицей.

Но подобное не про нас. Все наши льготы — вкалывать за доллар семьдесят пять в час... Остальное — за свои кровные. Желаешь сберечь заработанное, экономь. Экономь на всем. Во-первых, на жилье. Я слышал про логово, где на двадцати квадратах ночевали двенадцать «рабов». Про отдых можно не упоминать. За восемь месяцев службы я имел четыре дня выходных и две недели отпуска за свой счет. Даже медицинской аптечки на работе не было. Тайно удалось упросить приятеля-снабженца приобрести минимум перевязочных материалов и медикаментов. Гаузер был сильно недоволен, но, посопев, промолчал.

Совсем туго росла зарплата. Я в конце карьеры дослужился до двух долларов семидесяти пяти центов в час. Потолок для рабочих — два доллара тридцать пять центов не ранее, чем через год безупречной работы.

Прикинем, сколько выходило им «чистыми». При двух долларах в час за тридцать десятичасовых рабочих дня счастливый «земеля» получал шесть сотен «зеленых». На еду и жилье улетало по сотне. Двадцатку — на транспорт. Остается триста восемьдесят. Скажите, москвичи, это много?

А если спросить у «белых» людей (так мы называли рабочих из Западной Европы)? Эти имели немыслимые для нас деньги. Жестянщик из Германии получал двадцать два — двадцать четыре доллара в час.

Я задавал себе вопрос: почему такая разница? Неужели наши настолько хуже работают? Со всей ответственностью заявляю: нет, не хуже. И если не набирать случайных людей с улицы, то мы дадим фору многим.

Как-то отважился я спросить и у Гаузера:

— Почему такая дискриминация? Ведь за наших нелегалов не отстегивают государству ни налогов, ни страховки.

Не знаю, сам ли он придумал ответ или где-то подслушал, но выразился ясно, цинично и хлестко:

— Каждый имеет ту цену, за которую готов продаться.

Впечатляет? После таких откровений иллюзии о добрых учителях-миссионерах, просветителях-демократах тают быстро. И рано или поздно от осознания, что тебя держат за дурачка, приходит ожесточение. Пропадает желание работать. С этого момента агитпроп бесполезен. Стена отчуждения отражает любые праведные речи. Начинается «сачкование». Рабочими разрабатывается хитроумная система оповещения о приближении «капо». Начальник становится врагом подчиненному. Вот тогда учение Гаузера остается единственно верным методом. Только результат такого правления непредсказуем. Впрочем, в конечном итоге — предсказуем...

Но я, как всякая двуногая тварь, желал жить и при этом творить. Хоть что-нибудь. Поэтому тихо и помаленьку гнул свою линию. За полтора месяца основательно вычистил бригаду от пьяни и бездельников. От тридцати пяти осталось двадцать шесть отборных бойцов. Интересно, что производительность бригадного труда сохранилась прежняя. Похоже, наша лодка освободилась от балласта. Легче планировалась работа, ликвидировали дефицит инструментов, меньше стало суеты и проколов.

Но пошли дела непонятные.

Шеф как-то притих; ходил задумчивый. Ко мне не лез. Казалось, он что-то решает... Вдруг стал резко набирать людей. Причем набирал сам. Да такой сброд, в сравнении с которым ранее уволенные казались просто безгрешными ангелочками.

Например, шеф приволок лично, за руку двоих питерцев. Представил их знакомыми своей жены. Один — маленький, щупленький, черненький, с серьгой в ухе и с золотым черепом на шейной цепочке — оказался сатанистом. Другой — «афганец» с разрушенной психикой, органически обиженный правдоискатель, с легкостью переходящий от нытья и слез к угрозам. Несмотря на спортивное телосложение, «афганец» по работоспособности равнялся сатанисту. Один городил бредни о своем рогатом духовном патроне, другой безостановочно доказывал всем свою правоту и повторял любимое слово: «Обидно». Жаль их — больные люди. Но я был в отчаянии. Лишь шестеро из одиннадцати, приведенных Гаузером, более или менее умели работать.

Я недоумевал. Зачем это? Не мне же назло...

Те коллеги, что были ближе к администрации, утверждали, что понимают мотивацию подобных действий, намекали на раздувание сметы и другие бухгалтерские штучки. Может, и так. Но сейчас логика сих реформ мне представляется проще. Гаузер всегда предпочитал любые проблемы решать прямым нахрапом.

Такая инъекция свежих сил не осталась без последствий. Снова начались толкотня, нехватка инструментов, свары. Случались даже стычки между «стариками» и «салагами». Лучшие специалисты, не боявшиеся остаться без работы, открыто поговаривали об увольнении. На раздрай и брожение Гаузер прореагировал привычным методом — стал «закручивать гайки». И пружина лопнула.

Однажды, делая внеочередной обход, шеф застукал за досужей болтовней двоих «мастеров»: Сашу, харьковчанина, и Дмитрия, бывшего офицера из Белоруссии. Вердикт был жестким: Дмитрия — за ворота; Сашу, как заслуженного специалиста, — оставить, но предупредить.

Харьковчанин прибег к помощи русского национального лекарства. Явился утром навеселе и поднял бузу. Искра попала на горючий материал. Устроили митинг. Бригада забастовала. Мне пришлось выслушивать все, что у них накипело. Главные требования: прекратить обращаться с людьми как со скотом и вернуть назад «офицера».

Я понимал, что дело не в Дмитрии. Просто всем все осточертело. А подспудное желание покончить с унизительным положением созрело давно. Предсказуем был и исход бунта. В душе парни это понимали. Но уже понесло. Им захотелось, сбросив постылое иго, громко хлопнуть дверью. Попытки вернуть рабочих к разуму оказались тщетными. Эмоции сорвались с цепи. Кричали, что их с ногами-руками возьмут другие фирмы; требовали австрийца для разговора.

— Уволить! — приказал шеф, когда я доложил ему о митинге. Видя мое недоумение, он зыркнул своими белесыми буркалами: — Да! Да! Всех!

Похоже, подобная ситуация в его практике не являлась уникальной, и стереотип поведения был отработан. Меня взяли досада и злость: «Что я, челнок тебе? Иди и объясняйся сам». Не поднимая головы, я произнес:

— Я должен им это сказать?

Решив, что я струсил, Гаузер порывисто встал:

— Пошли!

Пробравшись сквозь толпу, он обвел всех насмешливым взглядом:

— Что господа имеют мне сообщить?

Выслушав требования, велел мне переводить:

— Кто не хочет работать, пусть уходит.

Братва загалдела:

— Давай выясним... Давай поговорим...

Гаузер ответил коротко и по-русски:

— Зачем?

Митингующие и сами не знали, зачем. На этом дебаты закончились и стороны разошлись. Наши — заметно удрученные.

Если не брать в расчет конечный результат конфликта, шеф выглядел орлом. Не поддался шантажу. Но результатом побоища стала потеря лучшей и квалифицированной части войска. С кем теперь воевать?

Сей вопрос всплыл уже в день погрома. Я предложил на подмену вызвать знакомых мне и проверенных рабочих из Львова. Но придется отыскать сразу много жилья.

Это хлопотно и дорого. Как всегда, начальник предпочел простоту. Часть «бойцов» рекрутировали с улицы, а другую часть оторвал от сердца Крамаренко. Боекомплект набрали быстро, но не все патроны стреляли. «Уличных» требовалось обучить ремеслам, и Гаузер принял в этом деятельное участие.

Оторванные от сердца показались мне работящими и толковыми ребятами. Почти все они были обывателями украинского города Шостка призывного и допризывного возраста, скрывавшимися от военкоматов. Меня беспокоило, что в поведении молодых людей присутствовал сильный налет «приблатненности». Оказалось, что он не случаен, и приблатненность эта не единожды вызывала проблемы. Похожие на молодых волчат хлопцы быстро двигались, схватывали суть дела мгновенно. Но были себе на уме, и взгляд их выражал все что угодно, кроме приветливости. Держались отчужденно и недоверчиво. Впрочем, с некоторыми удалось наладить отношения, и они раскрыли мне истоки такого поведения. Из рассказов следовало, что причиной блатных тенденций были нравы, царившие в их родном городишке.

8

Еще с пятидесятых годов течение жизни в Шостке определял гигантский химический комплекс, выпускавший взрывчатку, порох и фотоматериалы. Почти все население города так или иначе связывало свою жизнь с комбинатом. А по существовавшей ранее практике, именно в небольшие промышленные населенные пункты на перевоспитание рабочим классом направлялся уголовный элемент: зеки после отсидки, а также сосланные на поселение и так называемые «химики», которым срок заменяли вредными работами. Криминал в такой степени заполонил город, что тот стал похож на «зону».

Бытие определяет сознание — так учили нас когда-то. И сознание, особенно молодое, приспособилось к реалиям. Творцами ментальной среды города стали урки. Наглые, не знающие преград и тормозов, — чем не герои? Они определяли вкусы, манеру поведения, повадки и даже походку местной молодежи. И прежде всего — мировоззрение, которое сводилось к простым максимам. Жизнь — собачья свалка, где сила определяет все. Беззубому — конец. Сочувствие — это слабость. Искренность — для идиотов. В банде — сила: «Заяц с шоблой хрен ложил на льва».

Взращенные на таких принципах юнцы неминуемо сбивались в уличные стаи, враждующие между собой. Начались «разборки», «войны», «шутки»... «Шутки» были незатейливыми. Например, угнать в лес бочку с пивом и неделю упиваться всей шпаной. Можно еще избить до полусмерти чужака, неосторожно забредшего на подконтрольную банде улицу. Самые отмороженные в своих фантазиях предела не имели. Рассказывали про такое развлечение: покупается рыболовная блесна с тройным крючком, к ней крепят тротиловую шашку с запалом, поджигают шнур и бросают в толпу «врагов» (пацанов с соседней улицы). Зацепится блесна за куртку — половины спины у человека нет...

Печально, что скрыться молодым от подобных порядков было некуда, как рыбешке в протухшем пруду. Ни одна душа не оставалась без блатной опеки.

Работал у нас из шосткинских девятнадцатилетний Саша (простите, так повезло, что в бригаде половина сотрудников звались Александрами). Интеллигентный, эрудированный, симпатичный парень из семьи школьных учителей. Толковый работник, легко справлявшийся с любым заданием. Попросил он у меня однажды отпуск на десять дней. Причина: у любимой бабушки курей украли.

— Не в курах дело, — пояснил Саша. — Если я не соберу свою банду и не затею поиск-разборку, мой статус в квартале понизят... Причем разборку непременно следует завершить наказанием воров. Не обязательно истинных. Просто кого-то нужно побить. Иначе меня начнут «опускать». А «опущенному» и в магазин спокойно не выйти...

Хочешь не хочешь — кати к бабушке. Тем, кто пытается жить вне законов улицы, хуже всего. Им прохода не дают. Такие вот нравы. Они конечно же оставили след в

формирующихся умах. Всю последующую жизнь во взгляде молодцов будет читаться жесткая печать: «Сделано в Шостке».

Но что удивительно, вырвавшись в Москву, все шосткинское землячество держалось дружной компанией. Бывшие заклятые враги из соперничающих банд обнимались как братья. Туалеты измарали дурацкими надписями: «Шостка — сила». Врагами для них теперь стало все московское окружение. Я спросил: будет ли продолжаться дружба дома? «Не-е-е...» — хором оскалились граждане Шостки. Надеюсь, с тех пор они поумнели. О том, что подобрели, даже не заикаюсь...

9

Вернемся к нашим делам. Обучение принесло свои плоды, и производство зашевелилось. Спустя две недели после бунта нам удалось достичь сносных темпов работы. Мне здорово помогли некоторые самородки, такие как Александр Камаев из Донецка. Умный и обаятельный мужик (очень похож на Шевчука из ДДТ). Парень работал как заведенный, быстро и качественно. Его помощник жаловался, что Саша и во сне орет про работу. К сожалению, Александр имел пристрастие к стакану. Позже, Гаузер выжил Сашу со стройки за дерзкие высказывания.

Между тем ляйевцы возвели уже двенадцатый этаж. Фронт внутренних работ расширился, и к работе подключилось множество фирм, подрядившихся начинить домину трубопроводами, вентиляцией, подвесными потолками, полами, дверьми, сантехникой... Всем тем, что превращает пустые стены в жилье. Зачастили фуры со стройматериалами. Иногда по три на день. Начались погрузо-разгрузочные авралы, в гонке и сутолоке которых про безопасность труда мало кто вспоминал. И что должно было случиться, случилось...

По приказу Гаузера я сформировал команду из восьмерых рабочих и откомандировал их в распоряжение фирмы «OTIS». Шеф «продал» откомандированных для использования при разгрузке транспорта. Фуры доставили из Европы огромные пачки стальных дверей к пассажирским лифтам. В каждой пачке — по пять двухметровых дверей. Требовалось снять их с машины башенным краном, поставить на землю, распаковать и поднять каждую дверь на нужный этаж.

Случилось несчастье. Раскрепляемая на площадке пачка вдруг веером стала рассыпаться. Четыре двери нашли себе опору, а пятая, как книга на полке, стала валиться на людей. Зрелые мужи, мгновенно врубившись, воробьями вспорхнули врассыпную. А самый зеленый, восемнадцатилетний, кинулся ловить падающие тонны. Его и прихлопнуло...

Но в этом мире неудачи живут вперемешку с удачами. Полотно двери, на счастье, оказалось в раскрытом положении, и парень, поскользнувшись, головой и плечами проскочил в дверной проем. Кроме того, падающая дверь одним из верхних углов попала на брошенную пустую металлическую бочку, которая, смявшись, не дала зубам смерти сомкнуться до конца. Лишь дверной порог догнал пацана — раздробил кости таза, сломал бедро, порвал мочевой пузырь. Хвала тем неряхам, что поленились прибрать за собой пустую тару! Благодаря разгильдяйству человека не разрубило пополам...

Топот ног, крики... О случившемся я узнал, остановив бегущих рабочих. Впервые видел испуг в глазах твердокаменного шефа.

«Скорую помощь» ждали полчаса. Парнишка был бледен, но в сознании. Чтобы он не замерз, ребята накидали на него свои фуфайки. Глядя на гору лохмотьев, я уговаривал парня терпеть и не бояться. Сам же думал: ему конец. Подошли австрийцы, качали головами и цокали языками.

Но мальчишка выжил и через год вновь приехал в Москву вкалывать. Гаузер не бросил мальца в беде. Заплатил среднюю зарплату за время в больнице и дал денег на лекарства. Прогресс! Обычно все наши болели за свой счет.

Я ожидал комиссии, расследования, санкций за нарушение техники безопасности. Тишина. Составленный мною акт о происшествии остался не востребован. Кому мы нужны?!

Жизнь работника на стройке была бесценной. То есть ничего не стоила (речь не идет о немцах или швейцарцах). При найме на работу всех новеньких предупреждали, что охрана труда — личное дело каждого. Инструктаж и обучение правилам безопасной работы сводились к грубым советам: «Не лезь, куда не просят. Никто твои похороны оплачивать не собирается». Вспоминая восемь месяцев, проведенных мною на стройке, я благодарю провидение, не допустившее смертельных травм среди доверенных мне сотрудников. При той экономии на жизни и здоровье людей несчастья казались неизбежными. Судите сами: на большой высоте работали иногда по два десятка человек, а страховочный пояс монтажника имелся всего один. В каске щеголял только начальник. Полгода рядовым сотрудникам голову прикрыть было нечем, пока упавший сверху камень чуть не прибил случайного парня.

Всегда опасной считалась работа с краном. Вспоминаю нервное напряжение, с каким поднимали мы тротуарную плитку на крышу здания. Башенный кран тащил на пятидесятиметровую высоту груженые поддоны над самыми головами снующих рабочих, над столовой и бытовкой. Гнилая древесина поддонов трещала и часто надламывалась, грозя превратить бетонные стопки в кассетные авиабомбы. Предупредить прохожих я мог лишь отчаянной трелью милицейского свистка и улюлюканьем расставленных сигнальщиков. Оградить опасную зону не имел права, никто не позволил бы приостановить работу других подразделений. Даже рации на кране не было. Охрана близкого Белого дома запретила радиообмен. С крановщиком держали связь на языке там-тамов, стуча железом по мачте крана.

От таких порядков я делал круглые глаза, но скоро привык. Так работали все.

Сутки напролет кран регулярно поднимал на верхние этажи пятитонную бадью со щебнем либо жидким бетоном. Сколько раз попавший в замок бадьи камешек не позволял плотно закрыться ее створкам. Тогда с небес стаей летела каменная шрапнель, насквозь пробивая защитный деревянный настил. Но, слава богу, не головы. Зато в уцелевших мозгах работников надолго поселилась стойкая привычка: проходя под стеной любого здания, таращиться с опаской в небо...

Лично мне приходилось брать в расчет и опасности иного рода. На выходе из ворот меня несколько раз останавливали двое парней и настойчиво набивались на работу. Гладкие, здоровые, с нагло-развязными манерами, они не понравились сразу. А когда сообщили о своем шосткинском происхождении, интерес к ним увял окончательно. Что «Шостка — сила», я уже знал. Хотелось разбавить ее разумом...

Но сила оказалась напористой. Как-то утром слышу галдеж и крики в раздевалке. Захожу и встречаю мордастую двойню, «качающую права» среди наших рабочих. Оказывается, дебоширов трудоустроил у себя наш новый подрядчик — фирма «Manesmann». Молодцы недолго изображали приятные манеры среди аккуратных немецких и польских загривков; скоро заскучали, потянуло к землякам. Вломились в нашу раздевалку, заняли чужие шкафчики и объявили, что будут здесь жить... На мое предложение удалиться самый краснощекий из отпетой парочки по фамилии Лебедев объявил, что «видел меня в гробу». Пришлось вызвать охрану, которая явно робела перед распалившимся кретином. Охранники ходили за ним и уговаривали затихнуть. От такой нежности Лебедев впал в раж и прыгал у меня под носом, размахивая кулаками и осыпая угрозами. Наконец назначил время и место, куда я, как мужчина, должен был прийти за своей смертью. Подошедший на шум Гаузер наорал на охранников, и тем пришлось кое-как вывести буянов за ворота. Хулиганов рассчитали в тот же день.

Я все же сходил за смертью, но она к назначенному часу не явилась. Тем не менее с недельку на службу я топал, упрятав в рукаве кусок арматуры...

10

Однако муки наши не пропали даром. Работа наладилась. Гаузер даже позволил себе расслабиться. Решил на две недели съездить в Норвегию. Воистину, какие появились возможности. Какой прогресс! Мог ли я раньше мечтать (сидя в «эсэсэсэре»), что мой знакомый запросто сможет слетать в Норвегию, покататься на лыжах? А он собрался и полетел... Вот только я с чем был, с тем и остался, тихо радуясь, что

теперь мы с бригадой одни. Наконец-то можно было организовать работу по-своему. Австрийцы не оставили меня без призора, и я гордился, что главным моим опекуном стал бауляйтер Функель (не подумайте, что я иронизирую).

Функель — один из немногих наших австрийцев, вызывавший мою искреннюю симпатию. Было ему под шестьдесят, он носил пышные усы и говорил на ужасном диалекте, в котором угадывались лишь отдельные немецкие слова. В стильной шляпе с широкими полями и в брюках в обтяжку он выглядел как спортсмен. Отличался приветливым нравом, часто шутил, но в голосе ощущалась твердость характера. Поговаривали, что вагончик, служивший ему офисом, бандиты прострелили навылет. Пугали, наверное. Функель лишь побухтел в свои густые усы, оставаясь в добром расположении духа...

Бауляйтер командовал всем строительным бизнесом фирмы в Москве. То есть всем «аэмэровским» сущим, включая Гаузера. Последнему он, наверное, обещал присмотреть за хозяйством, что подразумевало внимание и к моей скромной персоне. Сильно озабоченный делами управления высших сфер, Функель совершенно не понимал, что творится «внизу». Его энергичная попытка заняться мною вплотную озадачила и рассмешила.

В первое утро нашей свободы Функель призвал меня к себе и стал неистово дергать. Дергать в буквальном смысле. Не тратя времени на сложные объяснения, хватал за локоть и энергично тащил, показывая — что и где мне нужно делать. Не успевал решить я первую задачку, как меня волокли в другой конец. Так продолжалось полдня, до обеда. Я было перепугался, что этот идиотизм — надолго. Но, слава богу, бауляйтер вскоре отстал. Приходил, поглядывал — потом вообще исчез. Думаю, понял бессмысленность такой плотной опеки. Или просто устал.

Но взамен стала являться иная фигура. Фигура имела фамилию Шахермайер. Почему-то по имени его никто не называл. В бригаде Шахермайеру навесили кличку «шахрай», что на украинский переводится как «жулик» (во времена ига такое звание носили татарские сборщики налогов). Этот молодой человек со среднетехническим образованием выполнял у Гаузера функции бухгалтера и делопроизводителя. Внешность — карикатурная. Очки, надменно задранный кверху носик — ну, вылитый мультяшный Братец Кролик. Высокомерие из него так и перло. Когда Кролик изъявлял намерение что-либо вещать, им можно было залюбоваться. Прямой как палка, он стоял боком к собеседнику, сложа белы ручки за спиной. В глаза не глядел, лишь медленно покачивался, переваливаясь с носков на пятки высоких сапог. Почти фюрер. Только ладошкой не делал...

Отношения наши не заладились. До уровня Гаузера Кролик явно не дотягивал, но неизменно держал со мною тон надменного диктатора. В конце концов мое самолюбие не выдержало и, показав юнцу язык, я стал его игнорировать...

Итак, на моем мрачном небосклоне пробился кратковременный лучик света. Я мог работать как хотел. Людей не гнал, лишь попросил не подводить меня. Парни оказались на высоте. После первой недели отпуска стало ясно, что мы можем прекрасно работать самостоятельно. А после второй я вообще загордился и тянул нос кверху, не меньше Кролика. Дела делались спокойно и продуманно, с производительностью выше гаузеровской. Но все хорошее быстро проходит...

Наш строгий отец и судья приехал посвежевший, загорелый и веселенький. Несколько раз изобразил даже что-то похожее на улыбку. Он придирчиво осмотрел все, что мы сделали, и не сказал ничего. Зная про принципиальное отсутствие в лексиконе австрийца хвалебных слов, смело можно было пить шампанское. Теперь я убедился — работать с людьми умею. И не важно, что далее все пошло по-старому. Ко мне пришла уверенность.

11

Вернулся Гаузер не один, а с русской женой. Челюсть у меня отвисла, когда пришлось присутствовать при их общении. Он почти не говорил на русском, супруга не знала немецкого. Обоих выручал ломаный английский. При этом у них имелась

трехлетняя дочь и второй ребенок на подходе. Как можно делать детей на английском? Ха-ха... Впрочем, это их проблемы.

Шеф ухватился за бразды правления с удвоенной энергией и стал править как лихой кучер. С ходу велел набрать двенадцать штукатуров и шпаклевщиков. Улица умножила амровский вавилон молдаванами, гагаузами и «хохлами». С молдаванами в наши ряды проникли лжешпаклевщики. Но новеньких ждал экзамен по профессии. Увидев халтуру, «хер» скривился:

— За такую работу не я им, а они мне платить должны.

И самозванцев удалили, с позором.

Не забыл Гаузер и про меня, позволив выписать мне помощника Володю, приятеля из Львова. Теперь было кому поплакаться в жилетку.

Еще одним нововведением стало учреждение должности заведующего складом. Ранее склад был на мне. Но однажды утром Гаузер, развалясь на стуле, принялся изучать процесс утреннего развода. Зрелище не для слабонервных. Полсотни человек толкались и галдели в длинной очереди, желая быстрее получить лучшие стремянки, фонари, кабеля, электроинструменты, ножи... Я в это время выполнял функции робота-раздатчика, обязанного мгновенно найти и достать нужные предметы, сделать запись в книге учета и определить, куда кого направлять. Видя, что я весь в мыле, Гаузер тут же приказал передать склад Пете по кличке Пожарник.

Петро происходил из Сумской области благословенной Украины. Там он служил в пожарной команде, отчего и приобрел кличку. Внешность у него была простецкой до умиления. Смахивал он на почтальона Печкина из Простоквашино. Даже весной носил шапку-ушанку, старый тулуп и валенки, засунутые в галоши. Физиономия его тоже напоминала валенок отсутствием на ней какого бы то ни было выражения. До склада Петро числился механиком — вторым номером при старшем механике поляке Анджее. Служил честно. Сачковать не позволял большой немецкий корабельный дизель-генератор. Суровая машина была абсолютно здорова и, игнорируя манипуляции своих опекунов, самозабвенно трудилась, периодически требуя лишь горючего. Машина гнала ток на моторы башенных кранов (российские электрические стандарты немецким кранам не подходили). Все обязанности польско-украинского экипажа сводились к подливанию машинного масла в картер «немца» и личного посменного бдения. Служба шла ровно и гладко, что отражалось на внешности Петра. Он округлился и разгладил все свои неровности. Лишь усы выделялись на гладком румяном фейсе. Усы-антенны. Они топорщились как у фокстерьера и имели ценнейшее свойство — могли предупреждать о приближении разгневанного Гаузера. Петро хвалился, что ощущает усами токи в атмосфере и слышит голоса. Австриец с его шумными манерами фиксировался за километр. Усы всегда направляли валенки точно на орущего начальника.

Пожарная часть воспитала смелого бойца. Трусливый человек, узрев лютующего Гаузера, дал бы стрекача. А Петя, как бабочка, летел на огонь. Он ничего не делал. Бесшумно пробирался на место очередного ристалища и просто стоял как швейцар при дверях и лишь переводил пустой взгляд с разбушевавшегося Гаузера на его жертву и обратно. Стоял и молчал. Иногда позволял себе одобрительно хмыкнуть, морально поддерживая начальника, а иной раз неодобрительно — не одобряя неначальника. Похоже, душе австрийца в ее конфронтационном одиночестве такой одобрительный автомат пришелся кстати, и Гаузер все чаще бросал на Петра поощрительный взгляд. Наверное, у них получалась взаимная энергоподпитка, отчего Петя рос и надувался, как каратист перед боем. Щечки румянились, глазки блестели...

С новым заведующим склад преобразился и стал похож на комнату в заводском общежитии. Появились раскладушки, варились борщи, запахло чесноком. Приходили гости, чесали языки, чем-то менялись, тащили куда-то всякое барахло.

Я поражался способностям этого человека находить теплые места. Еще недавно карьера Петра висела на волоске. Заглушили за ненадобностью кормилец-дизель, сокращенный механик Анджей вернулся в свой Краков, а Пожарник остался и даже размножился. Подав шефу идею о необходимости охраны склада, пристроил к себе еще и сына Вадима. Два бугая за доллары так страшно храпели, что ночью за склад можно было не волноваться.

Гаузер насмехался:

— Александр, ты бегаешь по стройке целый день, а Питер с сыном спит на твои же деньги. Ха-ха-ха-ха.

Веселый дядя...

Вскоре мой шеф показал, что и он знает, где деньги лежат. Вызвал Крамаренко и меня, выделил каждому по листу бумаги и распорядился:

— Вечером загружаем фуру на Санкт-Петербург. Составляем список погружаемых материалов. Ты пиши список для ГАИ, а ты — для охраны.

Приказ означал, что мне оказано большое доверие — поручено помочь Гаузеру в краже стройматериалов для его дачи под Питером. Дослужился!

В накладной для ГАИ переписали все загруженное, до копеечки. Любая проверка на дороге констатировала бы абсолютную гармонию описи с перевозимым грузом. Для охраны же описали лишь четверть вывозимого — только то, что Гаузер действительно оплатил. Через охрану эта опись-четвертинка возвращалась в бухгалтерию, а правдивый ее вариант существовал только до момента доставки груза к месту назначения.

Операцию начали, когда иностранцы отбыли смаковать вечернее пиво. Я пообещал добровольцам доплату, и на погрузку собралась внушительная толпа желающих приобщиться к грабежу. Гаузер вручил мне деньги для шофера, а сам уехал почивать. В назначенное время прибыл транспорт. Под моим воровским командованием рабочие принялись забивать чрево кузова мешками с сыпучими материалами, листами гипсокартона, металлическим профилем, ведрами с краской и прочим. Через два часа заполнили машину под завязку тента и подготовили все к отправке.

Но, как назло, дежурил порядочный охранник. Сопоставив количество загруженного с предоставленной ему накладной, страж разволновался. Заметался; стал приставать ко мне; порывался куда-то звонить. На лице отразилась неуверенность: поднимешь шум — Гаузер вытурит; промолчишь — тоже риск... Чтобы сбить служаку с пути праведного, я обругал его:

— Ты что, не знаешь на кого работаешь?!

Мой окрик вернул сторожей на землю грешную, и фура беспрепятственно вывезла украденное за ворота.

Утром сторожа все же настучали начальству, и я наблюдал, как Функель шипел и фыркал на Гаузера сквозь свои генеральские усы. Он наседал на моего любимого начальника, а тот, как невинная девушка, лишь вяло уворачивался от назойливых приставаний. Судя по тому, что меня не тронули, а фуры еще не единожды снаряжались в Питер, дело спустили на тормозах. Но мне больше скользких дел Гаузер не доверял. Видимо, посчитал виновником инцидента. Не оправдал я высочайшего доверия. Не догадался, мол, ублажить охрану за свой счет...

Баба с воза — кобыле легче! И без меня ворья хватало. Крали деньги из карманов, одежду в раздевалках, инструменты у своих же коллег. Но случались дела и посерьезнее.

12

У фирмы «Manesmann» обчистили склад. За информацию о ворах немцы сулили награду в две тысячи долларов. Однако Рассея не Германия — здесь «закладывать» тяжкий грех. Фирме пришлось оставить сребреники себе. Впрочем, как эта контора умеет благодарить, познал я на личном опыте.

В одно из майских воскресений в одиночестве гулял я по шестому этажу, отыскивая на свежих стенах дефекты — наши недоделки. Почти отдыхал. Начальства не было, трудились только мои люди. Редкая тишина, в здании...

Думая о своем, мысленно отметил звук топающих над головой ног. Остановился. В сознании промелькнуло тревожное подозрение: «На седьмом этаже никого не должно быть. Весь этаж занят под склад и офис «Manesmann». В выходной все двери должны быть закрыты и опечатаны».

Я ринулся к вентиляционной шахте — единственной не заделанной межэтажной дыре — и прямо в ней, в проеме, увидел силуэт головы смотрящего на меня человека.

Голова отпрянула назад, и вверху кто-то затопал. Побежало целое стадо. Поняв, что видел силуэт вора, я мигом взлетел к дверям на седьмом этаже. Все заперто, печати на месте... Что за черт?! Погнал на пятый — в офис к австрийцам. Застал заместителя бауляйтера Шмидта и еще двоих, одевавшихся, чтобы уходить домой. Уразумев из моего сообщения, что чистят не их склад, австрияки с шуточками в адрес манесмановцев, подталкивая друг друга в спины, загоготали вниз по лестнице. Проводив их взглядом и поминая сразу всех австрийских матерей, я снова поскакал наверх и наткнулся на сына Пожарника. И мы галопом побежали спасать чужое добро.

Вадим внезапно остановился и замер, к чему-то напряженно прислушиваясь.

— Лифт!

— Какой лифт?! — завопил я, разгоряченный. — Лифт еще не запущен.

Но ясно слышалось мягкое урчание электромотора.

— Вот это номер...

Догнали мы кабину лифта на девятом этаже. Распахнутая настежь дверь, сияющие зеркала, на которых муха еще не сидела. Зашли в кабину с опаской, как в западню, не веря своим глазам. Нажали кнопку «семь» и бесшумно провалились вниз. Без взлома и стрельбы оказались на богатейшем складе. Огляделись. Чуть в сторонке аккуратно составлены чемоданы с дорогим инструментом, готовые к выносу. Тысяч на сорок не рублей.

Не повезло ворам. Такая затея сорвалась. Несомненно, крали славяне (есть основание думать — шосткинские) и наверняка спевшись с охраной.

Но каковы австрийцы! Не ожидал я от них столь демонстративной благодарности за спасенное нами добро. Мне даже руку никто не пожал. Их командир, кругленький седеющий очкарик, встречая меня, отводил в сторону свои оловянные глазки...

Такие мелочи жизни накапливались в сознании и постепенно меняли отношение к нашим боссам и патронам. В Москву, к австрийцам, я ехал с твердым намерением учиться уму-разуму. Но ни того, ни другого в избытке не обнаружилось. Организация производства оказалась похуже, чем на иных советских предприятиях. Постоянно чего-то не хватало: то изоляционных материалов, то нужного гипсокартона, то необходимых профилей... Вынужден констатировать и факт поставки из Европы откровенного брака — гипсокартона, волнистого, как море, клея, не желавшего ничего приклеивать, и прочего в этом же роде. Заурядным событием стали скрытые простои, когда из-за отсутствия материалов останавливалась работа, и бригада в полном составе бросалась на уборку мусора. В таких случаях Гаузер кричал мне:

— Putzung! Putzung Aleksandr (Чистка! Уборка, Александр).

Работяги перевели незнакомое им слово как «штопка» и попали в яблочко. Действительно, этим бесконечным «путцунгом» мы штопали чье-то разгильдяйство.

Можно высказать еще много нареканий — на плохое взаимодействие с подрядчиками; на экономию, доведенную до абсурда... Но достаточно. Возникает резонный вопрос: а почему ж так хорошо, если все так плохо? Почему здание растет как на дрожжах? Почему, несмотря ни на что, качество строительства — удовлетворительное?

Для меня ответ очевиден. Два фактора определяют успешность западной строительной индустрии: повышенная интенсивность труда и разумные проверенные технологии. Вот чему нужно учиться у Европы. Сравнительно высокая зарплата позволяет держать людей в узде и выжимать из них максимум. Им есть что терять. А великолепные технологии обеспечивают производительность и качество труда.

Восхищала продуманность и функциональность инструментов и оборудования. Ничего не делалось из подручных материалов. Под любой монтаж имелась масса крепежа: обжимов, зажимов — и все к месту и по назначению. Требуется сделать отверстие в бетонной стене — никаких кувалд и зубил. Алмазный бур высверлит аккуратное отверстие установленного диаметра. Нужно подтесать лист гипсокартона — не хватайся за кухонный нож, возьми специальный скребок. Для любой деятельности — специализированный исчерпывающий набор инструментов и приспособлений. Ничего не нужно искать и мараковать — только работай... Инструменты дороги. Но если в твоих руках «Makita», «Hilti» или «Bosch», будешь грызть бетон любой твердости. И не только делать в нем дыры.

Однажды, при заливке бетона, выдавило опалубку, и на фасадной стене выступил «живот» в тринадцать сантиметров — площадью до тридцати квадратов. Караул! Я думал, что придется крушить армированную стену. Но за неделю два перфоратора с насадками стесали пузо и разровняли фасад. С таким инструментом мы давно коммунизм бы отбухали...

13

Приехал архитектор Брамбергер — автор проекта строящегося здания. Моложавый дядечка приятной наружности, спокойный и вежливый, чем выгодно отличался от остальной австрийской братвы. Я несколько раз натыкался на него, в одиночестве изучавшего материализованное творение своей мысли. Гаузер рассказывал, что это известный и признанный специалист. Впрочем, и у корифея в чертежах мы нашли с десяток ляпсусов, типа открывающихся друг в друга дверей. Но, наверное, в таком большом проекте мелкие просчеты неизбежны. Большинство ошибок мы сами исправили. Но парочку архитектонических огрехов увековечили в стали и бетоне.

Пригрело солнышко, загнездились птички... На подготовленный нами фронт работ стали слетаться во множестве новые исполнители, и все — нерусские. Две польские фирмы подписались облицевать цоколь здания гранитом, смонтировать трубопроводы и сантехнику. Боснийские мусульмане ловко шагали на раскладных стремянках, монтируя подвесные потолки. Боснийские сербы клали керамическую плитку. Столяры из Германии вставляли двери, строгали парадную лестницу и прочие деревяшки. Швейцарская фирма устанавливала строительные леса по периметру здания.

Швейцарцы сразу привлекли к себе всеобщее внимание. Даже на общем неслабом фоне они выделялись четкой и энергичной работой. Громадная система стальных лесов собиралась у них всего шестью монтажниками. Бригадой руководили два друга: богатырского вида спокойный швейцарец и изящный, легкий на подъем серб Боки (полное имя — Божидар). Работали они бегом, в буквальном смысле слова. Носились по лесам, как циркачи под куполом, на сорокаметровой высоте с охапкой труб под мышкой. Причем никаких криков и суеты. Выглядело даже весело. Интересные ребята. С Боки мы сошлись ближе, и он рассказал немножко про себя. Родился в Швейцарии в семье эмигрантов из Югославии. Судя по его плохому немецкому, они так и остались славянами. Тем не менее в Швейцарии Боки вполне вписался в германоязычное сообщество и не чувствовал себя чужим (видимо, там не Америка, где признается лишь второе поколение пришельцев). Боки производил впечатление гармоничного, довольного жизнью человека. Все было при нем: хорошая работа, занятия спортом, альпинизмом, путешествия по миру (даже в Москву они с другом приехали на машине). Что еще требуется для счастья? Это в нашем представлении постоянно нужно куда-то ломиться, расти, чтобы, сияя самолюбованием, плевать потом на ближних с высоты своего положения. И я сдуру спросил: не хочет ли Боки учиться? Не лазить же всю жизнь обезьяной по лесам. В его глазах я прочел лишь спокойное удивление: «Зачем?».

Не сразу понял его реакцию. Слишком разная у нас мотивация. Для него все видится просто: тянет в науку — учись, хочешь просто жить — работай. Работать строителем в Швейцарии означает иметь свое комфортное жилье, достаток, спокойствие. Это у нас работа строителя — это линялая фуфайка, грязь, презрение окружающих и жалкая, скрюченная профессиональными болячками старость...

Но вернемся к нашим баранам. Не забыла Австрия-матушка и своих сынов блудных, прислав в подмогу Гаузеру двоих прорабов: Оскара — специалиста по облицовочной плитке и «хера» Штерната (по кличке Змий) — прораба без портфеля.

Змию было за сорок. Черноволосый, высокий, худой, с короткими торчащими усиками. Энергичный, он быстро перемещался, постоянно находясь в состоянии лихорадочного возбуждения. Малосимпатичная фигура, своим напряженным сверлящим взглядом вызывавшая антипатию. По его поведению можно было предположить: он заранее знал, что все вокруг сволочи, и ожидал от окружающих только

гадостей (впрочем, ожидания его не обманули). Появившись на стройке, долго ничем не занимался, все изучал, вынюхивал, высматривал, записывал. Фыркал носом — все его раздражало. Например, допрашивал меня: каким образом получилось, что у славян такие разные по звучанию имена, как Саша и Александр, это одно и то же имя?.. Чем я мог его утешить? Ну... так, давным-давно, чья-то мама захотела...

Когда же он принялся за дело, стало совершенно непонятно, какие цели преследует его бурная деятельность. Помогает Гаузеру? Подменяет Гаузера? Мешает Гаузеру? Все это он умудрялся делать одновременно.

Оскар являл собою полную противоположность Змию. Невысокий, белокурый и добродушный малый. Мы скоро нашли с ним общий язык, и на любую его просьбу я отвечал:

— Для тебя, дорогой, — всегда, все и везде.

Особенно успешно приручил Оскара наш пожарный Петро, регулярно угощая того огненной водой тещиного разлива. Оскар был в восторге от пойла и не переставал восхищаться талантливостью наших женщин, способных в домашних условиях заварить «такой чудесный бренди».

Петя млел от похвал и делился секретами технологии самогоноварения. Но видя, что дегустационный зал превращается в стационар, запаниковал:

— От гад, присосався — як теля до мамки.

Угощаться ежедневно вошло у Оскара в привычку. Впрочем, педровская теща не дремала и оперативно пополняла запасы летучей жидкости.

Со временем Оскар так сроднился с украинскими самодельными продуктами, что запросто закусывал «первак» салом с «цибулиной», заедая супом, налитым в перевернутую крышку от чайника. Однажды он даже сознался, что его родная бабушка — славянка. Судя по краснеющему носу, то была чистая правда. Еще немного и покойная бабуся наверняка конкретизировалась бы в идентификации до «щирой хохлушки».

Однако, несмотря на лирические отступления, дело свое Оскар знал добре, и бригада сербов, которой он руководил, работала прекрасно.

А вот «заместитель» Шмидт был темен и загадочен. Он имел жуткую привычку пугать людей своим внезапным появлением. Нежданно возникал, молча, привидением проплывал по коридорам, одаривая встречных леденящим взглядом, и пропадал неизвестно куда. Что удивительно, все его явления совершенно не имели никаких последствий — плохих или хороших. Похоже, он обслуживал не наш мир. Единственным человеком, зафиксировавшим физический эффект от присутствия Шмидта, был Петро. Однажды он рискнул завязать меркантильное знакомство с «заместителем», а потом божился, что от мрачного взгляда «нечистой силы» спиртовая сила из сумского первака бесследно выдохлась. Чем Шмидт занимался, осталось для меня тайной. Указаний от него почти не получал. Бывало, обращался я к нему с производственными вопросами, но только расстраивался. Ничего вразумительного в ответ не слышал. То ли замбауляйтера витал на недосягаемых для меня высотах, то ли являл собою обыкновенный нуль. Хорошо прикинутый нуль.

14

С прилетом новой стаи начальничков Гаузер заметно сдал. Внешне — такой же орел, при той же должности, он все чаще запирался на обед в вагончике и в одиночестве до помутнения наливался крепким пивом. Переживал за свою карьеру Я жалел дядьку — основной груз ответственности тащил он. Но не только у нас «стряпают одни — едят другие».

Змий же, наоборот, светился энергией. Покончив с разведкой, приступил к боевым действиям. Именно так можно характеризовать его кипучую деятельность. Почти бегом таскал он меня по этажам, засыпая вопросами и приказами. Задергал рабочих до конвульсий. Петю Пожарника за бардак на складе обещал покусать. Все бы ничего, только результатом боев стали лишь возросшие суматоха и неразбериха. Я с удивлением находил в австрийских методах управления большое сходство с

худшими большевистскими приемчиками. Вместо вдумчивой взвешенной планомерной политики преобладало волюнтаристское стремление ускорить, надавить, подогнать. К тому еще и склонность Змия к истерии, которая достала даже меня, холоднокровного.

Инцидент, о котором проболтаюсь, случился в мрачных подземельях. Мне требовалось срочно расчистить гараж от хранящихся там рулонов с гидроизоляцией и минеральной ватой. Послал туда людей, но они вернулись, ничего не сделав. Объяснили: в подвалах полная темень — Змий свет вырубил. Пришлось бежать вниз, искать австрийца. Тот возился с оборудованием в соседней с гаражом кухне. Был явно не в духе. Ночью воры подчистили склад керамической плитки.

Я пояснил ему, что люди в темноте ломают ноги, и просил включить ток. Реакции не последовало. Добрых полчаса мучились мы с ребятами, пытаясь на ощупь перетаскивать рулоны. Когда стала очевидна бессмысленность наших стараний, я повторно настоятельно попросил их сиятельство включить нам свет.

И тут Змия взорвало. Сверкая черными глазищами и размахивая длинными волосатыми руками, он стал на меня орать: мол, все здесь воры, негодяи и всем давно пора в тюрьму. От негодования у меня словно лопнуло что-то внутри. Перемахнув через прилавок, подскочил к обидчику вплотную и, глядя прямо в глаза, ткнул указательным пальцем ему в нос:

— Ты... не будешь на меня орать... Ты... больше не будешь на меня орать.

В ответ Змий поднял свой кулак. Созревший для любой развязки, я зашипел ему прямо в лицо, но уже на русском:

— Ну! Давай! Начни!.. Упакую тебя в духовку...

Какой он молодец, что сообразил опустить лапки.

Такие страсти... Рабочий, наблюдавший эту сцену, сказал, что таким озверевшим предстал я его очам впервые.

Кстати, отношения между Гаузером и Змием также не выглядели слишком теплыми. Похоже, испортились они давно. Хотя на людях недруги позволяли себе лишь кривиться и хмыкать на противника, чувствовалось, что рано или поздно кто-то кого-то обязательно сожрет. И Гаузер, кажется, сознавал, кто — кого. Вследствие переживаний он иногда так наполнялся пивком, что перемещался в мир неэвклидовой геометрии. То есть, наблюдая прямую, передвигался по кривой. Так начальник мог и заспиртоваться. Хорошо, что через месяц повод для снятия стресса у Гаузера пропал. Штернат, наделав волн, подался в Прагу. На мое удивленное: «Че так?» — он с гордостью пояснил:

— Я — как пожарник. Посылают туда, где горит.

Да-а-а, хорош пожарничек...

Хоть я и не относился к огнеборцам, но в апреле также смог на время покинуть наш вавилон. Осчастливили меня двухнедельным отпуском за мой же счет.

15

С неохотой возвращался я на стройку. Тоскливо было вновь надевать опостылевшее ярмо...

Подменявший меня Саша Крамаренко успел навести свои порядки. Форменный диверсант-подрывник! Дополнительно напринимал в бригаду шестнадцать человек — своих и чьих-то еще родственников и земляков. Набрал не тех, без кого нельзя обойтись, а хорошо попросивших. Столь сбродной команды у нас еще не бывало. Появилось несколько баламутов, в дальнейшем сильно влиявших на формирование рабочих стандартов в бригаде. Но я и не думал «вякать». Есть начальство, у него имеются глаза и уши, а посему оно ведает, что творит.

Прибавилось и иностранцев. Для монтажа стеклянных куполов здания прибыли интеллигентные, вежливые словенцы. Их руководитель был в шоке от австрийского приема, жаловался на грубость, на отсутствие бытовок, складских помещений. Я старался помогать славянам, по возможности смягчая недобрую атмосферу.

Еще один новичок — немецкая фирма «Б.А.Н.К.», которая устанавливала слож-

нейшее электронное оборудование в комнатах-сейфах и в холле. Эти-то были молодцы. Заправлял всем веселый толстяк, носивший огромную черную широкополую шляпу. Одевался весельчак всегда с иголочки и, несмотря на внушительные размеры тела, летал словно ветер, легко и быстро. Не было случая, чтобы жизнерадостный эпикуреец, шурша мимо, не поздоровался и не кинул бы пару добрых шуток. Помощником у немца служил монгол, бывший переводчик из МНР, сбежавший в Германию. Коллектив «Б.А.Н.К.» представлял собой небольшой «интернационал». Всего шесть человек. Все классные специалисты, работавшие больше головой, а потому спокойно и тихо.

Однажды я наблюдал, как они, грамотно используя имеющуюся технику, заволокли внутрь здания два полуторатонных контейнера. Небольшой «тельфер» (размером с электроточило) на четырех дюбелях прикрепили к бетонному потолку и с его помощью нежно втащили огромный неудобный груз в оконный проем, установили его на гидравлическую тележку и доставили к нужному месту. Практически всю работу исполнил один человек.

Насколько разительно такая работа отличалась от амровских методов перетаскивания грузов. Помню, тот же толстяк, буквально на том же месте, нанял нас занести с улицы парадную бронированную дверь. Не имея ничего, кроме рабочих рук, я созвал почти всю нашу банду. Изобразив гигантскую многоножку, толпа бугаев с воплями и гиканьем поволокла тяжеленную дверь внутрь. Согбенные спины, красные от напряжения лица, вздутые жилы... Древний Египет эпохи фараонов!

Гаузер, любитель попинать ногами чей-нибудь брак, презрительно вопросил у меня:

— И это специалисты?

Будто я ему их продал. На Украине говорят: «Що хтив, то й маеш». Подмывало спросить:

— Ты искал специалистов?

— Ты платишь как специалистам?

— Ты обеспечил всем необходимым и обращаешься с ними как со специалистами?

От грубых и несправедливых шпынаний во мне набралось столько протеста и злости, что однажды я не выдержал.

16

Случилась история уже в июне. Мне с рабочими предстояло разобрать двенадцать этажей строительных лесов и складировать их во внутреннем дворике банка. Самая простая технология — выставить на каждом этаже друг над другом по одному человеку и по живой вертикальной цепочке спускать вниз демонтированные элементы, передавая их из рук в руки. Так и решили действовать. Но мешал дощатый настил в верхней части лесов, который следовало предварительно разобрать и вынести по горизонтали в боковое окно. На беду мимо в компании с бригадиром словенцев проходил Гаузер. Узрел наших муравьев с досками в окне. Решил, что мы не сносим элементы лесов вниз, а нерационально перетаскиваем их по горизонтали. Побагровел как свекла и заверещал:

— Что за страна! Что за люди! Здесь живут одни идиоты.

Тут уж взбесился я. Изнутри самопроизвольно вырвалось звериное рычание. Понимал, что нужно ему объяснить, но, обозвав, в лицо, шефа придурком, резко повернулся и пошел вниз. Изумленно перепуганные глаза отскочившего в сторону словенца лучше слов иллюстрировали, как выглядел инцидент со стороны. Я спускался по лестнице и обдумывал: идти домой сразу или сдать дела как положено? Понятно, мне в этой фирме больше не работать...

Посыльный отыскал меня где-то в подвале. Гаузер звал к себе.

— Что ж, пошли...

Когда я зашел в прорабскую, шеф прохаживался по комнате. После длинной паузы австриец неожиданно затеял разговор на постороннюю тему. Стало понятно —

не только он мне нужен, но и без меня ему уже не обойтись. Даже возникло теплое чувство: достали неприятности мужика, вот он и сорвался.

А неприятности полезли еще зимней закваски. Вдруг стали массово отделяться от стен и отваливаться плиты гипсокартона, наклеенные по приказу шефа в лютые морозы. А ведь он знал, что клеить в холода нельзя. Клей, не успев схватиться, быстро замерз, а весной оттаял и перестал держать. Встревоженный Гаузер ходил по зданию, обстукивая костяшками пальцев панели. Почти везде откликом было характерное хлопанье отвалившейся плиты. Пробовал клеить монтажной пеной — безрезультатно. Пришлось все переделывать. Но то были цветочки…

Самый сокрушительный удар по престижу шефа пришелся сверху. Потекла плоская крыша. Она должна держать воду как подводная лодка. Но не желала. И виноват конечно же «генерал Мороз». Битумная изоляция, разогретая в зимние холода, не пристала к промерзшему сырому бетону. Свою лепту внесла и халтурная сварка листов изоляции. И непонятно было, кого винить — сатаниста ли с «афганцем», работавших на крыше, снег ли, забившийся под гидроизоляцию, или мороз, не позволивший проверить качество работ. Одно совершенно ясно: зимой гидроизоляцию не кладут.

Короче, вода потекла, да с такой силой, что пришлось подставлять пустые бочки. Так хлестать она не должна была, даже при полном отсутствии битумной защиты. Ляйевский монолитный железобетон оказался не совсем монолитом. Сквозь трещины он легко пропускал забортную воду.

Разразился скандал. Функель чуть за грудки Гаузера не хватал. Ходил, забрызганный, между бочками, обхватив руками голову, шипел на всех и вся любимым немецким ругательством: «шайзе» (дерьмо). Некоторые австрийцы оценивали ситуацию радикальнее. Кричали: «Катастрофа» и как-то подленько ухмылялись. Ремонт усложнялся тем, что гидроизоляцию уже покрыли толстым слоем пенопласта, тридцатью сантиметрами гравия и тротуарными плитами. Нужно было все это вскрыть, найти течь, исправить брак и, залив крышу водой, проверить ее на герметичность.

Конечно, все исправили. Все, кроме репутации Гаузера. Она подмокла вместе с крышей.

17

Тут еще Змий из Праги вернулся, и командиров стало двое. Подчиненных также поделили: Крамаренко пошел к Гаузеру; меня отдали Штернату. Пробовали разделить и рабочих, но не вышло. Мы постоянно дергали их друг у друга. Ей же богу, австрийцы вели себя так, будто работали первый год и не могли предвидеть, что из этих перетасовок получится. Получилась ревность, грызня и сумятица. Наши шефы подглядывали за ходом работ у соперника, смаковали допущенные ошибки, скалили зло зубы. Эта вражда называлась здоровой конкуренцией.

Змий ощущал себя на коне. Торжествуя, жестами изображал мне свой карьерный триумф: «Гаузер — вниз, Штернат — вверх». От такой простоты, выраженной на языке доисторических гоменид, коробило. Надо сказать, мой непосредственный начальник иногда удивлял не на шутку. Так для него, человека с высшим образованием, ошеломительным открытием прозвучала оглашенная мною географическая новость: до 1918 года город Львов входил в состав Австрийской империи. Я еще могу понять, когда москвичи ищут Дубровник на карте Подмосковья или путают Бишкек с Ашхабадом. Но ведь речь шла об истории змиевой родимой родины.

Может, я зря удивляюсь? Все идет к тому, что лет через пятнадцать наши дети достигнут таких же высот эрудиции и кругозора. К тому все идет. Некоторые уже добились «европейского стандарта».

Из вышеизложенного понятно, что мои отношения с новым шефом не были теплыми. Я исполнял все его поручения, но не поддерживал в наскоках на Гаузера. Первый шеф вызывал во мне гораздо больше симпатии. Хотя бы цельностью натуры.

А новый рвал и метал. Все пыжился доказать, что он здесь главный, на ком земля держится. Иногда затеянные им мероприятия были просто опасны.

В огромном центральном холле высотой двадцать метров пришла пора демон-

тировать строительные леса. Ерунда — работа, если бы Змию не захотелось сделать ее за один вечер. Не знаю, откуда блажь такая (пари заключил или премия горела), но я сам слышал, как он доказывал Шмидту, что это сделать возможно.

Пригласил в помощь швейцарцев, понагнал наших «рабов», где-то нанял за доллар в час толпу настоящих африканцев и даже сам полез наверх отрывать от настила доски. На работу накинулись как одержимые. Темп задали явно неприемлемый. Рабочий не успевал передать вниз по цепочке одну доску, как тут же получал по макушке следующей. А дерево было тяжеленное, все в занозах. В глаза и в рот летел стряхиваемый с настила мусор. Страховка отсутствовала. Я весь напрягся в ожидании, что кто-то загудит вниз. Наконец-то спешка дала о себе знать. Качок швейцарец повредил руку, отшвырнул монтировку и, покрывая кого-то отборным матом, сошел со сцены. Мне пришлось карабкаться вверх ему на замену. Через пять минут моя куртка потемнела от пота. Я не боюсь высоты — в аэроклубе прыгал с парашютом. Однако, корячась на единственной доске, признаться, покрывался испариной не только от физической нагрузки.

К десяти вечера ватными руками разобрали последние конструкции и обнаружили, что были на волосок от неприятностей. При сооружении лесов кто-то забыл вставить цапфу, соединяющую нижние и верхние стойки-трубы. Соскочи одна стойка с другой, толпа демонтажников оказалась бы на каменном полу. Но пронесло.

Штернат выставил всем участникам гонки пиво. На мой вопрос: «Куда мы так гнали?» — он ответил:

— А ты не верил, что успеем.

Куда Змий не успевал, осталось невыясненным. Таким суетливым подростком запомнился мне сей зрелый муж.

18

Основные работы заканчивались, и я чаще стал бывать на верхних этажах, выходил иногда на крышу. Какая благодать — погреться на солнышке, ощутить ветерок, поглазеть вокруг.

Оказывается, я, черт побери, в Москве! Рядом Белый дом. Внизу, по набережной, шумит поток машин, широким полотном плавно изгибается загнанная в каменные борта река. Напротив Дома правительства закладывает виражи хулиганистый зеленый кораблик с непонятным флажком на мачте. Издали едва можно прочесть надпись на борту: то ли «Аврал», то ли «Аврора». Слишком далеко, и не различить, имеется ли у «Аврала» орудие. Ужо пригодилось бы...

С крыши можно делать даже ихтиологические открытия: в Москве-реке водится рыба огромных размеров. И не одна. Целое стадо кормилось отходами из канализационной трубы ткацкой фабрики. Мясистые рыбины смотрелись как десятикилограммовые. Когда я показал немцам кувыркающийся в нечистотах косяк, они зацокали языками и опечалились. Стали вспоминать свой воспетый в легендах Рейн, в котором ничего, кроме мыльной пены, давно не плавает. Я ощутил прилив генетической гордости за наших. Стал доказывать, что способность ихтиофауны к выживанию определяется не качеством речной воды, а физической закалкой организма. Наш зачуханный карасик и в фекалиях выгребает!

Любуясь панорамой Москвы, я ощущал себя на вершине крепостной башни, окруженной миром, с которым почти не соприкасался. Иногда этот мир брал штурмом нашу крепость. Омоновцы, с автоматами наперевес, облавой врывались в здание и пытались поймать незарегистрированных «хохлов». Удавалось им это редко — на стройке было где спрятаться. Своих я «ховал» в прорабской. Закрывались изнутри и затихали, вслушиваясь в топот милицейских ботинок. Страдали от ментов больше иностранцы. У них также рабочие визы отсутствовали. Но «западенцы» не прятались в норах, а гордо сдавались в плен. Предпочитали откупаться. Наши также платили, но чуть позже и поменьше — на базарах, в метро, на улице. Интересно подсчитать суммарный доход, оседавший в милицейских карманах.

Пришлось мне столкнуться и с миром московских чиновников. Однажды вече-

ром я позвонил на снабжавшую нас энергией электростанцию и договорился с начальником смены, чтобы на час обесточили ведущую к нам электролинию. За это время электрики переключат питание здания с временной ветки на новую, постоянную…

Согласно уговору ровно через час вновь звоню на электростанцию и сообщаю о своей готовности принять от них электроток. И получаю отказ в грубой форме. Заступивший на вахту новый начальник смены назидательным тоном взялся просвещать меня относительно сложной процедуры подписей и согласований, которую обязан пройти просящий о включении электричества потребитель. Получалось, согласно его циркулярам, что мне предстояла целая неделя беготни по кабинетам. Я понял, что попался. Дозвонился домой к самому главному начальнику станции и стал рассказывать про невозможность жизни без тока — у нас есть агрегаты, которые умрут без электричества за два часа… В ответ — глухой железобетон. Только ссылки на правила и инструкции… Когда я, неприлично поздним звонком, поднял с постели спящего бауляйтера, тот долго не мог понять, почему какая-то электростанция печется об электробезопасности на его предприятии.

Мы решили эту проблему к первым петухам, когда Функель вышел на министерский уровень. Теперь я знал, что есть чиновничий капкан.

Причиняли неприятности и мы москвичам, разгоняя тишину грохотом отбойных молотков и механизмов.

Случались и драматичные инциденты. Наше предприятие отделялось от реки широкой автострадой, под которой проектом предписывалось проложить ливневую канализацию. Для этого требовалось перекрыть движение, взломать асфальт и рыть глубокую траншею-котлован. Чтобы не останавливать поток транспорта, котлован копали по частям, единовременно оккупируя лишь треть ширины полотна дороги. Создавали островок на проезжей части, огражденный бетонными блоками и сетчатым забором, внутри острова копали котлован, укладывали часть канализационной трубы, потом все засыпали и приводили в первоначальный вид. Действия повторяли, двигая островок дальше, — в сторону реки. Конечно, зону работ, как елку, украсили дорожными знаками и световой сигнализацией. Днем предписания знаков водителями исполнялись. А ночью летящие сломя голову крутые тачки вдруг натыкались посреди дороги на мигающий огнями забор… Не все вовремя отворачивали. Две машины, разметав блоки, оказались на дне четырехметровой ямы. Обошлось без смертей. Кто платил за разбитые авто, не знаю. Чаще за собственную дурь платит ее владелец.

Но не всегда. Однажды Гаузер, увидев меня, закричал:

— Александр, беги на улицу! Там русский дурак все нам развалит. Не отходи от него ни на шаг.

Не скажу, что мне понравилось определение национальной идентификации дурака. Особенно потому, что прозвучало оно из уст австрийского шефа. Но то, что я увидел, действительно не мог учинить ни один немец. Нанятый в каком-то СМУ экскаваторщик должен был выкопать под стенами почти готового здания аккуратную яму. До моего вмешательства он — не пьяный, не обкуренный — уже успел, управляя ржавым колесным чудовищем, повалить телефонный столб, снести два люка подземных коммуникаций, порвать трубу водопровода и завалить металлический забор. Приехав без уведомления, не представившись, не уточнив задание, гегемон самостоятельно приступил к истязанию земли там, где ему взбрело в голову. Вид у этого созидателя — остервенело-растерзанный, будто он весь мир готов был закопать. Вся его одежда — грязная рваная синяя майка. Сальные волосы торчали клочками, наколки — от ногтей до шеи. Чья еще земля могла создать такого отвратительного урода? Жаль, но подобных отморозков у нас очень немало, во всех областях и на разных уровнях. Их изобилие, возможно, и есть наша главная беда. Народ зовет таких субъектов дураками. И правят придурки не только землеройной техникой. Сидим мы в мармеладе потому, что не успеваем разгребать навороченное «экскаваторщиками».

Примерно в то же время москвичи «выбирали сердцем». Огромные плакаты с избранником, по пьяни заблудшим в березах, украшали всю Москву. Идя утром на

работу, нечаянно услышал часть тихой, мирной беседы троих мужчин, выгуливавших своих собак:

— Слыхали? Леха собрался голосовать за Зюганова! Давай ему дверь подпалим...

Это вам пример нашей простоты, иллюстрация к предыдущему абзацу.

19

В начале июня мы уже красили стены, стелили ковролин, завозили мебель. Все этажи, относящиеся к банку, сдавались упакованными по высшему разряду. Чтобы избежать кражи дорогой начинки, Гаузер отобрал ключи от бесчисленных дверей и взамен выдал мне один универсальный ключ. Выдал торжественно, с угрозами-предупреждениями. Моя невозмутимая реакция повергла его в сомнение: осознаю ли я ценность железки, зажатой в руке? Рубаху на себе я не рвал, не бухался в ноги с заверениями, и шеф отошел с беспокойным лицом: не побежит ли хитрый «хохол» с суперключом к мексиканской границе? Смятение Гаузера было вызвано тем, что таких универсальных ключей с компьютерной разработкой индивидуальной конфигурации на белом свете имелось всего два. Они способны были открывать любую дверь в банке. Утеря ключа автоматически вела к замене всех замков в здании и убыткам в более чем сто тысяч долларов.

Доверие высокого начальства меня совсем не радовало. Чтобы утром открыть этажи и запереть их в конце дня, приходилось вставать с московскими трамвайщиками и уползать из здания последним. Зато я стал популярен неимоверно. Весь день только и слышал:

— Александр! Где ты, дорогой?

Всем срочно необходимо было чего-то открыть. Даже Функель охотился за мной, как папарацци за звездой. Но и я напрыгался по лестницам. Когда, отмучившись, добрался на родной вокзал, жена меня, тощего и поджарого, не признала и хотела оставить в поезде.

Не только суперключ стал причиной интенсивного сжигания моих жировых запасов. С приходом горячего лета вновь начались проблемы с гипсокартоном. Приклеенный к бетону в морозные дни, летом он интенсивно терял влагу и лопался. Рабочий день я начинал с поиска новых трещин, образовавшихся за ночь. Мы погрязли в сплошном ремонте. Трещины змеились быстрее, чем рабочие успевали их заделывать. А срок сдачи здания приемной комиссии неумолимо приближался.

В подтверждение грядущего финиша пришло распоряжение о формировании женской уборочной команды. Как на конкурс красоты, собрались красотки из многих регионов Евразии — из Туркмении, Татарстана, Гагаузии и, конечно, россиянки с украинками. Вначале девичьим командиром назначили улыбчивого Оскара. Но тот скоро уехал в свою Вену, оставив бабье царство на меня. Нельзя сказать, что я был не рад новому приходу — сумрачное мужичье изрядно надоело. До этого в фирме служила секретарем-переводчиком лишь одна девица. Москвичка так отчаянно дымила, пила водку и материлась, что я не очень воспринимал ее особой слабого пола. А тут — яркие наряды, загорелые плечи, звонкие голоса... Правда, дамочки требовали забот побольше, обращения потоньше. Хлопот у меня определенно прибавилось.

Многие девушки попали к нам с московских базаров, где прошли суровую школу боевой подготовки. За место под солнцем они умели бороться словом и делом. Пара пожилых учительниц из Камрата (Гагаузия) попытались воспитывать молодежь, но нарвались на языкастых молодух из Донбасса. Борьба поколений вылилась в такой галдеж, какой еще не звучал в свежевыкрашенных нами стенах. Язык убеждения и аргументации сменился интенсивной жестикуляцией. После демонстрации кукишей наступила реальная угроза применения «длинных ногтей». Известно, что «хуже бабы зверя нет». По пламенным взорам я понял: огонь нужно срочно гасить. Огнетушителем четко сработала громкая команда:

— Бабы, цыц!

Вопли, визги и проклятия задавила тишина... Конфликт погас мгновенно, даже

без остаточного шипения. Не думаю, что на женщин нагнал страху какой-то незнакомый им «цыц». Они панически боялись лишь немедленного увольнения.

Никто не хотел снова на улицу. Уборщицам платили по два доллара в час. Прослышав про «мужские» заработки, каждое утро меня осаждали девицы, жаждущие попасть в наш коллектив. При желании я мог запросто стать многоженцем. Бедные бабы. Достается в нашем государстве им гораздо крепче, чем мужчинам. Наслушался я рассказов матерей-одиночек, ежедневно воюющих с нуждой, или жен, убежавших от мужей-пропойц. Были здесь и хозяйственные наседки, взвалившие на себя обязанности кормильцев, и даже энергичные бабушки, желающие поддержать своих великовозрастных несостоятельных внуков. Чтобы заработать, подписывались они на разные авантюры. По наивности связывались с преступниками и, обворованные, еле уносили ноги. Многих обобрали квартирные аферисты. Не жизнь, а война! За редким исключением я имел дело с прекрасными, умными, работящими женщинами. Только две, совсем юные, но уже морщинистые от излишеств, морочили голову. Жаль было всех. Некоторые молодые мамаши засыпали от усталости прямо на рабочем месте. Рычал я, конечно, — работу необходимо было делать.

Поневоле приходилось принимать участие в их личной жизни, ограждать от буйных кобелей. Особо «озабоченным» слыл кучерявый бригадир боснийских мусульман — хитро сделанный, гнилой субъект, носивший имя Хари.

А так, с нашими женщинами я почти не имел проблем. Они на порядок добросовестней мужчин. Но за месяц здание вылизали, и мне предстояло сократить девичью бригаду с тридцати шести до восьми человек. Вот тут страсти разгорелись по-настоящему. Женщины до истерик не хотели возвращаться туда, откуда пришли. Пустили в ход наговоры, уговоры, предложения и ненавистные мне слезы. Кошмар! Знали бы они, каких мучений доставлял мне этот неестественный отбор. Я ощущал себя убийцей…

Решил оставить новеньких, не успевших еще ничего заработать, и насмерть обидел многих.

20

Строительство приближалось к финалу. На заборе уже повесили рекламный щит, призывавший арендовать офисы в нашем здании. Я имел счастье лицезреть клюнувших на рекламу богачей. Судя по шикарным тачкам и толпам охраны, к нам наведывался самый «крутой крутяк».

Как изменились «начальники жизни»! Раньше это была замученная кабинетными страхами номенклатура с серыми одутловатыми лицами, рыхлыми телами в мешковатой одежде. Теперь — невесть откуда взявшиеся навитаминизированные качки, излучающие самоуверенность и неуемную спесь. Окруженные свитой, они шествовали через скопление снующих рабочих, как нож сквозь прозрачное ничто. Не увернешься — сдуют словно сигаретный пепел. Такое демонстративное высокомерие не столько возмущало, сколько удивляло. Непонятно, от чего людей так распирало.

Наведывались и владельцы банка — обмывали коньяком готовые помещения. Благо исполнить самый желанный ритуал — расстелить газетку, нарезать колбаску, присесть и выпить — уже было где. Новенькая кожаная мебель, вокруг — чистота и блеск. Тузы с интересом обследовали свои владения. Особенно восторгались помещениями подземных банковских хранилищ. Сорокасантиметровые бронированные ворота. Стены из специального бетона, замешенного на стальных шарах, в котором обломится любой бур. Коридор, закольцованный вокруг сейфа, для обходов «секьюрити». Специальный лифт для доставки ценностей. Не банк, а линия Мажино.

Появилась обслуга здания. Охрана угнездилась возле мониторов телеобзора, прогревая мясистыми задами удобные мягкие кресла. Директор будущего ресторана, изящная француженка, обцокивала каблучками нижние этажи.

Задолбала меня приемная комиссия. Но о процессе приемки рассказывать тоскливо, тем более что комиссарами были дотошные и въедливые отставные кагэбэшники. Бесконечные осмотры, споры и работы по устранению замечаний. Гаузер поставил мне условие: «Сдаешь дом — едешь в отпуск». Лучшего стимула-погонялы

для меня не придумать. Несмотря на плодившиеся подобно мухам претензии приемщиков, мы с недоделками разделались.

И наступил великий День победы. Акт «капитуляции» приемной комиссии подписан!

Гонка для меня оборвалась. Все дела я передал Крамаренко и, непривычно досужий, околачивался по двору, любуясь мягким, синим небом. По привычке многие приставали ко мне с производственными вопросами, но получали отворот:

— Я в отпуску.

Подрулил Крамаренко и предупредил, чтобы в час дня я подошел к вагончику — шеф желает выставить мне чарку и попрощаться.

В назначенное время обожаемый мною начальник действительно появился и стал ходить кругами. Подошел, потоптался; отошел к рабочим. Наконец, присел рядом... Долго молчал... Я брякнул что-то о скорой осени... Гаузер «чмыхнул» недовольно и побрел себе восвояси. Недоумевая, я смотрел ему вслед. А потом вдруг осенило: это ж козни Крамаренко. Наверняка направил меня к Гаузеру, а шефу наврал о мнимом моем намерении «выставить отпускные». Такие штучки в его стиле. Бедняжка ревниво переживал за свою карьеру.

— Нэ хвылюйтэся, Шура! Я вам нэ суперник.

Уже тогда почти созрело решение — послать все к чертовой матери.

Хотя давно известно, что эта матерь всегда недалече.

21

Целый месяц провел в блаженстве: отъедался, ловил рыбу, ходил по грибы. И все время раздумывал, как действовать дальше? Мне рассказывали, что Гаузер, несмотря на противоречивую натуру, никогда не бросал тесно связанных с ним сотрудников. И действительно, он через Крамаренко передал мне вызов из отпуска. Но я отказался приехать, сославшись на семейные обстоятельства. Хотя понимал, что в материальном плане меня впереди ждут немалые трудности. На заработанные в «АМР» доллары я погасил свои долги и приобрел лишь кое-какую одежду, магнитолу, фотоаппарат-мыльницу, пылесос... Еще осталось на пять месяцев сносного существования. И все. Потом пришла знакомая нищета, вынудившая меня вновь искать заработка.

Но к Гаузеру я больше не поехал. Со стороны такой поступок выглядел глупостью. Ведь я прошел самый тяжелый период адаптации, прижился у австрийцев, познал профессию, имел неплохой стабильный доход. Несколько моих знакомых продолжают трудиться в фирме, а один даже приобрел в Москве квартиру. Но все мы разные. Кому — плевок нипочем, а кому и ругань смертельна.

Скажете: слабак! Как вам угодно. Со стороны виднее. Но я не мог больше себя переламывать. Хотя удалось огородиться от прямых грубостей и разнузданного хамства, их суммарная критическая масса и общая атмосфера на фирме делала невыносимой саму мысль о возврате в это «кубло». Особенно, после отпуска. Не думаю, что причина в сверхчувствительности моей натуры или в особых нравах австрийской стройбратии. Корни неприязни сидят глубже.

Чтобы стало понятнее, расскажу историю про одного немца. Звали мы его папа Карло. Он и вправду был похож на знакомый по детским книжкам образ отца-создателя Пиноккио-Буратино. Высокий, худощавый, с засученными рукавами рубашки, в неизменном кожаном фартуке. По профессии — столяр. Выписали Карлу из Западной Германии для производства деревянных работ внутри здания.

Вначале, как человек сдержанный, благообразный, к тому же почти сказочный герой, он вызвал симпатию. Я неоднократно помогал немцу рабочими, одалживал инструменты. Однажды выдал ему большой промышленный пылесос для уборки стружки. Вернул он агрегат, доверху забитым опилками.

Спрашиваю:

— Почему не почистил?

Отвечает после длинной паузы:

— Думаю, это сделаешь ты...

Такой, ничем не спровоцированной примитивной наглости от зрелого мужа никак не ожидал! Не о том речь, что чуть позже я его проучил, и он наверняка пожалел о своем предложении. А о том, как сильно, буквально за живое, задело меня это простодушное хамло. Неудивительно, если подобное выдал бы сопляк, освоивший лишь две формы человеческого общения — когда он «наскакивает» либо когда на него «наезжают». Но в мои глаза смотрело полувековое седеющее создание, холодно наблюдавшее, как я прореагирую на его выходку. Очевидно, он изначально считал меня, практически ему незнакомого, существом низшим, обязанным по природе своей чистить ботинки. С такой откровенной клиникой я еще не сталкивался. У рядового столяра, как у ефрейтора, «европуп» рос прямо на лбу! Что это?! Инфекция, биологическая аномалия или состояние души? Есть смысл исследовать, чтобы не заразиться. Ведь уже и в родных пределах находятся «европейцы», с энтузиазмом подпевающие подобным настроениям, вещающие о нашей безнадежной вековой отсталости, дремучести, пьянстве и лени.

Что имеем — все наше! Славное и скверное. Но последнее дело поднимать на флагштоке свое нижнее белье и позволять пришельцам выставлять нам оценки по поведению. Тем более, соглашаться с пренебрежительным отношением к себе. Утратившего достоинство сажают на цепь.

Несомненно, в «эсэнговских» условиях задранный кверху нос — всего лишь бессильная поза. За душой мы ничего уже не имеем. Протестующего просто уволят. На освободившееся место мгновенно набежит новая голытьба. И будут «жопу целовать» за два доллара в час. Гордость в паре с нищетой не ходит. Растрынькав защитную державную силу и пустив по ветру созданное отцами, мы обречены заглядывать в глазки.

Но с меня забугорных учителей достаточно. Попробую прожить без них.

Одна лишь мысль не дает покоя. Осталась ли у нас хоть теоретическая надежда подняться с колен?

Колени — еще не все. Еще с локтей нужно приподняться!..

Недавно я гулял в Брюховичском лесу на окраине Львова. Смотрю, на деревьях наклеены указатели: «Курган Европы». Я заинтересовался и полез вверх по указанному стрелкой направлению. Скоро дошел до пояснительной записки, приклеенной к серебристому стволу бука. Отпечатанное на принтере объявление торжественно разъясняло, что в ознаменование воссоединения и освобождения Европы (естественно — от москалей) на вершине главного европейского водораздела возводится сей памятник. Я стал сканировать глазами округу, ожидая узреть массивную пирамиду или что-либо подобное. Напрасно... Оказалось, я уже топтался точно на насыпанном «кургане» и частично раздавил его своими кроссовками. Малявка даже не пискнул. Весь «колосс» содержал объем семи лопат лесного суглинка...

А кто же создатель-зодчий этого монумента? Всего скорее жулик, который кучкой земли «отчитался» за выделенные европейскими спонсорами солидные подачки. Либо экзальтированный псих, одержимый модной идеей соединиться в экстазе с Западом. И такими курганами мы пытаемся застолбить себе место в европейском сообществе?

Мы все хотим быть европейцами. Точнее, жить так же сыто, чисто и красиво. Желают этого даже те, кто ненавидит Запад. Но пора понять: Европа для нас не на Западе. И она не приз за подхалимаж. Ее нужно создавать здесь. У себя в доме, в собственной стране, трудясь как папа Карло. А пока мы будем строить наше общее жилище методом, схожим с тем, каким ставит «курганы» обожравшийся малиной косолапый мишка, нас запустят в «европейский дом» лишь уборщиками и холуями.

Загнавшие сами себя в западню, бесцельно, в одиночку мы тычемся в поисках выхода. То есть у каждого в отдельности цель есть: подобраться поближе к кормушке... Такое поползновение провозглашают почти национальной идеей. Как поучают наши свирепые либералы: «Багатиеш ти — багатие Украина». И гребет каждый под себя и в сторону. А наш общий корабль, потерявший ориентацию и ход, течением несет черт знает куда. До встречи с первыми камнями. И нет понимания, что «так жить нельзя»..

Стоп!.. Кажется, это я уже слышал. Неужели ходим по кругу?!..

Львов — Москва — Львов

Гурам Сванидзе

Кто же гегемон?

Социологическое эссе

Однажды Горбачева спросили, какие социальные слои общества являются движущей силой перестройки в СССР. Он сколь безапелляционно, столь и безответственно заявил: «Весь советский народ, ведомый коммунистической партией!» То, что заявление голословно, понимал и сам генсек.

Такие вопросы задаются не из простого любопытства или академического интереса. Ответы на него могут свидетельствовать о наличии внутренних оснований для преобразований в стране. Существование социальной группы, кровно заинтересованной в реформах, указывает на наличие в обществе предпосылок к восприятию новшеств.

В Грузии такими вопросами не задаются. Нельзя, конечно, сказать, что местные политики и политологи не учитывают такого фактора, как «народ». Напротив, к нему они испытывают особый пиетет. Иногда оттого, что боятся его, как стихийного бедствия, которое по неосторожности или злонамеренности можно накликать. Бывает и так, что мы имеем дело с проявлениями мифологического сознания — народ всегда прав, он — носитель мудрости, вершитель справедливого суда.

Симптоматичны манипуляции с цифрами, которыми балуются политики. Некоторые из них хвастаются, что смогли набрать много людей на митинг. Те, кто основательнее, задаются вопросом: когда мы имеем толпу, когда народ, а когда массу? Для некоторых количество людей, собравшихся на политическую акцию, не может заведомо перейти в качество, для них толпа может развиться только в массу. Между тем принято считать, что политический спектр обусловливается многообразием социальных групп. Еще предстоит определить, насколько он соответствует истинному раскладу общественных сил. Пока этот расклад не изучен, в Грузии поступают просто («по-горбачевски») — любая политическая сила заявляет, что она выражает интересы всего народа.

Закрадывается подозрение, что в стране «по умолчанию» полагают, будто существование внешнего фактора — достаточное условие для преобразований в обществе и нет смысла заниматься самоанализом. Куда интересней сплетничать о передрягах в политэлите. Мало кто считает, что ограничиваться таким дискурсом неприлично. Ведь речь идет о демократических преобразованиях. Возможны ли они без участия широких народных масс?

Эффект разрушенной пирамиды

Как уже отмечалось, количество партий и содержание их программ обусловливаются многообразием социальных групп, составляющих социальную структуру общества. Ее обычно изображают в виде пирамиды. Революционеры всех времен пытались опрокинуть пирамиду, чтоб «тот, кто был ничем, стал всем». Утописты — превратить ее в шар. Умеренные же политики стараются достичь баланса интересов как

условия равновесия этой строительной конструкции и, увлекшись геометрией, ищут ее наиболее устойчивые формы.

Разделение общества на классы и последствия такого разделения долгое время были ведущей темой социальной науки. Марксизм-ленинизм почитал классовую борьбу за «локомотив» истории. С болезненной последовательностью он видел ее проявления везде и во всем. Почтения к классикам не стало, и к их теориям тоже. Теперь в Грузии нет партий, организованных по классовому признаку. Явно преобладает общедемократическая или националистическая тематика. Принадлежность индивида к классу рабочих и крестьян, к имущим классам, к прослойке интеллигенции стала политически и идеологически нейтральной и бессмысленной. Правда, нет в стране такой партийной программы, которая не пропагандировала бы необходимость формирования среднего класса. Но грузинские политики понимают, что было бы натяжкой выдавать себя за выразителей интересов все еще не существующей общественной силы.

Грузия не является воплощением утопии бесклассового общества. Скорее всего она вернулась к своему «доклассовому» состоянию. Сработала простая закономерность, подмеченная социологами, — классовые противоречия присущи экономически развитым государствам. На сегодняшний день Грузия не принадлежит к их числу. Развал СССР, выход Грузии из народно-хозяйственного комплекса, экономический кризис вызвали разрыв общественных связей, крушение классовой структуры. Удивляет то, что это обстоятельство стало причиной некоторого снобистского довольства. Уж очень рьяно развенчивалось здесь наследие классиков, вплоть до соскабливания их барельефов с фасадов зданий. Дело, конечно, не в самоценности классовой структуры. Ее наличие делает социальную самоидентификацию как минимум более многообразной.

Политическая прихоть не позволяет местным идеологам осознать, какую неразбериху привнесли помянутые обстоятельства. Благодаря их «разборчивости» в обществе распространяются примитивные социал-дарвинистские теории. Они совсем не содействуют формированию в сознании граждан полноценных представлений о социальной справедливости. Ныне у политиков в почете правая идеология. Правда, ее ассоциируют только с традиционализмом и совсем не увязывают с интересами имущих классов. Зато стала непрестижной левая идеология. Ее даже чураются. Как выразился один из местных идеологов, — «она для лузеров». Среди идеологов наметились признаки «детской болезни правизны».

Симптоматично, что из социального дискурса в Грузии выбито понятие эксплуатации. Не существует гарантий того, что доморощенный капитал не позволяет себе произвола в отношении к наемному труду. Тем более что в Грузии принят трудовой кодекс, который разом перечеркнул некоторые завоевания трудящихся всех стран. Отсутствие возражений по этому поводу наводит на мысль о неорганизованности занятых в наемном труде людей или, того хуже, что эксплуатируемые массы разделили этос эксплуататоров.

Такое же разрушительное действие отмеченные катаклизмы возымели и на профессиональную составляющую социальной структуры. Профсоюзное движение, через которое она себя актуализирует, чуть было не приказало долго жить. Оно дает о себе знать только во время скандальных судебных процессов по поводу дележа собственности. Впрочем, как-то заявляют о себе представители массовых профессий — педагоги и врачи. Заметна их жизненная позиция, они наиболее активно выступают в защиту своих общественных и профессиональных интересов. Эти социальные группы остаются наиболее «замордованной» частью населения. Самые волюнтаристские реформы проводятся в сферах образования и медицины. И это при унизительно низкой заработной плате и слабых социальных гарантиях. Порой создается впечатление, что идет целенаправленная травля этих профессиональных категорий.

В свое время тенденциям люмпенизации общества Гамсахурдиа попытался противопоставить идею этнонационального единства. То есть акцент был сделан на этнической составляющей социальной структуры. Как заметил один остроумный политолог, из яиц этнонационализма вылупились драконы местечкового шовинизма.

Разгорелись конфликты в автономиях, обострились проблемы с меньшинствами, особенно в районах их компактного поселения.

Наметились признаки дезинтеграции самого титульного этноса. Внутренне дремлющий импринт, который был наложен на общественное сознание в период феодальной раздробленности страны, снова стал подавать сигналы. Актуализировались этнорегиональные элементы социальной структуры. Воспалились идиосинкразии типа «тбилисский шовинизм», «сванский трайбализм», «менгрельский сепаратизм», «аджарский вилайет».

В обществе и сегодня существуют фобии по части таких исторических атавизмов. Их или пытаются замалчивать или, в лучшем случае, разменивают на шутки. Даже такое благое пожелание, идущее от европейских структур, как потратиться на развитие одного из локальных языков, вызвало отторжение. Дескать, знаем, чем кончается такая благотворительность на примере абхазской автономии.

Шеварднадзе застал общество и государство в руинах. Ему удалось остановить броуновское движение, в котором оно пребывало, поставив себя в центр событий. Он пустил по кругу (вокруг себя), как на карусели, весь политический спектр. Его заслугой стало то, что Грузия обрела свою геостратегическую функцию, что упорядочило внутренние процессы. Но движение по карусели оказалось бесплодным. Привычка стареющего лидера балансировать между полюсами сил уже не казалась полезной. Ему удалось расправиться с криминалом, проникшим во властные структуры. Однако «Шеви» приходилось уживаться с энергетической и прочими мафиями. Чем еще объяснить тот вопиющий факт, что олигархические структуры на протяжении более десяти лет подвергали население пытке тьмой и холодом, держа его на голодном энергетическом пайке? И это в условиях вполне достаточного производства электроэнергии в стране. Надо отдать должное мафии, она вовремя спохватилась и не стала наживаться на поставках хлеба. Напряжение в километровых очередях за хлебом вот-вот могло разрядиться социальным взрывом. В значительной мере за счет кадровой политики Шеварднадзе удалось унять ненависть к нему крайних этнонационалистских сил, что не уберегло его от террористического акта в феврале 1998 года. Политическое «великодушие» лидера было столь щедрым, что впоследствии он амнистировал террористов.

Некоторое время Шеварднадзе полагался только на свои силы. Позже им была создана партия — «Союз граждан» — типичная партия власти, более того, власти одного человека — самого ее основателя. Как бывает в таких случаях, она кишела разного рода «царедворцами» и вещала от имени народа.

После Революции роз произошел прорыв. При Саакашвили развернулось государственное строительство. За короткий срок властям удалось создать по-настоящему сильные государственные институты, чего Грузии на протяжении всей ее истории хронически недоставало. Окончательное поражение потерпел криминал, вытесненный не только из структур власти, но и из грузинского общества.

Между тем «административный восторг» сослужил медвежью услугу реформам. Власть сама не раз покушалась на институты частной собственности. Одно из обвинений в адрес правительства состоит в том, что в стране затерт крупный бизнес, произошло приручение богатых сословий. Они вынуждены подчиняться административному нажиму и спонсировать начинания правительства. С другой стороны, дело не только в том, что еще свежи воспоминания о морально небезупречных капиталах, и, соответственно, по-прежнему актуален компромат на сословие магнатов. Они остаются изолированными друг от друга люмпенами, ищущими каждый по отдельности «крышу» у власти.

Аналогична ситуация и с трудящимся сословием. Характерно, что именно при правлении Саакашвили был принят помянутый трудовой кодекс. Общественность, долго терпевшая унижения со стороны энергетической мафии, без особого сопротивления приняла этот кодекс. Страх перед безработицей не сплотил ее, а разобщил.

Саакашвили как реальный политик, заинтересованный в электорате, платит немалую дань этнонационалистическим элементам. Однако, держа в памяти недавнее правление Гамсахурдиа, он избегает ультранационального дискурса и держит

баланс: в Грузии мы строим гражданское общество, и все граждане страны без какой-либо дискриминации принимают участие в этом строительстве.

Интересный факт: первая леди, и так известная своими лингвистическими способностями, во время выборов исполняла в Менгрелии песни на местном языке, что, естественно, было не единственным средством «задабривания» региона, некогда предельно лояльного Гамсахурдиа. Мало кто верит, что километровые караваны из определенного региона, вовремя прибывшие в Тбилиси, где происходила Революция роз, были влекомы идеалами демократии, прозападным выбором. На поверку оказалось, что большую опасность для правящей партии составляет не политическая оппозиция в Тбилиси, а недовольство субэтнических региональных элит.

Явление нового класса?

В социологии есть понятие «ювентизация». Это благозвучное понятие обозначает снижение возрастного порога социального созревания молодого поколения. Задействованным оказывается такой элемент социальной структуры, как возраст. Подобное происходит в переломные моменты развития общества. В истории можно наблюдать «чистые» типы ювентизации. В ее наиболее рафинированных разновидностях проступают контуры так называемого «молодежного класса» с его четко осознанной возрастной идентичностью, с претензиями быть субъектом социальных преобразований. Наиболее яркий пример — события 60-х годов на Западе. Подрастающее поколение наотрез отказывалось принимать «свинские буржуазные ценности». Но самостоятельность молодежной субкультуры была относительной. Социологи назвали эти революционные выступления «бунтом на коленях», «дебошем в детской».

События, происходящие в Грузии, весьма далеки по сути от чистой ювентизации. В реальности мы имеем дело с ее смешанной формой – в сочетании с социализацией. Как известно, в рамках социализации молодежь не рассматривается как самостоятельный субъект развития, а является объектом воспитания, и ее претензии на автономию не принимаются. В нашей стране ювентизация стала проводником ценностей западных образцов социализации. Первые ее признаки наметились в период правления Шеварднадзе. Однако для стареющего лидера привлечение молодежи к кормилу власти было своего рода политическим кокетством. Юные кадры только украшали придворную камарилью.

По-настоящему ювентизация проявила себя в сфере неправительственных организаций (НПО), где создавались зачатки гражданского общества. С его активизацией прекратилась спокойная жизнь для официоза. В деятельности НПО начали искать происки масонов. Кончилось тем, что после Революции роз самые «крутые» НПО и их лидеры пришли во власть, полностью вытеснив шеварднадзевскую синекуру, что ознаменовало новый виток ювентизации.

Другая ипостась ювентизации в Грузии — «испившие вод океана», молодежь, получившая образование на Западе (по аналогии с термином «испившие воды Терека», к которым в XIX и в начале XX века причисляли грузин, получавших образование в России). Они — более позднее явление, чем активисты НПО сектора. Запад готовит для нас респектабельных «яппи»[1]. Им более приличествуют посты в истеблишменте, а не в неправительственном секторе. Большинство здесь составляют представители НПО-сектора, многие из которых прошли те или иные виды обучения и тренинга за рубежом и имеют многочисленные сертификаты, но не дипломы.

Предметом изучения должно стать, представляют ли собой «грузинские яппи» сформировавшуюся социальную группу или они — лишь статистически фиксируемый слой ориентированных на карьеру прагматичных молодых людей, страта без сложившейся идеологии. «Социальный заказ» на формирование этой категории молодежи

[1] Яппи — (yuppies) — элита молодых технических специалистов: программисты, маркетологи, рыночные аналитики, консультанты и др.

исходил от властных структур. Ее ангажировала та часть властной элиты, которая состояла из бывших членов Союза граждан, взбунтовавшихся против Шеварднадзе и из перешедших во власть наиболее узнаваемых лиц НПО-сектора. После чего НПО-сектор заметно ослаб. Оставшаяся часть оказалась обделенной вниманием международных организаций и иностранных фондов, которые уполовинили их финансирование. Государственных фондов по поддержке НПО никогда не было, и трудно представить, что они когда-нибудь будут созданы.

По существу, это крыло ювентизации заметно сдало свои позиции, тогда как другое, наоборот, усилилось. Процесс омоложения кадров принял настолько повальный характер, что дал повод разговорам о молодежи как «гегемоне» демократических преобразований. Из-за перегибов в кадровой политике пошли разговоры о таком виде дискриминации, как возрастной. Весьма неприглядное изобретение XXI века: одни виды дискриминации искореняют и здесь же изобретают новые.

Сейчас общество в ожидании, когда растущее количество молодых кадров с западным образованием приведет к радикальным качественным изменениям, когда многочисленные молниеносные карьеры начнут пропорционально соотноситься с темпом и результативностью реформ. Однако нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что полученное на Западе образование может оказаться избыточным для неразвитых условий Грузии. А также то, что получать его приходится в совершенно чуждой в культурном и языковом отношении среде. В обществе шутят по поводу качества приобретенных за рубежом дипломов: молодой человек, который на Западе должен доказать свое право быть принятым на работу в банк на должность клерка, в Грузии с легкостью становится банкиром. Бывшие молодые министры уезжают на Запад, «доучиваться».

Следует отметить «гламурное обаяние» ювентизации. Среди новых кадров в правительстве все чаще мелькают миловидные лица молодых женщин с подиумной внешностью. Если раньше почиталось за правило назначать такой контингент на должности, ведающие связями с общественностью и прессой, помощниками начальствующих лиц, дабы навести марафет на фасад ведомства, то теперь ему доверяют целые отрасли — в том числе такие, как экономика, внешние отношения, пенитенциарная система и даже контрразведка. Никто не против политики гендерного равноправия, но в ее резонности начинаешь сомневаться, когда она проявляет специфичную избирательность, как если бы речь шла о конкурсе красоты, а не о назначениях в системе власти. Уже в пределах самой гендерной политики проступает двойная дискриминация — возрастная и гламурная. Ко всему этому надо присовокупить необходимость наличия иностранного диплома.

Вместе с тем грузинская ювентизация показала довольно крутой нрав. Идет ли он от ее неопытности и низкого профессионализма, но некоторое время «милой особенностью» здешней политики было неприкрытое пренебрежение к общественному мнению. Грузинская общественность, долго терпевшая унижения от энергомафии, не смогла вынести колкостей со стороны дурно воспитанных знаменитых юношей. Наиболее одиозных из них пришлось задвинуть на задний план и меньше показывать по ТВ. Недавняя история с новым институтом уполномоченных в школах вообще была воспринята как проявление чуть ли не намеренного морального террора против педагогических кадров. Пошли даже разговоры о «заговоре» ювентизации против старшего поколения. На некоторое время система среднего образования превратилась в зону повышенной нервозности, местом, где «страшно бывать». С введением института уполномоченных в ней воцарилась атмосфера страха и доносительства — и никаких тебе признаков «счастливой школы», которую здесь всячески пропагандируют.

На все случаи жизни у властей имеется отговорка — идут реформы, они болезненны. Между тем почему-то не допускается, что болевой эффект может быть смягчен, а за грубые просчеты надо отвечать.

Один убеленный сединами политолог призвал не судить строго об ошибках молодежи. Дескать, она набирается ума-разума. Однажды он позволил себе такое верхоглядство, когда речь зашла об отсутствии диалога между властями и обществом. Тогда это кончилось глубоким политическим кризисом. Во второй раз, совсем

скоро после его «мудрых» изречений, страна оказалась вовлеченной в военный конфликт с РФ. Тот убеленный сединами политолог по-прежнему в фаворе.

Не дожидаясь, пока в стране накопится критическая масса «испивших вод океана», власти форсируют события и инициируют приглашение в Грузию тысячи учителей из стран Запада. Они должны обучить население английскому языку. Но истинная цель этого десанта шире — культуртрегерская. Он должен помочь населению воспринять требования модернизации.

Еще одна новость. Из Южной Африки приглашают семьи буров. Не разобравшись в ситуации, население запаниковало, дескать, везут племена из Южной Африки.

Энтузиасты идеи или месть маргинала

Было бы опрометчиво не допускать наличия в обществе групп людей, для которых идеи вестернизации не связаны с соображениями личной пользы-выгоды.

Симптоматично, что среди наиболее последовательных адептов этого направления «испивших вод океана» не найдешь. Среди энтузиастов идеи как раз преобладают те, кто не получал образования на Западе, а если и имеет какие-то сертификаты, полученные за западным кордоном, то это не суть важно. Характерно, что никто не спрашивает с них качества знания культуры и языка новой метрополии.

В этом отношении характерна деятельность Института Свободы и его руководителей. Институт — авангардная группа энтузиастов вестернизации и ее ценностей, пропагандистов идей либеральной демократии. Он не ограничивается функцией «НПО». Масштаб его деятельности простирается от обогащения лексики политических лидеров вплоть до формирования политики. Институт активно участвует в кадровой политике государства, претендует на авторство важнейших законопроектов, на формирование идеологии реформ. Симптоматично, что во время проигрывания одного из сценариев государственного переворота по ТВ среди первоочередных жертв путчистов назывался руководитель этого «НПО». Сценарий был, очевидно, подготовлен в самом «НПО». Его первому лицу было лестно поместить себя в число ВИП-персон — первоочередных жертв переворота. Во всяком случае, он не был исключен из этого списка.

Наиболее заметных представителей этого института обвиняют в попытках разрушения основ национального сознания, в покушении на авторитет православия. В деятельности института оппозиция усматривает народофобские элементы. Из его недр вышел тот самый одиозный трудовой кодекс. Некоторые его представители преисполнены желания перевоспитать нацию по западным образцам. Не исключено, что идея пригласить в Грузию буров принадлежит именно им.

Существование подобного рода энтузиастов подтверждает тот тезис, что в обществе всегда существует среда для формирования социально-психологических типов, которые с готовностью принимают перемены. Они представляют собой «чистую форму», которую можно наполнить разным содержанием. На этот раз — идеями вестернизации и модернизации. Такие типажи занимают маргинальное положение не в отношении официоза, общества, а в отношении традиционной социализации. Речь идет о типажах, не вписавшихся в ее контекст в силу каких-то индивидуальных особенностей (факты биографии, травматические переживания детства). Обычным для них является низкий статус в группе сверстников; в лучшем случае это может быть компенсировано ускоренным взрослением такого типа личности и ее выходом из молодежной субкультуры.

Такие индивиды могут ходить в фаворитах у взрослых, но не пользуются успехом среди сверстников. Признание дается таким субъектам авансом, требующим возврата, к тому же в отношении их часто складываются завышенные ожидания. У таких людей раньше развивается индивидуальное начало. Форсированный профессиональный выбор дает им определенную фору. Комплексы неполноценности у них причудливо сочетаются с комплексами превосходства, особенно в профессиональной сфере.

Вместе с тем отсутствие социальных навыков, вытекающее из отсутствия опыта общения в молодежной субкультуре, затрудняет им карьеру, и завышенные ожидания не всегда оправдываются. Дело в том, что в традиционных обществах (таких как Грузия) молодежная субкультура повторяет, по сути, порядки и обычаи общества «взрослых». В ней проигрываются роли, которые надо будет исполнять в будущем. В том числе вырабатывается чутье на конъюнктуру, прагматизм. Неразвитость этого «ролевого» опыта обусловливает склонность к догматизации, к максимализму, который может быть выражен тезисом: «Реальность не принимает идею? Тем хуже для реальности».

Характерно, что ранняя индивидуализация подобной категории личности порой основывается на негативизме, вызревающем в мизантропические установки. При этом негативизм проецируется не на конкретных виновников, «мучителей» из группы сверстников, а на все общество, и в крайних случаях это выливается в народофобию. Иногда не различить, чего больше в интенциях подобного субъекта — стремления служить идее или желания мести. Вестернизацию он противопоставляет грузинским ценностям как провинциальным и ущербным и таким образом мстит за обиды, то есть месть, а не вестернизация становится для него самостоятельной ценностью.

Даже в борьбе с криминальными авторитетами оппозиционные «психоаналитики» усмотрели жажду мести, которую «ботаны» устроили «крутым ребятам».

Родство судеб, как ни странно, не объединяет их в группы, если только в этом не заинтересовано какое-нибудь селекционное агентство. Ведь именно западные фонды во многом содействовали становлению Института Свободы. Эта теза имеет право на существование, ибо она содержательно корреспондирует с распространенным в обществе мнением об осознанной специфической селекции новой номенклатуры, которую проводят западные агентства. «Избранники» укрепляются в своем комплексе превосходства над «массой» и становятся наиболее рьяными и искренними проводниками вестернизации.

Оппозиция не скрывает своей обиды: дескать, благородную функцию культивирования идей либеральной демократии вдруг взял на себя Институт Свободы. Она считает, что такая персонификация только дискредитирует западные ценности. Как прямую противоположность персонажам из Института Свободы она, вольно или невольно, вдвинула в свои лидеры Левана Гачечиладзе — настоящего «тбилисского парня», в меру богемного, в меру прозападного. Среди оппозиционеров было немало ярких респектабельных личностей, но выбор был сделан в его пользу. Этот политик стал главным и в какой-то степени небезуспешным кандидатом в президенты от оппозиции.

«Процесс пошел»

Мы уже отмечали мнение социологов, которые считают, что классовые противоречия присущи экономически развитым странам. Теперь добавим, что, согласно их теориям, для бедных стран более характерен конфликт между традиционными ценностями и ценностями либеральной демократии как одним из компонентов модернизации. Степень свободы, которую она несет с собой, как правило, воспринимается традиционалистами всех стран и народов как излишняя и развращающая.

Сегодня невозможно определить, насколько глубоко в Грузии зашел процесс адаптации западных ценностей и насколько основательны конфликты, которые он вызывает.

Впрочем, как любил говорить Горбачев, «процесс пошел». Он развился до такой степени, что можно говорить о борьбе «старого» и «нового». Сформировались типажи, олицетворяющие эти тенденции. Пальцем можно показать: вот этот из «упертых» традиционалистов, а вон тот — масон, «племянник дядюшки Сороса». Тематика дискуссий ограничивается коллизиями религиозного порядка, причем не столько богословского, сколько бытового.

Так объектом критики «прогрессистов» все чаще становится ритуал застолья, столь почитаемый в Грузии. Для них он — проявление концептуального поклонения

лодырничанью и чревоугодию. Как говорят злые языки, в их пренебрежительном отношении к ритуалу застолья на самом деле мало пуританизма. Идет оно от отсутствия вкуса к вину и тяжести похмелья, что сильно вредит их мужскому имиджу. Совсем по-другому к этому ритуалу относится оппозиция. Был случай, в «знак протеста» у резиденции президента был накрыт стол 100 метров длиной. Протестующие выражали свои требования в форме тостов.

Имидж Грузии на Западе сильно портила нетерпимость, которую проявляли некоторые представители православной церкви по отношению к «нетрадиционным» конфессиям. Имелись в виду экзотические для Грузии протестантские конгрегации. После того как в тюрьме оказался Басилий Мкалавишвили — скандально агрессивный радетель чистоты устоев православия, страсти на долгое время притихли. Однако трения, опять-таки на религиозной основе, продолжают спорадически возникать. Наиболее крупный за последнее время инцидент случился прямо в эфире, в телестудии компании «Кавкасия», где шла дискуссия вокруг одной скандальной книги. Произошла стычка между традиционалистами в лице активистов Союза православных родителей и представителями Института Свободы. Автор книги на передачу предусмотрительно не явился. Приметной особенностью скандала в эфире стало то, что уже после передачи главный зачинщик рукоприкладства со стороны «обскурантов», дабы избежать уголовной ответственности, нашел укрытие в столице сепаратистского режима Цхинвали, в штабе российских войск. Вторая особенность заключалась в том, что в кутузку были определены только ретрограды, «прогрессистов», радетелей свободы слова полиция не тронула. Это вызвало кривотолки в обществе: дескать, защитников православия затирают.

Как реванш традиционалистов можно расценить отмену гей-парада в Тбилиси. После этого, по слухам, «антинациональные силы» пытались провести его в одном из спортивных залов. Однако можно предположить, что парад проводился для галочки и что гомосексуалистов на нем, вероятно, и не было, не исключено, что присутствовали только гомофобы. Тем не менее возможность отчитаться перед иностранными фондами упущена не была. Те почему-то упрямо считают, что для полной победы демократии в Грузии проводить такое шоу очень полезно.

Пришлись ко двору в неумеренно большом количестве и дивы с подиума. Не является ли расширение рамок гламура в Грузии признаком того, что здесь уже готовы поступиться даже неприкосновенным институтом девичества?

Впрочем, страну и народ ждут более серьезные испытания. Рыночная экономика здесь еще не сложилась. Конкуренция больше напоминает толкотню бизнесменов у парадных подъездов государственных учреждений. Цель — заручиться протекцией для своих капиталов. В результате в стране возникли монополии, но нет среднего класса. Как нет и рынка. Между тем полноценные рыночные отношения есть необходимая предпосылка для реальной трансформации образа жизни в стране. Слышатся требования крайне правых либерализовать рынок. Как ни странно, это требование идет от наиболее успешного олигарха-монополиста.

Так кто же у нас гегемон?

Как было сказано, классовая и профессиональная составляющие социальной структуры о себе заявляют крайне слабо. В этом смысле общество остается люмпенизированным. Что касается ювентизации, то фактор возраста является лишь условием, но не сутью процесса преобразований.

Существует схема социума: «государство — общество — индивид». Как она работает в Грузии?

Вольно или невольно государственное строительство заметно опережает в развитии гражданское общество.

Хуже обстоит дело с индивидуализацией. Считается, что бо́льшим динамизмом и инновационным потенциалом обладают системы, перестраивающиеся на уровне развитого индивидуализма. Индивиды строят свои отношения на основе свободного

выбора в пользу участия той или иной группы, этнической в том числе. Для грузинского индивида принадлежность к группе (особенно этнической, кровнородственной) остается сверхценностью, что не всегда увязывается с его развитым гражданским самосознанием.

То есть у нас схема приняла вид: «государство—общество—община (этническая)».

В этой схеме фактически ведущим звеном преобразований является номенклатура, созданная Саакашвили и прошедшая смотрины на Западе.

Вместе с тем происходящие в Грузии процессы нельзя назвать «верхушечной революцией», навязываемой официозом и внешним фактором. Народ тоже участвует в этом процессе. Надо только отдавать себе отчет в том, что «эри» (народ) в данном случае выступает в качестве этнической, а не гражданской (народ как нация) целостности и этническое начало проявляет большую активность, чем общественное. Это обстоятельство наложило отпечаток на текущие процессы. Они носят характер первичной адаптации и не предполагают существования внутренних предпосылок для выбора. Глубинной трансформации общины не происходит. Народные массы проявляют свою активность в текущих преобразованиях лишь в той мере, в какой грузинская этническая община приспосабливается к новым условиям. Насколько хватит у грузинского этноса сил для мимикрии, пока он не воспротивится реформам?

Между тем способность этноса к внутренней трансформации не только повышает его приспособляемость к меняющимся внешним условиям, но и содействует становлению гражданского общества. Общины поставляют рекрутов обществу, но они не должны подменять его собой. Общество же, обладая большей внутренней свободой и мобильностью за счет большей индивидуализации своих членов, есть основа более высокого адаптационного потенциала всего социума. Здесь речь идет уже не о простой адаптации, а об интеграции в новый контекст.

Во времена Гамсахурдиа имела место попытка подмены общества общиной, что в грузинском быту называется «гоимизация», причем с выраженной тенденцией к охлократии. Происходила «гоимизация» всего грузинского социума. Шеварднадзе привнес импульс в развитие гражданского общества, но после Революции роз он ослаб. Важно отметить, что в Тбилиси, где еще существуют начатки гражданского общества, позиции правящей партии слабее, чем в регионах, где влияние традиционных структур преобладает. То есть налицо дисбаланс социума. Это обстоятельство увеличивает риски, связанные с его вестернизацией.

Благо западные ассимилирующие агентства, видимо, не проявляют себя слишком жестко. Возникающие конфликтные ситуации не носят характера «культурного» шока. «Ужасы» капиталистического отчуждения, которыми коммунисты пугали население СССР в течение десятков лет, не дают еще о себе знать.

«Не тот уровень инвестиций, чтобы засылать сюда войска — защищать их или наводить здесь свои порядки. Следовательно, до полной интеграции в западные структуры далеко», — заметил один публицист в личной беседе со мной.

Ориентация на Запад была естественной реакцией на резко изменившуюся геостратегическую ситуацию. В любом случае, отсутствие в Грузии научного дискурса в этой области может служить подтверждением тому, что весь социум все еще находится на стадии первоначальной адаптации. Мы имеем безапелляционную однозначность ориентации на Запад, в то время как рефлексия идет от развитого общественного сознания, от институтов гражданского общества. Если первая предполагает простое приспособление традиционных структур к новому миропорядку, то вторая — творческий синтез традиционного и нового. Пока единственным аргументом, которым у нас пользуются, является мифологема о принадлежности грузинской культуры к культуре европейской. Хочется верить, что общество не обделено потребностью в самопознании. Самопознание есть не признак великой мудрости, а проявление инстинктивной потребности общества. В противном случае мы получили бы совершенно апокалипсическую картину.

Марюс Ивашкявичюс

Я был в Белоруссии, или Попытка разговорить свою кровь

Я был в Белоруссии. Такой мой ответ на вопрос, «куда пропал», заставлял приятелей-литовцев оживиться. Никогда бы не дождаться подобной реакции, ответь я: был в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. Хотя от Вильнюса до Нью-Йорка восемь тысяч километров, а до белорусской границы только тридцать.

Краткое введение в три четверти

Я был в Белоруссии, ибо во мне три четверти белорусской крови и я не могу понять, почему эта кровь ничего мне не шепчет, не гонит меня в Вильнюсе из дома к белорусскому посольству, когда там проходят митинги протеста, и так терпимо воспринимает мою установку в отношении Белоруссии: хорошо, что меня самого *там* нет. Я был в Белоруссии вроде бы без цели: просто хотел разговорить кровь.

Близких у меня там нет. Вся родня перед Второй мировой войной или после нее разными путями оказалась в Литве. Мама отца, родом из-под Молодечно, местечко Красное, которое в 1920—1939 гг. было оккупировано поляками, перед самой войной приехала учиться медицине в Вильнюс, который тоже был занят поляками. Во время войны вышла за железнодорожника. Так и осталась в Литве.

Мамины родители — из-под Логойска, это полсотни километров на север от Минска. В 1929-м советы их раскулачили и выслали в Архангельскую область. После войны амнистированы, но домой не вернулись, поехали сразу в Вильнюс.

Белорусскому меня никто не учил, потому что в моем окружении его никто и не знал. И вообще сложно понять, кто я такой и кто — мои дед и бабка. Себя они считали поляками, говорили на ломаном польском, ходили к польской мессе и очень сердились, когда мой *олитовченный* отец нарочно задевал их: «Какие вы поляки, вы — белорусы». Это было страшное оскорбление.

Еще у меня был видный родственник в Белоруссии, который умер в том же году, когда я родился. Юзеф Каминский — двоюродный брат моего деда. В Советском Союзе, возможно, не все знали эту фамилию, однако абсолютно всем становилось ясно, о ком речь, едва упоминалась Хатынь и скульптура: отец держит на руках умирающего сына. Этот старик и был моим родственником, который выжил, когда фашисты сожгли его деревню вместе со всей семьей. Потом это село и эта скульптура стали в Советском Союзе символом всех гражданских жертв Второй мировой войны.

В студенческие годы однокашники, знавшие об этой моей родственной линии, в шутку говорили: «Он из несгораемых». А однажды в общежитии опрыскали меня спящего спиртом и решили проверить. Слава богу, я вовремя проснулся.

Я бывал в Белоруссии и раньше. Еще в советское время подростком я влюбился в девушку из Минска. Ездил к ней. Потом стал ездить на собачьи выставки, в Минске и Гродно мой ньюфаундленд стал чемпионом своей породы. Потом я только пересе-

кал Белоруссию по дороге в Москву или Варшаву. Как-то еще я был в Минске на конференции под странным названием — «Молчание интеллектуалов». Интеллектуалы не молчали, а читали доклады. А за бутылкой водки развивали горькую метафору: будто Белоруссия это раненый партизан, которого братья по оружию (то есть все мы — восточные европейцы) бросили в лесу и сбежали.

Я не историк, но полагаю, что главная проблема белорусов — происхождение. Иначе говоря, вопрос «откуда я взялся?» не получает внятного ответа. Находящиеся в оппозиции белорусские интеллектуалы носят символические паспорта ВКЛ — Великого княжества Литовского. Спрашивается, что и чье было это самое ВКЛ? Я бы кратко ответил так: централизованное и хорошо организованное литовское государство, которое завоевало расколотые славянские земли, на столетия отделив их от Москвы и тем дав начало белорусской и украинской нациям. Но так думаю я, литовский писатель с белорусской кровью. Подлинные белорусы считают себя никем не завоеванными прямыми наследниками ВКЛ. Поэтому страна, которая называется Белоруссией, могла бы именоваться Большой или Великой Литвой. Лидеры белорусского национального движения в конце XIX века всерьез обсуждали такой вариант будущего названия своего государства. Тогда и реплика моего отца не звучала бы обидно: «Какие вы белорусы, вы — *великолитовцы*». А о себе я бы говорил: во мне четверть литовской и три четверти великолитовской крови. И как бы мы вообще жили просто в Литве, имея под боком Великую Литву, которая и вправду больше и на престоле которой восседает Сам Великий Литвин?

Но в этот раз я был в Белоруссии, чтобы посмотреть: какая она и кем мог стать я, не покинь ее три моих четверти.

В пути

Дороги хорошие. Чисто. Бросаются в глаза крашеные валуны на опушках с надписями: «Береги лес», «Не разводи огонь». Чем-то напоминает карандашный рисунок, чьи детали раскрашены неумелой детской рукой. Так выглядят эти ярко-синие, зеленые и красные камни на фоне обычной природы.

Минск, по сравнению с Вильнюсом, чрезвычайно просторный город. Никакой автомобильной давки, широкие проспекты. Ленин и прочие советские атрибуты тут все еще в моде, хотя в то же время город словно бы порывается быть (модер)новым, европейским. Минчане обладают великолепным чувством юмора и самоиронии. Почти каждая минская улица или постройка имеют свою анекдотическую историю, и популярнейший персонаж этих анекдотов — президент Белоруссии.

Сразу по прибытии в город эти разговоры о существующем режиме могут показаться надуманными, поскольку никаких внешних признаков трагедии не видно. Люди живут в опрятной столице, где идет очень интенсивное и разнообразное строительство. Не боятся выражать мнение о власти. Слушаешь их и невольно оглядываешься, когда же возникнет милиционер в форме, защелкнет наручники и поведет, куда следует. Но никто не возникает, хотя этих «товарищей в форме» здесь гораздо больше, чем где-либо. По всему городу развешены стенды, на которых изображена счастливая старушка, а за ней — улыбающийся сотрудник милиции и надпись: «Всегда рядом». Становится ясно, почему и зачем их тут столько. Для обеспечения сохранности старушек.

Но ведь я приехал не придираться. Я приехал, чтобы разговорить кровь.

Первое испытание — радушием

В моей адресной книге — славянские фамилии: Касперович, Миклашевская, Косова, Говорова, Бутко. Это все мои родственники, которых я никогда не видел. И названия: Борисов, Зембино, Логойск, Калюга, Середняя. Адреса старые, так что,

наверное, кто-то за это время уже умер, кто-то сменил квартиру, дом, переехал в другое место.

В Борисов приезжаю на поезде. Большой город, больше ста тысяч жителей. Много промышленности. Однако, получив в ресторане счет за обед, обнаруживаю первые признаки провинции. Дешево. Намного дешевле, чем в Минске. Вокзал и ресторан — в Новом Борисове, а мне нужно в Старый. Еду туда и надеюсь увидеть древний город, а нахожу просто большое деревянное село и немощеные улицы. Когда-то одна белоруска спросила меня о Вильнюсе: «Вот все твердят: старый Вильнюс, старый Вильнюс... А что это значит? Что там, дома старые?»

В Старом Борисове я наконец понял ее вопрос. Здесь бытует иное понимание Старого города. Здесь это всего-навсего — старые дома.

Наконец-то я стою напротив дома Нины — маминой двоюродной сестры. Знаю только ее имя и фамилию, и еще — что ее отец Тадеуш, брат моей бабки, был невелик ростом и очень любил женщин. Нина — от первого брака. Вторая жена была карелка, она — своеобразная легенда в нашем роду. Ходят слухи, что она была колдуньей. Умела отнимать мужскую силу. За это ей были особенно благодарны подруги, чьи мужья часто ездили в командировки.

Стою возле калитки зеленого деревянного дома, лает собака. Во дворе появляется седая старушка. Теряюсь, не зная, что сказать. Я ваш дальний родственник, приехал сюда, чтобы заставить кровь разговаривать?

Спрашиваю, здесь ли живет такая-то Нина. «Это я», — отвечает старушка. «А я, — представляюсь, — ваш родственник из Литвы. Внук Юзефы». Небольшая пауза. «Заходите», — приглашает. Несмело обнимает, целует. Глаза увлажняются. «Извините, — говорит. И потом уже постоянно приговаривает: — Извините». Сажает к столу и говорит — извините. Накрывает стол и все повторяет — извините. Подает альбом. Альбом начинается свадебной фотографией моих родителей. Потом детские фотографии моей мамы, дед, бабушка. Делается даже чуть неловко, ведь я, стоя у калитки, все думал, сколько придется объяснять, кто я и откуда. Этого не понадобилось и вообще показалось, что старушка многие годы ждала моего визита, держа на почетнейшем месте наши фотографии и теперь прося извинить за то, что излишне состарилась.

Нина листает альбом и рассказывает. Мысли хаотично перепрыгивают время.

Она была девочкой, когда женились мои дед и бабка. Помнит, что свадьба была очень большая. Что меж двух берез были повешены замечательные качели. И что хутор моего прадеда Миклашевского был необычайно длинный, поскольку каждый женатый сын прилеплял к дому свою хибарку.

Длинного дома не осталось: всех выслали, а стены снесли. Правда, крестьяне окрестных деревень и теперь те места называют полями Миклашевского.

«Ведьма», — с Нининых губ срывается неодобрительный эпитет, когда в альбоме открывается фотография ее мачехи-карелки.

Муж Нины, ветеран Второй мировой войны, воевавший на японском фронте, лежит при смерти. «Кто там?» — спрашивает он из своей комнаты, почуяв, что в доме чужие. «Родня из Литвы», — кричит, склонившись над ним, Нина. «Почему не предупредила? — сердится он. — Скажи, я сейчас... Только тапки обую и сразу иду». Но он не приходит, поскольку давно не может ходить.

В нескольких кварталах — дом Галины, маминой двоюродной сестры по дедовской линии. И снова угощение на столе, снова альбомы с теми же самыми большими свадебными фотографиями моих родителей. Здесь тоже не надо объяснять, кто я и откуда. Мы родня, и этим все сказано. Деревянный дом Галины, в котором она живет с двумя взрослыми детьми, тесноват. Во дворе уже стоит новый, белого кирпича, но внутри он еще не оборудован. Галина с гордостью водит меня по стройке, показывает, где будет кухня, где ее спальня, а где детские. А вот — камин. «Господи, — говорит она, — у меня собственный камин! Приезжайте через год. Будет мое семидесятилетие и новоселье. Мы ведь родня, и нас так немного осталось».

Когда я, распрощавшись, сажусь в такси, по узкой улочке Старого Борисова пастух гонит стадо коров, и одна сворачивает во двор Галины — домой. Нежданная теплота, с какой меня тут встретили, чуть подогревает три четверти крови, но рассудок шепчет, что жизнь здесь была бы настоящей ссылкой.

Второе испытание — огнем

На другой день — Логойск. В этом городе у меня родных нет, только могила прадеда. Он успел умереть при советской власти, но еще до всех репрессий.

К незнакомой территории я всегда пробую приноровиться едой. Поел — и вроде бы стал ближе. Обедаю в столовой Логойска, которая совершенно отвечает моим детским представлениям о предприятиях общественного питания. Блюд всего два — сосиски или котлеты. Гарнира нет, кончился. Цены просто смешные. В Литве предпринимаются попытки предложить туристам закусочные в советском стиле, но они слишком ненатуральны в сравнении с подобной аутентикой.

В городском музее я рекомендуюсь как литовский родственник Юзефа Каминского, героя деревни Хатынь, и сообщаю, что мои дед с бабкой — родом из этих мест. Не знаю, что действует сильнее: мое родство или то, что я иностранец, однако сотрудники музея наперебой стараются мне помочь. На стол передо мной ложатся пухлые книги по истории Логойска, старые карты, списки депортированных семей. Среди последних моей родни нет. Не удается отыскать и хутор моей бабушки, от которого остался только топоним — поля Миклашевских. Одна неудача за другой, работники музея явно волнуются, что ничем не могут пособить мне. Узнав, что другая моя цель — Хатынь, спешно достают для меня служебный автомобиль. Синий «Жигуленок» с надписью «*культурно-просветительская*» увозит меня в сожженную нацистами деревню. Тут требуется небольшое отступление.

Несколько раз я видел один и тот же сон. Война. Я — красивая молодая девушка с петлей на шее. Публичная казнь. Звучит немецкий марш, фашистский офицер подносит к моим губам микрофон и велит петь. Пою. Когда марш кончается, понимаю, что скоро меня повесят. В толпе выбираю маленькую девочку. Начинаю кричать ей, что мы должны с ними бороться, потому что они — зло. Они — это зло. Повисаю в воздухе, петля затягивается. Какое-то время я еще вижу себя со стороны. Тогда просыпаюсь и радуюсь, что я мужчина и много лет назад эта война кончилась.

Но это просто сон. Как литовец, я не чувствую великой боли от этой войны. Знаю, каковы потери всего человечества, осознаю ужас и масштаб зверства. Однако все это — не личное. Никто из по-настоящему близких мне людей не пострадал на этой войне. А сами литовцы, наверное, были, скорее, опечалены уходом немцев в 1944-м, чем их вторжением в 1941-м. У них имелись для этого основания. Ибо перед немцами и после них были советы, проводившие против Литвы более жесткие репрессии.

С Белоруссией было не так. По утверждениям одного из источников, война лишила ее каждого четвертого жителя, по другим — каждого третьего.

Вот какой текст я случайно обнаружил в интернете. Его написал русский солдат, с Красной армией в 1944-м прошедший обе страны:

«С воодушевлением, победно и гордо, сверкая наградами, полки 39-й армии двигались по территории Белоруссии, освобожденной первым эшелоном наступления. Всюду принимали восторженно, по-братски. Люди улыбались, несли цветы и домашнее вино.

Вот так, триумфально мы въехали в Литву. 10 июля. Вот она, никогда не виданная заграница. Перед нами Швенчонис — приграничный литовский городок. Мы стали на площади перед храмом. После Белоруссии — совсем другое настроение. Местные жители на нас глядят равнодушно. Никаких оваций. Хмуро смотрят на машины, пушки, на солдат. Ни о чем не спрашивают. В глазах недоверие. Чувствуется: мы непрошеные гости».

В Литве значительная часть памятников жертвам Второй мировой войны покоится в парке Грутас, иначе сказать, в музее советской эпохи. Между тем вся Белоруссия — военный музей под открытым небом. Памятники и мемориальные доски павшим, сражавшимся, сожженным и победившим встречают тебя на каждом шагу. Тут при всем желании ты не сможешь забыть войну. Самое страшное, что это не одна лишь кровавая национальная память, но и — политическое орудие режима. Страна шесть десятилетий живет в послевоенном шоке, когда величайшей ценностью счита-

ется то, что остался жив и твоя семья не голодает, поэтому тебя не касается, кто у власти.

Теперь уже я могу вылезти из синего «Жигуленка» с надписью «*культурно-просветительская*» и идти в Хатынь. Быть может, тут я почувствую подлинную личную боль войны, которая меня обошла.

Вот он — мой знаменитый родственник, отлитый в бронзе, держит на руках смертельно раненного сына. Моя мама с дедом гостили у Юзефа Каминского в 1955-м. Ей тогда было восемь, поэтому в память запало одно: взрослые весь вечер играли в карты. От той поездки осталась фотография: Каминский со второй женой, оба улыбаются. На обороте русская надпись: «На долгую память дорогим братьям. Когда посмотришь, вспоминай детство. Каминские. 14.02.55».

Юзеф тогда еще не прославился, а Хатынь была одной из нескольких сотен белорусских деревень, которые наци сожгли вместе со всеми людьми.

Гораздо лучше Юзефа Каминского помнит мамин двоюродный брат, который в том самом доме, в селе Козыри, где Каминский осел после войны, гостил спустя семнадцать лет. Тогда о Хатыни знал уже весь Советский Союз, а Каминский был звездой.

«Устал я жить, — говорил он родне. — Всего мне хватает, могу позвонить в Логойский исполком, попросить хоть ведро черной икры, и мне все тут же доставят. А на другой день позвонят и скажут: Каминский, едет важная делегация, побудь гидом. И я буду обязан им показывать Хатынь, в сотый раз говорить, как все было, и заново все переживать».

Через полгода он умер.

А трагедия Хатыни была вот какая.

В марте 1943 года советские партизаны в окрестностях Логойска перерезали телефонный кабель. Фашисты поехали его чинить. Партизаны их поджидали в засаде. Во время перестрелки погиб офицер СС Ганс Вельке, любимец Гитлера. На берлинской Олимпиаде 1936 года он стал первым чемпионом. Кроме того, улучшил олимпийский рекорд в толкании ядра и был вообще первым за всю историю олимпиад гражданином Германии, выигравшим золото в легкой атлетике. Тогда это побудило немецкую прессу объявить, что в спорте началась эра господства арийской расы. Спустя семь лет этого арийца подстрелили в белорусском перелеске. В Германии был объявлен траур, а батальон полиции по следам на снегу отыскал партизан. Следы привели в Хатынь, где партизаны отдыхали после проведенной операции. Разворачивается бой. Партизанам удается уйти в лес. Тогда фашисты сгоняют всех жителей Хатыни в сарай кузнеца Юзефа Каминского и поджигают. Когда обезумевшая толпа высаживает двери сарая, людей расстреливают из пулемета. Среди погибших — жена Юзефа Каминского и четверо его детей. Потом немцы еще долго разыскивают живых, разбивают лица прикладами автоматов. Каминский лежит без сознания и не чувствует, как солдат вышибает ему все верхние зубы. Когда приходит в себя, один его сын еще жив. Вокруг еще многие живы, слышно, как стонут раненые и обожженные. Они все умрут, кроме Каминского и нескольких сельских детей, которых наци не нашли или пожалели убивать.

Четверть века эта трагедия мало кому была известна. Она была одной из множества. Советская власть вообще не была склонна громко говорить о гражданских жертвах. Затем политика стала меняться, и лидер коммунистической Белоруссии Петр Машеров решил строить мемориал. Он нашел одну из таких сожженных деревень у себя на родине, близ Витебска. Потом передумал. Почему выбрали Хатынь? Официально: из-за туристов, чтобы поближе к Минску. Но есть и другая, неофициальная причина: ради названия. Чтобы имя Хатынь нейтрализовало Катынь, где Советы в 1940-м расстреляли тысячи польских офицеров. Тем более что перед войной не было Хатыни, только Хотынь. Буква «а» возникла позже.

Все это не умаляет ужаса, который тут случился. Превосходно поработали архитекторы, не зря знатоки называют этот мемориал шедевром искусства. По рассказам Юзефа Каминского установлено, где располагались все 26 изб сожженного села. На их местах стоят стилизованные калитки, фундаменты домов и столбы, напоминающие печные трубы. У каждой хаты — небольшой колокол. Колокола звонят

то в одном конце деревни, то в другом. И это действительно трогает до слез. Но не так, как должно было бы, вернее сказать, не так, как было задумано авторами и заказчиками мемориала. Ибо Хатынь создана в память всех военных жертв Белоруссии, то есть более чем двух миллионов человек. А я хожу и плачу по ста восьмидесяти, сожженным здесь. Мне жаль именно их, особенно когда звонят колокола и на краю мемориала я прикасаюсь пальцами, губами, ноздрями к одичавшей вишне.

Наверное, это просто моя неспособность мыслить и чувствовать глобально либо наш родовой недостаток, ибо, по словам одного из архитекторов мемориала, Юзеф Каминский до самой смерти свято верил, что памятник в Хатыни посвящен лично ему. Простой крестьянин не мог осознать себя как символ чего-то большего и гневался на советскую власть, что она не присуждает ему звание Героя СССР.

Четыре последних года жизни его окружало всеобщее внимание. Он был самым желанным гидом по Хатыни, человеком, который со слезами на глазах рассказывал, как вот здесь горели его жена, четверо детей и вся деревня. Эти годы — от построения мемориала до смерти Каминского — достойны романа...

Однако есть и другая, еще более жуткая версия этих событий.

Батальон полицаев, уничтоживший деревню, был набран преимущественно из украинцев, хотя местные жители почему-то их называют «литовцами». В советские времена этот факт повредил бы политике дружбы народов.

Деревня Хатынь была католической, а католичество в здешних краях отождествляется с Польшей. Поэтому Юзеф Каминский позднее был переименован в Иосифа, ибо должен был воплотить трагедию подлинных, а не ополяченных белорусов.

И это тоже не умаляет трагедию Хатыни, даже высшие власти признают: да, это правда.

Однако об обстоятельствах новейшей версии пока говорится сквозь зубы. А она такова: двоюродный брат моего деда Юзеф Каминский вообще не был в Хатыни, когда фашисты жгли село. Он был в Середней — родной деревне моего деда, праздновал там крестины.

Возможно, советские идеологи, избрав по звучанию и географическому положению наиболее подходящую из всех сожженных деревень, просто не поинтересовались ее предысторией. И моему родственнику пришлось сотню раз пересказывать легенду, сочиненную им самим или ему навязанную. Рассказывать о том, как он горел в собственном сарае, когда на самом деле его там не было. Если все так, тогда фигура Юзефа Каминского как жертвы и героического символа рассыпается вдребезги. При этом его человеческая драма только усиливается. У него был свой памятник, на том самом месте, где он все потерял. Он лгал, будто горел в сарае вместе с деревней и своей семьей. Он мечтал о звании героя за то, что в роковой день его просто не было дома. Я как-то не могу заставить себя во все это поверить. Но я — родственник и вряд ли в состоянии быть объективным.

Поэтому «*культурно-просветительская*» увозит меня из Хатыни в глубь лесов. Тут, примерно в десяти километрах, лежит Середняя.

Третье испытание — корнями

Люди с подозрением читают буквы на борту служебного автомобиля. Спрашиваю, где тут живут Козловские**.** Указывают на противоположный край села. Против усадьбы Козловских — конечная цель моего путешествия, место, где стоял дедовский дом. Отплясав свадьбу в длинном Миклашевском доме, где на дворе меж двух берез каталась на качелях Нина, молодые в 1928-м приехали сюда, на родину деда — в Середнюю. У них родился сын, мой дядя, он умрет по дороге в ссылку, не дожив до полугода. И моя бабка потом всю жизнь будет жечь свечи на вильнюсском кладбище Россу у заброшенной могилы неизвестного ребенка, веря, что где-то на севере точно так же заботятся о могилке ее первенца.

Находим Козловских, те ничего не знают. Советуют идти к соседям.

«Дом Касперовичей? — переспрашивает пожилая соседка. — Как же, знаю. Был такой. Корову хотела привязать, кол вбить некуда: повсюду старые камни».

В 1929-м в Логойске была выставка достижений сельского хозяйства, и дед решил в ней поучаствовать, потому что владел первоклассным жеребцом. Отправился на нем в город верхом, а вернулся с «казенными людьми», которым жеребец, видимо, бросился в глаза. Так мои дед с бабкой были раскулачены и депортированы на север России.

«Тут еще долго был сад ваших... — показывает соседка. — Очень хорошие яблоки. Всей деревней рвали и радовались. Только лет десять назад председатель зачем-то велел вырубить. Вся деревня очень огорчилась».

На месте дедовского дома земля немного приподнята. Там — камни бывшего фундамента. Если у человека могут быть корни, тогда это как раз то самое место, где бы я должен был их почувствовать. Забираюсь на те камни и гляжу вокруг. Пробую расслышать кровь, но она молчит. Кажется, что в 1929-м меня вырвали отсюда со всеми корнями и пересадили. Потому я и не чувствую ничего, как ни стараюсь. Если бы мой дед вернулся тогда с выставки один и жил бы тут дальше, и я сегодня был бы одним из местных сельчан...

Нет, это не моя деревня и не моя страна. Как бы мне этого ни хотелось. Три четверти моей крови не хотят ничего говорить. Я — не здешний.

Последнее испытание — бунтом

Но, может быть, существует еще одна Белоруссия, которой я не знаю. Пробую в последний раз потревожить кровь — вместе с группой оппозиционеров еду в Витебск дискутировать. Еще по пути предупреждают, что организаторы просят не касаться политики. Я вообще не люблю политику, но это условие мешает. Невольно мыслями завладевают только политические темы.

Прибываем на место дискуссии раньше, чем наша аудитория. Зрители собираются где-то в другом месте, чтобы не привлекать излишнего внимания компетентных служб. В конце концов мы встречаемся. Дискутируем вполне бестолково и совершенно невинно. Только позже выясняется, что большинство слушателей впервые слышат живую белорусскую речь и мало что понимают. Но ведь слушали! Получается, что это был скорее концерт, чем дискуссия.

Потом нас везут в логово местной оппозиции. Именно так они сами говорят — «логово». Мне представляют людей. Вот мужчина — коммунист, член последнего демократического парламента Белоруссии. Сейчас — бродяга и абсолютный чемпион страны по числу арестов. Женщина — когда-то избранная председательницей домкома. Она начала борьбу за какие-то коммунальные права и окончила следственным изолятором. Теперь ей назначен домашний арест, она ждет суда.

Над квартирой, именуемой «логовом оппозиции», веют мятежные вихри. Много молодежи, горящие взгляды, все поглощены общим делом. Они знают, что являются бунтовщиками, и это обстоятельство делает их привлекательными.

Тут моя кровь пытается что-то невнятно говорить. Но это кровь скорее литератора, чем белоруса. Ибо кто же из пишущих не мечтал о бунте! А это даже не литературный, а самый настоящий бунт против самого настоящего зла, или, перефразируя «Гарри Поттера», против Сами-знаете-кого.

И все-таки это не мой бунт. Моя революция свершилась двадцать лет назад в Литве. Я был подростком и немногим мог ей содействовать. Присоединиться к этим людям значило бы стать бунтарем не по необходимости, а по призванию. Но у меня уже есть профессия.

Еду домой и везу вывод: кровь — неразговорчивая материя. Ее составляют плазма, а также белые и красные кровяные тельца. Ее влияние на чувства и разум — невелико, если вообще существует.

О человеческих корнях мой вывод еще прискорбнее. Их нет вообще.

О Белоруссии и ее народе не хочется шутить, прикрываясь беллетристикой. Белоруссия балансирует на канате, висящем над пропастью. Или переберется — или совсем пропадет.

Но кровь мне говорит, что это уже не мое дело.

Ольга Лебёдушкина

Покаяние и прощение

Литература как работа памяти и забвения.

Заметки по разным поводам

> *...если существует прощение, оно «никогда не перестает», как говорится о любви в прославляющем ее величие гимне; если оно есть сама высь, оно не допускает ни «до», ни «после», тогда как ответ на покаяние приходит во времени, он бывает либо внезапным, как это можно наблюдать в ходе некоторых поразительных обращений, либо поэтапным, испытанием, длящимся всю жизнь.*
>
> *Поль Рикёр*

Портреты бородатых мужчин и плохой фэн-шуй

Два года назад в «Дружбе народов» были опубликованы сочинения белгородских школьников на тему «Что я знаю о Советском Союзе»[1]. Детские работы продемонстрировали впечатляющий «срез» общественного сознания: «Не прошло и двух десятков лет с тех пор, как перестал существовать Советский Союз, а уже не только в воображении детей, родившихся после, но и в памяти людей взрослых и это государство, и эта жизнь стали мифом». Понятно, при чем здесь взрослые: сочинения абсолютно точно воспроизводят звуковой мнемонический фон семьи — разговоры папмам, бабушек-дедушек плюс телевизор. Одно идеально накладывается на другое: «Спорт: Лев Яшин — лучший вратарь в мире того времени. Локомотив был одной из самых лучших команд в СССР. Наши команды были лучшими в мире, по крайней мере в Европе мы одержали не одну победу. Пионеры: Артек — один из самых известных лагерей в России. Там обучались лучшие дети в разных областях. Революционер: В.И.Ленин — революционер Российской Федерации. Благодаря ему распался Советский Союз».

Примерно в то же самое время у меня случился памятный разговор с коллегой из Германии, который проводил в нескольких российских университетах семинары по современной немецкой литературе и был поражен тем, что во всех группах студенты-германисты с трудом распознавали факты, связанные с социалистическим прошлым. Например, никто не смог объяснить, что за «портреты бородатых мужчин» несут люди на праздничной демонстрации в одном из предложенных рассказов. «Хожу по Москве и постоянно вижу рекламные объявления банков и фирм "Нам — 15!", "10 лет на рынке!", — делился впечатлениями тот же коллега. — И все это с таким размахом и такой гордостью, как будто речь идет о значительных отрезках времени, которые отсчитываются от некоторой "нулевой точки" в сознании, а до нее уже просто ничего нет».

Еще кое-что впечатляющее можно прочитать в недавнем исследовании домашних фотоархивов советского времени: «Какими-то воспоминаниями наши собеседники предпочитают не делиться с близкими, считая их банальными, другими — по-

скольку считают их опасными (к таковым в советское время относилось, скажем, все, что связано с дворянскими корнями или репрессированными родственниками — и у многих страх сохранился по сей день). Представления о том, что стоит вспоминать и какого рода воспоминаниями следует делиться с молодым поколением, не обязательно совпадают. Часто то, что старшим представляется опасным, младшие оценивают как нечто, не заслуживающее внимания. Пожилой ростовский респондент Николай Иванович поведал нам, что его деда-крестьянина забрали в 30-е годы без объяснения причин, и с тех пор его никто больше не видел, даже фотографии не сохранилось. У сорокалетней дочери хозяина дома, ничего не знавшей о судьбе прадеда (что, как мы выяснили в ходе исследования, типично), эта информация не вызвала даже удивления, не говоря уж об интересе, желании узнать о прадеде больше...

Нередко фотографии подправляют или изымают из эстетических соображений. Так 41-летняя бухгалтер Надежда, которая жаловалась, что из-за нехватки времени она не может привести в порядок семейный фотоархив, рассказала, как в детстве прятала снимки матери, стесняясь ее полноты. Интересно, что та же респондентка находит время на то, чтобы с помощью графических программ "улучшать" фотографии, "одевая" своих близких в исторические костюмы и помещая их в изысканные интерьеры. Она одно время даже подрабатывала в компании, которая специализируется на подобных "портретах", что говорит о том, что виртуальный статус — товар весьма ходовой.

Самый радикальный способ модификации фотографии — ее уничтожение, или, пользуясь выражением одного из наших московских респондентов, "чистка альбома". Удаляются, как правило, снимки незнакомых лиц, причем занимаются этим представители всех возрастных групп. Как выразилась 17-летняя Мария из Петербурга: "Хранить фотографии незнакомых — плохой фэн-шуй"»[2].

В этих частных наблюдениях очевидно общее: сегодня на наших глазах происходят серьезные изменения коллективной памяти — из нее всеми правдами и неправдами удаляется травмирующее или незнакомое. Остается свободное место для нового прошлого — подкрашенного и подкорректированного при помощи «фотошопа», с «хорошим фэн-шуем». В такую фабрику приятных воспоминаний о XX веке сегодня превратились центральные телеканалы с их ностальгическими проектами вроде «Достояния республики». В этом отношении нынешний средний россиянин все чаще оказывается в ситуации персонажа известного фантастического боевика, которому просто заменили ненужную память на нужную. И «вспомнить всё» с каждым годом ему грозит меньше и меньше.

Собственно, и содержание этого «всё» по-прежнему остается под вопросом. Главные травмы нашей истории прошлого века — Великая Отечественная война и репрессии — до сих пор не получили по-настоящему полного и системного исторического описания. Разумеется, можно назвать десятки серьезнейших исторических исследований. Однако их присутствие никак не помешало ни провозглашению «борьбы с «фальсификациями истории», ни возрождению сталинизма, ни появлению новых трактовок репрессий как «прагматичного инструмента решения народно-хозяйственных задач». Историческая наука, как всякая наука вообще, сегодня окончательно превращена в дело для очень немногих. Большинству остается только наблюдать за «войнами памяти», которые идут вокруг этих двух «болевых точек» истории. Вокруг них же сконцентрировано и наибольшее количество старых и новых мифов.

То, что «войны памяти» обострились именно сейчас, конечно, не случайно. Единственное, что как-то может противостоять и беспамятству, и мифу, — свидетельства очевидцев. А их становится все меньше.

Эти разрозненные заметки — попытка хотя бы примерно обозначить место и роль современной словесности в нынешней ситуации, когда речь идет о способах хранения и передачи памяти в отсутствие живых свидетелей или при их молчаливом все еще присутствии.

Невымышленное и полувымысел

На первый взгляд и место, и роль более чем скромны. Литература как вымысел однозначно проигрывает невымышленным свидетельствам — дневникам, мемуарам, документальным очеркам. Преимущество non-fiction во всем, что касается истории XX века, особенно очевидно. Здесь можно говорить о настоящем противостоянии телевидения и книги. Тем более что в последнее время в таких публикациях недостатка нет.

Отдельный разговор — о «Воспоминаниях о войне» Николая Николаевича Никулина, публикацию которых смело можно назвать одним из общественно значимых событий последних лет.

Другое заметное событие — «Двужильная Россия» Даниила Фибиха (М.: «Чистые пруды», 2010). Фибих — забытый ныне советский писатель, причем писатель даже и не второго ряда, совершенно неожиданно вернулся к читателю как автор уникальной хроники собственной судьбы: замечательно изданный том с архивными фотографиями объединяет под одной обложкой три эпохи человеческой жизни — дневники пензенского гимназиста времен февральской революции 1917 года; дневники фронтового корреспондента времен Великой Отечественной; воспоминания узника Карлага, куда фронтовой корреспондент попал за то, что вел дневник.

Военные тетради Фибиха пролежали почти полвека в архивах ФСБ, где, по идее, должны были быть давно уничтожены как не представляющие профессионального интереса и ценности. Но вместо этого они чудом сохранились, вернулись в его семью, а затем уже были изданы вместе с юношескими записями и долго хранившимися в тайне лагерными воспоминаниями.

Наверное, есть высший исторический смысл в том, что такие рукописи не горят и не исчезают, но доходят до нынешнего читателя, возвращаются из ящиков письменных столов, из закрытых архивов и даже из мусорных баков, как недавно найденный дневник Ангелины Крупновой-Шамовой, еще один из многих потрясающих документов блокады.

Конкурировать со свидетельствами очевидцев современным писателям невероятно трудно. Видимо, поэтому они все чаще идут по пути «полувымысла», комбинируя придуманное с непридуманным, иногда и без всякой «первичной» обработки. В этом, вероятно, присутствует и определенный авторский (или издательский?) прагматизм — читателя, раздружившегося с художественной словесностью ради non-fiction, пытаются привлечь привычными знаками не-вымысла — фотографиями, ссылками на реальные документы, мемуары, исторические факты, именами исторических личностей.

На обложке если не фантастического, то по-булгаковски фантасмагорического романа Дмитрия Быкова «Остромов» (М.: ПРОЗАиК, 2010) помещены архивные фотографии реальных людей и тут же разъяснено, кем они являются в романе. При этом из авторского предисловия выясняется, что «личность Б.В.Астромова-Кириченко-Ватсона поныне вызывает споры» и «разумеется, Остромов не тождествен Астромову», а другой главный герой романа — Даниил Галицкий «некоторыми чертами близок тезкам Даниилу Андрееву и Даниилу Ювачеву, называвшему себя Хармсом, но более всего — Даниилу Жуковскому, сыну Аделаиды Герцык, расстрелянному в 1938 году». В целом роман построен сходным образом — узнаваемые персонажи и сюжеты 1920—1930-х годов (впрочем, узнаваемые прежде всего читателем, которому не чужд профессиональный или любительский историко-литературный интерес, поскольку речь о формалистах, обэриутах, круге Кузмина и т.д. плюс «Дело ленинградских масонов», названное в предисловии, и история загадочной гибели балерины Лидии Ивановой) описаны в яркой фельетонной манере, заставляющей вспомнить в первую очередь катаевский «Алмазный мой венец» (не вспоминать же Ольгу Форш!). Но именно правомерность использования этого «фельетонного» письма кажется спорной. Что Форш, что Катаев писали или о живых, или в присутствии большого количества живых свидетелей, среди которых были друзья, знакомые, родственники — отсюда и необходимость вымышленных имен, пробуждавших в читателе азарт дешифровальщика и нюх на запах жареного. Все реальные личности, о которых пишет Дмит-

рий Быков, описаны в целом ряде мемуарных и дневниковых источников. 1920-е годы — почти столетней давности история, все давно уже быльем поросло, и, по большому счету, кому, кроме литературоведов с их занудством, дело до того, так ли уж совпадает, скажем, идиотический Игорек из «Остромова» с личностью Юрия Юркуна, а эпизодический Стечин — с Валентином Стеничем, и оба были расстреляны так же, как и Даниил Жуковский, романный двойник которого, кстати, сумел ускользнуть из тюрьмы.

Понятно, что автору было некогда особенно об этом размышлять — вся быковская трилогия «на О» («Орфография», «Оправдание», «Остромов») отвечает на вновь злободневнейший вопрос современности: как быть интеллигенту, «бывшему человеку», в изменившейся реальности, которая ему изначально враждебна — успеть бы ответить, не до архивных тонкостей. Но намек на присутствие подлинного исторического подтекста сегодня прибавляет баллов.

Похожим образом построен и «Каменный мост» Александра Терехова, в громаде которого история так тесно переплелась с вымыслом, что распутать мало кому под силу. Но внешние признаки «непридуманности» изначально изумляли многих читателей: почему, при наличии целых досье на персонажей, одни зашифрованы под вымышленными именами, а другие — нет, то есть почему Микоян назван Микояном, а Шостакович — Р-вым?[3] При этом сам роман имеет самое непосредственное отношение к нашей теме, поскольку если и есть в этом огромном и рыхлом псевдоконспирологическом псевдодетективе некий смысл, то это демонстрация того, что всякие попытки пробиться к подлинной истории сталинской эпохи обречены. Сама недавняя история предстает в виде невыразимой, непостижимой и недешифруемой тайны, убивающей всякого, кто подошел слишком близко, уничтожающей свидетелей и свидетельства. При этом расследуется всего лишь конкретный случай — история двойного самоубийства детей высоких советских чиновников. Впрочем, о той же истории, может быть, и не до конца расследованной, но с тем же успехом, без наворотов и с огромной экономией времени, можно прочитать в популярной книге Ларисы Васильевой «Кремлевские дети».

Самый свежий пример той же «литературы полувымысла» — «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой, который в этом году обязательно что-нибудь получит — или Букера, или «Большую книгу», или все вместе — и о котором чрезвычайно сложно писать что-либо в критическом ключе. И вовсе не потому, что — получит, и хвалят все или, по крайней мере, многие. Очень сложно выйти из-под обаяния замысла и авторской задачи, которые ничего, кроме уважения и признания, вызывать не могут. Но проблема соотношения художественного и документального, все тех же fiction и non-fiction, здесь присутствует уже не в виде фотографий персонажей или энциклопедических справок, а заключена в самом языке, который делает книгу трудно читаемой и в качестве художественного, и в качестве документального текста. Интересно, что очень точно об этом сказано в одной из лучших рецензий, общий тон которой можно определить как сдержанно-комплиментарный: «Улицкая пишет синкретический труд: это не роман, не историческое исследование и не публицистическая статья, а нечто среднее. С хорошей дикцией, отчетливо артикулируя слова, упрощая и обобщая, писательница проговаривает несколько нравственно-моральных установок, которые открыла эта эпоха и которые нам так и не удалось усвоить. Нашей детской стране нужно объяснять, что такое страх, как получается подлость, как хороший, в общем безобидный человек может поставить в нужное время где-то на бланке медицинского заключения нужную подпись, как и отчего взрослеют люди. /…/ Впрочем, в этой смеси реальных лиц, прототипов и вымышленных героев нет игры в угадайку. Более важен здесь сам факт смешения условно вымышленной художественной и условно исторической документальной реальности. Так проявляется жанр книги, который можно обозначить как публицистическую беллетристику»[4]. Собственно, это и есть формула «литературы полувымысла»: «смешение условно вымышленной художественной и условно исторической документальной реальности». И ей, наверное, не откажешь в праве на существование. Вопросы возникают, скорее, к реальности, «условной» дважды. Кажется, в терминологии сетевой фантастики это называется AU — Alternative Universe — альтернативная вселенная, «похожая на…».

От «Голой пионерки» к «Городу воров»

Еще более облегченный вариант внутрилитературной «работы с памятью» состоит в том, что художественная словесность (и вслед за ней критика) идет по линии простого преодоления жанровых и дискурсивных табу. То есть в ответ на «об этом так — нельзя» раздается очередное «об этом — так — можно». Правда, любое преодоленное табу обладает способностью мгновенно превращаться в штамп, тривиальность из тривиальностей, а по отношению к самой проблеме памяти это означает перенос всех акцентов с «что помнить» на «как писать».

Это особенно заметно по метаморфозам военной темы, которые наблюдаются на литературно-культурном горизонте в последнее время.

Как с предыстории можно бы начать с «Голой пионерки» Михаила Кононова, и даже не столько книги, сколько — спектакля Кирилла Серебренникова с Чулпан Хаматовой в главной роли, благодаря чему «Голая пионерка» стала не сказать чтобы классикой, но — неотъемлемой частью истеблишмента, вошла в гламурный «потребительский набор» современной культуры. А главное — вокруг и книги, и спектакля сформировался определенный набор готовых критических высказываний. То есть то самое, что принято называть словом «дискурс». Можно даже провести такой эксперимент — убрать из положительных рецензий на спектакль и книгу все, что связано с темой войны. Останутся рассуждения о «специфически русском типе сознания вообще, склонном к совмещению несовместимого, к парадоксам, к удивительному умению все время балансировать на грани подвига и преступления, святости и греха», о том, что «образ "святой блудницы" укоренен в русской культурной традиции», о «близости скоморошества и юродства». А теперь кто поручится, что все это — про «Голую пионерку», а не про «Цветочный крест»? Собственно, и прошлогодний букеровский конфуз — результат давно запущенной инерции восприятия.

Впрочем, сегодня на смену «дочери полка» Маше Мухиной пришла пионерка-экстрасенс Надя, а вместе с ней — мертвые пионерки и пионеры из «Первого отряда». Новый бренд, представленный аниме Алексея Климова—Михаила Шприца и литературным сиквелом Анны Старобинец, демонстрирует, как приемы соц-арта вполне мирно сосуществуют с новейшими идеологическими клише, не пародируя их и не разрушая. В «Первом отряде»-фильме вместе с мудрым и добрым генералом разведки Беловым, внешне напоминающим всех советских вождей сразу, за победу сражается православный монах; цитаты из эйзенштейновского «Александра Невского» соседствуют с типично «анимешными» приемами: наконец, великая астральная битва между мертвыми пионерами-героями и тевтонскими рыцарями, восставшими из ада, происходит не где-нибудь, а на озере Селигер. Цирк — коронный соц-артовский символ в спектакле Серебренникова — один из главных и в «Первом отряде», да и сама пионерка Надя, худенькая девочка-сирота, печальная подвижница-жертвенница, — родная сестра кононовской пионерки Маши. Просто сегодня про оккультизм, «Аненербе» и пионеров-шинигами интереснее, чем про секс с полуживой полковой «давалкой», даже если она, как утверждают критики, символизирует бесчеловечность войны. Не случайно Анна Старобинец написала литературный сиквел к мультфильму («Первый отряд. Истина»), в котором сюжет с потусторонними битвами за родину и всю планету продолжается уже в наши дни. По жанру «Первый отряд»-книга — типичный роман ужасов, то есть вымысел из вымыслов. Но при этом сам мультфильм у Старобинец превращается в код к прочтению метаистории, потому что «там все правда» — и про заговор магов-оккультистов из «Аненербе», и про генерала Белова и его Шестой отдел, и про пионеров-героев с того света.

Другой недавний сюжет — сетевая буря, разыгравшаяся вокруг «блокадного» стихотворения Виталия Пуханова («В Ленинграде, на рассвете,// На Марата, в сорок третьем,// Кто-то съел тарелку щей// И нарушил ход вещей...»). Дискуссия в «Живом Журнале» стала поводом для целой подборки статей в № 96 «Нового литературного обозрения», где подробно рассматривались просодия и интертексты (Илья Кукулин), интерпретации и смыслы (Станислав Львовский) и, наконец, проблема «работы с памятью», но скорее не как ситуация автора, а как ситуация читателя: «К настоящему времени оформилась устойчивая и даже в определенном смысле комфортная маска российского интеллектуала, "еще не совершившего должную работу с памятью о

прошлом". То, что некая работа не совершена, — очевидно, достаточно вспомнить, как плотно переплетено ностальгическое "советское" с сегодняшней повседневностью. Однако представления о характере этой работы, о критериях ее завершенности и, главное, о препятствиях, не позволяющих ее все-таки произвести, остаются довольно смутными» (Ирина Каспэ)[5].

Впрочем, при всех ценных наблюдениях, сделанных в этой подборке, разговор все-таки в целом был сведен к тому же «об этом — так — можно», т. е. — к нарушению определенных эстетических рамок. «Блокаду нужно снимать» в обращении автора к участникам дискуссии, в том числе и к тем, кого «не хотел обидеть», звучит как призыв, скорее, к собратьям по перу — «переходите границы, засыпайте рвы». Поэтому вовсе не случайно то, что многие участники обсуждения увидели в стихотворении всего лишь банальные постмодернистские игры.

Совсем недавно «блокаду сняли» в очередной раз. Русский перевод романа Дэвида Бениоффа «Город воров» («Город», М.: Рипол Классик, 2011) был абсолютно спокойно и даже доброжелательно встречен и критикой, и читателями. Может быть, потому, что и читатель, и критика (из откликнувшихся можно вспомнить Льва Данилкина в «Афише») были совсем другие. Хотя, представляя книгу, Дмитрий Глуховский явно надеялся на скандал и его великую силу в деле продвижения на рынок: «Вряд ли бы какой-либо российский писатель отважился бы на такой роман, на такой портрет блокадного Ленинграда — мрачный, зловещий, но притом яркий и невероятно живой, вторгающийся в запретное, но при этом показывающий настоящих героев... Скандально? Да. Правдиво? Кто знает».

«Город» — это плутовской роман, действие которого разыгрывается в блокадном Ленинграде. Его герои — 17-летний Лев, сын репрессированного поэта, и 20-летний Николай, бывший студент-филолог — выпущены из «Крестов»(!) при условии, что добудут дюжину яиц для свадебного торта (!), поскольку свадьба не чья-нибудь, а дочки капитана НКВД. Все дальнейшее — цепь приключений двух друзей, как того требует жанр. Под коктейль «Грех семислойный» из технического спирта и джаз, который крутят немцы в офицерском борделе. Бениофф — один из самых известных голливудских сценаристов и не новичок в «историческом» жанре. Ему принадлежит в том числе и сценарий фильма «Троя». Понятно, что блокадный Ленинград здесь — такая же условность, как и голливудская «античность». А об этой античности лучше всего как-то рассказала одна студентка, которая уверяла, что Пушкин жил в античную эпоху. Когда огорошенный собеседник попросил пояснить, о каком времени все же идет речь, она махнула рукой: «ну, это типа очень давно...» Это, наверное, и есть логическое завершение всех возможных рассуждений на тему всех «можно» и «нельзя», при том, что и Дэвид Бениофф, и Тимур Бекмамбетов, представивший роман русскому читателю, каждый в своем предисловии, обращаются к семейной памяти, связанной с войной и Ленинградом, Бениофф вообще настаивает на том, что роман написан по рассказам деда, пережившего блокаду (фамилия мальчика Льва — Бенёв). Но память — одно, а законы жанра — совсем другое.

Танкист и призрак

Впрочем, все сказанное выше — вовсе не о том, что прививка условных форм и массовых жанров к военной прозе обязательно оборачивается только формальными играми, причем, далеко не самыми удачными. В конце концов одна из лучших книг о Великой Отечественной, написанных в последнее время, — это мистический триллер с примесью фэнтези. Более того, «Танкист, или «Белый тигр» Ильи Бояшова и сценарий «Первого отряда» написаны по одной мифологической канве: возвращение мертвых воинов на войну — один из древнейших мифологических сюжетов. Возвращается на свою войну, чтобы навсегда остаться на ней, и Ванька Смерть, он же — Иван Иванович Найденов, а собственно, просто «головешка», человеческий остов, который почти дочиста сгорел в танке, но так и не смог умереть, или умер, но остался среди живых, не помня имени и прошлого, но с ненавистью к персональному врагу — немецкому танку-призраку.

Язык, на котором Бояшов разговаривает со своим читателем в этом романе, как, впрочем, и в «Пути Мури», и в последнем по времени романе «Каменная баба», — наверное, один из самых сложных в литературе, именно потому, что он предельно

прост. Это язык притчи. Всякая притча, как известно, проговаривает фундаментальные истины человеческого бытия. Они же — запредельные банальности. Для того чтобы сказать нечто свое и очень важное о расчеловечивающей сути войны (в «Танкисте...» она называется не иначе как «бойней»), о механистичности массового уничтожения, превращающего человека в машину, а машину наделяющего душой, надо обладать особенным даром. В случае Ильи Бояшова это еще и предельная точность в деталях и знание материала. То есть то, что в «жанровой» литературе считается делом второстепенным. Авторские примечания в конце книги — это отдельный текст, построенный на исторических исследованиях и военных мемуарах. Даже танк Т-34-85 изображен на форзаце книги во всех деталях и подробностях во имя все той же главной авторской цели — не отступить от исторической подлинности, ни в чем не соврать. Напомню, речь идет о фантастическом романе. Но когда, например, Ванька Смерть совершает свою панихиду по мертвым танкам («души убитых танков встречал особый Господь», «танковый Саваоф», который представляется ему «огромным бессмертным танкистом в обязательном танкошлеме»), вдруг с какой-то пронзительной остротой начинаешь чувствовать, что такое художественная правда и что она встречается еще и в современной словесности.

Память как прерванное молчание

И все же, повторюсь, главное событие последних лет, если продолжить военную тему, — «Воспоминания о войне» Николая Николаевича Никулина. Не случайно они были на моей памяти единственной книгой минувшего десятилетия, которую было трудно, почти невозможно, купить. Казалось, в наши времена абсолютного изобилия книжного дефицита не осталось. Но книга петербургского искусствоведа, выпущенная малым тиражом в Издательстве Государственного Эрмитажа, оказалась раскуплена мгновенно. На ярмарке Нон-фикшн в Москве на стенде издательства только сокрушенно качали головой: «Никулин? Еще вчера закончился... Приезжайте к нам в Петербург, в наших киосках что-то еще осталось...» В Эрмитаже интеллигентные продавцы разводили руками: «Давно уже нет... Ждите новое издание, вроде бы обещали...» На прошлогодней Нон-фикшн все повторилось: второе издание было раскуплено в первые два дня. Прошел слух — Никулин есть в «Фаланстере», добравшиеся до «Фаланстера» сообщали, что и там уже нет. Не было никаких промоакций, рекламы, «раскрутки». О книге узнавали по старинке: от друзей и знакомых, разве что сюда же прибавились виртуальные знакомые и друзья.

Одна только история с книгой Никулина показала, что Вторая мировая война вовсе не перестала быть «поводом для сопереживания». Наоборот, она выявила огромную общественную потребность в заполнении реально существующих разрывов и пробелов памяти, в преодолении недосказанности.

Никулин закончил писать свою книгу «в стол» в 1975 году, но авторское предисловие к ней воспринимается как манифест «окопной правды» от Булата Окуджавы и Виктора Некрасова до Константина Воробьева и Вячеслава Кондратьева: «Эти записки глубоко личные, написанные для себя, а не для постороннего глаза, и от этого крайне субъективные. Они не могут быть объективными потому, что война была пережита мною почти в детском возрасте, при полном отсутствии жизненного опыта, знания людей, при полном отсутствии защитных реакций или иммунитета от ударов судьбы. В них нет последовательного, точного изложения событий. Это не мемуары, которые пишут известные военачальники и которые заполняют полки наших библиотек. Описания боев и подвигов здесь по возможности сведены к минимуму. Подвиги и героизм, проявленные на войне, всем известны, много раз воспеты. Но в официальных мемуарах отсутствует подлинная атмосфера войны. Мемуаристов почти не интересует, что переживает солдат на самом деле. Обычно войны затевали те, кому они меньше всего угрожали: феодалы, короли, министры, политики, финансисты и генералы. В тиши кабинетов они строили планы, а потом, когда все заканчивалось, писали воспоминания, прославляя свои доблести и оправдывая неудачи. Большинство военных мемуаров восхваляют саму идею войны и тем самым создают предпосылки для новых военных замыслов. Тот же, кто расплачивается за все, гибнет под пулями, реализуя замыслы генералов, тот, кому война абсолютно не нужна, обычно мемуаров не пишет.

Здесь я пытался рассказать, о чем я думал, что больше всего меня поражало и чем я жил четыре долгие военные года. Повторяю, рассказ этот совсем не объективный. Мой взгляд на события тех лет направлен не сверху, не с генеральской колокольни, откуда все видно, а снизу, с точки зрения солдата, ползущего на брюхе по фронтовой грязи, а иногда и уткнувшего нос в эту грязь».

Несомненно, документальная проза Никулина писалась в непосредственном присутствии советской военной прозы, когда параллельно публиковались не только официозные эпопеи и генеральские мемуары, но и Кондратьев, Воробьев, Василь Быков. С той только разницей, что автор изначально не думал о публикации, да и при желании не мог быть опубликован тогда. Поэтому «Воспоминания о войне» абсолютно вписываются в узнаваемые схемы «лейтенантской прозы», но как жесткий, бесцензурный, ее вариант: повествователь — необстрелянный мальчишка, «желторотик»-интеллигент, брошенный в котел войны и чудом выживший. Стилистически «Воспоминания» очевидно близки к хрестоматийной повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»: все узнаваемо в деталях — бессмысленные человеческие потери, вши, голод, холод, окурок, прилипший к губе погибшего бойца (у Никулина — размотанный бинт на теле убитого, развевающийся на ветру, — солдат не успел себя перевязать). Только детали здесь куда страшнее и символичнее: чего стоит один только факт, что лучшие шпалы и дорожные настилы в морозные зимы 1941—42 годов получались из замерзших человеческих тел. Не менее жестоки и реалии конца войны. Обратная сторона победы — мародерство и насилие победителей над мирным населением, автоматизм убийства, вошедшего в привычку, когда не щадят ни женщин, ни грудных детей, — то, что дольше всего оставалось одной из главных фигур умолчания, поскольку, как казалось, могло запятнать светлый образ воина-победителя. В то же время именно к финальной части воспоминаний относится потрясающая история любви — несколько страниц о немецкой девушке, которую рассказчику не удалось спасти.

Несколько лет назад Валерия Пустовая сформулировала, как тогда представлялось, главное различие между современной литературой и классикой советской военной прозы: «У героев новой военной прозы — новые отношения с войной. Великая Отечественная сделала эталонной ситуацию, в которой война проявляет человека, обнаруживая в нем достоинства или слабости. Человек словно должен быть подтвержден опытом войны: "На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный" (Некрасов)»[6].

Похоже, сегодня «Воспоминания» Никулина оказались тем самым «отсутствующим звеном», уничтожающим оппозицию между «старой» и «новой», современной, военной прозой и одновременно соединяющим век XXI с XIX, напрямую с Толстым, с его определением войны как «противного человеческому разуму и всей человеческой природе события»: «Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрел род человеческий. Подавляет на войне не только сознание неизбежности смерти. Подавляет мелкая несправедливость, подлость ближнего, разгул пороков и господство грубой силы… Опухший от голода, ты хлебаешь пустую баланду — вода с водою, а рядом офицер жрет масло. Ему полагается спецпаек да для него же каптенармус ворует продукты из солдатского котла. На тридцатиградусном морозе ты строишь теплую землянку для начальства, а сам мерзнешь на снегу. Под пули ты обязан лезть первым и т.д. и т.п. Но ко всему этому быстро привыкаешь, это выглядит страшным лишь после гражданской изнеженности».

Некрасовская «лакмусовая бумажка» войны у Никулина расшифровывается неожиданно по-другому: «Многие убедились на войне, что жизнь человеческая ничего не стоит, и стали вести себя, руководствуясь принципом "лови момент" — хватай жирный кусок любой ценой, дави ближнего, любыми средствами урви от общего пирога как можно больше. Иными словами, война легко подавляла в человеке извечные принципы добра, морали, справедливости».

«Воспоминания о войне» — чтение мучительное, но при этом очищающе-необходимое. Это вовсе не покушение на едва ли единственный предмет общенациональной гордости — Победу. Гордиться чужими подвигами, говоря «мы победили», для зрелого сознания означает и принимать на себя груз ответственности за совершенные в прошлом грехи. Собственно, это и делает сознание зрелым.

Четыре шага в сторону памяти

Антология «Четыре шага от войны» (Лимбус-Пресс, 2010) в очередной раз развенчивает миф, что современные писатели о войне не пишут. Она не просто объединяет писателей четырех послевоенных поколений — рожденных в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е. «Шаг» равен 10—15-летней дистанции, отделяющей одно поколение от другого. По идее тексты, включенные в книгу, должны сами выстроиться в своеобразное повествование о том, что происходит с памятью по мере временного удаления от события. Но «поколенческий» подход в этом случае срабатывает далеко не всегда. Авторов, включенных в эту книгу, с большим или меньшим успехом можно разделить и по способу отношений с памятью о войне. Таким образом, каждый из них отвечает на вопрос «как помнить».

Первый вариант — наиболее распространенный — реконструкция памяти по устным свидетельствам, рассказы о войне, пересказанные со слов названных или неназванных очевидцев, фрагменты семейных хроник, обрывки семейных воспоминаний. Литературный текст, таким образом, выполняет работу предания, работу непрерывной передачи памяти. Эта задача объединяет и старших (например, в прошлом «андеграундного» прозаика Сергея Коровина, «Дожить до обеда»), и тех, кто по возрасту оказался посередине («Живые помощи» Александра Терехова, «Солдат Данилкин и невидимый царь» Олега Ермакова, «Предатель» и «Два капитана» Александра Карасева), и младших — «Доля ангелов» Вадима Левенталя. И здесь поразительно, насколько иногда художественный текст совпадает с «текстами свидетелей», например, с теми же «Воспоминаниями» Никулина.

Рассказчик в отрывке из романа Сергея Коровина, чудом выживший интеллигент с характерной фамилией Невидимов (впрочем, «говорящая» фамилия — краденая, из присвоенных документов погибшего напарника, чтобы спастись от неминуемого ареста), говорит узнаваемым голосом «Воспоминаний»: «Читаю по-русски, по-английски и по-немецки, — вот откуда я узнал о фашисте Руделе, который вместе с коммунистами охотился за мной, хотел меня убить, но так же, как они, остался с носом. Именно поэтому, а впрочем, и по другим причинам я ничего хорошего ни фашистам, ни коммунистам не желаю, хотя воевать ни с теми, ни с другими не собираюсь, — скоро сами вымрете, как вымерли примитивные безмозглые и бессердечные ящеры. Я думаю, все человеконенавистнические убеждения и равнодушие происходят от обыкновенного невежества, от бездуховности и себялюбия. Если бы ваши и наши неуравновешенные фюреры и вожди с детства и юности читали, хотя бы Платона и Аристотеля, то впоследствии не уничтожали бы людей, которые им почему-то не нравились. И главной государственной задачей считали бы заботу о каждой отдельной человеческой жизни, независимо от фамилии, происхождения, национальности и вероисповедания, пусть даже обладатель ее, по каким-то причинам, не снял перед ними шляпу, и насилие бы применяли только в отношении преступников, посягающих на жизнь, достоинство и права отдельных живых людей».

Рассказ Олега Ермакова «Солдат Данилкин и невидимый царь» начинается с почти буквального повторения эпизода с показательным расстрелом в воспоминаниях Никулина. Разница только в топографии: у Никулина — Ленинград 1941 года и гиблые места неподалеку — Мга, Погостье, Мясной бор; у Ермакова — Смоленск и Орша: «Ему было семнадцать лет. Чтобы попасть на фронт, прибавил год. И сразу пожалел. Буквально в один из первых дней, когда перед строем новобранцев поставили троих мужиков в исподнем, двоим уже было за тридцать, может, все сорок, а третий чуть старше дядьки. Офицер зачитал какой-то приказ. Половину не разобрать было, ветрище дул, нес дождь со снегом, вороны каркали на деревьях, в строю кашляли... Ну а перед этими тремя встали пятеро солдат с винтовками, офицер приказал целиться, те прицелились и по отмашке залпом повалили всех троих в грязь со снегом. Офицер подошел, вырвал пистолет из кобуры и дострелил одного, кажется, того, младшего. А потом их всех, новобранцев, почти так же бил немец, расстреливал в упор, когда они волна за волной шли — на троих одна винтовка — под Оршей на прорыв, на бетонные надолбы с колючей проволокой, и по каскам только щелкали щелбанцы немецкие. Да и каски не у всех были, — там не щелбанцы, а как будто топором в мерзлую древесину, такой звук был. Хрясть!»

Речь, конечно, не о заимствованиях, цитатах и прочих «интертекстах». Такие

совпадения, которых, к слову, гораздо больше, — свидетельство о прорыве неотредактированной, несанкционированной, замолчанной памяти через литературные тексты. Безусловно, за этой прозой — голоса других свидетелей. Но рассказывают они одну правду — о войне как реальности массового уничтожения, как продолжении террора своих против своих, когда разницы между своим начальством и фашистами нет — и те, и другие расстреливают в упор.

Другой «сюжет» антологии — о соотношении (а точнее — абсолютной несовместимости) памяти о военном прошлом и постсоветской реальности. И это тоже тема писателей разных поколений — Леонида Могилева, Германа Садулаева и Натальи Курчатовой. В рассказе «Последний бой на дальних рубежах» Леонида Могилева одинокий старый фронтовик во времена «перестройки» пытается застрелить литовца, который смеха ради дарит ему значок в виде боевого ордена, но со свастикой в середине, а когда убить врага не получается, сам сводит счеты с жизнью; в другом рассказе («Исчезающий эшелон») происходит смещение времени, и на вокзальный перрон начала 90-х выносит состав времен Отечественной. Бойцы из прошлого, столкнувшись с новой Россией, не сомневаются, что «станцию захватил фашистский десант», а от пули из военного времени гибнет успешный бизнесмен Дерябин, собиравшийся прогуляться на туристическом поезде с гармошками и ряжеными девками в Ригу — попить пива. Как занятый фашистами, «оккупантами», воспринимает современный Петербург «блаженненькая» из рассказа Германа Садулаева, так и оставшаяся навсегда в своем блокадном детстве («Блокада»): «Дверь подъезда выходила прямо на улицу, к дороге, по которой неслись сплошным потоком машины. Легковые авто, длинные фуры, грохочущие самосвалы, катки и бульдозеры. Почти на всех машинах было написано что-то по-немецки. Девочка подумала сначала — трофейные. Но люди в машинах не были похожи на русских солдат. Все были злые и страшные. И девочка опустила голову: стало быть, фашисты все же прорвали оборону... Девочка пошла по улице, оглядывая вывески и в который раз удивляясь: как быстро оккупанты поменяли все названия!»

«Поход» Натальи Курчатовой — о подростках, пропавших в начале 1990-х в тех самых местах боевой славы, которые описаны Николаем Никулиным, или где-то совсем рядом от них. При этом дети гибнут, пытаясь спасти одноклассников, с которыми другие одноклассники решили «поиграть в фашистов». Исчезают и пропадают именно те из них, кто нечто еще помнит, пересказывает воспоминания бабушек и дедов. Война продолжается, но таким образом, что всякий приблизившийся к этому пространству абсолютного зла обречен на исчезновение, как сотни тысяч погибших.

Ясновидение памяти

И все же воспоминание, точнее, вспоминание как процесс, в современной словесности постепенно перестает быть только называнием неизжитых травм и незалеченных ран, но становится трудной дорогой через покаяние к прощению. Особенно обнадеживающим здесь кажется то, что происходит это в прозе молодых, визитной карточкой которой традиционно была короткая историческая память. «Безотцовщина» и «сиротство» — ее ключевые метафоры, за которыми стоит нежелание принимать на себя груз исторической ответственности за события прошлого.

Тем не менее особенный и отдельный случай в антологии «Четыре шага от войны» — «Доля ангелов», повесть Вадима Левенталя, самого молодого среди участников. Судя по посвящению («Моим бабушкам, жившим в блокадном Ленинграде, — Нине, Гале и Рае»), это тот случай, когда «как написано» имеет самое непосредственное отношение к «что» и «как» помнить, формальное решение не уничтожает, а проясняет и высветляет смысл. В повести о блокаде, оставшейся в далеком прошлом, далеко за пределами индивидуальной памяти автора, все глаголы — в настоящем времени. Это настоящее время драматической ремарки или сценарного письма и одновременно вечно длящееся Present Indefinite вечности, в которой все застыли навсегда («как мухи в янтаре», если вспомнить метафору из памятных стихов Елены Шварц): девушка Светлена (имя расшифровывается как «свет ленинизма»), которая осталась в блокадном городе — помогать тем, кому еще хуже; ее муж Володя, филолог, а ныне солдат, убийца поневоле; убитая им старуха-доносчица; старый идеалист-библиотекарь, собиратель книг, на которого донесла полубезумная от голода

старуха. Все они, связанные виной и страданием, прегрешениями, вольными и невольными, судьбой и случаем, как будто застыли в стоп-кадре в ожидании некоего единственного мига. Можно только догадываться, это имя этому мигу — прощение, оно же — отпущение, и все перенесенные страдания давным-давно искупили все.

За чужим прошлым, которое необходимо восстановить и осознать как свое, отправляется через всю страну, на восток и дальше на север герой романа Сергея Лебедева «Предел забвения» (М.: ИД «Первое сентября», 2011), который полностью посвящен проблеме памяти как таковой.

Лебедев и Левенталь — сверстники, и эта принадлежность к поколению — еще одно опровержение того, что молодые не пишут о войне и ГУЛАГе. Потому что у Сергея Лебедева — о ГУЛАГе. И «Предел забвения» — дебютный роман писателя, которому в этом году исполняется тридцать. Герой Лебедева — его ровесник и во многом alter ego. Но события, которые он расследует, превращая в свою память, намного старше его. Он разыскивает следы человека, который не был ему родственником (в семье его называли Вторым дедом), но трижды спас ему жизнь, в последний раз — ценой собственной, отдав свою кровь, он мужественно пробивается к прошлому. И тогда выясняется, что прошлое никуда не исчезло, но только замуровано в вечной мерзлоте, как тысячи не погребенных до сих пор жертв. Второй дед в прошлом оказался начальником лагеря, в свое время угробившим свою семью.

Разумеется, в книге нет ничего, что не описано уже Солженицыным и Шаламовым, множеством выживших — и не промолчавших — свидетелей. Важно другое: на сегодняшний день эта книга едва ли не в одиночку делает непомерно трудную работу исторического покаяния, от которой российское общество отказалось. Собственно, это «Вопрос о вине», написанный по-русски в начале XXI века, с той только разницей, что Сергей Лебедев задает свои мучительные вопросы в стране, где ни один начальник лагеря, ни один командир «расстрельной команды», в отличие от нацистских преступников, не ответил за тысячи уничтоженных человеческих жизней перед судом; где в бетонных стенах домов вместо арматуры — колючая проволока, а типовые строения повторяют главную архитектурную форму — очертания барака; где в конце концов мало кто может поручиться, что в его жилах не течет кровь палача — пусть не унаследованная от предков, но полученная при переливании.

«Предел забвения» — о том, что иного пути к примирению и прощению, кроме ответственности за прошлое, у нас нет. И единственный способ пройти этот путь — реконструкция памяти — общей и индивидуальной. В романе память и забвение противостоят друг другу как зрячесть и слепота. Когда герой Сергея Лебедева говорит «я это вижу», это означает «я это помню». Поэтому в своих снах он видит даже то, что в силу возраста видеть никак не мог. Он — «ясновидец памяти».

Разумеется, дело не только в принадлежности к поколению. Возможно, просто, наконец, приходит время. Тем же «ясновидением памяти» проникнута дилогия Елены Катишонок — «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки» — неторопливая семейная хроника, рассказывающая о староверском роде, прошедшем через все потрясения XX века. Подождем, что будет еще…

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] «Воспоминания об этом времени у каждого свои»// Дружба народов № 3, 2009.

[2] *Ольга Шевченко, Оксана Саркисова*. Советское прошлое в любительской фотографии: работа памяти и забвения // Отечественные записки т. 43 (№ 4, 2008).

[3] Об этом — см. подробно: *Андрей Степанов.* Александр Терехов. Каменный мост// http://prochtenie.ru/index.php/docs/2902.

[4] *Татьяна Григорьева.* Людмила Улицкая. Зеленый шатер// http://www.openspace.ru/literature/events/details/20064/?expand=yes#expand.

[5] См.: Аксиология памяти в литературе II: дискуссия о В.Пуханове и Ленинградской блокаде // Новое литературное обозрение, № 96.

[6] *Валерия Пустовая*. Человек с ружьем. // Новый мир № 5, 2005.

Алексей Саломатин

О том, что близко

Современная татарстанская поэзия глазами очевидца

Большое, как известно, видится на расстоянье.

Но, к сожалению, рассмотреть объект в деталях с расстояния — гораздо сложнее, чем оценить его габариты. Вот и получается, что региональные литературы часто видятся из центра и других регионов лишь в общих чертах — как некое среднее арифметическое творчества местных авторов. Сами же авторы проплывают перед читателем списком кораблей, не оседая в памяти ни именами, ни строчками.

А ведь среди литературных провинциалов есть немало достойных куда более серьезного прочтения. В этой статье я, не стремясь объять необъятное и упомянуть всех татарстанских поэтов, постараюсь не только дать общую характеристику сложившихся тенденций, но и более подробно остановиться на творчестве авторов, по тем или иным причинам представляющихся мне наиболее заметными фигурами в местном литературном процессе.

Я другой такой страны не знаю…

Не случайно, наверное, Вселенский храм — причудливое строение, приковывающее взгляды всех, впервые подъезжающих к Казани, и хотя бы на уровне архитектурной композиции примирившее все мировые религии — был построен жителем Татарстана Ильдаром Хановым. Потому что и сама республика, совмещающая в себе огромное количество взаимоисключающих, казалось бы, тенденций, во многом похожа на этот храм. Существуя на стыке культур, языков и времен, она не превратилась, однако, в melting pot, а осталась своего рода местом встречи различных дискурсов, вполне независимых и развивающихся по своим законам, но органично дополняющих друг друга.

Даже вечные антагонисты — природа и техника, кажется, нашли здесь общий язык: мерный метроном нефтедобывающей установки, возвышающийся над взволнованно желтеющей нивой — символ, сопоставимый с запряженным в плуг танком. Татарстан словно никак не решит — аграрная он республика или индустриальная.

Посреди бескрайних сельскохозяйственных угодий, настраивающих на буколический лад и склоняющих к воспеванию мирного труда и дружных деревенских сабантуев, встают технократические мегаполисы, в которых служителям муз полагается вдыхать бензин и тосковать по мировой культуре. Внутри городов достоевское противоречие набирает обороты: в пределах одного квартала мирно уживаются христианские церкви, мечети и синагоги, а деревянные улочки подобно хрестоматийно-анекдотическому «Запорожцу» врезаются в глянцевые стриты a-la Europe; задав прохожему вопрос на одном языке, можно запросто получить ответ на другом, а, прогуливаясь, забрести из одной исторической эпохи в другую. При этом бал тут правит отнюдь не эклектика, а какая-то странная, неуловимая гармония.

Татарстан, ты весь смешанный брак!

За всеми этими взаимоотмечаниями на брудершафт русских и татарских наци-

ональных праздников внезапно оказывается, что «диалог культур» — не просто пафосные отвлеченные слова, а вполне объективная реальность. И диалог этот ведут не только Европа и Азия, но и два взгляда на мир: условно говоря — столичный (рациональный, ориентированный на будущее и интеграцию в мировое сообщество) и провинциальный (чувственный, ориентированный на связь с корнями и некую консервативность).

Тон диалога задает Казань, официально получившая статус третьей столицы, но не утратившая провинциальную сентиментальность. Действительно, с одной стороны, город с тысячелетней историей, славный своими знаменитыми жителями (всех перечислять — статьи не хватит), старейшим в России нестоличным университетом (недавно повышенным в ранге до Поволжского Федерального) и «метрополитеном европейского уровня», периодически принимающий в гости все флаги. С другой — отдаленность от крикливого гламура и переменчивой моды, провинциальная неторопливость и старосветская обстоятельность.

Разумеется, все вышеперечисленное не могло не отразиться и на характере местной поэзии.

В первую очередь это касается именно синтеза провинциального и столичного начал. Авторы прекрасно осведомлены обо всех современных поэтических тенденциях, а публика (даже не самая искушенная) достаточно «продвинута» для того, чтобы не спотыкаться при чтении стихов о новаторские приемы (даже о весьма «экстремальные»). Однако и те, и другие, чтя устои и традиции, относятся к новациям без ослепляющего восторга и даже с некоторым подозрением — авторы не спешат ваять свои тексты в русле «актуальных» образцов, а публика — принимать с распростертыми объятиями каждую разрекламированную новинку-пустышку. Как следствие — модные однодневки практически не приживаются, а новичкам приходится проходить проверку на прочность, доказывая, что они чего-то стоят вне зависимости от литературной конъюнктуры. Хотя опасность выплеснуть вместе с водой ребенка, конечно, присутствует.

Еще одной особенностью местного поэтического климата является то, что для него практически не характерен так называемый «конфликт поколений», и — шире — дихотомия «свой/чужой». Поэты самых различных школ, направлений и возрастов постоянно находятся в довольно тесном контакте. В результате на одном поэтическом вечере вполне могут выступать и ярые сторонники традиции, и этически и эстетически радикальная молодежь.

Диалог же национальных культур, обеспечив благоприятный контекст, отражения в поэзии, как ни странно, не нашел. Более того — русскоязычная и татароязычная поэзия существуют автономно (разве только иной поэт, эффекта ради, включит в текст слово на параллельном языке).

Чтоб только о доме в ней пелось…

Если поэзия русскоязычная стремится влиться в общероссийскую литературу, опираясь на формальные и содержательные традиции, сложившиеся в ней, то татароязычная развивается в соответствии со своими внутренними законами.

На формальном уровне она представляет собой либо восточные твердые формы (рубаи, газель, фард и др.), либо некую максимально усредненную и «стилистически нейтральную» оболочку, вроде катренов с перекрестной рифмовкой. Авангардистские эксперименты полностью отсутствуют, а верлибры и маяковски-шестидесятнические разносложники можно пересчитать по пальцам.

Ставшая одной из характернейших особенностей современной поэзии игра аллюзиями и реминисценциями также практически не нашла отражения в стихах татароязычных авторов. Если чужое слово все-таки включается в текст, поэты не стесняются прибегать к такому по нынешним меркам анахронизму, как заключение цитаты в кавычки. Единичные же примеры раскавыченных цитат, как правило, представляют собой образы и обороты, прочно вошедшие в массовое сознание в качестве

клише или афоризмов и почти утратившие для большинства ассоциативную связь с первоисточником:

Телега жизни — стала тяжелей,
Все медленнее движется она...
— Эй, не спешите, я прошу коней, —
Дорога впереди еще длинна.

Фирдаус Аглия (пер. Л.Газизовой)

Так что эффект узнавания старого текста в новом контексте, положенный в основу центонной поэзии, сводится к минимуму.

Из авторов, активно апеллирующих к культурной памяти аудитории, можно назвать едва ли не одного **Разиля Валеева**, в стихах которого регулярно упоминаются различные представители мира искусства (от Гомера до Бетховена).

Подобная сдержанность в выборе изобразительных средств обусловлена спецификой читателя, на которого ориентирована татароязычная поэзия. Это не искушенный читатель-профессионал и не абстрактный всезнающий идеальный адресат из прекрасного далека, а читатель-друг, современник автора, с которым последний ведет диалог на равных. Читатель этот — носитель общего с автором менталитета, ощущающий свою связь с культурой народа и стремящийся сохранить национальную самоидентификацию. Даже использование татарского языка при написании стихов в этом смысле играет роль своеобразного кодифицированного рукопожатия — авторы, владеющие и русским, обращаются к родному народу на родном языке, подчеркивая свою принадлежность к нему.

Собственно, одна из основных функций стихов современных татароязычных поэтов — охранительная: сохранить язык, особую музыкальность и напевность которого, в силу фонетических особенностей, к сожалению, практически невозможно передать в переводе.

Охранительная функция проявляется и на содержательном уровне.

Русскоязычные поэты-татары, обращающиеся к национальной тематике, в своих стихах, как правило, либо развенчивают укоренившиеся в массовом сознании стереотипы, связанные со своим народом:

Запах гари, калым и конина...
Я татарин. На имени этом клеймо...

Рустем Кутуй

либо, напротив, используют стереотипный «ордынский» образ для созидания своего имиджа:

Моих браслетов тусклый свет
Зовет в глухую ночь,
Где буду гордою княжной —
Я, булгарская дочь.

<...>

...верноподданная степь
Напомнит о былом
В полнеба стаей воронья
И диким жеребцом.

Бреду сквозь сон иных времен
Я по своей земле.
Раскосые глаза-костры
Мерещатся во мгле.

Лилия Газизова

Татароязычные авторы, избавленные от необходимости ниспровергать мифы, бытующие исключительно вне татарской диаспоры, и не желая спекулировать на восточной экзотике, внутри диаспоры таковой, к тому же и не воспринимающейся, стремятся в своих стихах запечатлеть особенности родной культуры и мировоззрения. Такой подход вполне оправдан — ведь многочисленные представители диаспоры проживают за пределами Татарстана, и для них эти стихи — шанс почувствовать себя дома.

Фиксируя в слове обобщенный исторический, культурный и житейский опыт, современная татарская поэзия предстает своеобразным эквивалентом фольклора (любопытно, что к собственно фольклорным сюжетам и образам она практически не обращается).

Она то воскрешает национальное прошлое в масштабных эпических полотнах («Кулшариф» **Флеры Тархановой**), то фокусируется на судьбах отдельных людей, за которыми встает трагедия целой эпохи — «Зеленый майдан» **Асхана Баяна** или «Материнская грусть» **Резеды Валеевой:**

Переехала старушка
В новый дом,
Но грустит она
О стареньком своем...

<...>

...все кажется ей:
В старый дом должны
Сыновья с отцом
Возвратиться с войны...

(пер. С.Малышева)

Отчетливо звучат и патриотические мотивы («Родной язык» **Марселя Галиева**, «На родимой стороне» **Ркаила Зайдуллы** и др.), порою принимающие форму дидактических наставлений:

Проснись! Другие времена —
Дремать никак нельзя!
А сон сморит — во время сна
Не закрывай глаза!

Роберт Ахметзянов (пер. Н.Ишмухаметова)

Вообще, традиция поучений нашла широкое отражение в современной татарской поэзии (хотя, конечно, в большинстве случаев и не такое буквальное, как в приведенном выше примере). Авторы, стремясь поделиться с читателем накопленным жизненным опытом, облекают свои суждения о мире и человеке в лаконичную, почти афористичную форму (разумеется, на популярность концентрированного выражения философской мысли оказали влияние и рубаи):

Не напоминайте льду,
Что прежде
Был он ручейком звенящим.
Вторьте,
Вторьте вы его надежде,
Что ручьем быть можно
Даже спящим...

Рустем Акъегет (пер. С.Малышева)

Говоря о малых формах, нельзя не упомянуть **Шауката Галиева**, в чьем творчестве встречается множество остроумных миниатюр, к примеру:

Быть может, жизнь придумала не глупо,
не все давая разом человеку:
мечта девчушки — золотые зубы —
увы, сбылась — через полвека!..

(пер. С.Малышева)

Помимо всего прочего, Шаукат Галиев хорошо известен читателю (в том числе — и российскому) как выдающийся детский поэт, а его книга «Заяц на зарядке», будучи переведена на русский язык, удостоилась в 1982 году Международного почетного диплома Г.-Х.Андерсена.

Разумеется, богата татароязычная поэзия и интимной, почти дневниковой лирикой, примеры которой мы находим у всех без исключения авторов.

Порою же поэты просто пытаются остановить (воскресить в памяти) неповторимое мгновение, стремясь уберечь от забвения малейшие детали — например, «Воспоминание на всю жизнь» **Фарита Яхина** или «Старушки моего детства» **Сэлисэ Гараевой**:

Эбикяйляр, старушки мои хворые!
Морщинистые руки так худы!..
Меня и глазом вы не проворонили,
оберегая от лихой беды.

Красивые, пригрелись на завалинке,
а я скачу ягненком по селу, —
веселая, беспечная, удаленькая,
срываю яблоки, как солнышки, в саду.

(пер. Р.Кутуя)

Можно сказать, что стихи современных татароязычных поэтов в совокупности образуют ожидающий своего Гомера коллективный эпос, в котором запечатлено прошлое и настоящее народа и размах сочетается со скрупулезным вниманием к мелочам.

Наконец они перестали быть вещью в себе и для публики, не владеющей языком. Благодаря усилиям переводчиков М.Аввакумовой, Н.Алешкова, Т.Алдошина, Р.Бухараева, Б.Вайнера, Л.Газизовой, А.Гайсиной, Л.Григорьевой, Д.Даминова, Н.Ишмухаметова, И.Елисеева, А.Каримовой, Р.Кожевниковой, Р.Кутуя, С.Малышева, Д.Садыковой, В.Рощектаева, Н.Сафиной, М.Тузова, З.Халитовой, Т.Шарафиевой и С.Юзеева в 2008 году увидела свет антология «Современная татарская поэзия», собравшая под одной обложкой более шестидесяти авторов разных возрастов.

Между прошлым и будущим…

В случае с русскоязычной поэзией выделить некую обобщающую тенденцию гораздо сложнее. В качестве таковой можно назвать разве что уже упоминавшееся осторожное внимание к современным поэтическим тенденциям, обусловившее разумный синтез традиционного и новаторского начал в творчестве местных авторов.

В наибольшей степени этот синтез проявился, пожалуй, в стихах **Сергея Кудряшова**, проживающего в Верхнем Услоне, селе, находящемся на противоположном от Казани берегу Волги.

Даже в наш век высоких скоростей добраться оттуда до города порою весьма непросто.

Возможно, именно отдаленное местожительство обусловило и демонстративную отстраненность автора от модных литературных течений и группировок («Я не люблю богему и не вхож в бомонд» — пишет он в одном из стихотворений), и особенности поэтической картины мира.

Лирический герой его стихов — поэт-философ, живущий в глубинке и на фоне ее маленьких радостей в лице садово-огородной романтики, умиротворенных пьяниц и бесчинствующих милиционеров то вступающий в диалог с античными мыслителями, то поглощаемый благородным созерцанием, то предающийся отвлеченным размышлениям по меньшей мере вселенского масштаба:

Имея склонность сводить к итогам
все, что творится в подлунном мире,
воображаю, как трудно Богом
быть и незримо парить в эфире.

Кудряшов — один из немногих современных авторов, сумевший, опираясь на поэтику Бродского, не превратиться в эпигона, а использовать наработки предшественника для возведения собственного, оригинального здания. Стоика-мизантропа сменяет прикидывающийся простачком то ли буддийский мудрец, то ли современный Сократ, чье умение со взвешенным оптимизмом отнестись к трагедии жизни напоминает о стихах Виктора Коркия, и пространные стихотворения-рассуждения, любовь к которым поэт унаследовал от Нобелевского лауреата, звучат уже куда менее отстраненно и более игриво.

Нет-нет, да мелькнет на устах лирического героя и лукавая усмешка Франсуа Вийона. Французский поэт не только удостоился от верхнеуслонского пространного «a tribute to» в виде стихотворения «состязание в Блуа», но и, кажется, поделился с последним толикой своего мировоззрения, которую тот не преминул иронично обыграть:

я живу себе царь и господин
челядь у меня и крылец резной
только чуя я что я не один
будто кто-то есть кто стоит за мной

если бог то бог может низко пасть
может быть как я в чем-то уличен
значит есть еще и над богом власть
значит есть и тот кто ей облечен

и когда его я смогу назвать
в одночасье мир потеряю мой
потому-то я не желаю знать
кто стоит за тем кто стоит за мной

Ср.: «Быть может, в духе своей сухой и рассудочной мистики он (Вийон. — *А.С.*) продолжил лестницу феодальных юрисдикций в бесконечность и в душе его смутно бродило дикое, но глубоко феодальное ощущение, что есть Бог над Богом...» (Осип Мандельштам, «Франсуа Виллон»).

Вообще же Кудряшов продолжает скорее пушкинскую линию — внешняя легкость слога, маскирующая обилие завуалированных каламбуров и реминисценций, внутренняя гармония стихов, вызывающая ассоциации со зрелой лирикой классика, общая формальная ориентация на образцы золотого века. Как лукаво признается сам автор, мимоходом скрещивая Ходасевича с цитатой из мультфильма «Падал прошлогодний снег»:

конечно ямб четырехстопный
размер старинный допотопный
и весь на пушкинский манер
но безусловно мой размер.

Действительно, подавляющее большинство произведений поэта — строгая силлаботоника (в том числе и «надоевший» четырехстопный ямб), изредка оживляемая «случайным» выпадением стоп. Впрочем, пестуемая классическая «допотопность» не мешает верхнеуслонскому поэту умело пользоваться всеми достижениями совре-

менной поэзии и не препятствует ритмическому и жанровому разнообразию стихотворений — от псевдодетских текстов до едкой гражданской лирики.

Несмотря на общий иронический тон произведений, Кудряшов никогда не использует цитаты для создания лобового смехового эффекта, основанного исключительно на узнавании. Чужое оказывается органично растворено в своем, а порою за явной цитатой скрывается еще одна, менее заметная.

Возьмем, к примеру, фрагмент, повествующий о встрече автора с... его собственной строкой:

Кричала: все тебя учить!
Уж думаю о топоре я!
Но, хоть убей, я отличить
не в силах ямба от хорея.

Цитата из «Евгения Онегина» очевидна и в комментариях не нуждается, однако, будучи переставлены местами, пушкинские строки начинают интонационно отсылать читателя еще и к финалу есенинской «Метели»: «Вот чудак! / Он в жизни / Буйствовал немало... / Но одолеть не мог никак / Пяти страниц / Из "Капитала"», что вносит ощутимые изменения в message. Автор уже не столько иронизирует по поводу своего невежества, сколько противопоставляет свой природный «нечесаный» дар бездушному академизму пресловутых богемы и бомонда. На общий гаерский тон отрывка работают даже формальные составляющие — так, составная рифма «топоре я — хорея» эхом отзывается бурлескной «топорной» рифмой Некрасова: «Боржия — топор же я», что не может не усиливать абсурдный комизм стихотворения.

К сожалению, подобно своему лирическому герою Кудряшов предпочитает вести жизнь затворника, что, мягко говоря, не способствует продвижению искусства в массы. В результате творчество поэта, заслуживающего внимания и читателей, и критики, оказывается не известно не только российской, но и местной широкой публике.

В отличие от Кудряшова, **Тимур Алдошин** довольно известен как в Казани, так и за ее пределами.

Первое, что обращает на себя внимание при знакомстве с его стихами, — это вычурность образов, вызывающая ассоциации чуть ли не с метаметафоризмом:

Слепою с палкой шла двором вода.
Ей попадались то ступень, то яма.
Коленопреклоненная звезда
перед осенним деревом стояла.

Вообще, стержнем, вокруг которого строится то или иное стихотворение поэта, в большинстве случаев является не некое чувство или рациональный посыл, а именно метафора (или несколько метафор, переплетенных между собой). Часто отдельная метафора, обрастая подробностями и деталями, развивается в законченное стихотворение, приобретающее черты фантасмагории:

Король лир, арф, ну и прочих гуслей,
хворостиной гнущий вперед себя
ароматический шар грусти, —
что ли, египетскую лепя

себе ну бабу, ну жизнь, богиню,
(на вазе — в профиль всегда-всегда...),
чтобы было кого покинуть,
когда пройдет королевство льда.

Фантасмагоричность — одна из ключевых черт поэтики Алдошина. Путешествуя из текста в текст, его лирический герой меняет обличья и мировоззрения, представая то Богом, то жрецом, то безумцем, то роковой красоткой, то отстраненным наблюдателем, то остающимся по ту сторону текста всезнающим повествователем. Особую

роль подобная «многоликость» играет при организации лирических циклов, когда каждое стихотворение становится своего рода новым ракурсом рассмотрения ключевой темы, которая сама выражена метафорой, трактуемой максимально многозначно (так, название цикла «God Mode» отсылает одновременно и к Богу, и к миру компьютерных игр, и к виртуальной (ложной) реальности, и к эскапизму, и к жульничеству). При этом стихи Алдошина отнюдь не являются аллегорическими шифровками (во всяком случае — далеко не все). Скорее, они превращаются из текста в контекст, существующий по своим законам, в котором читателю предстоит обживаться самому, не надеясь на особую помощь автора.

Если же попытаться дать самую общую характеристику лирическому герою, то им, пожалуй, окажется юродивый, то хитро рассказывающий притчи, то пересказывающий собственные вещие и не очень сны, то, впав в состояние полубреда, словно сам себя гипнотизирующий спонтанной то ли мантрой, то ли молитвой. Не случайно автор часто указывает под своими текстами не только дату написания, но и время с точностью до минуты — большинство стихотворений оказываются написаны за очень небольшой промежуток (час, полтора, иногда — и вовсе несколько минут). Слово цепляется за слово, ассоциация за ассоциацию, рифма за рифму — и уже никем не управляемый текст мчится сам по себе, так, что уследить за движением мысли становится практически невозможно.

Стихи же **Алексея Остудина,** еще одного хорошо известного российскому читателю казанского поэта, напротив, прекрасно ясны.

Не утратив способности восхищаться окружающей жизнью с почти детской безрассудностью, автор сохранил за собой право обращаться к читателю с последней прямотой, не впадая при этом в занудное морализаторство.

Тема детства — одна из ключевых в его лирике. Как сам он признается в программном стихотворении «Родом из детства»:

> Я вышел из детства, а был запечатан в колоде,
> но детство само до сих пор из меня не выходит!

Не разделяя природу на порожденную и порождающую, Остудин радостно приветствует и лесные пейзажи, и «рыжую шпротину» Эйфелевой башни, но категорически не приемлет фальшь и искусственность, которым достается, к примеру, в ерническом «Титанике»:

> Дежурит кэп, с попкорном в бороде,
> под палубой динамо крутят кони.
> Корабль винтами роется в воде,
> протухшей в Голливудском павильоне!

Бескомпромиссность и эмоциональный напор, свойственные стихам автора (реши кто-нибудь подсчитать количество восклицательных знаков на единицу текста у современных поэтов — пальма первенства безоговорочно досталась бы казанцу), невольно вызывают ассоциации с эстрадной поэзией.

Видимо, именно следование эстрадной традиции и установка на декламацию своих текстов (Остудин — частый гость многочисленных поэтических фестивалей) и обусловило одну из характерных особенностей поэтики автора — ориентацию на мгновенный отклик у публики. Как следствие, стихи его изобилуют внешними эффектами — афористичными формулами («они — на воде и бензине… / один только Спас — на Крови!»), броскими образами («дождь отрясает клубни грома / с трепещущих корней грозы», клен — «молния мороза» и т.д.) и словесными играми («Кельн ты мой опавший», «С «Авроры» братва … / разводит мосты на базар!», «Любви все возрасты попкорны», «Межпозвонковые диски глотают слова…», «Насвистывает верба Верди —/ резвяся, ношпу ношпой бьет!»). Не полюбить такие стихи читатель не имеет никакого римского права!

Остудин, помимо всего прочего, зарекомендовал себя не только как поэт, но и как культуртрегер (в хорошем смысле этого слова), регулярно устраивая в Казани творческие вечера поэтов, приезжающих со всех концов России и зарубежья.

Артем Скворцов также хорошо известен любителям современной поэзии, но в первую очередь — как специалист по этой поэзии, филолог и литературный критик. Лишь читатели журнала «Октябрь» могут вспомнить две небольшие поэтические подборки автора.

Как правило, стихи профессиональных филологов — это либо авангардистские эксперименты со словом, ориентированные не на потребителя, а на производителя, либо, напротив, подчеркнуто нормативны, словно служат напоминанием о существовании высокого канона (таковы, в частности, стихи другого казанского поэта-филолога — **Елены Шевченко**). Скворцов равноудален от обоих полюсов. Дань авангарду ограничивается «конспектом эпоса» «елы-палы» (прослеженное — от «уау-уау» до «умер-шмумер» — «жил-был» абстрактного индивида), а связь с высокой традицией маскируется нарочитой неброскостью стиля, лишенного эффектных формальных примет (не считать же таковыми интерес автора к омонимическим рифмам?).

Последовательно отвергая вульгарно-романтическую выспренность, Скворцов идет по пути не столько прозаизации, сколько интимизации. Оставаясь в русле метафизической поэзии, он «приручает» и «одомашнивает» ее вселенскую монументальность. Приглушение (но не травестирование) пафоса проявляется даже на формальном уровне — фигурные стихи немецких поэтов-метафизиков эпохи барокко отзываются забавной «елочкой» верлибра, обращенного к arbor mundi — секвойе. Онтологические и эсхатологические аллегории мимикрируют под несерьезные бытовые зарисовки с почти чеховской фиксацией внимания на мелочах и деталях.

Вообще, аналогии с Чеховым уместны и при характеристике как лаконичного и внешне сухого, но богатого подтекстами и неочевидными каламбурами языка стихотворений, так и их сдержанной интонации, напоминающей интонацию доверительной беседы с интеллигентным собеседником, далеким и от надменного снобизма, и от разрывания на груди рубахи.

Да и ирония его по-чеховски грустна. Лирический герой большинства стихотворений — представитель поколения несбывшихся надежд, обитатель времени несостоявшихся перемен:

> Я помню: каждый был чертовски молод,
> и тлел закат, и серп нашел на молот,
> и пал колосс, живущий на костях,
> и мы плясали на плечах гигантов,
> и встал рассвет, ужасен и агатов —
> хозяев нет, а мы сидим в гостях.

История по Скворцову не путь к светлому будущему, а все стремительнее прогрессирующая энтропия. И если в процитированном выше стихотворении 2000 года констатируется несовместимость нашего времени и «гомеровского размаха», то в недавних программных «Птицах» («Арион», 2010, № 3) взгляд появившегося над городом ястреба не находит уже «ни мышей, ни лягушек». Современности не светит быть увековеченной не только в «Одиссее» или «Илиаде», но и в «Батрахомиомахии».

В этой ситуации, не разменяваясь на громкие слова и не предаваясь декадентскому безразличию, он занимает позицию охранителя, стоящего на страже культурной традиции, рискующей кануть в небытие. Мотивы рвущейся связи с прошлым и блуждания во тьме — одни из ключевых в творчестве поэта.

В мире, где даже булгаковская разруха умудряется повториться, как фарс («…буфет, где был раньше клозет»), Скворцов пытается сохранить порядок в собственной голове, хрупкую гармонию в собственном доме и культуру хотя бы на том небольшом пространстве вокруг, на которое хватит сил.

Почти по Ходасевичу: «Но сам стригу кусты сирени / Вокруг террасы и в саду».

Впрочем, для ряда авторов стихи становятся не только (и не столько) серебряной чести родником, но и орудием формирования собственной литературной репутации.

Прежде всего необходимо сказать о жизнетворчестве в чистом виде, потому переходим к **Лилии Газизовой**, подобно Марии Башкирцевой, всю свою жизнь превратившей в беспрерывный эстетический акт.

Выведя лирической героиней стихов своенравную роковую красотку булгарских кровей, она и в жизни всячески стремится соответствовать образу. Все — стихи под нарочито эпатажными названиями («Я слишком буржуазна для поэта...», «Не хочу выходить из запоя...»), интервью, «случайно» оброненные фразы и публичные поступки — подчинено одной цели — шокировать аудиторию и акцентировать внимание на своей личности. Иногда кажется, что даже стихи автор пишет лишь для того, чтобы иметь возможность на свой лад произнести формулу «Я гений» известного эгофутуриста: «Пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что я не поэт, прочитав:

Дожди идут как пленные солдаты,
Не в ногу, спотыкаясь и вразброд.

Это строчки двадцать первого века. И это хорошие стихи». (Не поспоришь — это действительно строчки XXI века. В веке XX они звучали несколько иначе: «Шли пыльным рынком тучи, / Как рекруты, за хутор, поутру. / Брели не час, не век, / Как пленные австрийцы...» — Борис Пастернак, «Еще более душный рассвет»). Да и сама поэтесса почти сразу проговаривается: «Писательство — не мое дело. Это лишь один из многочисленных моих способов кокетства и заигрываний с миром».

Впрочем, в последних стихах Газизовой все чаще звучат нотки усталости от такой «жизни на публику»:

Она играла — не жила...
<...>
А может, жить начать пора?

Или это просто очередная маска?

Для **Анны Русс**, обладательницы множества литературных премий, хорошо знакомой завсегдатаям московских поэтических клубов, имидж также играет очень важную роль. Но игра для нее, как правило, ограничена рамками текста, а творческая энергия автора направлена не столько на создание собственного имиджа, сколько на вдыхание жизни в запоминающийся образ лирической героини — нахальной infant terrible, на радость почтенной публике тщательно пестующей свои эгоцентризм и радикальный инфантилизм.

«Детскость» в творчестве Русс проявляется не только в чертах наиболее частотного авторского alter ego (девочка-скандал «в черных чулках / на красивых ногах», которая ходит «в Музей Бора-ТЫНС!-ТЫНС!-кого» послушать стихи «Винни-Пушкина», на свидания с противоположным полом и верит в то, что «никогда не кончиться детству»), но и в самой формальной организации стихотворений. Так, тексты из разряда «детям до 16 не» часто облекаются в форму детских колыбельных, считалочек, слегка трансформированных садистских куплетов, чуть ли не «ладушек». А порою — и вовсе стихов, написанных самими детьми (разумеется, понятия не имеющими, как надо писать стихи), с их спонтанной «неправильностью». Постоянно меняющийся размер, строчки разной длины, то возникающая, то исчезающая рифма и т.д. придают им непосредственность и задорность (хотя непосредственности и задорности в них и без этого — хоть отбавляй).

А вот поводов для радости, увы, не так уж много. Потому что мир, в котором живет девочка-скандал, совсем не похож на сказочный, да и сказки в нем звучат совсем по-другому и заканчиваются кромешной и непроглядной Верой Павловой:

У Русалочки был свой голос, но за нею тянулся хвост
Принадлежности к бессмертному роду, чья численность выше звезд.
Дюймовочка перебывала в невестах у жабы, жука и крота —
Дальше были всякие фэйри и прочая мелкота.

Иногда настроение безысходности распространяется на мир вообще («Переход», «8 часов танго»).

Для оказавшейся совершенно беззащитной перед жестокой судьбой лирической героини характерно желание отгородиться, спрятаться от чужого большого и

страшного мира, а то и вовсе сбежать от него. Эскапистские идеи порою выражаются предельно откровенно: «Где он, шофер автобуса того, / Который мог забрать меня отсюда?»

Своего рода последним оплотом детства становятся стихи Русс для детей. Их герои живут в мире, где это детство действительно никогда не кончается, а циничный взрослый мир хоть и дает периодически о себе знать, но существует вместе со своими проблемами где-то в ином измерении. Однако и в эти стихи нет-нет да и проникает тоска по далекому и несбыточному:

Глядит Петров с тоскою
Сквозь буквы на доске
И видит — за доскою
Ракушки на песке,

<...>

Вокруг Петрова сказка
Мерцает и течет,
Покуда — хлоп! — указка
Его не отвлечет.

Говоря о творчестве местных русскоязычных поэтов, нельзя не упомянуть и почти дневниковые стихи **Олеси Балтусовой**, в которых под соусом из протокольной точности и разъедающего скепсиса подается абсурдность окружающего мира, и несколько старомодные, почти «неошестидесятнические» маленькие человеческие трагедии **Алены Каримовой,** и грустную иронику **Нури Бурнаша**.

Пробивается на склонах местного Парнаса и младая поросль. Андрей Абросимов, Айрат Багаутдинов, Айгель Гайсина, Евгений Калашников, Алиса Розанова уже успели как засветиться в многочисленных поэтических слэмах и конкурсах, так и обзавестись публикациями в разного рода литературных изданиях.

Наиболее перспективным из начинающих авторов нам представляется **Игорь Тишин**, успевший к двадцати годам выпустить две книги стихов и возглавить лито «Бутылка Клейна».

Вполне профессионально владея формой, он пока пребывает в стадии ученичества и воспроизведения готовых образцов (подражания Бродскому и вовсе невольно вызывают мысль о сознательном пародировании — почти у каждого текста Тишина находится буквальный аналог). Однако когда планка «объекта вдохновения» оказывается существенно ниже (к примеру, подражания так называемой «актуальной поэзии» с ее безразмерными «вавилибрами»), тексты молодого автора неожиданно оказываются живее и интереснее оригиналов. Так что будем надеяться, что он еще найдет себя (или, по крайней мере, поднимет «актуальную» поэзию до читабельного уровня).

Да и тем, кто только впервые в жизни срифмовал «ботинок» с «полуботинком», есть, куда направить стопы, чтобы сохранить и приумножить свой талант. В Набережных Челнах под руководством **Анатолия Ухандеева** собирается поэтический клуб **«Черный Вторник»**, периодически выпускающий одноименные сборники с лучшими стихами «заседающих». Казанцев ждет литературное объединение **«Белая Ворона»** под руководством **Наили Ахуновой.** За более чем 10 лет своего существования объединение это дало путевку в жизнь многим молодым авторам, в том числе и уже упомянутой Анне Русс. Всегда готов выслушать и поддержать начинающих стихотворцев **Айрат Бик-Булатов**, еще один известный казанский поэт и культуртрегер.

Ну и, разумеется, никакое чтение стихов не заменит живого общения, а значит, необходимы места, где поэты и любители поэзии могли бы встречаться и общаться между собой на интересующие их темы. С легкой руки **Алексея Кириллова**, руководителя литературной студии **ARS**, центральным из таких мест в Казани стал **музей Горького**, где регулярно проходят поэтические чтения и проводятся встречи с местными и приезжими поэтами. Неравнодушный и бескорыстно преданный своему делу (несколько лет он за свой счет издавал литературный альманах «Квадратное коле-

со», снискавший популярность далеко за пределами республики), о себе Кириллов вспоминает в последнюю очередь — несмотря на многолетний поэтический стаж, первая книга стихов автора, «Белый день», вышла лишь в 2009 году.

Неудивительно, что и через стихи его красной нитью проходит мысль о необходимости, несмотря ни на что, сохранить верность себе и неравнодушие к окружающим: «Чем тяжелее жить на свете, / Тем невозможней без любви».

Не менее важной является для Кириллова и тема личной ответственности человека перед собой, Богом (который и сам «ходит то в робе, то в камуфляже») и другими людьми за все содеянное и помысленное вольно и невольно:

Селезенкой прочувствовав каждый снаряд,
Монолит разрывающий рядом,
Я беззвучно молил: «Не в меня, не в меня,
Милый Господи Боже, не надо».
И от жути, когда больше не было сил
Отморозить последнюю шутку,
Я у друга движеньем руки попросил
докурить за него самокрутку.
А когда мы его на шинели несли
Хоронить перед самым рассветом,
Я не в силах был взгляд оторвать от земли —
Я у Бога просил не об этом.

Основой лирической картины мира поэта становится своего рода антиэгоцентризм — полное растворение в служении окружающим. Своеобразным выражением авторского кредо явилось следующее стихотворение:

Сегодня умер холодильник.
Он проработал много лет.
Кормилец был и собутыльник.
И вот его на свете нет.
Он знал все памятные даты
Моей семьи, моей страны.
Как кто-то уходил в солдаты,
Как приходил домой с войны.
А он стоял все эти годы.
Работал, не жалея сил.
И тем любезен был народу,
Что под героя не косил.

Ну и, конечно, ничто не заменит живого общения, а значит — необходимы места, где поэты и любители поэзии могли бы встречаться и общаться между собой на интересующие их темы. Центральным из таких мест в Казани стал **музей Горького**, где регулярно проходят поэтические чтения и проводятся встречи с местными и приезжими поэтами (в стенах музея успели побывать почти все знаковые фигуры современной российской словесности — от Амелина до Емелина).

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно полно осветить всю поэтическую жизнь республики — что-то неизбежно осталось за кадром, а многие из упомянутых авторов заслуживают более подробного разговора о своем творчестве.

Впрочем, окажись рамки слишком широки — было бы куда прискорбнее. Так что повод для оптимизма налицо: в республике есть интересные поэты, работающие в разных стилях и направлениях, и у каждого, что немаловажно, своя аудитория, причем, что еще важнее, не ограниченная исключительно локальной публикой — творчество татарстанских авторов медленно, но верно становится частью литературы уже общероссийской.

Будем надеяться, что будущее местной (но уж никак не местечковой) литературы будет светлым.

Ведь если стихи читают, значит, это кому-то нужно.

Похрен? — Nevermore!

Рубрику ведет Лев Аннинский

У русской тоски нету дна.
А что есть-то? Простор и воля...

Игорь Михайлов. Кимры.

Простор в текстах Игоря Михайлова рождается среди темных стен промозглого Питера, а отзывается в скрипе подмосковных калиток, в ленивой перебранке продавщиц и завсегдатаев привокзальных пивных, в дурманящих паузах заграничных телесериалов, а более всего — в звуках родных имен: в колокольцах и бубенцах Звенигорода, в лопнувшем вскрике сорвавшей голос гармони: Ким-ры!.. — а еще — в райском зове: Зарайск!.. — пока не слышишь, как местный охломон орет в мобильник:

— Через три часа буду в Засрайске, бля!

«Бля» — вариация имени текущей через простор речки «Вобля». Когда-то имелась в виду «вобла». Теперь актуальнее «воля».

Воля символизирована в загадочной молчаливости таксиста, который не хочет ни ехать, ни не ехать:

— А мне похрен, — роняет он наконец. — У меня работа почасовая.

Работа почасовая, а жизнь то ли почесывающаяся, то ли прочухивающаяся.

Игорь Михайлов пишет очерки и рассказы, но читать его надо — как в старом тургеневском жанре: это стихотворения в прозе.

Вариация на вечную тему: «сирень, звезды и луна» — держится не на эротическом сюжете (и вообще не на «сюжете», как следовало бы по законам литературного рынка, который Михайлов игнорирует), держится эта тема (именно как тема в музыкальном смысле) на ритме и интонации, притом (что очень важно) смысл задан темой «страха», и смысл этот (что еще более важно) ускользает! Как ускользает смысл из междометий водилы, которому равно неохота ехать или не ехать.

«...Нам не страшно. Мы отталкиваемся ногами и руками от земли, чтобы ускорить полет, чтобы захватило дух и исчезло время. Его тяготение и гнет. Его строгий учет наших поступков, мыслей и смысла. Ведь смысла в жизни все равно не больше, чем в капле дождя, которую я выпил с ее губ. Смысла никогда никакого и не было. Есть смысл только в настоящем полете в никуда. Туда, где кончается земля и начинается небо. Все остальное — эхо наших прошлых воспоминаний, все остальное сон, один на двоих, приснившийся нам в том дому, где нет потолка и пола...»

Кажется, только стихи в прозе способны выдержать такое изначальное постулирование вывода, который надо бы припрятывать в конец повествования...

Да не повествование это! Это лирическое странствие вдоль провинциальных улочек, выровнять фронт которых безуспешно пыталась еще матушка Екатерина. Странствие между временами; то ли это прошлое, то ли настоящее, то ли смешение времен, то ли их исчезновение. Странствие между смыслом и исчезновением смысла...

Итак, смысла в этой жизни нет.

Но есть ощущение смысла, которого нет?!

Вот тут зарыта собака. Та самая, что «тихо прядет ушами», когда ты всматриваешься в сумерки Углича. Это и есть жизнь. Ее неведомый смысл. Ее непостижимое таинство. Ее неповторимость в каждое мгновенье. Никогда больше! Nevermore!

В беспросвете русского непротыка особенно остро отдается у Игоря Михайлова этот нерусский возглас, залетевший к нам из бесконечности мировой культуры. Есть к чему прислушаться! И из чего выбрать.

Михайлов — человек того оттепельного поколения, которое уже не застало пустых послевоенных полок, а о кандальном звоне замков узнало из стихов Мандельштама. А застало оно — в том городе, знакомом до слез, — уже только тьму и сырость дворов и подъездов.

«На потолке от скуки повесилась лампочка. Перила вечно свернуты в бараний рог, дверцы почтовых ящиков вывернуты наизнанку. Пол — вытертый до основания и уже лоснящийся той самой прозрачностью, после которой исчезновение».

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать и эту поэтическую миниатюру из питерского цикла.

Но попробуем мир, на простор которого выходит из питерской столицы лирический герой Михайлова.

Где-то на другом полюсе этого мира — Москва. Вечно обозленная. Возьмет и погрозит — молча. Никому конкретно, а как бы всем. Все, что приходит или доносится из Москвы, издревле имеет неприятный привкус плохих предзнаменований. Поэтому в Москве — страшно.

А в Питере — радостно. Даже если тебя ни за что ни про что метелят в беспричинной драке молодежных компаний, случайно столкнувшихся в просторе белой ночи.

Меж полюсами столиц — провинциальная жизнь. Она не белого, не черного, а какого-то псиво-пегого цвета. Или — отсутствия цвета. Сумерки. То ли утро, то ли вечер, то ли то и другое разом. То ли явь, то ли сон. Посконная оторопь. Мрак перед светом, который может оказаться гибельным. То ли этот свет, то ли тот. Лучшее определение — одурь.

Предчувствие беды? Да, постоянное. Но неотчетливое. Счастия никто не ищет, от счастия не бежит. И вообще не бежит. Бредет. То ли хочет двигаться, то ли не хочет. «Похрен».

— Все-таки в этом сумасшествии что-то такое есть, — думает рассказчик в стиле Гамлета, а потом вспоминает, где оно есть: — Магазин же!

Но, обозрев опустевшее крыльцо этого форпоста логики, догадывается:

«Кончилось время, а другого не завезли».

Время не завезли! — все-таки надо отдать должное виртуозности михайловского пера.

Времени нет. Зима еще не началась, осень кончилась. Дождь. Даже не дождь, а просто вечно осыпающаяся сырость. Вечный туман. Ходишь и думаешь, что тебя, как и все кругом, забыли материализовать, то есть выдумать. Может, надо подождать еще пару тысячелетий? А, Всевышний?..

Наконец-то! Теперь без Всевышнего никуда, как когда-то без парторга.

Так что же Он делает у Игоря Михайлова, сокрывшись в промозглом тумане?

«Всевышний призадумался. Или еще спит. Все еще впереди».

Так это лучик надежды?..

Нет, подождите. Давайте закончим с настоящим. Старичок бредет по тихой провинциальной улице, пес беспричинно прядет ушами, детвора, вышедшая гулять, беспричинно радуется. Местные интеллектуалы, стараясь быть выше этой тщеты, напускают на себя спесивость. Старинные здания ветшают и разрушаются. Модерн, натыканный век назад (в том же Торжке), «выцвел, как старая открытка, он полустерт, засижен мухами, покрывается новостроем...»

Словцо «новострой» в михайловском контексте на мгновенье вытесняет из моей памяти все керно-пушкинское, красиво чистое, нежно-милое... Так, значит, строят! Значит, врубается в эту тихую провинциальную жизнь-нежизнь нечто современное! Нахальное! Убойное! Значит, надо навострить уши... если тебе на уши еще не нахло-

бучили с размаху гитару в уличной драке, где непонятно кто бьет, кого бьет, а может, ошибся адресом.

Адреса в Михайловской ойкумене музыкально перемешаны. Это тоже наша специфика: журавлиный перекурлык названий:

«Озеры, Богатищево, Журавна, Серебряные пруды, Апонитищи, Козловка, Клин-Бельдин, Жилконцы, Чулки-Соколово, Белыничи, Кобылье, Мочилы, Врачево, Фруктовая…»

Пытаясь справиться с этой симфонией, Михайлов опять врубает логику:

«В Мочилах ходят стенка на стенку, потом во Врачеве врачуют раны».

Раны истории начинают саднить, навевая свои непоправимо контрапунктные гимны: чугунный бюст Пушкина на площади его имени… но уже на улице Дзержинского…

«Все здесь, в Торжке, перекликается, сосуществует: Дзержинский с Пушкиным, Володарский и Белинский. Луначарский и Спартак, Красноармейская и Радищев. Демьян Бедный и три переулка (1-й. 2-й. 3-й) Гоголя. 1-й переулок Свердлова с Некрасовым, Лермонтов, Пугачев, Горький. Урицкий, Чапаев и целых четыре переулка Чехова!.. У Свердлова… всего один переулок, но зато есть еще улица имени Свердлова, которая же его и пересекает! Представляю, как надо надраться, чтобы разобраться в этом скопище Свердловых. Тем более, если ты приезжий. А собственно, при чем здесь Свердлов, куда его приткнуть, чтобы не выпирало?»

Кажется, это нечастый случай, когда рассказчик, пущенный Михайловым в эту тихую круговерть, что-то предлагает актуально переменить. Обычно он не вмешивается, а тихо внемлет голосам.

Но это только кажется! Он чутко ловит каждый звук! Фиксирует каждый лучик! Иногда это солнышко, отраженное крестами соборов. Или звон, который малиновым кружевом выплетает оглохший звонарь. Или звук булыжника, которым работник прихода запустил в шкодящего кота. И крик бабки:

— Я вот про тебя все батюшке расскажу, как ты котов обижаешь!

— Пошла вон, дура!

Жизнь продолжается, черт побери!

Жизнь, бьется в порах и капиллярах замершей, вслушивающейся в себя русской реальности. Есть из чего выбирать михайловскому поколению на руинах рухнувшего коммунизма, в распеленутой демократии, на просторах возвращенной мировой классики. Тут тебе и свобода, и воля, и блин…

Девяностые лихие годы Игорь Михайлов встретил дипломированным выпускником пединститута (МГПИ имени Ленина — «поющие учителя»!). А потом?

«…Сторожем, дворником, социальным работником, грузчиком, журналистом в местной газете «Современник». Потом — в подмосковной газете «Домашнее чтение». Один год оттрубил в «Московской правде». С 2004 по 2008 год поднимал целину в журнале «Литературная учеба»…

Оттрубил… поднимал целину… Чувствуете стиль бури и натиска?

А в ответе тому мужику, которому все было «похрен», чувствуете ли волю, ищущую себя на просторе? Упоение, что бездны мрачной на краю держит душу выпрямленной. Мгновение, прекрасно ты! Продлись, постой! Это же никогда не повторится! Никогда больше!

Nevermore!

Summary

IRINA GOLUB. A Girl and the War.

This is a long short memoir story written by the daughter of the Ukrainian author Boris Antonenko-Davidovich who had been subjected to repression. The story is about the life or rather survival of a ten-year old girl on the occupied territory (1941 — 1943). But out of her far from childish ordeals this girl has carried out the deeply endured conviction of ineradicable fortitude of human kindness.

RUBEN OVSEPYAN. Under the Apricot Trees.

This novel, full of today's realities and historical references, has some «fourth dimension». There are presented in it not only beautiful Armenian women capable to emerge even out of the «burst frogs» and not only a strange picture on the wall, in which the protagonist can really lie stretching himself under the apricot-trees and taking a rest from craziness of the modern world smelling of kerosene, gunpowder and hack politics, but something more too.

ALEXANDER MEZIROV. Last Poems.

Alexander Mezirov is one of the most important Russian poets of the second half of the XX century. Many people know his piercing poems about the Great Patriotic War and his lyrics. The poems presented here tell about what he was thinking and writing about in the USA where the last years of his tragic life were passing.

NICKOLAY SHMELEV. Prognoses and Hopes.

«One can't say with certainty that within the life of two or three future generations Russia will manage to overcome the consequences of brutal structural changes in the economy which the country has happen to endure in the last twenty years». The well-known economist N. Shmelev is meditating on today's situation in Russia.

OLGA LEBEDUSHKINA. Repentance and Absolution.

More and more often we resemble a character of some fantasy hit whose unnecessary memory has been substituted for the necessary one. Eye-witnesses are passing away and even the Great Patriotic War is already turning into a myth. These notes are about today's literature as the work of memory and oblivion.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.

Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожалеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.
Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.
E-mail: dn52@mail.ru, http://magazines.russ.ru/druzhba/

Сдано в набор 21.03.11. Подписано в печать 20.04.11. Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл. кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2500 экз. Заказ 1657. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. http://www.redstarph.ru